Троцкий Л.
История
Русской
Революции.
Т. 1 1ч.
Берлин 1931

И. С. Т.—Библиотека
ЦР
Т882

Л. ТРОЦКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“
БЕРЛИН

Ц,Р
Т882

Л. ТРОЦКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ТОМ I

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ · БЕРЛИН 1931

Л. ТРОЦКИЙ

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ · БЕРЛИН 1931

ЦР
Т 882
БИБЛИОТЕКА
Ин-та марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС
1088778

Alle Rechte vorbehalten
Copyright by the author

77В9с1
38
22984

«Energiadruck», Berlin SW 61

9012

ПРЕДИСЛОВИЕ

к русскому изданию.

Февральская революция считается демократической революцией в собственном смысле слова. Политически она развертывалась под руководством двух демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение к «заветам» Февральской революции является и сейчас официальной догмой так называемой демократии. Все это, как будто, дает основание думать, что демократические идеологи должны были поспешить подвести исторические и теоретические итоги февральскому опыту, вскрыть причины его крушения, определить, в чем собственно состоят его «заветы» и каков путь к их осуществлению. Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше тринадцати лет, причем каждая из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее мы не имеем ни одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских партий явно не решаются восстановить ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть такую видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительной Февральской революции, чем смелее они клянутся ее бесплот-

ными заветами. То обстоятельство, что сами они занимали в течение нескольких месяцев 1917 года руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров (какой иронией звучит ныне это имя!) отражала не просто личную слабость вождей, а историческое вырождение вульгарной демократии и обреченность Февральской революции, как демократической.

Вся суть в том, — и это есть главный вывод настоящей книги, — что Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалась от своих соглашательских покровов. Если бы вульгарные демократы посмели объективно изложить ход событий, они так же мало могли бы призывать кого-либо вернуться к Февралю, как нельзя призывать колос вернуться в породившее его зерно. Вот почему вдохновители ублюдочного февральского режима вынуждены ныне закрывать глаза на свою собственную историческую кульминацию, которая явилась кульминацией их несостоятельности.

Можно, правда, сослаться на то, что либерализм, в лице профессора истории Милюкова, попытался все же свести счеты со «второй русской революцией». Но Милюков вовсе не скрывает того, что он лишь претерпевал Февральскую революцию. Вряд ли есть какая-либо возможность причислять национал-либерального монархиста к демократии, хотя бы и вульгарной, — не на том же основании, в самом деле, что он примирился с республикой, когда не осталось ничего другого? Но,

даже оставляя политические соображения в стороне, работу Милюкова о Февральской революции ни в каком смысле нельзя считать научным трудом. Вождь либерализма выступает в своей «Истории» как потерпевший, как истец, но не как историк. Его три книги читаются, как растянутая передовица «Речи» в дни крушения корниловщины. Милюков обвиняет все классы и все партии в том, что они не помогли его классу и его партии сосредоточить в своих руках власть. Милюков обрушивается на демократов за то, что они не хотели или не умели быть последовательными национал-либералами. В то же время он сам вынужден свидетельствовать, что чем больше демократы приближались к национал-либерализму, тем больше они теряли опору в массах. Ему не остается, в конце концов, ничего иного, как обвинить русский народ в том, что он совершил преступление, именуемое революцией. Зачинщиков русской смуты Милюков, во время писания своей трехтомной передовицы, все еще пытался искать в канцелярии Людендорфа. Кадетский патриотизм, как известно, состоит в том, чтоб величайшие события в истории русского народа объяснять режиссерством немецкой агентуры, но з а т о стремиться в пользу «русского народа» отнять у турок Константинополь. Исторический труд Милюкова достойно завершает политическую орбиту русского национал-либерализма.

Понять революцию, как и историю в целом, можно только как объективно-обусловленный процесс. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. В известные эпохи эти методы навязываются с такой си-

лой, что вся нация вовлекается в трагический водоворот. Нет ничего более жалкого, как морализирование по поводу великих социальных катастроф! Здесь особенно уместно правило Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать.

Проблемы хозяйства, государства, политики, права, но рядом с ними также и проблемы семьи, личности, художественного творчества ставятся революцией заново и пересматриваются снизу доверху. Нет ни одной области человеческого творчества, в которую подлинно-национальные революции не входили бы великими вехами. Это одно уже, отметим мимоходом, дает наиболее убедительное выражение монизму исторического развития. Обнажая все ткани общества, революция бросает яркий свет на основные проблемы социологии, этой несчастнейшей из наук, которую академическая мысль кормит уксусом и пинками. Проблемы хозяйства и государства, класса и нации, партии и класса, личности и общества, ставятся во время великих социальных переворотов с предельной силой напряжения. Если революция и не разрешает немедленно ни одного из породивших ее вопросов, создавая лишь новые предпосылки для их разрешения, зато она обнажает все проблемы общественной жизни до конца. А в социологии больше, чем где бы то ни было, искусство познания есть искусство обнажения.

Незачем говорить, что наш труд не претендует на полноту. Читатель имеет пред собою главным образом политическую историю революции. Вопросы экономики привлекаются лишь постольку, поскольку они необходимы для понимания политического процесса. Проблемы культуры совсем оставлены за рам-

ками исследования. Нельзя, однако, забывать, что процесс революции, т. е. непосредственной борьбы классов за власть, есть, по самому своему существу, процесс политический.

Второй том «Истории», посвященный Октябрьскому перевороту, автор надеется выпустить в свет осенью этого года.

Л. Троцкий.

25 февраля 1931 г.

Принкипо.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В первые два месяца 1917 года Россия была еще романовской монархией. Через восемь месяцев у кормила стояли уже большевики, о которых мало кто знал в начале года, и вожди которых, в самый момент прихода к власти, еще состояли под обвинением в государственной измене. В истории не найти второго такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идет о нации в полтораста миллионов душ. Ясно, что события 1917 года, как бы к ним ни относиться, заслуживают изучения.

История революции, как и всякая история, должна прежде всего рассказать, что и как произошло. Однако, этого мало. Из самого рассказа должно стать ясно, почему произошло так, а не иначе. События не могут ни рассматриваться, как цепь приключений, ни быть нанизаны на нитку предвзятой морали. Они должны повиноваться своей собственной закономерности. В раскрытии ее автор и видит свою задачу.

Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события. В обычное время государство, монархическое, как и демократическое, возвышается над нацией; историю вершат специалисты этого дела: монархи, министры, бюрократы, парламентарии, журналисты. Но в те поворотные моменты, когда старый порядок становится дальше невыносимым для масс, они ломают перегородки, отделяющие их от политической арены, опрокидывают своих традиционных представителей и создают своим вмешательством исходную позицию для нового режима. Худо это или хорошо, предоставим судить моралистам. Сами мы берем факты, как они даются объективным ходом развития. История революции есть для нас прежде всего история насильственно-

го вторжения масс в область управления их собственными судьбами.

В охваченном революцией обществе борются классы. Совершенно очевидно, однако, что изменения, происходящие, между началом революции и концом ее, в экономических основах общества и в социальном субстрате классов, совершенно недостаточны для объяснения хода самой революции, которая, на коротком промежутке времени, низвергает вековые учреждения, создает новые и снова низвергает. Динамика революционных событий непосредственно определяется быстрыми, напряженными и страстными изменениями психологии классов, сложившихся до революции.

Дело в том, что общество не меняет своих учреждений по мере надобности, как мастер обновляет свои инструменты. Наоборот, практически оно берет нависающие над ним учреждения, как нечто раз навсегда данное. В течение десятилетий оппозиционная критика является лишь предохранительным клапаном для массового недовольства и условием устойчивости общественного строя: такое принципиальное значение приобрела, например, критика социалдемократии. Нужны совершенно исключительные, независящие от воли лиц или партий, условия, которые срывают с недовольства оковы консерватизма и приводят массы к восстанию.

Быстрые изменения массовых взглядов и настроений в эпоху революции вытекают, следовательно, не из гибкости и подвижности человеческой психики, а, наоборот, из ее глубокого консерватизма. Хроническое отставание идей и отношений от новых объективных условий, вплоть до того момента, как последние обрушиваются на людей, в виде катастрофы, и порождает в период революции скачкообразное движение идей и страстей, которое полицейским головам кажется простым результатом деятельности «демагогов».

В революцию массы входят не с готовым планом общественного переустройства, а с острым чувством

невозможности терпеть старое. Лишь руководящий слой класса имеет политическую программу, которая, однако, нуждается еще в проверке событий и в одобрении масс. Основной политический процесс революции и состоит в постижении классом задач, вытекающих из социального кризиса, в активной ориентировке масс по методу последовательных приближений. Отдельные этапы революционного процесса, закрепленные сменой одних партий другими, все более крайними, выражают возрастающий напор масс влево, пока размах движения не упирается в объективные препятствия. Тогда начинается реакция: разочарование отдельных слоев революционного класса, рост индифферентизма и тем самым упрочение позиций контр-революционных сил. Такова, по крайней мере, схема старых революций.

Только на основе изучения политических процессов в самих массах можно понять роль партий и вождей, которых мы меньше всего склонны игнорировать. Они составляют хоть и не самостоятельный, но очень важный элемент процесса. Без руководящей организации энергия масс рассеялась бы, как пар, незаключенный в цилиндр с поршнем. Но движет все же не цилиндр и не поршень, движет пар.

Трудности, какие стоят на пути изучения изменений массового сознания в эпоху революции, совершенно очевидны. Угнетенные классы делают историю на заводах, в казармах, в деревнях, на улицах городов. При этом они меньше всего привыкли ее записывать. Периоды высшего напряжения социальных страстей вообще оставляют мало места созерцанию и отображению. Всем музам, даже плебейской музе журнализма, несмотря на ее крепкие бока, приходится туго во время революции. И все же положение историка отнюдь не безнадежно. Записи неполны, разрознены, случайны. Но в свете самих событий эти осколки позволяют нередко угадать направление и ритм подспудного процесса. Худо или хорошо, но на учете изменений массового сознания революционная партия

основывает свою тактику. Исторический путь большевизма свидетельствует, что такой учет, по крайней мере, в грубых своих чертах, осуществим. Почему же то, что доступно революционному политику в водовороте борьбы, не может быть доступно историку задним числом?

Однако же, процессы, происходящие в сознании масс, не являются ни самодовлеющими, ни независимыми. Как бы идеалисты и эклектики ни сердились, сознание все-таки определяется бытием. В исторических условиях формирования России, ее хозяйства, ее классов, ее государства, в воздействии на нее других государств, должны были быть заложены предпосылки Февральской революции и ее смены — Октябрьской. Поскольку наиболее загадочным кажется все же тот факт, что отсталая страна первою поставила у власти пролетариат, приходится заранее разгадку этого факта искать в своеобразии этой отсталой страны, т. е. в ее отличиях от других стран.

Исторические особенности России и их удельный вес охарактеризованы нами в первых главах книги, заключающих краткий очерк развития русского общества и его внутренних сил. Мы хотели бы надеяться, что неизбежная схематичность этих глав не отпугнет читателя. На дальнейшем протяжении книги он встретит те же социальные силы в живом действии.

Этот труд ни в какой мере не опирается на личные воспоминания. То обстоятельство, что автор был участником событий, не освобождало его от обязанности строить свое изложение на строго проверенных документах. Автор книги говорит о себе, поскольку он вынуждается к тому ходом событий, в третьем лице. И это не простая литературная форма: субъективный тон, неизбежный в автобиографии или мемуарах, был бы недопустим в историческом труде.

Однако, то обстоятельство, что автор был участником, борьбы, естественно облегчает ему понимание не только психологии действующих лиц, индивидуальных и коллективных, но и внутренней связи событий. Это

преимущество может дать положительные результаты при соблюдении одного условия: не полагаться на показания своей памяти не только в мелочах, но и в крупном, не только в отношении фактов, но и в отношении мотивов или настроений. Автор считает, что, насколько от него зависело, он это условие соблюдал.

Остается вопрос о политической позиции автора, который, в качестве историка, стоит на той же точке зрения, на которой стоял в качестве участника событий. Читатель, конечно, не обязан разделять политические взгляды автора, которые этот последний не имеет никаких оснований скрывать. Но читатель вправе требовать, чтоб исторический труд представлял собою не апологию политической позиции, а внутренне-обоснованное изображение реального процесса революции. Исторический труд только тогда полностью отвечает своему назначению, когда события развертываются на его страницах во всей своей естественной принудительности.

Необходимо ли для этого так называемое историческое «безпристрастие»? Никто еще ясно не объяснил, в чем оно должно состоять. Часто цитировавшиеся слова Клемансо о том, что революцию надо принимать en bloc, целиком, — представляют собою в лучшем случае остроумную увертку: как можно объявлять себя сторонником целого, сущность которого состоит в расколе? Афоризм Клемансо продиктован отчасти сконфуженностью за слишком решительных предков, отчасти — неловкостью потомка перед их тенями.

Один из реакционных и потому модных историков современной Франции Л. Мадлен, столь салонно оклеветавший Великую революцию, т. е. рождение французской нации, утверждает, что «историк должен стать на стену угрожаемого города и одновременно видеть, как осаждающих, так и осаждаемых»: только так можно, будто бы, добиться «примиряющей справедливости». Однако, работы самого Мадлена свидетельствуют, что, если он и взбирается на стену, отде-

ляющую два лагеря, то только в качестве лазутчика реакции. Хорошо, что дело идет в данном случае о лагерях прошлого: во время революции пребывание на стене сопряжено с большими опасностями. Впрочем, в тревожные минуты жрецы «примиряющей справедливости» сидят обычно в четырех стенах, выжидая, на чьей стороне окажется победа.

Серьезному и критическому читателю нужно не вероломное беспристрастие, которое преподносит ему кубок примирения с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий, открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в установлении их действительной связи, в обнаружении закономерности их движения. Это есть единственно возможный исторический объективизм, и притом вполне достаточный, ибо он проверяется и удостоверяется не добрыми намерениями историка, за которые, к тому же, тот сам и ручается, а обнаруженной им закономерностью самого исторического процесса.

* * *

Источниками этой книги являются многочисленные периодические издания, газеты и журналы, мемуары, протоколы и иные материалы, отчасти рукописные, а главным образом, изданные Институтом по истории революции в Москве и Ленинграде. Мы считали излишним делать в тексте ссылки на отдельные издания, так как это только затруднило бы читателя. Из книг, которые имеют характер сводных исторических трудов, мы использовали, в частности, двухтомные «Очерки по истории Октябрьской революции» (Москва-Ленинград, 1927). Написанные разными авторами, составные части этих «Очерков» имеют неодинаковую ценность, но заключают в себе, во всяком случае, обильный фактический материал.

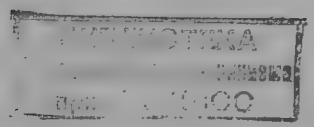
Хронологические даты нашей книги везде указаны

по старому стилю, т. е. отстают от мирового, в том числе и нынешнего советского календаря, на 13 дней. Автор вынужден был пользоваться тем календарем, который был в силе во время революции. Не представляло бы, правда, никакого труда перевести даты на новый стиль. Но такая операция, устраняя одни трудности, породила бы другие, более существенные. Низвержение монархии вошло в историю под именем Февральской революции. По западному календарю оно произошло, однако, в марте. Вооруженная демонстрация против империалистической политики Временного правительства вошла в историю под именем «апрельских дней», между тем, по западному календарю, она происходила в мае. Не останавливаясь на других промежуточных событиях и датах, отметим еще что Октябрьский переворот произошел по европейскому исчислению в ноябре. Сам календарь, как видим, окрашен событиями, и историк не может расправиться с революционным летосчислением при помощи простых арифметических действий. Читатель благоволит лишь помнить, что прежде, чем опрокинуть византийский календарь, революция должна была опрокинуть державшиеся за него учреждения.

Принкипо, 14 ноября 1930 г.

Л. Троцкий.

1088778



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ.

Основной, наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической отсталостью, примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры.

Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходцам, было самой природой обречено на долгое отставание. Борьба с кочевниками длилась почти до конца XVII века. Борьба с ветрами, приносящими зимнюю стужу, а летом засуху, не закончилась и сейчас. Сельское хозяйство — основа всего развития — продвигалось экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на Юге взрывались девственные степи; овладение природой шло вширь, а не вглубь.

В то время, как западные варвары поселились на развалинах римской культуры, где многие старые камни стали для них строительным материалом, славяне Востока не нашли никакого наследства на безотрадной равнине: их предшественники стояли еще на более низкой ступени, чем они сами. Западно-европейские народы, скоро упершиеся в свои естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных городов. Население восточной равнины, при первых признаках тесноты, углублялось в леса или уходило на окраины, в степь. Наиболее инициативные и предприимчивые элементы крестьянства становились на Западе горожанами, ремесленниками, купцами. Активные и смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше — казаками, пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной диф-

ференциации, интенсивный на Западе, на Востоке задерживался и размывался процессом экспансии. «Царь Московии, хотя и христианский, правит людьми ленивого ума», писал Вико, современник Петра I. «Ленивый ум» московитян отражал медленный темп хозяйственного развития, бесформенность классовых отношений, скудость внутренней истории.

Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий характер и располагали достаточным временем, чтобы, несмотря на свои низкие производительные силы, довести свои социальные отношения почти до такой же детальной законченности, до которой ремесленники этих стран доводили свои изделия. Россия стояла не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Она отличалась от европейского Запада, но разнилась и от азиатского Востока, приближаясь в разные периоды разными чертами то к одному, то к другому. Восток дал татарское иго, которое вошло важным элементом в строение русского государства. Запад был еще более грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела возможности сложиться в формах Востока, потому, что ей всегда приходилось приспособляться к военному и экономическому давлению Запада.

Существование феодальных отношений в России, отрицавшееся прежними историками, можно считать позднейшими исследованиями безусловно доказанным. Более того: основные элементы русского феодализма были те же, что и на Западе. Но уже один тот факт, что феодальную эпоху пришлось устанавливать путем долгих научных споров, достаточно свидетельствует о недоношенности русского феодализма, о его бесформенности, о бедности его культурных памятников.

Отсталая страна ассимилирует материальные и идейные завоевания передовых стран. Но это не значит, что она рабски следует за ними, воспроизводя все этапы их прошлого. Теория повторяемости исторических циклов — Вико и его позднейшие последователи

— опирается на наблюдения над орбитами старых, докапиталистических культур, отчасти — первых опытов капиталистического развития. С провинциальностью и эпизодичностью всего процесса действительно связана была известная повторяемость культурных стадий в новых и новых очагах. Капитализм означает, однако, преодоление этих условий. Он подготовил и, в некотором смысле, осуществил, универсальность и перманентность развития человечества. Этим самым исключена возможность повторяемости форм развития отдельных наций. Вынужденная тянуться за передовыми странами отсталая страна не соблюдает очередей: привиллегия исторической запоздалости — а такая привиллегия существует, — позволяет или, вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не начинали историю сначала. То обстоятельство, что Германия или Соединенные Штаты экономически опередили Англию, обусловлено как-раз запоздалостью их капиталистического развития. Наоборот, консервативная анархия в британской угольной промышленности, как и в головах Макдональда и его друзей, есть расплата за прошлое, когда Англия слишком долго играла роль капиталистического гегемона. Развитие исторически запоздалой нации ведет, по необходимости, к своеобразному сочетанию разных стадий исторического процесса. Орбита в целом получает непланомерный, сложный, комбинированный характер.

Возможность перепрыгивания через промежуточные ступени, разумеется, совсем не абсолютна; размеры ее определяются, в конце концов, хозяйственной и культурной емкостью страны. Отсталая нация к тому же нередко снижает заимствуемые ею извне готовые достижения путем приспособления их к своей более примитивной культуре. Самый процесс ассимиляции получает при этом противоречивый характер. Так

введение элементов западной техники и выучки, прежде всего военной и мануфактурной, при Петре I, привело к усугублению крепостного права, как основной формы организации труда. Европейское вооружение и европейские займы, — и то и другое — бесспорные продукты более высокой культуры, — привели к укреплению царизма, тормозившего, в свою очередь, развитие страны.

Историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским схематизмом. Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на судьбе запоздалых стран. Под кнутом внешней необходимости, отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно назвать законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными. Без этого закона, взятого, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России, как и всех вообще стран второго, третьего и десятого культурного призыва.

Под давлением более богатой Европы государство поглощало в России гораздо большую относительную долю народного достояния, чем на Западе, и не только обрекало этим народные массы на двойную нищету, но и ослабляло основы имущих классов. Нуждаясь в то же время в поддержке последних, оно форсировало и регламентировало их формирование. В результате бюрократизированные привиллегированные классы никогда не могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской деспотии.

Византийское самодержавие, официально усвоенное московскими царями с начала XVI века, смирило феодальное боярство при помощи дворянства и подчинило себе дворянство, закабалив ему крестьянство, чтобы превратиться на этой основе в петербургский

императорский абсолютизм. Запоздалость всего процесса достаточно характеризуется тем, что крепостное право, зародившись с конца XVI века, сложилось в XVII, достигло расцвета в XVIII и было юридически отменено лишь в 1861 году.

Духовенство, вслед за дворянством, сыграло в образовании царского самодержавия не малую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в России до той командующей высоты, что на католическом Западе: она удовлетворялась местом духовной прислуги при самодержавии и вменяла это в заслугу своему смирению. Епископы и митрополиты располагали властью лишь, как ставленники светской власти. Патриархи сменялись вместе с царями. В петербургский период зависимость церкви от государства стала еще более рабской. 200 тысяч священников и монахов составляли в сущности часть бюрократии, своего рода полицию вероисповедания. В возмещение за это монополия православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего порядка.

Славянофильство, мессианизм отсталости, строило свою философию на том, что русский народ и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия — это немецкая бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: «ведь точно также и тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и т. д. на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную выучку». Это краткое замечание исчерпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и новейшие откровения «расистов».

Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской истории, наиболее удручающее свое выражение находила в отсутствии настоящих средневековых городов, как ремесленно-торговых центров. Ремесло не успело в России отделиться от земледелия и сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, административ-

ными, военными и помещичьими, следовательно потребляющими, а не производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не знавший татарского ига, был только торговым, а не промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. Но кочующие торговцы ни в какой мере не могли занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. Главные пути русской торговли к тому же вели заграницу, обеспечивая уже с отдаленных веков руководство за иностранным торговым капиталом и придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский торговец был посредником между западными городами и русской деревней. Этот род экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистской войне.

Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства, исключало, в частности, возможность реформации, т. е. замены феодально-бюрократического православия какой-либо модернизованной разновидностью христианства, приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против государственной церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из них, староверческий раскол.

За полтора десятилетия до Великой французской революции в России разразилось движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих, известное под именем пугачевщины. Чего не хватало этому грозному народному восстанию, чтоб превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла развиться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться до реформации. Результатом пугачевщины

явилось, наоборот, упрочение бюрократического абсолютизма, как стража дворянских интересов, снова оправдавшего себя в трудный час.

Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более становилась в течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, т. е. дворянства. В 1825 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением европейского буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно, заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с основами своего сословного господства, и потому больше всего боялось поднимать крестьян. Не удивительно, если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного офицерства, которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания декабристов.

Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия стали склоняться в пользу замены крепостного труда вольнонаемным. В эту же сторону толкал и возраставший экспорт русского зерна заграницу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либеральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный либерализм состоял при этой операции, в качестве покорного хора. Незачем говорить, что царизм еще более скаредно и воровато разрешил основную проблему Росии, т. е. аграрный вопрос, чем прусская монархия, в течение ближайшего десятилетия, разрешила основную проблему Германии, т. е. ее национальное объединение. Разрешение задач одного класса руками другого и есть один из комбинированных методов, свойственных отсталым странам.

Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на истории и характере русской промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла развития передовых стран, а включалась

в это последнее, приспособляя к своей отсталости его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности совершали ряд частых скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе измерялись десятилетиями. Благодаря этому русская промышленность развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. Между первой революцией и войной промышленная продукция России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым русским историкам достаточным основанием для того вывода, что «легенду об отсталости и медленном росте приходится оставить».*) На самом деле возможность столь быстрого роста определилась именно отсталостью, которая, увы, сохранилась не только до момента ликвидации старой России, но, как наследие ее, и до сегодняшнего дня.

Основным измерителем экономического уровня нации является производительность труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса промышленности в общем хозяйстве страны. Накануне войны, когда царская Россия достигла высшей точки своего благосостояния, народный доход на душу был в 8—10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, что неудивительно, если принять во внимание, что $^4/_5$ самодеятельного населения России занято было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединенных Штатах на 1 занятого в земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим еще, что на 100 квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 километра железных дорог, в Германии — 11,7, в Австро-Венгрии — 7,0. Остальные сравнительные коэффициенты того же типа.

Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наи-

*) Утверждение принадлежит профессору М. Н. Покровскому. См. Приложение № 1.

большей силой. В то время, как крестьянское земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность России, по своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 100 человек, охватывали в 1914 г. в Соединенных Штатах 35% общего числа промышленных рабочих, а в России — только 17,8%. При приблизительно-одинаковом удельном весе средних и крупных предприятий, в 100—1000 рабочих, предприятия-гиганты, свыше 1000 рабочих каждое, занимали в С. Штатах 17,8% общего числа рабочих, а в России — 41,4%! Для важнейших промышленных районов последний процент еще выше: для петроградского — 44,4%, для московского — даже 57,3%. Подобные же результаты получатся, если сравним русскую промышленность с британской или германской. Этот факт, впервые установленный нами в 1908 году, трудно укладывается в банальное представление об экономической отсталости России. А между тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически дополняет ее.

Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в России, опять-таки, с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. Но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение ее западно-европейскому денежному рынку. Тяжелая промышленность (металл, уголь, нефть) была почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Легкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы владели в общем около 40% всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился заграницей, причем доля

капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии.

Условиями происхождения русской промышленности и ее структурой определялся социальный характер русской буржуазии и ее политический облик. Высокая концентрация промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическими верхами и народными массами не было иерархии переходных слоев. К этому присоединялось то, что собственниками важнейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были иностранцы, которые реализовали не только извлеченную из России прибыль, но и свое политическое влияние в иностранных парламентах, и не только не подвигали вперед борьбы за русский парламентаризм, но часто противодействовали ей: достаточно вспомнить постыдную роль официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые причины политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре своей истории она была слишком незрелой, чтобы совершить реформацию, то она оказалась перезрелой, когда настало время для руководства революцией.

В соответствии с общим ходом развития страны резервуаром, из которого формировался русский рабочий класс, являлось не цеховое ремесло, а сельское хозяйство, не город, а деревня. Русский пролетариат складывался при этом не постепенно, веками, влача за собой груз прошлого, как в Англии, а скачками, путем крутой перемены обстановки, связей, отношений и резкого разрыва со вчерашним днем. Именно это — в сочетании с концентрированным гнетом царизма — сделало русских рабочих восприимчивыми к наиболее смелым выводам революционной мысли, подобно тому, как запоздалая русская промышленность оказалась восприимчивой к последнему слову капиталистической организации.

Короткую историю своего происхождения русский пролетариат всегда воспроизводил заново. В то время,

как в металлообрабатывающей промышленности, особенно в Петербурге, кристаллизовался слой потомственных пролетариев, окончательно порвавших с деревней, на Урале преобладал еще тип полупролетария-полукрестьянина. Ежегодный приток свежей рабочей силы из деревень во все промышленные районы обновлял связь пролетариата с его основным социальным резервуаром.

Политическая недееспособность буржуазии непосредственно определялась характером ее отношений к пролетариату и крестьянству. Она не могла вести за собой рабочих, которые враждебно противостояли ей в повседневной жизни и очень рано научились обобщать свои задачи. Но она оказалась в такой же мере неспособной вести за собой крестьянство, потому что была связана сетью общих интересов с помещиками и боялась потрясения собственности в каком бы то ни было виде. Запоздалость русской революции оказалась, таким образом, не только вопросом хронологии, но и вопросом социальной структуры нации.

Англия совершала свою пуританскую революцию, когда все население ее не превышало $5^1/_2$ миллионов, из которых полмиллиона приходилось на Лондон. Франция в эпоху своей революции имела в Париже тоже лишь полмиллиона из 25 миллионов всего населения. Россия начала XX века насчитывала около 150 миллионов населения, из которых свыше трех миллионов приходилось на Петроград и Москву. За этими сравнительными цифрами скрываются величайшие социальные различия. Не только Англия XVII, но и Франция XVIII столетия не знали еще современного пролетариата. Между тем в России рабочий класс во всех областях труда, в городе и в деревне, насчитывал к 1905 году уже не менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов, т. е. больше, чем население Франции в эпоху Великой революции. От крепких ремесленников и независимых крестьян армии Кромвеля — через санкюлотов Парижа — до индустриальных пролетариев Петер-

бурга, революция глубоко изменила свою социальную механику, свои методы, а тем самым и свои цели.

События 1905 года были прологом обоих революций 1917 года: Февральской и Октябрьской. В прологе были заложены все элементы драмы, но только не доведены до конца. Русско-японская война расшатала царизм. На фоне движения масс либеральная буржуазия напугала монархию своей оппозицией. Рабочие организовывались самостоятельно от буржуазии и в противовес ей, в виде советов, впервые призванных тогда к жизни. Крестьянство восставало за землю на огромном протяжении страны. Как крестьяне, так и революционные части армии тянулись к советам, которые в момент высшего подъема революции открыто оспаривали власть у монархии. Однако, все революционные силы выступали тогда впервые, опыта у них не было и не хватало уверенности. Либералы демонстративно отшатнулись от революции именно в тот момент, когда обнаружилось, что недостаточно расшатать царизм, надо еще повалить его. Крутой разрыв буржуазии с народом, причем она и тогда уже увлекла за собой значительные круги демократической интеллигенции, облегчил монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую расправу над рабочими и крестьянами. Хоть и не досчитываясь кое-каких ребер, царизм вышел все же из испытаний 1905 года живым и достаточно сильным.

Какие же изменения в соотношение сил внесло историческое развитие за 11 лет, отделивших пролог от драмы? Царизм пришел за этот период в еще большее противоречие с потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более могущественной, но, как мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую концентрацию промышленности и на возросшую роль иностранного капитала. Под действием уроков 1905 года буржуазия стала еще консервативнее и подозрительнее. Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительный и ранее, еще более понизился. Какой-либо устойчивой со-

циальной опоры у демократической интеллигенции вообще не было. Она могла иметь переходящее политическое влияние, но не могла играть самостоятельной роли: зависимость ее от буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. Дать крестьянству программу, знамя, руководство мог при этих условиях только молодой пролетариат. Вставшие перед ним таким образом грандиозные задачи породили неотложную потребность в особой революционной организации, которая могла бы сразу охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под руководством рабочих. Так советы 1905 года получили гигантское развитие в 1917 году. Что советы, отметим тут же, представляют собою не просто порождение исторической запоздалости России, а являются продуктом комбинированного развития, свидетельствует хотя бы тот факт, что пролетариат наиболее индустриальной страны, Германии, не нашел во время революционного подъема 1918—19 годов другой формы организации, как советы.

Революция 1917 года все еще имела своей непосредственной задачей низвержение бюрократической монархии. Но, в отличие от старых буржуазных революций, в качестве решающей силы выступал теперь новый класс, сложившийся на основе концентрированной индустрии вооруженный новой организацией и новыми методами борьбы. Закон комбинированного развития раскрывается здесь пред нами в крайнем своем выражении: начав с низвержения средневекового гнилья, революция в течение нескольких месяцев ставит у власти пролетариат с коммунистической партией во главе.

По отправным своим задачам русская революция являлась, таким образом, демократической революцией. Но она по новому поставила проблему политической демократии. В то время, как рабочие покрыли всю страну советами, включив в них солдат и отчасти крестьян, буржуазия все еще продолжала торговаться, созывать или не созывать ей Учредительное собрание.

В ходе изложения событий вопрос этот предстанет пред нами во всей своей конкретности. Здесь мы хотим только наметить место советов в историческом чередовании революционных идей и форм.

В середине XVII века буржуазная революция в Англии развернулась в оболочке религиозной реформации. Борьба за право молиться по собственному молитвеннику отождествлялась с борьбой против короля, аристократии, князей церкви и Рима. Пресвитериане и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят под незыблемое покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись новые классы, неразрывно срослись в их сознании с текстами библии и с формами церковного обихода. Эмигранты уносили с собою эту кровью скрепленную традицию за океан. Отсюда исключительная живучесть англо-саксонских интерпретаций христианства. Мы видим, как и сегодня еще министры-«социалисты» Великобритании обосновывают свою трусость теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали оправдания для своего мужества.

Во Франции, перешагнувшей через реформацию, католическая церковь, в качестве государственной, дожила до революции, которая нашла не в текстах библии, а в абстракциях демократии выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно благодаря суровой работе Робеспьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое общество.

Каждая из великих революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые формы сознания его классов. Как Франция перешагнула через реформацию, так Россия перешагнула через формальную демократию. Русская революционная партия, которой предстояло наложить свою печать на целую эпоху,

искала выражения для задач революции не в библии и не в секуляризованном христианстве «чистой» демократии, а в материальных отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее простое, незамаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло свое осуществление в системе советов, которая, каковы бы ни были ее ближайшие исторические перипетии, так же неискоренимо проникла в сознание масс, как в свое время система реформации или чистой демократии.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ В ВОЙНЕ.

Участие России в войне было противоречиво по мотивам и целям. Кровавая борьба велась по существу за мировое господство. В этом смысле она России была не по плечу. Так называемые военные цели самой России (турецкие проливы, Галиция, Армения) имели провинциальный характер и могли быть разрешены лишь попутно, в зависимости от степени их соответствия интересам решающих участников войны.

В то же время Россия, в качестве великой державы, не могла не участвовать в свалке передовых капиталистических стран, как она не могла, в предшествующую эпоху, не вводить у себя заводы, фабрики, железные дороги, скорострельные ружья и самолеты. Нередкие среди русских историков новейшей школы споры о том, в какой мере царская Россия созрела для современной империалистической политики, впадают сплошь и рядом в схоластику, ибо рассматривают Россию на международной арене изолировано, как самостоятельный фактор. Между тем она являлась лишь звеном системы.

Индия, и по существу и по форме, участвовала в войне, как колония Англии. Вмешательство Китая, в формальном смысле «добровольное», являлось на деле вмешательством раба в драку господ. Участие России проходило где-то посредине между участием Франции и участием Китая. Россия оплачивала таким путем право состоять в союзе с передовыми странами, ввозить капиталы и платить по ним проценты, т. е. по существу свое право быть привиллегированной колонией своих союзников; но в то же время и свое право давить и грабить Турцию, Персию, Галицию, вообще более слабых и отсталых, чем она сама.

Двойственный империализм русской буржуазии имел, в основе своей, характер агентуры других более могущественных мировых сил.

Китайское компрадорство является классическим типом национальной буржуазии, конституированной по типу агентурного посредничества между иностранным финансовым капиталом и хозяйством собственной страны. В мировой иерархии государств Россия занимала до войны значительно более высокое место, чем Китай. Какое место заняла бы она после войны, не будь революции, вопрос другой. Но русское самодержавие, с одной стороны, русская буржуазия, с другой, несли в себе все более ярко выраженные черты компрадорства: они жили и питались связью с иностранным империализмом, служили ему и, не опираясь на него, держаться не могли. Правда, они в конце концов не устояли и при его поддержке. Полукомпрадорская русская буржуазия имела мировые империалистические интересы в том же смысле, в каком работающий с процента агент живет интересами своего хозяина.

Орудием войны является армия. Так как каждая армия в национальной мифологии считается непобедимой, то господствующие классы России не видели основания делать исключение и для царской армии. На деле же она представляла серьезную силу лишь против полуварварских народностей, мелких соседей и разлагающихся государств; на европейской арене могла действовать лишь в составе коалиций; в деле обороны выполняла свою задачу лишь в сочетании с необъятностью пространств, редкостью населения и непроходимостью путей. Виртуозом армии крепостных мужиков был Суворов. Французская революция, распахнувшая двери новому обществу и новому военному искусству, вынесла суворовской армии смертный приговор.

Полуотмена крепостного права и введение всеобщей воинской повинности модернизировали армию в тех же пределах, что и страну, т. е. внесли в армию

все противоречия нации, которой еще только предстояло проделать свою буржуазную революцию. Правда, царская армия строилась и вооружалась по западным образцам; но это касалось больше формы, чем существа. Между культурным уровнем крестьянина-солдата и уровнем военной техники не было соответствия. В командном составе находили свое выражение невежество, ленность и вороватость господствующих классов России. Промышленность и транспорт неизменно обнаруживали свою несостоятельность пред лицом концентрированных запросов военного времени. Вооруженные, казалось бы, в первый день войны, как следует, войска вскоре уже оказывались не только без оружия, но и без сапог. В русско-японской войне царская армия показала, чего она стоит. В эпоху контр-революции монархия, при помощи Думы, пополнила военные склады и наложила на армию множество заплат, в том числе и на репутацию ее непобедимости. В 1914 году пришла новая, гораздо более тяжкая проверка.

В отношении военного снабжения и финансов Россия сразу оказывается во время войны в рабской зависимости от своих союзников. Это есть лишь военное выражение ее общей зависимости от передовых капиталистических стран. Но помощь со стороны союзников не спасает положения. Недостаток боевых припасов, малочисленность заводов для их производства, редкость железно-дорожной сети для их подвоза перевели отсталость России на общепонятный язык поражений, которые напомнили русским национал-либералам, что их предки не совершали буржуазной революции, и что потомки поэтому в долгу перед историей.

Первые дни войны были и первыми днями позора. После ряда частных катастроф разразилось весною 1915 года общее отступление. Свою преступную бездарность генералы вымещали на мирном населении. Громадные пространства насильственно опустошались.

Человеческая саранча угонялась нагайками в тыл. Внешний разгром дополнялся внутренним.

В ответ на тревожные вопросы своих коллег о положении на фронте военный министр генерал Поливанов отвечал дословно: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси» (Заседание 4 августа 1915 г.). Через неделю генерал Рузский признавался тем же министрам: «Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае за немцами нам не угнаться». Это не было минутное настроение. Офицер Станкевич передает слова корпусного инженера: «воевать с немцами безнадежно, ибо мы ничего не в состоянии сделать. Даже новые приемы борьбы превращаются в причины наших неудач». Таких отзывов тьма.

Единственное, что русские генералы делали с размахом, это извлечение человеческого мяса из страны. С говядиной и свининой обращались несравненно экономнее. Серые штабные ничтожества, как Янушкевич при Николае Николаевиче и Алексеев при царе, затыкали все прорехи новыми мобилизациями и утешали себя и союзников колоннами цифр, когда нужны были колонны бойцов. Мобилизовано было около 15 миллионов человек, которые заполняли депо, казармы, этапные пункты, толпились, топтались, наступая друг другу на ноги, ожесточаясь и проклиная. Если для фронта эти человеческие массы были мнимой величиной, то они являлись очень действительным фактором разрухи в тылу. Около $5^1/_2$ миллионов числилось убитыми, ранеными и в плену. Число дезертиров росло. Уже в июле 1915 года министры причитали: «Бедная Россия. Даже ее армия, которая в былые времена наполняла мир громом побед... и та оказывается состоящею из одних только трусов и дезертиров».

Сами министры, в стиле висельников острившие над «генеральскою отступательною храбростью», тра-

тили в то же время часы на обсуждение проблемы: вывозить или не вывозить из Киева мощи? Царь полагал, что не надо, так как «немцы не рискнут их тронуть, а если тронут — тем хуже для немцев». Но Синод уже приступил к вывозу: «Когда мы выезжаем, то берем с собою самое дорогое». Это происходило не в эпоху крестовых походов, а в XX веке, когда известия о русских поражениях передавались по радио.

Успехи России против Австро-Венгрии коренились больше в Австро-Венгрии, чем в России. Распадавшаяся габсбургская монархия давно предъявляла спрос на могильщика, не требуя от него высокой квалификации. Россия и в прошлом имела успех против внутренне разлагавшихся государств, как Турция, Польша или Персия. Юго-Западный фронт русских войск, обращенный против Австро-Венгрии, знал крупные победы, которые выделяли его из других фронтов. Здесь выдвинулось несколько генералов, которые, правда, ничем не доказали своих военных дарований, но не были, по крайней мере, пропитаны насквозь фатализмом неизменно битых военачальников. Из этой среды вышло в дальнейшем несколько белых «героев» гражданской войны.

Все искали, на кого бы свалить вину. Обвиняли поголовно евреев в шпионаже. Громили людей с немецкими фамилиями. Штаб великого князя Николая Николаевича приказал расстрелять жандармского полковника Мясоедова, как немецкого шпиона, которым он, повидимому, не был. Арестовали Сухомлинова, военного министра, пустого и неопрятного человека, обвинив его, может быть и не без основания, в измене. Британский министр иностранных дел Грэй сказал председателю русской парламентской делегации: ваше правительство очень смелое, если решается во время войны обвинить военного министра в измене. Штабы и Дума обвиняли двор в германофильстве. Все вместе завидовали союзникам и ненавидели их. Французское командование щадило свои армии, подставляя русских солдат. Англия раскачивалась медленно. В

гостиных Петрограда и штабах фронта мило шутили: «Англия поклялась держаться до последней капли крови... русского солдата». Эти шуточки ползли вниз и доползали до фронта. «Все для войны!» говорили министры, депутаты, генералы, журналисты. «Да, начинал размышлять в окопе солдат, они все готовы воевать до последней капли... моей крови».

Русская армия потеряла за всю войну убитыми более, чем какая-либо армия, участвовавшая в бойне народов, именно около $2^1/_2$ миллионов душ, или 40% потерь всех армий Антанты. В первые месяцы солдаты гибли под снарядами не рассуждая, или рассуждая мало. Но у них накоплялся со дня на день опыт, горький опыт низов, которыми не умеют командовать. Они измеряли масштаб генеральской путаницы бесцельными передвижениями на отстающих подошвах и числом несъеденных обедов. От кровавой мешанины людей и вещей исходило обобщающее слово: бессмыслица, которое на солдатском языке заменялось другим более сочным словом.

Быстрее всего разлагалась крестьянская пехота. Артиллерия, с высоким процентом промышленных рабочих, отличается, вообще, несравненно большей восприимчивостью к революционным идеям: это ярко сказалось в 1905 году. Если в 1917 артиллерия, наоборот, обнаружила больший консерватизм, чем пехота, то причина в том, что чрез пехотные части, как чрез решето, проходили все новые и все менее обработанные человеческие массы; артиллерия же, несшая неизмеримо меньше потерь, сохраняла старые кадры. То же наблюдалось и в других специальных войсках. Но в конце концов сдавала и артиллерия.

Во время отступления из Галиции издан был секретный приказ верховного главнокомандующего: пороть солдат розгами за дезертирство и другие преступления. Солдат Пирейко рассказывает: «Стали пороть солдат розгами за самый мельчайший проступок, например, за самовольную отлучку из части на несколько часов, а иногда просто пороли для того,

чтобы розгами поднять воинский дух». Уже 17 сентября 1915 года Куропаткин записывал, ссылаясь на Гучкова: «нижние чины начали войну с подъемом. Теперь утомлены и от постоянного отступления потеряли веру в победу». В это же приблизительно время министр внутренних дел отзывался о находящихся в Москве 30 000 выздоравливающих солдат: «это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, вступающая в стычки с городовыми (недавно один был убит солдатами), отбивающая арестованных и т. д. Несомненно, что, в случае беспорядков, вся эта орда встанет на сторону толпы». Тот же солдат Пирейко пишет: «Все поголовно интересовались только миром... Кто победит, и какой будет мир, — это меньше всего интересовало армию: ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны».

Наблюдательная женщина С. Федорченко подслушала, в качестве сестры милосердия, разговоры солдат, почти-что мысли их, и умело записала на разрозненных страничках. Получившаяся таким путем небольшая книжка «Народ на войне» позволяет заглянуть в ту лабораторию, где бомбы, колючая проволока, удушливые газы и низость властей обрабатывали в течение долгих месяцев сознание нескольких миллионов русских крестьян, и где наряду с человеческими костями хрустели вековые предрассудки. Во многих самодельных солдатских афоризмах заключались уже лозунги грядущей гражданской войны.

Генерал Рузский жаловался в декабре 1916 г., что Рига — несчастье Северного фронта. Это «распропагандированное гнездо», как и Двинск. Генерал Брусилов подтверждал: из рижского района части прибывали деморализованными, солдаты отказывались итти в атаку, одного ротного подняли на штыки, пришлось расстрелять несколько человек, и пр. «Почва для окончательного разложения армии имелась налицо задолго до переворота», признает Родзянко, связанный с офицерством и посещавший фронт.

Первоначально разрозненные революционные элементы тонули в армии почти бесследно. Но по мере роста общего недовольства они всплывали. Отправка на фронт, в виде кары, рабочих-забастовщиков пополняла ряды агитаторов, а отступления создавали для них благоприятную аудиторию. «Армия в тылу и в особенности на фронте, — доносит охранка, — полна элементами, из которых одни способны стать активной силой восстания, а другие могут лишь отказаться от усмирительных действий»... Петроградское губернское жандармское управление доносит в октябре 1916 года, на основании доклада уполномоченного земского союза, что настроение в армии тревожное, отношения между офицерами и солдатами крайне натянутые, имеют место даже кровавые столкновения, повсюду тысячами встречаются дезертиры. «Всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск». Из осторожности доклад прибавляет, что хотя многое в этих сообщениях и кажется мало вероятным, однако, приходится верить, так как многие врачи, вернувшиеся из действующей армии, делали сообщения в том же духе.

Настроения тыла отвечали настроениям фронта. На конференции кадетской партии в октябре 1916 г. большинство делегатов отмечало апатию и неверие в победоносный исход войны — «во всех слоях населения, в особенности же в деревне и в среде городской бедноты». 30 октября 1916 года директор департамента полиции писал в сводке донесений о «наблюдаемом повсеместно и во всех слоях населения как бы утомлении войной и жажде скорейшего мира, безразлично, на каких бы условиях таковой ни был заключен»...

Через несколько месяцев все эти господа, депутаты и полицейские, генералы и земские уполномоченные, врачи и бывшие жандармы, будут одинаково утверждать, что революция убила в армии патриотизм, и что верную победу вырвали у них из рук большевики.

* * *

Корифеями в хоре воинствующего патриотизма выступали без сомнения конституционалисты-демократы (кадеты). Разорвав свои проблематические связи с революцией еще в конце 1905 года, либерализм с начала контр-революциии поднял знамя империализма. Одно вытекало из другого: раз нет возможности очистить страну от феодального хлама, чтоб обеспечить буржуазии господствующее положение, остается заключить союз с монархией и дворянством, чтоб обеспечить капиталу лучшее положение на мировой арене. Если верно, что мировую катастрофу готовили с разных концов, так что она явилась, до некоторой степени, неожиданной даже для наиболее ответственных ее организаторов, то столь же несомненно, что в подготовке ее русский либерализм, как вдохновитель внешней политики монархии, занимал не последнее место. Войну 1914 года вожди русской буржуазии с полным правом встретили, как свою войну. В торжественном заседании Государственной думы 26 июля 1914 года представитель кадетской фракции заявил: «мы не ставим условий и требований, мы просто кладем на весы твердую волю одолеть противника». Национальное единение стало и в России оффициальной доктриной. Во время патриотических манифестаций в Москве оберцеремониймейстер граф Бенкендорф заявил дипломатам: «Вот вам революция, которую нам предсказывали в Берлине!». «Подобная мысль, — поясняет французский посол Палеолог, — повидимому захватывает всех». Люди считали своим долгом питать и сеять иллюзии в обстановке, которая, казалось бы, начисто их исключала.

Отрезвляющих уроков пришлось ждать не долго. Уже вскоре после начала войны один из наиболее экспансивных кадетов, адвокат и помещик Родичев, воскликнул в заседании Центрального комитета своей партии: «Да неужели вы думаете, что с этими дура-

ками можно победить!» События показали, что с дураками победить нельзя. Потеряв, на добрую половину, веру в победу, либерализм пытался использовать инерцию войны для того, чтобы произвести чистку камарильи и принудить монархию к соглашению. Главным орудием для этой цели служило обвинение придворной партии в германофильстве и подготовке сепаратного мира.

Весной 1915 г., когда безоружные войска отступали по всему фронту, в правительственных сферах решено было, не без давления союзников, привлечь инициативу частной промышленности к работе на армию. Созданное с этой целью Особое совещание включало, наряду с бюрократами, наиболее влиятельных промышленных деятелей. Земский и городской союзы, возникшие в начале войны, и военно-промышленные комитеты, созданные весною 1915 г., стали опорными позициями буржуазии в борьбе за победу и за власть. Государственная дума, опираясь на эти организации, должна была увереннее выступать, как посредница между буржуазией и монархией.

Широкие политические перспективы не отвлекали, однако, взоров от полновесных задач дня. Из Особого совещания, как из центрального резервуара, десятки и сотни миллионов, слагавшихся в миллиарды, распределялись по разветвленным каналам, обильно орошая промышленность и питая по пути множество аппетитов. В Государственной думе и в печати оглашались некоторые военные прибыли за 1915—16 г.; товарищество московских либеральных текстильщиков Рябушинских показало 75% чистой прибыли; тверская мануфактура — даже 111%; меднопрокатный завод Кольчугина принес свыше 12 милл. при основном капитале в 10 миллионов. В этом секторе добродетель патриотизма награждалась щедро и, притом, немедленно.

Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кро-

вавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915—1916 годов, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радостей жизни. Великие князья были не последними из участников пира во время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. «Общество» подставляло руки и карманы, аристократические дамы высоко поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи — банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира.

Общие барыши, внешние поражения, внутренние опасности сблизили между собою партии имущих классов. Разъединенная накануне войны Дума получила в 1915 году свое патриотически-оппозиционное большинство, принявшее название «прогрессивного блока». Официальной целью его было объявлено, разумеется, «удовлетворение нужд, вызванных войною». Слева не вошли в блок социалдемократы и трудовики, справа — заведомо черносотенные группировки. Все остальные фракции Думы: кадеты, прогрессисты, три группы октябристов, центр и часть националистов, входили в блок или примыкали к нему, как и национальные группы: поляки, литовцы, мусульмане, евреи и пр. Чтоб не испугать царя формулой ответственного министерства, блок требовал «объединенного правитель-

ства из лиц, пользующихся доверием страны». Министр внутренних дел князь Щербатов тогда же охарактеризовал прогрессивный блок, как временное «объединение, вызванное опасениями социальной революции». Чтоб понять это, не нужно было, впрочем, большой проницательности. Милюков, возглавлявший кадетов, а тем самым и оппозиционный блок, говорил на конференции своей партии: «Мы ходим по вулкану... Напряжение достигло последнего предела... Достаточно неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар... Какова бы ни была власть,— худа или хороша, — но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо».

Надежда на то, что царь под тяжестью поражений пойдет на уступки, была так велика, что в либеральной печати появился в августе готовый список предполагаемого «кабинета доверия», с председателем Думы Родзянко, в качестве премьера (по другой версии на эту роль намечался председатель Земского союза князь Львов), с министром внутренних дел — Гучковым, иностранных дел — Милюковым и т. д. Большинство этих лиц, предназначавших себя для союза с царем против революции, оказались через полтора года членами «революционного» правительства. Такие выходки история позволяла себе не раз. На этот раз шутка оказалась, по крайней мере, короткой.

Большинство министров кабинета Горемыкина было не менее кадет запугано ходом дел и потому склонялось к соглашению с прогрессивным блоком. «Правительство, которое не имеет за собою доверия ни носителя верховной власти, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, — не может не только работать, но и существовать. Это очевидный абсурд». Такими словами князь Щербатов оценивал в августе 1915 года то правительство, в котором он сам состоял министром внутренних дел. «Если только обставить все прилично и дать лазейку, — говорил министр иностранных дел Сазонов, — то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков —

величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы». С своей стороны, и Милюков считал, что прогрессивному блоку придется «кое в чем поступиться». Торговаться готовы были, следовательно, обе стороны, и дело казалось совсем на мази. Но 29 августа премьер Горемыкин, отягощенный годами и почестями бюрократ, старый циник, делавший политику меж двух гранпасиансов и отговаривавшийся от всяких жалоб тем, что война его «не касается», выехал в ставку к царю с докладом и вернулся с сообщением, что все и вся должны оставаться на месте, кроме строптивой Думы, которая должна быть распущена 3-го сентября. Чтение царского указа о роспуске Думы было выслушано без единого слова протеста: депутаты прокричали царю «ура» и разошлись.

Каким же образом царское правительство, ни на кого, по собственному признанию, не опиравшееся, продержалось после этого еще свыше полутора лет? Временные успехи русских войск оказали несомненно свое действие, подкрепленное действием благодатного золотого дождя. Успехи на фронте, правда, скоро прекратились, но прибыли в тылу продолжались. Однако, главная причина упрочения монархии за двенадцать месяцев до ее низвержения коренилась в резкой дифференциации народного недовольства. Начальник московского охранного отделения доносил о поправении буржуазии под влиянием «страха пред возможностью революционных, после войны, эксцессов»: во время войны, как видим, революция все еще считалась исключенной. Промышленников тревожило, сверх того, «заигрывание некоторых руководителей военно-промышленных комитетов с пролетариатом». Общий вывод жандармского полковника Мартынова, для которого не бесследно прошло профессиональное чтение марксистской литературы, гласил, что причиной некоторого улучшения политической обстановки является «все более и более прогрессирующая дифференциация общественных классов, вскрывающая резкие

противоречия в их интересах, особенно остро чувствуемые в переживаемое время».

Роспуск Думы в сентябре 1915 года был прямым вызовом буржуазии, а не рабочим. Но в то время, как либералы расходились при криках «ура», правда, не очень восторженных, рабочие Петрограда и Москвы ответили стачками протеста. Это еще более охладило либералов: они пуще всего боялись вмешательства непрошенного третьего в их семейный диалог с монархией. Но что делать дальше? Под легкое ворчанье левого крыла либерализм остановил свой выбор на испытанном рецепте: стоять исключительно на легальной почве и сделать бюрократию «как бы ненужной» путем выполнения патриотических функций. Список либерального министерства пришлось во всяком случае отложить.

Положение тем временем ухудшалось автоматически. В мае 1916 г. Дума была снова собрана, но никто собственно не знал, зачем. Призывать к революции Дума во всяком случае не собиралась. А кроме этого ей нечего было сказать. «В этой сессии — вспоминает Родзянко — занятия шли вяло, депутаты неисправно посещали заседания... Постоянная борьба казалась бесплодной, правительство ничего не хотело слушать, неурядица росла, и страна шла к гибели». В страхе буржуазии перед революцией и в бессилии буржуазии без революции монархия почерпала в течение 1916 г. подобие общественной опоры.

К осени положение еще более обострилось. Безнадежность войны стала очевидной для всех, возмущение народных масс грозило вот-вот перелиться через край. Атакуя по прежнему дворцовую партию за «германофильство», либералы считали в то же время необходимым прощупать шансы мира, подготовляя свой завтрашний день. Только так и объясняются стокгольмские переговоры одного из вождей прогрессивного блока, депутата Протопопова, с немецким дипломатом Варбургом в Стокгольме осенью 1916 года. Думская делегация, нанесшая дружествен-

ные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники намерены во время войны выжать из России все жизненные соки, чтоб после победы сделать отсталую страну главным полем своей экономической эксплоатации. Разбитая Россия на буксире победоносной Антанты означала бы колониальную Россию. Русским имущим классам не оставалось иного выхода, как попытаться высвободиться из слишком тесных объятий Антанты и найти самостоятельный путь к миру, использовав антагонизм двух могущественных лагерей. Свидание председателя думской делегации с немецким дипломатом, как первый шаг на этом пути, означало и угрозу по адресу союзников, с целью добиться уступок, и прощупывание действительной возможности сближения с Германией. Протопопов действовал в согласии не только с царской дипломатией, — самое свидание происходило в присутствии русского посла в Швеции, — но и со всей делегацией Государственной думы. Попутно либералы преследовали этой разведкой немаловажную внутреннюю цель: положись на нас, — намекали они царю, — и мы тебе устроим сепаратный мир лучше и надежнее Штюрмера. По плану Протопопова, т. е. его вдохновителей, русское правительство должно было известить союзников «за несколько месяцев вперед», что вынуждено прекратить войну, причем, еслибы союзники отказались от ведения мирных переговоров, Россия должна была заключить сепаратный мир с Германией. В своей исповеди, написанной уже после революции, Протопопов говорит, как о чем-то само собою разумеющемся: «Все разумные люди в России, в числе их едва-ли не все лидеры партии «народной свободы» (ка-де), были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну».

Царь, которому Протопопов по возвращении докладывал о поездке и переговорах, отнесся к идее сепаратного мира с полным сочувствием. Он только не видел оснований привлекать к этому делу либе-

ралов. То, что сам Протопопов мимоходом включился в состав дворцовой камарильи, порвав с прогрессивным блоком, объясняется личным характером этого фата, влюбившегося, по собственным словам, в царя и царицу и заодно — в неожиданный портфель министра внутренних дел. Но эпизод протопоповской измены либерализму нисколько не меняет общего смысла либеральной внешней политики, как сочетания жадности, трусости и вероломства.

1-го ноября снова собралась Дума. Напряжение в стране стало невыносимым. От Думы ждали решительных шагов. Надо было что-нибудь сделать или, по крайней мере, сказать. Прогрессивный блок снова оказался вынужден прибегнуть к парламентским облачениям. Перечисляя с трибуны главнейшие шаги правительства, Милюков каждый раз спрашивал: «глупость это или измена?» Высокие ноты взяты были и другими депутатами. Правительство почти не нашло защитников. Оно ответило по своему: речи думских ораторов были запрещены для печати. Они разошлись поэтому в миллионах экземпляров. Не было правительственной канцелярии не только в тылу, но и на фронте, где не переписывались бы запретные речи, нередко с дополнениями, отвечавшими темпераменту переписчика. Резонанс прений 1-го ноября была таков, что обдал жутью самих обличителей.

Группа крайних правых, матерых бюрократов, вдохновлявшихся Дурново, усмирителем революции 1905 года, подала в этот момент царю программную записку. Глаз многоопытных сановников, прошедших серьезную полицейскую школу, видел кое-что не плохо и достаточно далеко, и если их рецептура была негодной, то лишь потому, что против болезней старого режима вообще не существовало лекарства. Авторы записки выступали против каких бы то ни было уступок буржуазной оппозиции, не потому, что либералы захотят зайти слишком далеко, как думают вульгарные черносотенцы, на которых сановные реакционеры глядели свысока, — нет, беда в том, что либералы «столь

слабы, столь разрознены и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». Слабость главной из оппозиционнных партий, «конституционно-демократической» (кадетской) определяется уже ее именем: она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазна; будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли. «Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, — пишут тайные советники, пользуясь привычными им образами, — кадеты есть не более, как многочисленное сообщество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств — ничего более». Иное дело — революционеры. Признание значительности революционных партий записка сопровождает скрежетом зубов: «Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги(!), есть толпа, готовая и хорошо организованная». Революционные партии «вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетарием тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю». Что дало бы при этих условиях установление ответственного министерства? «Полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая по началу и получила бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь... А затем? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник». Нельзя отрицать, что реакционно-полицейская злоба поднимается здесь до своеобразного исторического предвиденья.

Положительная программа записки не нова, но последовательна: правительство из беспощадных сторонников самодержавия; упразднение Думы; осадное положение в обеих столицах; подготовка сил для подавления мятежа. Эта программа и была в сущности

положена в основу правительственной политики последних предреволюционных месяцев. Но успех ее предполагал силу, которая оказалась в руках Дурново зимою 1905 года, но которой уже не существовало осенью 1917 года. Монархия пыталась, поэтому, задушить страну украдкой и по частям. Министерство было обновлено по принципу «своих» людей, безусловно преданных царю и царице. Но эти «свои», и прежде всего перебежчик Протопопов, были ничтожны и жалки. Дума не была упразднена, но снова распущена. Объявление осадного положения в Петрограде было прибережено для того момента, когда революция уже одержала победу. А военные силы, подготовленные для подавления мятежа, оказались сами охвачены мятежом. Все это обнаружилось уже через два-три месяца.

Либерализм тем временем делал последние усилия спасти положение. Все организации цензовой буржуазии поддержали ноябрьские речи думской оппозиции рядом новых заявлений. Самой дерзкой явилась резолюция союза городов 9 декабря: «Безответственные преступники, изуверы, готовят России поражение, позор и рабство». Государственная дума призывалась «не расходиться до тех пор, пока создание ответственного правительства не будет достигнуто». Даже Государственный совет, орган бюрократии и крупной собственности, высказался за призыв к власти лиц, пользующихся доверием страны. Подобное же ходатайство возбудил и съезд объединенного дворянства: заговорили покрытые мохом камни. Но ничто не изменилось. Монархия не выпускала остатков власти из рук.

Последняя сессия последней Думы, после колебаний и проволочек, была назначена на 14 февраля 1917 года. До пришествия революции оставалось меньше двух недель. Ждали демонстраций. В кадетском органе «Речь», рядом с объявлением начальника петроградского военного округа генерала Хабалова, запрещавшим демонстрации, напечатано было письмо

Милюкова, предостерегавшее рабочих против «дурных и опасных советов», исходящих из «темного источника». Несмотря на стачки, открытие Думы обошлось сравнительно спокойно. Делая вид, что вопрос о власти ее больше не интересует, Дума занялась хоть и острым, но чисто деловым вопросом: продовольствием. Настроение было вялое, — вспоминал впоследствии Родзянко, — «чувствовалось бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе». Милюков повторял, что прогрессивный блок «будет действовать словом и только словом». Такою Дума вступила в водоворот Февральской революции.

ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО.

Русский пролетариат проделывал свои первые шаги в политических условиях деспотического государства. Запрещенные законом стачки, подпольные кружки, нелегальные прокламации, уличные демонстрации, столкновения с полицией и войсками, — такова была школа, созданная сочетанием условий быстро развивающегося капитализма и медленно сдающего свои позиции абсолютизма. Сосредоточенность рабочих на гигантских предприятиях, концентрированный характер государственного гнета, наконец, импульсивность молодого и свежего пролетариата привели к тому, что политическая стачка, столь редкая на Западе, стала в России основным методом борьбы.

Годы	Число участн. политич. стачек (в тысячах)
1903	87*)
1904	25*)
1905	1.843
1906	651
1907	540
1908	93
1909	8
1910	4
1911	8
1912	550
1913	502
1914 (первая половина)	1.059
1915	156
1916	310
1917 (январь-февраль)	575

*) За 1903 и 1904 г. г. данные относятся ко всем вообще стачкам, при несомненном преобладании экономических.

Цифры рабочих стачек, с начала нынешнего столетия, являются наиболее поучительными индексами политической истории России. При всем желании не загромождать текст цифрами, невозможно отказаться от приведения таблицы политических стачек в России за период 1903-1917 годов. Данные, сведенные к своему простейшему выражению, относятся только к предприятиям, подчиненным фабричной инспекции; железные дороги, горно-заводская промышленнось, ремесленные и вообще мелкие предприятия, не говоря уже о сельском хозяйстве, по разным причинам не входят в подсчет. Но изменения стачечной кривой по периодам выступают от этого не менее отчетливо.

Пред нами единственная в своем роде кривая политической температуры нации, несущей в своем чреве великую революцию. В отсталой стране, с малочисленным пролетариатом — в предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, около $1^1/_2$ миллионов рабочих в 1905 году, около 2 миллионов — в 1917 году! — стачечное движение получает такой размах, какого оно не знало раньше нигде в мире. При слабости мелкобуржуазной демократии, при раздробленности и политической слепоте крестьянского движения, революционная стачка рабочих становится тараном, который пробуждающаяся нация направляет против стены абсолютизма. 1.843.000 участников в политических стачках одного 1905 года — рабочие, участвовавшие в нескольких стачках, засчитаны здесь, разумеется, повторно, — одно это число позволило бы нам указать пальцем в таблице год революции, еслиб мы ничего больше не знали о политическом календаре России.

За 1904-ый год, первый год русско-японской войны, фабричная инспекция показала всего лишь 25 тысяч стачечников. В 1905 году политических и экономических стачечников вместе было 2.863 тысячи, в 115 раз больше, чем в предшествующем году. Этот поразительный скачек сам по себе наводит на ту мысль, что пролетариат, вынужденный ходом событий импровизировать такую небывалую революционную

активность, должен был, какой угодно ценою, выдвинуть из своих недр организацию, отвечающую размаху борьбы и грандиозности задач: это и были советы, рожденные первой революцией и ставшие органами всеобщей стачки и борьбы за власть.

Разбитый в декабрьском восстании 1905 года пролетариат делает героические усилия отстоять часть завоеванных позиций в течение двух следующих годов, которые, как показывают цифры стачек, еще непосредственно примыкают к революции, являясь, однако, уже годами отлива. Четыре дальнейших года (1908-1911) выступают в зеркале стачечной статистики, как годы победоносной контр-революции. Совпадающий с ней промышленный кризис еще больше истощает и без того обескровленный пролетариат. Глубина упадка симметрична высоте подъема. Конвульсии нации находят свой отпечаток в этих простых цифрах.

Промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на ноги и дает новый толчок их энергии. Цифры 1912-1914 годов почти повторяют данные 1905-1907 годов, но в обратном порядке: не от подъема к упадку, а от упадка к подъему. На новых более высоких исторических основах — теперь больше рабочих, и у них больше опыта, — открывается новое революционное наступление. Первое полугодие 1914 года явно приближается по числу политических стачечников к кульминационному году первой революции. Но разражается война и круто обрывает этот процесс. Первые ее месяцы запечатлены политической неподвижностью рабочего класса. Но уже весною 1915-го года оцепенение начинает проходить. Открывается новый цикл политических стачек, который в феврале 1917 года разрешается восстанием рабочих и солдат.

Резкие приливы и отливы массовой борьбы делали русский пролетариат на протяжении нескольких лет как бы неузнаваемым. Заводы, которые два-три года тому назад единодушно бастовали по поводу какого-

либо отдельного акта полицейского произвола, сегодня совершенно теряли революционный облик и оставляли без отпора самые чудовищные преступления властей. Большие поражения обескураживают надолго. Революционные элементы теряют власть над массой. В ее сознаньи поднимаются наверх неперегоревшие предрассудки и суеверия. Серые выходцы деревни разбавляют тем временем рабочие ряды. Скептики иронически покачивают головами. Так было в 1907-11 годах. Но молекулярные процессы в массах залечивают психические раны поражений. Новый поворот событий или подспудный экономический толчок открывает новый политический цикл. Революционные элементы снова находят свою аудиторию. Борьба возрождается на более высокой ступени.

Для понимания двух главных течений в русском рабочем классе, важно иметь в виду, что меньшевизм окончательно оформился в годы реакции и отлива, опираясь главным образом на тонкий слой рабочих, порвавших с революцией; тогда как большевизм, жестоко разгромленный в период реакции, стал быстро подниматься в годы перед войной на гребне нового революционного прибоя. «Наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина», — такими словами оценивал департамент полиции работу большевиков за годы, предшествовавшие войне.

В июле 1914 года, когда дипломаты вбивали последние гвозди в крест, предназначенный для распятия Европы, Петроград кипел революционным котлом. Возлагать венок на гробницу Александра III президенту французской республики Пуанкарэ пришлось под последние отголоски уличной борьбы и первые звуки патриотических манифестаций.

Привело ли бы наступательное массовое движение 1912-1914 годов непосредственно к низвержению царизма, еслиб не врезалась война? Ответить на этот

вопрос вряд-ли возможно с полной уверенностью. Процесс неотвратимо вел к революции. Но через какие этапы пришлось бы при этом пройти? Не подстерегало ли его еще одно поражение? Какой срок понадобился бы рабочим, чтоб поднять крестьян и завоевать армию? Во всех этих направлениях возможны только догадки. Война, во всяком случае, первоначально дала процессу задний ход, чтоб тем более мощно ускорить его на следующей стадии и обеспечить ему сокрушительную победу.

При первом звуке барабана революционное движение замерло. Наиболее активные слои рабочих оказались мобилизованы. Революционные элементы выбрасывались с заводов на фронт. За стачки налагались суровые кары. Рабочая печать была сметена. Профессиональные союзы задушены. В мастерские вливались сотни тысяч женщин, подростков, крестьян. Политически война, в сочетании с крушением Интернационала, чрезвычайно дезориентировала массы и дала возможность поднявшей голову заводской администрации выступать патриотически от имени заводов, увлекая за собой значительную часть рабочих и заставляя выжидательно замкнуться наиболее смелых и решительных. Революционная мысль чуть теплилась в небольших и притихших кружках. Назвать себя «большевиком» в это время никто на заводах не отваживался, чтоб не подвергнуться аресту, а то и побоям со стороны отсталых рабочих.

Большевистская фракция в Думе, слабая по личному составу, оказалась в момент возникновения войны не на высоте. Вместе с депутатами-меньшевиками она внесла декларацию, в которой обязывалась «защищать культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили». Дума апплодисментами подчеркнула эту сдачу позиции. Из русских организаций и групп партии ни одна не заняла открыто пораженческой позиции, которую заграницей провозгласил Ленин. Однако, процент патриотов среди большевиков оказался незначительным. В противовес

народникам и меньшевикам, большевики уже с 1914 года стали разворачивать в массах печатную и устную агитацию против войны. Думские депутаты вскоре оправились от растерянности и возобновили революционную работу, о которой власти были очень близко осведомлены, благодаря разветвленной системе провокации. Достаточно сказать, что из семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли на службе охранки. Так царизм играл в жмурки с революцией. В ноябре депутаты-большевики были арестованы. Начался общий разгром партии во всей стране. В феврале 1915 года дело фракции слушалось в судебной палате. Депутаты держали себя с осторожностью. Каменев, теоретический вдохновитель фракции, отмежевался от пораженческой позиции Ленина, как и Петровский, нынешний председатель Центрального Исполнительного комитета на Украине. Департамент полиции с удовлетворением отмечал, что суровый приговор над депутатами не вызвал никакого протестующего движения со стороны рабочих.

Казалось, что война подменила рабочий класс. Так оно в значительной мере и было: в Петрограде состав рабочих обновился чуть не на 40%. Революционная преемственность резко нарушилась. То, что было до войны, в том числе и думская фракция большевиков, сразу отошло назад и почти потонуло в забвеньи. Но под ненадежным покровом спокойствия, патриотизма, отчасти даже монархизма, в массах накоплялись настроения нового взрыва.

В августе 1915 года царские министры сообщали друг другу, что рабочие «повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев и увлечены исканием виновников наших неудач на фронте». Действительно, в этот период пробуждающаяся массовая критика, отчасти — искренно, отчасти — ради покровительственной окраски, исходила нередко из «обороны отечества». Но эта идея была только точкой отправления. Недовольство рабочих пролагает себе все более глубокие ходы, заставляя умолкнуть мастеров, черно-

сотенных рабочих, прислужников администрации и позволяя поднять голову рабочим-большевикам.

От критики массы переходят к действию. Возмущение находит себе выход прежде всего в продовольственных волнениях, которые кое-где принимают форму локальных мятежей. Женщины, старики, подростки чувствуют себя на рынке или на площади независимее и смелее, чем военно-обязанные рабочие на заводах. В Москве движение выливается в мае в немецкий погром. Хотя участниками его являются главным образом городские отбросы, орудующие под протекторатом полиции, однако, самая возможность погрома в промышленной Москве свидетельствует о том, что рабочие еще не пробудились настолько, чтоб навязать свои лозунги и свою дисциплину выбитому из равновесия мелкому городскому люду. Распространяясь по всей стране, продовольственные волнения разрушают гипноз войны и пролагают дорогу стачкам.

Прилив сырой рабочей силы на заводы и жадная погоня за военными барышами повели за собой повсеместно ухудшение условий труда и возродили наиболее грубые приемы эксплоатациии. Рост дороговизны автоматически снижал заработную плату. Экономические стачки явились неизбежным рефлексом массы, тем более бурным, чем дольше он задерживался. Стачки сопровождались митингами, вынесением политических резолюций, стычками с полицией, нередко стрельбой и жертвами.

Борьба охватывает прежде всего центральный текстильный район. 5 июня полиция дает залп по ткачам в Костроме: 4 убитых, 9 раненых. 10 августа войска расстреливают иваново-вознесенских рабочих: 16 убитых, 30 раненых. В движении текстильщиков замешаны солдаты местного батальона. Стачки протеста откликаются в разных частях страны на расстрел в Иваново-Вознесенске. Параллельно разливается экономическая борьба. Текстильщики идут нередко в первых рядах.

По сравнению с первой половиной 1914 года дви-

жение, по силе напора и ясности лозунгов, представляет большой шаг назад. Не мудрено: в борьбу втягиваются в значительной мере сырые массы, при полном расстройстве руководящего слоя рабочих. Тем не менее уже в первых стачках войны слышится приближение больших боев. Министр юстиции Хвостов говорил 16 августа: «Если сейчас не происходит вооруженных выступлений рабочих, то исключительно потому, что у них нет организации». Еще точнее выразился Горемыкин: «Вопрос у рабочих вожаков в недостатке организации, разбитой арестом пяти членов Думы». Министр внутренних дел добавил: «Членов Думы (большевиков) амнистировать нельзя — они организующий центр рабочего движения в наиболее опасных его проявлениях». Эти люди во всяком случае не ошибались насчет того, где подлинный враг.

В то время, как министерство, даже в момент величайшего замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало необходимым по прежнему бить рабочую революцию по голове, т. е. по большевикам, крупная буржуазия стремилась наладить сотрудничество с меньшевиками. Испуганные размахом стачек либеральные промышленники сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, включив их выборных представителей в состав военно-промышленных комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затеи Гучкова бороться очень трудно: «все это дело ведется под патриотическим флагом и во имя интересов обороны». Нужно, однако, отметить, что и сама полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных союзников по борьбе против стачек и революционных «эксцессов». На излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось убеждение охраны в том, что пока длится война, восстания не будет.

При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, возглавлявшиеся энергичным рабочим-металлистом Гвоздевым, — мы встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве револю-

ции, — оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократии, чтоб опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать петербургскому пролетариату представительство в органах промышленного патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какою один из их представителей обратился впоследствии к промышленникам в комитете: «Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая бюрократическая власть сошла со сцены, уступив свое место вам, как наследникам настоящего строя». Молодая политическая дружба росла не по дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды.

Война произвела в подполье ужасающие опустошения. Централизованной партийной организации, после ареста думской фракции, у большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не всегда имели связь с районами. Действовали разрозненные группы, кружки, одиночки. Однако, начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на заводах духу и силы. Постепенно они находили друг друга, создавая районные связи. Работа в подполье возродилась. В департаменте полиции писали позже: «ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социалдемократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах (как-то: Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губ., Самара) значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики, причем эта работа имела своим осязательным результатом устройство рабочими забастовок и беспорядков».

Традиционная годовщина шествия рабочих к Зимнему дворцу, прошедшая почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 января 1916 года. Забастовочное движение возростает в этом году вдвое.

Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт.

Военная промышленность разбухала, пожирая вокруг себя все рессурсы и подкапываясь под свои собственные основы. Мирные отрасли производства начали замирать. Из регулирования хозяйства, несмотря на все планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои руки, при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии. Хаос возрастал. Умелые рабочие заменялись неумелыми. Угольные копи, заводы и фабрики Польши скоро оказались потеряны: в течение первого года войны отпало около $^1/_6$ части промышленных сил страны. До 50% всей продукции шло на нужды армии и войны, в том числе около 75% производимых в стране тканей. Перегруженный транспорт оказывался не в силах доставлять заводам необходимые количества топлива и сырья. Война не только поглощала весь текущий национальный доход, но и серьезно приступила к расточению основного капитала страны.

Промышленники все меньше шли на уступки рабочим, а правительство по прежнему отвечало на каждую стачку суровыми репрессиями. Все это толкало мысль рабочих от частного к общему, от экономики к политике: «Надо забастовать всем сразу». Так возрождается идея всеобщей стачки. Процесс радикализации масс как нельзя убедительнее отражен стачечной статистикой. В 1915 г. в политических стачках участвует в $2^1/_2$ раза меньше рабочих, чем в экономических конфликтах, в 1916 г. — в два раза меньше; в первые два месяца 1917 года политические стачки захватывают уже в шесть раз больше рабочих, чем экономические. Роль Петрограда определяется одной цифрой: за годы войны на его долю приходится 72% политических стачечников!

В огне борьбы сгорает немало старых верований. Охранка «с болью» доносит, что еслибы реагировать, согласно требованиям закона, на «все случаи наглого и открытого оскорбления величества, то число процессов по 103 статье достигло бы небывалой цифры». Однако, сознание масс отстает все же от их собственного движения. Страшное давление войны и разрухи до такой степени ускоряет процесс борьбы, что широкие массы рабочих не успевают до самого переворота освободиться от многих взглядов и предрассудков, принесенных из деревни или из мелко-буржуазных городских семей. Этот факт наложит свою печать на первые месяцы февральской революции.

К концу 1916 г. цены растут скачками. К инфляции и расстройству транспорта присоединяется прямой недостаток товаров. Потребление населения сократилось к этому времени более, чем на половину. Кривая рабочего движения круто поднимается кверху. С октября борьба входит в решительную стадию, соединяя все виды недовольства воедино: Петроград берет разбег для февральского прыжка. По заводам прокатывается полоса митингов. Темы: продовольствие, дороговизна, война, правительство. Распространяются большевистские листки. Открываются политические стачки. По выходе с заводов происходят импровизированные демонстрации. Наблюдаются случаи братанья отдельных заводов с солдатами. Вспыхивает бурная стачка протеста против суда над революционными матросами балтийского флота. Французский посол обращает внимание премьера Штюрмера на ставший ему известным факт стрельбы солдат по полиции. Штюрмер успокаивает посла: «репрессия будет беспощадная». В ноябре значительную группу военнообязанных рабочих снимают с петроградских заводов для отправки на фронт. Год заканчивается в грозе и буре.

Сравнивая положение с 1905 годом, директор департамента полиции Васильев приходит к крайне неутешительному выводу: «оппозиционность настроений

достигла таких исключительных размеров, до которых она далеко не доходила в широких массах в упомянутый смутный период». Васильев не надеется на гарнизоны. Даже полицейские стражники кажутся ему не вполне надежными. Охранка доносит об оживлении лозунга всеобщей стачки и об опасности возрождения террора. Прибывающие с позиций солдаты и офицеры говорят про нынешнее положение: «Да чего смотреть-то, — взять да приколоть такого-то мерзавца. Будь мы здесь, мы не стали бы долго думать», и т. п.

Шляпников, член Центрального комитета большевиков, сам бывший рабочий-металлист, рассказывает, как нервно были настроены рабочие в те дни: «достаточно было иногда свиста, некоторого шума, чтобы рабочие приняли его за сигнал к остановке предприятия». Эта подробность одинаково замечательна и как политический симптом и как психологический штрих: революция уже сидит в нервах, прежде чем выходит на улицу.

Провинция проходит через те же этапы, только медленнее. Рост массовидности движения и его боевого духа передвигает центр тяжести от текстильщиков к металлистам, от экономических стачек — к политическим, от провинции — к Петрограду. Первые два месяца 1917 года дают 575 000 политических стачечников, из них львиная доля приходится на столицу. Несмотря на новый разгром, произведенный полицией накануне 9-го января, в столице бастовало в день кровавой годовщины 150 000 рабочих. Настроение напряженное, металлисты впереди, рабочие все больше чувствуют, что отступления нет. На каждом заводе выделяется активное ядро, чаще всего вокруг большевиков. Забастовки и митинги идут непрерывно в течение первых двух недель февраля. 8-го на Путиловском заводе полицейские подверглись «граду железных обломков и шлака». 14-го, в день открытия Думы, бастовало в Петербурге около 90 тысяч. Несколько предприятий остановилось и в Москве.

16-го власти решили ввести в Петрограде карточки на хлеб. Это новшество ударило по нервам. 19-го возле продовольственных лавок скопилось много народу, особенно женщин, все требовали хлеба. Через день в некоторых частях города произошел разгром булочных. Это были уже зарницы восстания, разразившегося через несколько дней.

* * *

Революционную смелость русский пролетариат почерпал не только в себе самом. Уже его положение, как меньшинства нации, говорит, что он не мог бы ни придать своей борьбе такой размах, ни тем более встать во главе государства, еслиб не имел мощной опоры в толщах народа. Такую опору обеспечил ему аграрный вопрос.

Запоздалое полуосвобождение крестьян в 1861 г. застало сельское хозяйство почти на том же уровне, на каком оно находилось два столетия назад. Сохранение старого, обворованного при реформе фонда общинных земель, при архаических приемах обработки, автоматически обостряло кризис деревенского перенаселения, который являлся в то же время кризисом трехполья. Крестьянство тем более чувствовало себя в западне, что процесс развертывался не в XVII, а в XIX веке, т. е. в условиях далеко зашедшего вперед денежного хозяйства, которое предъявляло к деревянной сохе требования, доступные разве лишь трактору. И здесь мы видим сближение отдельных ступеней исторического процесса и, как результат, — чрезвычайную остроту противоречий.

Ученые агрономы и экономисты проповедывали, что земли, при условии рациональной обработки, было бы вполне достаточно, т. е. предлагали крестьянину совершить прыжок на более высокую ступень техники и культуры, не задев ни помещика, ни урядника, ни царя. Но ни один хозяйственный режим, тем более

земледельческий, наиболее косный, не сходил со сцены, не исчерпав всех своих возможностей. Прежде чем увидеть себя вынужденным перейти к более интенсивной хозяйственной культуре, крестьянин должен был сделать последний опыт расширения своего трехполья. Этого можно было достигнуть, очевидно, только за счет некрестьянских земель. Задыхаясь в тесноте своего земельного простора, под жгучим кнутом фиска и рынка, мужик неминуемо должен был сделать попытку разделаться навсегда с помещиком.

Накануне первой революции общее количество годной земли в пределах Европейской России оценивалось в 280 миллионов десятин. Общинно- надельные земли составляли около 140 миллионов, удельные — свыше 5 миллионов, церковные и монастырские — около $2^1/_2$ миллионов десятин. Из частно-владельческой земли на долю 30 тысяч крупных помещиков, каждый из которых владел свыше 500 десятин, приходилось 70 миллионов десятин, т. е. такое же количество, какое принадлежало, примерно, десяти миллионам крестьянских семей. Эта земельная статистика составляла готовую программу крестьянской войны.

Ликвидировать помещика в первой революции не удалось. Не вся крестьянская масса поднялась, движение в деревне не совпало с движением в городе, крестьянская армия колебалась и выделила в конце концов достаточные силы для разгрома рабочих. Как только гвардейский Семеновский полк справился с московским восстанием, монархия отбросила всякую мысль об урезке помещичьих земель, как и своих самодержавных прав.

Однако, разбитая революция прошла далеко не бесследно для деревни. Правительство отменило старые выкупные платежи и открыло возможность более широкого переселения в Сибирь. Напуганные помещики не только пошли на значительные уступки в отношении арендной платы, но и приступили к усиленной распродаже своих латифундий. Этими плодами революции с успехом пользовались наиболее за-

житочные крестьяне, которые имели возможность арендовать и покупать помещичью землю.

Самые широкие ворота для выделения из крестьянства капиталистических фермеров открыл, однако, закон 9 ноября 1906 г., главная реформа победоносной контр-революции. Предоставляя даже небольшому меньшинству крестьян любой общины право, против воли большинства, выкраивать из общинных земель самостоятельные участки, закон 9 ноября представлял собою разрывной капиталистический снаряд, направленный против общины. Председатель совета министров Столыпин определил суть новой правительственной политики в крестьянском вопросе, как «ставку на сильных». Это значило: толкнуть верхушку крестьян на захват общинных земель путем скупки «освобожденных» участков и превратить новых капиталистических фермеров в опору порядка. Поставить такую задачу было легче, чем разрешить ее. На попытке подменить крестьянский вопрос кулацким контрреволюция и должна была свернуть себе шею.

К 1-му января 1916 года $2^1/_2$ миллиона домохозяев укрепили за собою в личную собственность 17 миллионов десятин. Два других миллиона домохозяев требовали выделения им 14 000 000 десятин. Это выглядело, как колоссальный успех реформы. Но выделившиеся хозяйства были в большинстве своем совершенно нежизнеспособны и представляли только материал для естественного отбора. В то время, как наиболее отсталые помещики и мелкие крестьяне усиленно продавали, одни — свои латифундии, другие — свои земельные клочки, в качестве покупателя выступала, главным образом, новая крестьянская буржуазия. Сельское хозяйство вошло в стадию несомненного капиталистического подъема. Вывоз земледельческих продуктов из России вырос за пять лет (1908—1912) с 1 миллиарда рублей до $1^1/_2$. Это значило: широкие массы крестьян пролетаризовались, верхи деревни выбрасывали на рынок все больше хлеба.

На смену принудительной общинной связи крестянства быстро развивалась добровольная кооперация, которая в течение нескольких лет успела проникнуть сравнительно глубоко в крестьянские массы и сейчас же стала предметом либеральной и демократической идеализации. Реальную силу в кооперации имели, однако, только богатые крестьяне, которым она в последнем счете и служила. Народническая интеллигенция, сосредоточившая в крестьянской кооперации главные свои силы, перевела, наконец, свое народолюбие на солидные буржуазные рельсы. Этим, в частности, подготовлялся блок «антикапиталистической» партии эсеров с капиталистической par excellence партией кадетов.

Либерализм, сохраняя аппарансы оппозиции по отношению к аграрной политике реакции, взирал, однако, с великой надеждой на капиталистическое разрушение общины. «В деревне нарождается могущественная мелкая буржуазия, — писал либеральный князь Трубецкой, — по всему своему существу и складу одинаково чуждая как идеалам объединенного дворянства, так и социалистическим мечтаниям».

Но у этой великолепной медали была оборотная сторона. Из общины выделялась не только «могущественная мелкая буржуазия», но и ее антиподы. Число крестьян, продавших свои нежизнеспособные наделы, возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее пяти миллионов душ пролетаризованного населения. Достаточно взрывчатый материал представляли также миллионы крестьян-пауперов, которым ничего не оставалось, как держаться за свои голодные наделы. В среде крестьянства воспроизводились, следовательно, те противоречия, которые так рано подорвали в России развитие буржуазного общества в целом. Новая деревенская буржуазия, которая должна была создать опору старшим и более могущественным собственникам, оказывалась столь же враждебно противопоставлена основным массам крестьянства, как старые собственники — народу в целом.

Прежде чем стать опорой порядка, крестьянская буржуазия сама нуждалась в крепком порядке, чтоб удержаться на завоеванных позициях. При этих условиях немудрено, если аграрный вопрос во всех государственных думах сохранял свою остроту. Все чувствовали, что последнее слово еще не сказано. Крестьянин-депутат Петриченко заявил однажды с думской трибуны: «Сколько прений ни ведите, — другого земного шара не создадите. Придется, значит, эту землю нам отдавать». Этот крестьянин не был ни большевиком, ни эсэром; наоборот, это был правый депутат, монархист.

Аграрное движение, затихшее, как и стачечная борьба рабочих, к концу 1907 года, частично возрождается с 1908 года и усиливается в течение следующих лет. Правда, борьба переносится в значительной мере внутрь общины: в этом и состоял политический расчет реакции. Нередки вооруженные столкновения крестьян при разделе общинных земель. Но и борьба против помещика не замирает. Крестьяне усиленно поджигают дворянские усадьбы, урожай, солому, захватывая по пути и отрубников, выделившихся против воли общинников.

В таком состоянии застигла крестьянство война. Правительство увело из деревни около 10 миллионов работников и около 2 миллионов лошадей. Слабые хозяйства еще более ослабели. Выросло число беспосевных. Но и середняки на втором году войны пошли под гору. Враждебное отношение крестьянства к войне обострялось с месяца на месяц. В октябре 1916 г. петроградское жандармское управление доносило, что в деревне уже и не верят в успех войны: по словам страховых агентов, учителей, торговцев и пр. «все ждут не дождутся, когда же, наконец, окончится эта проклятая война»... Мало того: «повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются ячейки разных организаций... Объединяющего центра пока нет, но надо думать, что кресть-

яне объединятся через кооперативы, которые ежечасно растут по всей России». Кое-что здесь преувеличено, кое-в-чем жандарм забежал вперед, но основное указано несомненно правильно.

Имущие классы не могли не предвидеть, что деревня предъявит счет, но отгоняли мрачные мысли, надеясь как-нибудь извернуться. По этому поводу любознательный французский посол Палеолог беседовал в дни войны с бывшим министром земледелия Кривошеиным, бывшим премьером Коковцевым, крупным помещиком графом Бобринским, председателем Государственной думы Родзянко, крупным промышленником Путиловым и другими именитыми людьми. Вот что ему при этом открылось: для проведения в жизнь радикальной земельной реформы нужна была бы работа постоянной армии в 300 000 землемеров в течение не менее 15 лет; но за это время число домохозяйств должно было бы достигнуть 30 миллионов и, следовательно, все предварительные вычисления оказались бы недействительными. Земельная реформа в глазах помещиков, сановников и банкиров, оказывалась, таким образом, квадратурой круга. Незачем говорить, что подобная математическая скрупулезность была совершенно чужда мужику. Он считал, что прежде всего надо выкурить барина, а там видно будет.

Если деревня оставалась, тем не менее, сравнительно мирной в годы войны, то потому, что ее активные силы находились на фронте. Солдаты не забывали о земле, по крайней мере, когда не думали о смерти, и мужицкие мысли о будущем пропитывались в окопах запахом пороха. Но все же крестьянство, даже и обучившееся владеть оружием, одними своими силами никогда не совершило бы аграрно-демократической, т. е. своей собственной революции. Ему нужно было руководство. Впервые в мировой истории крестьянин должен был найти руководителя в лице рабочего. В этом основное и, можно сказать, исчерпывающее отличие русской революции от всех предшествующих.

В Англии крепостная зависимость исчезла фактически к концу XIV столетия, т. е. за два столетия до того, как она в России возникла и за $4^1/_2$ столетия до того, как была отменена. Экспроприация земельной собственности крестьян тянется в Англии, через реформацию и две революции, до XIX столетия. Капиталистическое развитие, не форсируемое извне, имело, таким образом, достаточно времени, чтоб ликвидировать самостоятельное крестьянство задолго до того, как пробудился к политической жизни пролетариат.

Во Франции борьба с королевским абсолютизмом, аристократией и князьями церкви вынудила буржуазию, в лице разных ее слоев, в несколько приемов совершить в конце XVIII столетия радикальную аграрную революцию. Самостоятельное крестьянство надолго стало после этого опорой буржуазного порядка и в 1871 году помогло буржуазии справиться с парижской коммуной.

В Германии буржуазия оказалась неспособна на революционное разрешение аграрного вопроса и в 1848 году так же выдала крестьян помещикам, как Лютер за три с лишним столетия до того, во время крестьянской войны, выдал их князьям. С другой стороны, немецкий пролетариат был в середине XIX столетия еще слишком слаб, чтоб взять на себя руководство крестьянством. Капиталистическое развитие Германии получило благодаря этому хоть и не столь растянутый, как в Англии, но все же достаточный срок, чтобы подчинить себе сельское хозяйство, каким оно вышло из незавершенной буржуазной революции.

Крестьянская реформа 1861 г. была проведена в России дворянской и чиновничьей монархией, под давлением потребностей буржуазного общества, но при полном политическом бессилии буржуазии. Характер крестьянской эмансипации был таков, что форсированное капиталистическое преобразование страны неминуемо превращало аграрную проблему в проблему революции. Русские буржуа мечтали об аграрном

развитии то французского, то датского, то американского типа, — какого угодно, только не русского. Они не догадались, однако, своевременно запастись французской историей или американской социальной структурой. Демократическая интеллигенция, несмотря на свое революционное прошлое, в час решения оказалась с либеральной буржуазией и с помещиками, а не с революционной деревней. Только рабочий класс и мог при таких условиях возглавить крестьянскую революцию.

Закон комбинированного развития запоздалых стран — в смысле своеобразного сочетания элементов отсталости с новейшими факторами — предстает перед нами здесь в наиболее законченном своем виде и дает вместе с тем ключ к основной загадке русской революции. Еслиб аграрный вопрос, как наследие варварства старой русской истории, был разрешен буржуазией, еслиб он мог быть ею разрешен, русский пролетариат ни в каком случае не мог бы притти к власти в 1917 году. Чтоб осуществилось советское государство, понадобилось сближение и взаимопроникновение двух факторов совершенно разной исторической природы: крестьянской войны, т. е. движения, характерного для зари буржуазного развития, с пролетарским восстанием, т. е. движением, знаменующим закат буржуазного общества. В этом и состоит 1917 год.

ЦАРЬ И ЦАРИЦА.

Эта книга меньше всего задается самодовлеющими психологическими изысканиями, которыми теперь нередко пытаются подменить социальный и исторический анализ. В поле нашего зрения стоят прежде всего великие движущие силы истории, которые имеют сверхличный характер. Монархия является одной из них. Монархия же связана с личным началом силою своего принципа. Это само по себе оправдывает интерес к личности монарха, которого ход развития столкнул с революцией. Мы надеемся, кроме того, в дальнейшем хоть отчасти показать, где в личности кончается личное, — нередко гораздо ближе, чем кажется, — и как часто «особая примета» лица есть только индивидуальная царапина более высокой закономерности.

Николаю Второму предки оставили в наследство не только великую Империю, но и революцию. Они не дали ему ни одного качества, которое делало бы его пригодным для управления Империей, даже губернией или уездом. Историческому прибою, который все ближе подкатывал каждый раз свои валы к воротам дворца, последний Романов противопоставлял глухое безучастие: казалось, между его сознанием и его эпохою стояла прозрачная, но абсолютно непроницаемая среда.

Приближавшиеся к царю лица вспоминали после переворота не раз, что в самые трагические моменты царствования, во время сдачи Порт-Артура и потопления флота у Цусимы, десять лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через два года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, испуганы, потрясены,

один лишь Николай хранил спокойствие. Он попрежнему справлялся о количестве верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды прошлых охот, анекдоты оффициальных встреч, вообще интересовался мусором своего обихода, когда над ним гремели громы и извивались молнии. «Что это, — спрашивал себя один из приближенных генералов, — огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность?» Ответ уже наполовину заключается в вопросе. Так называемую «воспитанность» царя, его уменье владеть собою при самых чрезвычайных условиях никак нельзя объяснить одной внешней дрессировкой: суть была в внутреннем безразличии, в скудости душевных сил, в слабости волевых импульсов. Маска безразличия, которую в известных кругах зовут воспитанностью, у Николая естественно сливалась с природным лицом.

Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. «Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном свете». Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке.

В дни, предшествовавшие открытию Государственной Думы, когда вся страна сотрясалась конвульсиями, Николай писал: «14 апреля. Гулял в тонкой рубашке и обновил катанье в байдарках. Пил чай на балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал.» Ни слова о предмете чтения: сантиментальный английский роман или доклад департамента полиции? «15 апреля. Принял отставку Витте. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец.»

В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные круги переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: «7 июля. Пятница. Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офи-

церам... Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал». Восклицательный знак по поводу предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций.

Депутаты разогнанной Думы призвали народ отказываться от уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Произошел ряд военных восстаний: в Свеаборге, Кронштадте, на судах, в армейских частях; возобновился в небывалых размерах революционный террор против сановников. Царь пишет: «9 июля. Воскресенье. Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица... Погода была отличная. Во время прогулки встретили дядю Мишу, который вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. Катался в байдарке.» Что катался именно в байдарке, указано; а чем занимался, не сказано. Так всегда.

И далее в те же роковые дни: «14 июля. Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море.» «15 июля. Купался два раза. Было очень жарко. Обедали вдвоем. Прошла гроза.» «19 июля. Утром купался. Принимали на ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали». Восстания и динамитные взрывы еле задеты единственной оценкой: «милые события!», которая поражает низменным безучастием, недоразвившимся до сознательного цинизма.

«В 9½ ч. утра поехали в Каспийский полк... Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и Гучкова». Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного Правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя: «Я ожидал увидеть государя убитого горем, а вместо этого ко мне вышел ка-

кой-то веселый разбитной малый в малиновой рубашке».

Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия.

Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою «звезду». Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям.

«Хочу, а потому так должно быть, — пишет граф Витте. — Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, — сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно...»

Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным камарильей с согласия его собственного сына, Александра «благословенного». Этих двух Романовых, действительно, сближали недоверие ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного пария. Но Павел несравненно красочнее, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемой. В потомке же все тускло, ни одной яркой черты.

Николай был не только неустойчив, но и вероло-

мен. Льстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать: очарованный на приеме сверх меры министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество.

Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя чувствовал только в среде совсем бездарных и скудных умом людей, святош, рамоликов, на которых ему не приходилось глядеть снизу вверх. У него было самолюбие, даже довольно изощренное, но не активное, без крупицы инициативы, завистливо-оборонительное. Он подбирал министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобно тому, как призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. Царь к обоим относился с худо затаенной враждебностью. Как только проходила острота положения, он торопился разделаться с советниками, которые слишком превосходили его ростом. Отбор действовал настолько систематично, что председатель последней Думы, Родзянко, отважился 7 января 1917 г., когда революция стучалась уже в двери, сказать царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, остались только те, которые пользуются дурной славой».

Все усилия либеральной буржуазии найти общий язык со двором не приводили ни к чему. Неугомонный и шумный Родзянко пытался своими докладами встряхнуть царя! Тщетно! Тот отмалчивался не только от доводов, но даже от дерзостей, подготовляя в тиши роспуск Думы. Великий князь Дмитрий, бывший любимец царя и будущий участник убийства Распутина, жаловался своему сообщнику, князю Юсупову на то, что царь в ставке с каждым днем становится все более безразличным ко всему окружающему. По

мнению Дмитрия, царя спаивали каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действовало на его духовные способности. «Ходили слухи, пишет с своей стороны либеральный историк Милюков, что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя». Все это было выдумкой или преувеличением. Царю не нужно было обращаться к наркотикам: убийственное «снадобье» было у него в крови. Только проявления его казались особенно поразительны на фоне великих событий войны и внутреннего кризиса, приведшего к революции. Распутин, который был психологом, кратко говорил про царя, что у него «внутри недостает».

Этот тусклый, ровный и «воспитанный» человек был жесток. Не активной, преследующей исторические цели жестокостью Ивана Грозного или Петра, — что у Николая II-го с ними общего? — но трусливой жестокостью последыша, испугавшегося своей обреченности. Еще на заре своего царствования Николай хвалил «молодцов-фанагорийцев» за расстрел рабочих. Он всегда «читал с удовольствием», как стегали нагайками «стриженных» курсисток, или как проламывали черепа беззащитным людям во время еврейских погромов. Коронованный отщепенец тяготел всей душой к отбросам общества, черносотенным громилам, не только щедро платил им из государственной казны, но любил беседовать с ними об их подвигах и миловать их, когда они случайно попадались в убийстве оппозиционных депутатов. Витте, стоявший во главе правительства во время усмирения первой революции, писал в своих мемуарах: «когда бесполезные жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до Государя, то встречали его одобрение и во всяком случае защиту». В ответ на требование прибалтийского генерал-губернатора унять некоего капитана-лейтенанта Рихтера, который «казнил по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц не сопротивлявшихся», царь написал на докладе: «Ай да молодец!» Таким поощрениям нет числа. Этот «очарователь», без воли,

без цели, без воображения, был страшнее всех тиранов старой и новой истории.

Царь находился под огромным влиянием царицы, которое росло с годами и с затруднениями. Вдвоем они составляли некоторое целое. Уже это сочетание показывает, в какой мере под давлением обстоятельств личное восполняется групповым. Но прежде надо сказать о самой царице.

Морис Палеолог, бывший французский посол в Петрограде во время войны, изощренный психолог для французских академиков и консьержек, дает тщательно зализанный портрет последней царицы: «Нравственное беспокойство, хроническая грусть, беспредельная тоска, чередование подъема и упадка сил, мучительные мысли о потустороннем и невидимом мире, суеверие — разве все эти черты, столь ярко проявляющиеся в личности государыни, не являются характерными чертами русского народа?» Как ни странно, в этой слащавой лжи есть крупица правды. Недаром же русский сатирик Салтыков называл министров и губернаторов из балтийских баронов «немцами с русской душой»: несомненно, что именно иноземцы, ничем не связанные с народом, вырабатывали наиболее чистую культуру «истинно-русского» администратора.

Но почему все же народ платил такой откровенной ненавистью царице, которая, по словам Палеолога, так полно восприняла его душу? Ответ простой: для оправдания своего нового положения эта немка усваивала себе с холодным неистовством все традиции и внушения русского средневековья, самого скудного и грубого из всех, в тот период, когда народ делал могучие усилия, чтоб освободиться от собственного средневекового варварства. Этой гессенской принцессой буквально владел демон самодержавия: поднявшись из своего захолустья на высоты византийского деспотизма, она ни за что не хотела с них опускаться. В православии она нашла мистику и магию, приспособленные к ее новой судьбе. Она тем непреклоннее верила в свое призвание, чем обнаженнее становилась мер-

зость старого режима. С сильным характером и способностью к сухой и черствой экзальтации, царица дополняла безвольного царя, господствуя над ним.

17 марта 1916 г., за год до революции, когда истерзанная страна уже извивалась в клещах поражений и разрухи, царица писала мужу в главную квартиру: «... Ты не должен делать послаблений, ответственного министерства и т. д., — всего, что они хотят. Это должна быть твоя война и твой мир и честь твоя и нашей родины и ни в коем случае не Думы. Они не имеют права сказать хотя бы одно слово в этих вопросах.» Это была во всяком случае законченная программа, и именно она неизменно одерживала верх над постоянными колебаниями царя.

После отъезда Николая в армию, в качестве фиктивного главнокомандующего, внутренними делами стала открыто распоряжаться царица. Министры являлись к ней с докладами, как к регентше. Она состояла в заговоре с узкой камарильей против Думы, против министров, против генералов ставки, против всего мира, отчасти и против царя. 6 декабря 1916 г. царица писала царю: «... раз ты сказал, что ты хочешь сохранить Протопопова, как он (премьер Трепов) смеет итти против тебя, — хвати кулаком по столу, не уступай, будь хозяином, слушайся твоей твердой женки и нашего Друга, поверь нам». Через три дня опять: «Ты знаешь, что ты прав, держи голову высоко, прикажи Трепову работать с ним ... — ударь рукой по столу». Эти фразы кажутся выдуманными. Но они извлечены из подлинных писем. Да и выдумать так нельзя.

13 декабря царица внушает царю снова: «Только не ответственное министерство, на котором все помешались. Все становятся спокойнее и лучше, но хотят почувствовать твою руку. Как давно, уже целые годы, мне говорят тоже самое: «Россия любит почувствовать хлыст», — это их природа!». Православная гессенка с виндзорским воспитанием и византийской короной на голове не только «воплощает» русскую ду-

шу, но и органически презирает ее: их природа требует хлыста, пишет русская царица русскому царю о русском народе за два с половиной месяца до того, как монархия обрушится в пропасть.

При перевесе характера умственно царица не выше мужа, скорее даже ниже его; еще больше, чем он, она ищет общества простаков. Тесная и долголетняя дружба, которая связывала царя и царицу с фрейлиной Вырубовой дает меру духовного роста самодержавной четы. Вырубова сама себя называла дурой, и это не было скромностью. Витте, которому нельзя отказать в метком глазе, характеризует ее, как «самую обыкновенную, глупую петербургскую барышню, некрасивую, похожую на пузырь от сдобного теста». В обществе этой особы, за которой подобострастно ухаживали престарелые сановники, послы и финансисты, и у которой хватало все же ума не забывать о собственных карманах, царь и царица проводили многие часы, совещались с нею о делах, переписывались с нею и об ней. Она была влиятельнее Государственной Думы и даже министерства.

Но сама Вырубова была только медиумом «Друга», авторитет которого возвышался над всеми тремя. «...это мое частное мнение, — пишет царица царю, — я выясню, что думает наш Друг». Мнение Друга не частное, оно решает. «...Я крепка, — настаивает царица через несколько недель, — но послушайся меня, то есть это значит, нашего Друга и доверься нам во всем... Я страдаю за тебя, как за нежного, мягкосердечного ребенка, — который нуждается в руководстве, но слушается дурных советчиков, между тем, как человек, посланный Богом, говорит ему, что надо делать.»

Друг, посланный богом — это Григорий Распутин.

«...молитвы и помощь нашего Друга, тогда все пойдет хорошо».

«Если бы у нас не было Его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена».

* * *

В течение всего царствования Николая и Александры ко двору свозились знахари и кликуши не только со всей России, но и из других стран. Имелись особые сановные поставщики, которые группировались вокруг очередного оракула, образуя при монархе могущественную верхнюю палату. Не было недостатка ни в старых ханжах, со званием графинь, ни в сановниках, томившихся не у дел, ни в финансистах, арендовавших целые министерства. Ревниво относясь к беспатентной конкуренции со стороны гипнотизеров и колдунов, высокие иерархи православной церкви торопились проложить свои ходы в центральное святилище интриги. Витте называл этот правящий кружок, о который он сам дважды расшибся, «прокаженной дворцовой камарильей».

Чем больше изолировалась династия, и чем беспризорнее чувствовал себя самодержец, тем более ему необходима была потусторонняя помощь. Некоторые дикари, чтоб вызвать хорошую погоду вертят в воздухе дощечкой на веревочке. Царь с царицей пользовались дощечками для самых разнообразных целей. В царском вагоне находилась целая молельня из образов, образков и всяких предметов культа, которые противопоставлялись сперва японской, затем немецкой артиллерии.

Уровень придворного круга собственно не так уж менялся из поколения в поколение. При Александре II, прозванном «Освободителем», великие князья искренне верили в домовых и ведьм. При Александре III было не лучше, только спокойнее. «Прокаженная камарилья» существовала всегда, изменяясь в составе и обновляя приемы. Николай II не создал, а унаследовал от предков дворцовую атмосферу дикого средневековья. Но страна за эти десятилетия изменилась, задачи усложнились, культура поднялась, и придворный круг оказался отброшенным далеко назад. Если

монархия и делала новым силам уступки из под палки, то внутренне она совершенно не успевала модернизироваться, наоборот, она замыкалась в себе, дух средневековья сгущался под давлением вражды и страха, пока не принял характер отвратительного кошмара, поднимавшегося над страной.

Под 1 ноября 1905 г., т. е. в самый критический момент первой революции, царь пишет в дневнике: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». Это и был Распутин, сибирский крестьянин с незаростающим шрамом на голове от побоев за конокрадство. Выдвинутый в подходящую минуту «человек божий» скоро нашел себе сановных помощников, вернее, они нашли его, и таким образом сложился новый правящий кружок, который крепко прибрал к рукам царицу и, через нее, царя.

С зимы 1913—1914 годов в высшем петербургском обществе уже открыто говорилось, что от клики Распутина зависят все высшие назначения, поставки и подряды. Сам «старец» постепенно превратился в государственное учреждение. Его тщательно охраняли и за ним не менее тщательно следили соперничающие министерства. Филеры департамента полиции вели по часам дневник его жизни и не упускали донести, как при посещении родного села Покровского Распутин в пьяном виде в кровь подрался на улице со своим отцом. В тот же день, 9 сентября 1915 г., Распутин послал две дружественные телеграммы: одну в Царское Село, царице, другую в ставку, царю.

Эпическим языком филеры регистрировали изо дня в день кутежи Друга. «Вернулся сегодня в 5 часов утра, совершенно пьяный». «В ночь с 25-го на 26-ое у Распутина ночевала артистка В.». «Приехал с княгиней Д. (женой камер-юнкера царского двора) в гостиницу Астория . . . » Тут же рядом: «вернулся домой из Царского Села около 11 часов вечера». «Распутин пришел домой с кн. Ш. очень пьяный и вместе сейчас же ушли». Утром или вечером следующего дня поездка в Царское Село. На участливый вопрос филе-

ра, почему старец задумчив, следовал ответ: «не могу решить, созывать Думу или не созывать?» Потом опять: «вернулся домой в пять утра, довольно пьян». Так в течение месяцев и годов мелодия разыгрывалась на трех клавишах: «довольно пьян», «очень пьян» и «совершенно пьян». Эти государственной важности сообщения сводил воедино и скреплял подписью жандармский генерал Глобачев.

Расцвет распутинского влияния длился шесть лет, последние годы монархии. «Его жизнь в Петербурге — рассказывает князь Юсупов, до некоторой степени участник этой жизни, а затем убийца Распутина, — превратилась в сплошной праздник, в хмельной разгул каторжника, которому неожиданно привалило счастье». «В моем распоряжении, — писал председатель Думы Родзянко, — находилась целая масса писем матерей, дочери которых были опозорены наглым развратником». В то же время Распутину обязаны были своими местами митрополит петроградский Питирим и почти незнавший грамоты архиепископ Варнава. Распутиным держался долго обер-прокурор Святейшего Синода Саблер, и его же волею уволен был премьер Коковцев, не пожелавший принять «старца». Распутин назначил Штюрмера председателем совета министров, Протопопова — министром внутренних дел, нового обер-прокурора Синода Раева и многих других. Посол французской республики Палеолог добивался свидания с Распутиным, целовался с ним и восклицал: «Voilà un veritable illuminé!», чтоб завоевать таким путем сердце царицы для дела Франции. Еврей Симанович, финансовый агент старца, состоявший на учете сыскной полиции, как клубный игрок и ростовщик, провел через Распутина в министры юстиции совершенно бесчестного субъекта Добровольского.

«Держи перед собой маленький список — пишет царица царю о новых назначениях — наш Друг просил, чтобы ты обо всем этом переговорил с Протопоповым». Через два дня: «Наш Друг говорит, что

Штюрмер может еще некоторое время оставаться председателем совета министров». И снова: «Протопопов благоговеет перед нашим Другом и будет благословен».

В один из тех дней, когда филеры регистрировали число бутылок и женщин, царица скорбела в письме к царю: Распутина «обвиняли в том, что он целовал женщин и т. д. Почитай апостолов — они всех целовали в виде приветствия». Ссылка на апостолов вряд ли показалась бы убедительной филерам. В другом письме царица идет еще далее: «Во время вечернего Евангелия, пишет она, я так много думала о нашем Друге: как книжники и фарисеи преследуют Христа, притворяясь, что они такие совершенства . . . Да, в самом деле, нет пророка в своем отечестве».

Сравнение Распутина с Христом было обычным в этом кругу и совсем не случайным. Испуг перед грозными силами истории был слишком остер, чтоб царская чета могла удовлетвориться безличным богом и бесплотной тенью евангельского Христа. Нужно было новое пришествие «сына человеческого». В Распутине отверженная и агонизирующая монархия нашла Христа по образу и подобию своему.

«Если бы Распутина не было, сказал человек старого режима, сенатор Таганцев, его пришлось бы выдумать». В этих словах гораздо больше содержания, чем мыслилось их автору. Если под именем хулиганства понимать крайнее выражение антисоциальных паразитарных черт на дне общества, то распутинщину можно с полным правом назвать венценосным хулиганством на самой его вершине.

ИДЕЯ ДВОРЦОВОГО ПЕРЕВОРОТА.

Почему же правящие классы, ища спасения от революции, не попытались избавиться от царя и его окружения? Они хотели, но не смели. Не хватало ни веры в свое дело, ни решимости. Идея дворцового переворота носилась в воздухе, доколе не утонула в государственном перевороте. На этом надо остановиться уже для того, чтоб яснее представить себе взаимоотношения монархии и верхов дворянства, бюрократии и буржуазии накануне взрыва.

Имущие классы были сплошь монархическими: силою интересов, привычки и трусости. Но они хотели монархии без Распутина. Монархия им отвечала: берите меня такой, какая я есть. В ответ на требования благопристойного министерства царица посылала царю в ставку из рук Распутина яблоко, и требовала, чтобы царь съел его для укрепления своей воли. «Вспомни, заклинала она, что даже м-ье Филипп (французский шарлатан-гипнотизер) говорил, что нельзя давать конституцию, так как это было бы гибелью твоей и России . . . » «Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — раздави всех под собою!»

Какая отвратительная смесь страха, суеверий и злобной отчужденности от страны! Правда, может казаться, что на верхах, по крайней мере, царская семья, не так уж одинока: ведь Распутин всегда окружен созвездием великосветских дам, и вообще шаманство владеет аристократией. Но эта мистика страха не связывает, наоборот, разделяет. Каждый спасается по своему. Многие аристократические дома имеют своих конкурирующих святых. Даже и на петроградских верхах царская семья точно зачумленная, окру-

жена карантином недоверия и вражды. Фрейлина Вырубова вспоминает: «я глубоко сознавала и чувствовала во всех окружающих озлобление к тем, кого боготворила, и чувствовала, что озлобление это принимает ужасающие размеры...»

На багровом фоне войны под явственный гул подземных толчков привиллегированные не отказывались ни на час от радостей жизни, наоборот, вкушали их запоем. Но на их пирах все чаще появлялся скелет и грозил костяшками пальцев. Им начинало тогда казаться, что все несчастье в отвратительном характере Алис, в вероломном безволии царя, в этой жадной дуре Вырубовой и в сибирском Христе со шрамом на черепе. Волны невыносимых предчувствий проходили по господствующим классам, сжимаясь спазмами от периферии к центру и все более изолируя ненавистную верхушку Царского Села. Вырубова достаточно ярко выразила тогдашнее самочувствие этой верхушки в своих, вообще говоря, крайне лживых воспоминаниях: «...в сотый раз я спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно, или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать, но факт тот: все были в ненормально возбужденном состоянии».

К числу сошедших с ума принадлежала и обширная семья Романовых, вся эта жадная, наглая и всеми ненавидимая свора великих князей и княгинь. На смерть испуганные, они стремились вырваться из сжимавшегося вокруг них кольца, заискивали перед фрондирующей аристократией, сплетничали про царскую чету и подзадоривали друг друга и свое окружение. Августейшие дяди обратились к царю с увещательными письмами, в которых сквозь почтительность слышался лязг и скрежет зубовный.

Протопопов уже после Октябрьской революции не очень грамотно, но живописно характеризовал настроение верхов: «Даже наиболее высшие классы фрондировали перед революцией. В великосветских салонах

и клубах подвергалась резкой и недоброжелательной критике политика правительства; разбирались и обсуждались отношения, которые сложились в царской семье; распространялись анекдотические рассказы про главу государства; писались стихи; многие великие князья открыто посещали эти собрания, и их присутствие придавало особую достоверность в глазах публики карикатурным росказням и злостным преувеличениям. Сознание опасности этой игры не пробуждалось до последнего момента.»

Особую остроту слухам о дворцовой камарилье придавало обвинение ее в германофильстве и даже в прямой связи с врагом. Шумный и не весьма основательный Родзянко прямо заявляет: «Связь и аналогия стремлений настолько логически очевидны, что сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского кружка для меня, по крайней мере, нет: это не подлежит никакому сомнению». Голая ссылка на «логическую» очевидность весьма ослабляет категорический тон этого свидетельства. Никаких доказательств связи распутинцев с германским штабом не было обнаружено и после переворота. Иначе обстоит дело с так называемым «германофильством». Дело шло, конечно, не о национальных симпатиях и антипатиях немки-царицы, премьера Штюрмера, графини Клейнмихель, министра двора графа Фредерикса и других господ с немецкими фамилиями. Циничные мемуары старой интриганки Клейнмихель с замечательной яркостью показывают, какой сверх-национальный характер отличал верхи аристократии всех стран Европы, связанные узами родства, наследования, презрения ко всему ниже стоящему и, last but not least, космополитического адюльтера в старых замках, на фешенебельных курортах и при дворах Европы. Значительно более реальны были органические антипатии придворной челяди к низкопоклонным адвокатам французской республики и симпатии реакционеров, как с тевтонскими, так и со славянскими именами, к истинно-прусскому духу берлинского режима, который столько времени

импонировал им своими нафабренными усами, фельдфебельскими ухватками и самоуверенной глупостью.

Но не это решало вопрос. Опасность вытекала из самой логики положения, ибо двор не мог не искать спасения в сепаратном мире, и тем настойчивее, чем опаснее становилась обстановка. Либерализм, в лице своих вождей, как мы еще увидим, стремился шанс сепаратного мира резервировать для себя в связи с перспективой своего прихода к власти. Но именно поэтому он вел бешеную шовинистическую агитацию, обманывая народ и терроризируя двор. Камарилья не смела в столь остром вопросе показывать преждевременно свое подлинное лицо и вынуждена была даже подделываться под общий патриотический тон, нащупывая в то же время почву для сепаратного мира.

Генерал Курлов, бывший глава полиции, примыкавший к распутинской камарилье, отрицает, разумеется, в своих воспоминаниях немецкие связи и симпатии своих покровителей, но тут же прибавляет: «Нельзя обвинить Штюрмера за его мнение, что война с Германией была величайшим несчастием для России, и что она не имела за собой никаких серьезных политических оснований». Нельзя, однако, забывать, что имевший такое интересное «мнение» Штюрмер был главою правительства страны, ведшей войну с Германией. Последний царский министр внутренних дел Протопопов, накануне своего вступления в правительство, вел в Стокгольме переговоры с немецким дипломатом и докладывал о них царю. Сам Распутин, по словам того же Курлова, «считал войну с Германией огромным бедствием для России». Наконец, императрица писала царю 5 апреля 1916 г.: «...они не смеют говорить, что у Него есть хоть что-нибудь общее с немцами, он добр и великодушен ко всем, как Христос, все равно, к какой бы религии человек ни принадлежал; таким должен быть истинный христианин».

Конечно, к этому истинному христианину, почти не выходившему из пьяного состояния, вполне могли, на-

ряду с шулерами, ростовщиками и аристократическими своднями примазываться и прямые шпионы. Такого рода «связи» не исключены. Но оппозиционные патриоты ставили вопрос шире и прямее: они прямо обвиняли царицу в измене. В своих значительно позднее написанных воспоминаниях генерал Деникин свидетельствует: «В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китчинера, о поездке которого она, якобы, сообщила немцам, и т. д... Это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении ее к династии и к революции». Тот же Деникин рассказывает, что уже после переворота генерал Алексеев, на прямой вопрос об измене императрицы, ответил, «неопределенно и нехотя», что у царицы нашли при разборе бумаг карту с подробным обозначением войск всего фронта, и что это на него, Алексеева, произвело удручающее впечатление... «Больше ни слова, — многозначительно добавляет Деникин, — переменил разговор». Была или не была у царицы таинственная карта, но незадачливые генералы явно не прочь были взвалить на нее долю ответственности за свои поражения. Обвинения двора в измене ползли по армии несомненно главным образом сверху вниз, из бездарных штабов.

Но если сама царица, которой царь во всем подчиняется, предает Вильгельму военные тайны и даже головы союзных полководцев, то что остается, кроме расправы над царской четой? А так как главою армии и антинемецкой партии считался великий князь Николай Николаевич, то он как бы по должности выдвигался на роль верховного покровителя дворцового переворота. Это и было причиной, в силу которой царь, по настоянию Распутина и царицы, сместил великого князя, взяв главное командование в свои руки. Но царица боялась даже свидания племянника с дядей при сдаче дел. «Душка, постарайся быть осторожным, — пишет она царю в ставку — и не дай Ни-

колаше поймать тебя на каких-нибудь обещаниях или на чем-нибудь другом — помни, что Григорий спас тебя от него и его злых людей... вспомни, во имя России, что они хотели сделать: выгнать тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумаги были готовы), а меня — в монастырь...»

Брат царя, Михаил, говорил Родзянко: «Вся семья сознает, насколько вредна Александра Федоровна. Брата и ее окружают только изменники. Все порядочные люди ушли. Но как быть в этом случае?» Вот именно: как быть в этом случае?

Великая княгиня Мария Павловна в присутствии своих сыновей настаивала на том, чтоб Родзянко взял на себя инициативу «устранения» царицы. Родзянко предложил считать разговор как бы не бывшим, иначе он, по долгу присяги, должен был бы доложить царю, что великая княгиня предлагает председателю Думы уничтожить императрицу. Так находчивый камергер свел вопрос об убийстве царицы к милой великосветской шутке.

Само министерство находилось моментами в острой оппозиции к царю. Еще в 1915 году, за полтора года до переворота, на заседаниях правительства открыто велись речи, которые и сейчас кажутся невероятными. Военный министр Поливанов: «Спасти положение может только примирительная к обществу политика. Теперешние шаткие плотины не способны предупредить катастрофу». Морской министр Григорович: «Не секрет, что и армия нам не доверяет и ждет перемен». Министр иностранных дел Сазонов: «Популярность царя и его авторитет в глазах народных масс значительно поколеблены». Министр внутренних дел князь Щербатов: «Мы все вместе непригодны для управления Россией при слагающейся обстановке... Нужна либо диктатура, либо примирительная политика». (Заседание 21 августа 1915 г.). Ни то, ни другое уже не могло помочь; ни то, ни другое уже не было осуществимо. Царь не решался на диктатуру, отклонял примирительную политику и не

принимал отставки министров, считавших себя негодными. Ведший записи крупный чиновник делает к министерским речам краткий комментарий: придется, очевидно, висеть на фонаре.

При таком самочувствии немудрено, если даже в бюрократических кругах говорили о необходимости дворцового переворота, как единственного средства предупредить надвигающуюся революцию. «Если бы я закрыл глаза, — вспоминает о таких беседах один из участников, — то я мог бы подумать, что нахожусь в обществе заядлых революционеров».

Жандармский полковник, обследовавший, по специальному заданию, армии на юге России, нарисовал в докладе мрачную картину: усилиями пропаганды, особенно насчет германофильства императрицы и царя, армия подготовлена к мысли о дворцовом перевороте. «Разговоры в этом смысле открыто велись в офицерских собраниях и не встречали необходимого противодействия со стороны высшего командного состава». Протопопов свидетельствует, с своей стороны, что «значительное число лиц из высшего командного состава сочувствовало перевороту; отдельные лица были в сношениях и под влиянием главных деятелей, так называемого, прогрессивного блока».

Прославившийся впоследствии адмирал Колчак показывал, после разгрома его войск красной армией, перед советской следственной комиссией, что у него были связи со многими оппозиционными членами Думы, выступления которых он приветствовал, так как «относился к существующей перед революцией власти отрицательно». В планы дворцового переворота Колчак, однако, не был посвящен.

После убийства Распутина и последовавших в связи с этим высылок великих князей великосветское общество особенно громко заговорило о необходимости дворцового переворота. Князь Юсупов рассказывает, что к арестованному во дворце великому князю Дмитрию приходили офицеры нескольких полков и предла-

гали разные планы решительных действий, «на которые он, конечно, не мог согласиться».

К заговору считалась причастной и союзная дипломатия, по крайней мере, в лице британского посла. Этот последний, несомненно по инициативе русских либералов, сделал в январе 1917 года попытку повлиять на Николая, испросив предварительно санкцию своего правительства. Николай внимательно и вежливо выслушал посла, поблагодарил его и — заговорил о посторонних предметах. Протопопов докладывал Николаю о сношениях Бьюкенена с главнейшими деятелями прогрессивного блока и предлагал установить наблюдение за британским посольством. Николай не одобрил будто бы этого предложения, находя наблюдение за послом «несоответствующим международным традициям». Между тем Курлов, не обинуясь, сообщает, что «розыскные органы ежедневно отмечали сношения лидера кадетской партии Милюкова с английским посольством». Следовательно, международные традиции ничему не помешали. Но и нарушение их немногим помогло: дворцовый заговор так и не был раскрыт.

Существовал ли он на самом деле? Ничто этого не доказывает. Он был слишком широк, этот «заговор», захватывал слишком многочисленные и разнообразные круги, чтобы быть заговором. Он висел в воздухе, как настроение верхов петербургского общества, как смутная идея спасения или как лозунг отчаяния. Но он не сгущался до степени практического плана.

Высшее дворянство в XVIII столетии не раз вносило практические поправки в порядок престолонаследия, заточая или удушая неудобных императоров: в последний раз эта операция была проделана над Павлом в 1801 г. Нельзя, следовательно, сказать, чтобы дворцовый переворот противоречил традициям русской монархии: наоборот, он входил в них непременным элементом. Но аристократия давно уж не чувствовала себя твердо в седле. Честь удушения царя и царицы она уступала либеральной буржуазии. Но

вожди последней проявляли немногим больше решимости.

После революции не раз делались ссылки на либеральных капиталистов, Гучкова и Терещенко, и на близкого к ним генерала Крымова, как на ядро заговорщиков. Бывший доброволец в армии буров против Англии, дуэлянт Гучков, либерал со шпорами, вообще должен был казаться «общественному мнению» наиболее подходящей для заговора фигурой. Не многословный же профессор Милюков, в самом деле! Гучков несомненно возвращался не раз мыслью к хорошему и короткому удару, в котором один гвардейский полк заменяет и предупреждает революцию. Еще Витте в своих «Воспоминаниях» доносил на Гучкова, которого ненавидел, как на поклонника младотурецких методов расправы над неподходящим султаном. Но Гучков, не успевший и в молодые годы проявить свою младотурецкую отвагу, успел сильно постареть. А, глвное, сподвижник Столыпина не мог не видеть разницы русских условий и старо-турецких, не мог не спрашивать себя: не окажется ли дворцовый переворот, вместо средства предупредить революцию, тем последним толчком, который обрушит лавину, и не станет ли таким образом лекарство гибельнее самой болезни?

В литературе, посвященной февральской революции, о подготовке дворцового переворота говорится, как о твердо установленном факте. Милюков выражается так: «В феврале уже намечалось его осуществление». Деникин переносит осуществление на март. Оба упоминают о «плане» остановить в пути царский поезд, потребовать отречения, и в случае отказа, который предполагался неизбежным, произвести «физическое устранение» царя. Милюков добавляет, что, в предвиденьи возможного переворота, главари прогрессивного блока, не участвовавшие в заговоре и не бывшие «точно» осведомлены о подготовлениях к нему, обсуждали в тесном кругу, как получше использовать переворот в случае удачи. Некоторые марксистские

исследования последних годов также принимают версию о практической подготовке переворота на веру. На этом примере, кстати, можно проследить, как легко и прочно легенды завоевывают себе место в исторической науке.

Важнейшим доказательством заговора выставляется нередко красочный рассказ Родзянко, свидетельствующий как раз о том, что заговора не было. В январе 1917 г. приезжал в столицу с фронта генерал Крымов и жаловался перед членами Думы на то, что дальше так продолжаться не может: «Если вы решитесь на эту крайнюю меру (смену царя), то мы вас поддержим». Если вы решитесь!.. Октябрист Шидловский с озлоблением воскликнул: «Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию». В шумном споре приведены были действительные или мнимые слова Брусилова: «Если придется выбирать между царем и Россией, — я пойду за Россией». Если придется! Молодой миллионер Терещенко выступал, как непреклонный цареубийца. Кадет Шингарев сказал: «Генерал прав: переворот необходим... Но кто на него решится?» В том то и дело: кто на него решится? Такова суть показаний Родзянко, который сам выступал против переворота. Втечение немногих дальнейших недель план, повидимому, нисколько не продвинулся вперед. Об остановке царского поезда разговаривали, но совершенно не видно, кто эту операцию должен был провести.

Русский либерализм, когда был моложе, поддерживал деньгами и симпатиями революционеров-террористов в надежде, что они бомбами загонят монархию в его объятия. Рисковать собственной головой никто из этих почтенных господ не привык. Но главную роль играл все же не столько личный, сколько классовый страх: сейчас плохо, — рассуждали они, — но как бы не стало хуже. Во всяком случае, еслиб Гучков—Терещенко—Крымов всерьез шли к перевороту, т. е. практически подготовляли его, мобилизуя силы и средства, — это стало бы с полной определенностью и точ-

ностью известно после революции, ибо участники, особенно молодые исполнители, которых понадобилось бы не мало, не имели бы никаких оснований умалчивать о «почти» совершенном подвиге: после февраля это только обеспечило бы их карьеру. Однако, таких разоблачений не было. Совершенно очевидно, что и у Гучкова с Крымовым дело не пошло дальше патриотических вздохов за вином и сигарой. Легкомысленные фрондеры аристократии, как и тяжеловесные оппозиционеры плутократии так и не нашли в себе духу внести поправку действием в пути неблагосклонного промысла.

В мае 1917 г. один из самых красноречивых и пустых либералов, Маклаков, воскликнет на частном совещании Думы, которую революция отставит вместе с монархией: «Если потомки проклянут эту революцию, то они проклянут и нас, несумевших во-время переворотом сверху предупредить ее!». Еще позже, уже в эмиграции, Керенский, вслед за Маклаковым, будет сокрушаться: «Да, цензовая Россия опоздала своевременным coup d'état — сверху (о котором так много говорили и к которому так много(?) готовились, — опоздала предотвратить стихийный взрыв государства».

Эти два восклицания завершают картину, показывая, что и после того, как революция развязала все свои неукротимые силы, просвещенные пошляки продолжали думать, что ее могла бы предотвратить «своевременная» перемена династической головки!

* * *

На «большой» дворцовый переворот не хватило решимости. Но из него вырос план малого переворота. Либеральные заговорщики не посмели убрать главного актера монархии; великие князья решили убрать ее суфлера: в убийстве Распутина они видели последнее средство спасения династии.

Князь Юсупов, женатый на одной из Романовых,

привлек к делу великого князя Дмитрия Павловича и монархического депутата Пуришкевича. Пытались втянуть еще либерала Маклакова, очевидно, чтоб придать убийству «общенациональный» характер. Знаменитый адвокат благоразумно уклонился, снабдив, однако, заговорщиков ядом. Очень стильная деталь! Заговорщики не без основания считали, что романовский автомобиль облегчит увоз тела после убийства: великокняжеский герб нашел себе применение. Дальнейшее разыгрывалось в плане кинематографической постановки, рассчитаной на дурные вкусы. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин, завлеченный на пирушку, был убит в юсуповском особняке.

Правящие классы, за вычетом тесной камарильи и мистических поклонниц, восприняли убийство Распутина, как спасительный акт. Подвергнутого домашнему аресту великого князя, руки которого оказались, по выражению царя, запачканы мужицкой кровью, — хоть и Христос, а все же мужик! — посетили с сочувствием все члены императорского дома, находившиеся в Петербурге. Родная сестра царицы, вдова великого князя Сергия, сообщала по телеграфу, что молится за убийц и благословляет их патриотический поступок. Газеты, пока не последовало воспрещения упоминать о Распутине, печатали восторженные статьи. В театрах пытались манифестировать в честь убийц. Прохожие поздравляли друг друга на улицах. «В частных домах, в офицерских собраниях, в ресторанах, — вспоминает князь Юсупов, — пили за наше здоровье; на заводах рабочие кричали нам у р а». Можно вполне допустить, что рабочие не горевали, узнав об убийстве Распутина. Но их крики «ура» не имели ничего общего с надеждами на возрождение династии.

Распутинская камарилья выжидательно притаилась. Распутина хоронили, скрываясь от всего мира: царь, царица, царские дочери и Вырубова; вокруг трупа святого Друга, бывшего конокрада, убитого великими князьями, царская семья должна была самой себе казаться отверженной. Однако, и погребенный Распу-

тин не нашел покоя. Когда Николай и Александра Романовы считались уже арестованными, солдаты Царского Села разрыли могилу и вскрыли гроб. У головы убитого лежала икона с надписью: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Аня. Временное Правительство прислало уполномоченного для доставки зачем-то трупа в Петроград. Толпа воспротивилась, и уполномоченному пришлось сжечь труп тут же.

После убийства Друга монархия прожила всего десять недель. Но этот короткий срок принадлежал еще ей. Распутина не было, но царить продолжала его тень. Наперекор всем ожиданиям заговорщиков, царская чета стала после убийства с особенной силой выдвигать наиболее презренных членов распутинской клики. Для отмщения за Распутина министром юстиции был назначен заведомый негодяй. Несколько великих князей были высланы из столицы. Передавали, что Протопопов занимается спиритизмом, вызывая дух Распутина. Петля безысходности затянулась еще туже.

Убийство Распутина сыграло крупную роль, но совсем не ту, на какую рассчитывали участники и вдохновители. Оно не ослабило кризиса, а обострило его. Об убийстве говорили везде: во дворцах, в штабах, на заводах и в крестьянских избах. Вывод навязывался сам собою: даже великим князьям нет других путей против прокаженной камарильи, кроме яда и револьвера. Поэт Блок писал об убийстве Распутина: «пуля его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии».

* * *

Еще Робеспьер напоминал Законодательному Собранию, что оппозиция дворянства, ослабив монархию, раскачала буржуазию, а за нею и народные массы. Робеспьер предупреждал одновременно, что в остальной Европе революция не сможет развернуться так быстро, как во Франции, ибо привиллегированные

классы других стран научены опытом французского дворянства и не возьмут на себя почина революции. Давая этот замечательный анализ, Робеспьер ошибался, однако, в своем предположении, что своей оппозиционной опрометчивостью французское дворянство дало раз навсегда урок дворянству других стран. Россия снова показала, и в 1905 году и, особенно, в 1917 году, что революция, направленная против самодержавного и полукрепостнического режима, следовательно, против дворянства, встречает на первых своих шагах бессистемное, противоречивое, но тем не менее весьма действительное содействие не только со стороны рядового дворянства, но и со стороны самых привиллегированных его верхов, включая сюда даже и членов династии. Это замечательное историческое явление может показаться противоречащим классовой теории общества, но на самом деле оно противоречит только вульгарному ее пониманию.

Революция возникает, когда все антагонизмы общества доходят до высшего напряжения. Но это то и делает положение несносным даже и для классов старого общества, т. е. тех, которые обречены на слом. Не придавая биологическим аналогиям бо̂льшего веса, чем они заслуживают, уместно все же напомнить, что акт родов становится в известный момент одинаково неотвратимым, как для материнского организма, так и для плода. Оппозиция привиллегированных классов выражает собою несовместимость их традиционного общественного положения с потребностями дальнейшего существования общества. У правящей бюрократии все начинает валиться из рук. Аристократия, чувствуя себя в фокусе общей вражды, сваливает вину на бюрократию. Эта последняя винит аристократию, а затем, вместе или порознь, они направляют свое недовольство против монархического увенчания своей власти.

Призванный на время в министры со службы в сословных дворянских учреждениях князь Щербатов говорил: «И Самарин и я — бывшие губернские пред-

водители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми, и мы сами себя таковыми не считаем. Но мы оба никак не можем понять такого положения в государстве, чтобы Монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всею благоразумною (о революционных интригах говорить не стоит) общественностью — с дворянами, купцами, городами, земствами и даже армиею. Если с нашим мнением не желают наверху считаться, то наш долг уйти».

Дворянство видит причины всех бед в том, что монархия ослепла или потеряла разум. Привиллегированное сословие не верит тому, что вообще уже не может быть такой политики, которая примирила бы старое общество с новым; другими словами, дворянство не мирится со своей обреченностью и превращает свое предсмертное томление в оппозицию против самой священной силы старого режима, т. е. монархии. Острота и безответственность аристократической оппозиции объясняется исторической избалованностью верхов дворянства и невыносимостью для него его собственных страхов перед революцией. Бессистемность и противоречивость дворянской фронды объясняется тем, что это оппозиция класса, у которого нет выхода. Но, как лампа, прежде чем потухнуть, вспыхивает ярким букетом, хоть и с копотью, — так и дворянство, прежде, чем угаснуть, переживает оппозиционную вспышку, которая оказывает крупнейшую услугу его смертельным врагам. Такова диалектика этого процесса, которая не только мирится с классовой теорией общества, но ею только и объясняется.

АГОНИЯ МОНАРХИИ.

Династия свалилась от сотрясения, как гнилой плод, прежде еще, чем революция успела подойти к разрешению ближайших своих задач. Образ старого правящего класса остался бы не завершен, еслиб мы не попытались показать, как монархия встретила час своего падения.

Царь находился в ставке, в Могилеве, куда он уехал не потому, что был там нужен, а укрываясь от петроградских беспокойств. Придворный летописец генерал Дубенский, находившийся при царе в ставке, заносил в свой дневник: «Тихая жизнь началась здесь. Все будет по старому. От него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные внешние причины, кои заставят что-либо измениться» . . . 24 февраля царица писала Николаю в ставку, как всегда, по-английски: «Я надеюсь, что думского Кедринского (речь идет о Керенском) повесят за его ужасные речи — это необходимо (закон военного времени), и это будет примером. Все жаждут и умоляют, чтобы ты показал свою твердость». 25-го в ставке была получена телеграмма от военного министра, что идут в столице забастовки, среди рабочих начинаются беспорядки, но меры приняты, ничего серьезного нет. Словом: не в первый и не в последний раз!

Царица, которая всегда учила царя не уступать, пыталась и теперь держаться твердо. 26-го она, с явным рассчетом подкрепить ненадежное мужество Николая, телеграфирует ему, что в «городе — спокойно». Но в вечерней телеграмме вынуждена уже признать, что «совсем нехорошо в городе». В письме она пишет: «Рабочим прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, а если будут, то посылать их в наказание

на фронт. Совсем не надо стрельбы, нужен только порядок, и не пускать их переходить мосты». Да, нужно немногое: только порядок! А главное не пускать рабочих в центр, пусть задыхаются в яростном бессилии своих окраин.

Утром 27-го двинут с фронта на столицу генерал Иванов с георгиевским батальоном и с диктаторскими полномочиями, о которых он, однако, должен обявить лишь по занятии Царского Села. «Трудно себе представить более неподходящее лицо, — будет вспоминать генерал Деникин, сам упражнявшийся впоследствии в военной диктатуре, — дряхлый старик, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью». Выбор пал на Иванова по воспоминаниям о первой революции: одиннадцать лет перед тем он усмирял Кронштадт. Но эти годы прошли не бесследно: усмирители одряхлели, усмиряемые возмужали. Северному и Западному фронту приказано было подготовить войска к отправке на Петроград. Очевидно, считалось, что времени впереди достаточно. Сам Иванов полагал, что все закончится скоро и благополучно, и даже не забыл поручить адъютанту купить в Могилеве провизии для знакомых в Петрограде.

27 февраля, утром, Родзянко послал царю новую телеграмму, которая кончалась словами: «Настал последний час, когда решается судьба родины и династии». Царь сказал министру двора Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Но нет, это не был вздор! И отвечать придется.

Около полудня 27-го в ставке получено донесение Хабалова о восстании Павловского, Волынского, Литовского и Преображенского полков и о необходимости присылки надежных частей с фронта. Через час от военного министра приходит весьма успокоительная телеграмма: «Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются верными своему долгу ротами и баталь-

онами... Твердо уверен в скором наступлении спокойствия...» Однако, после 7 часов вечера тот же Беляев докладывает уже, что «военный мятеж немногими оставшимися верными долгу чести частями погасить не удается», и просит спешного прибытия действительно надежных частей, притом в достаточном количестве, «для одновременных действий в различных частях города».

Совет министров в этот день счел благовременным собственными силами вытеснить из своей среды предполагаемую причину всех бед: полусумашедшего министра внутренних дел Протопопова. Одновременно генерал Хабалов пустил в ход заготовленный тайно от правительства акт, объявлявший, по высочайшему повелению, Петроград на осадном положении. Таким образом и здесь была попытка комбинации горячего с холодным, хотя вряд ли уже преднамеренная, и во всяком случае безнадежная. Даже расклеить листки с объявлением осадного положения по городу не удалось: у градоначальника Балка не оказалось ни клею, ни кистей. У этих властей вообще не клеилось, ибо они уже принадлежали к царству теней.

Главной тенью последнего царского министерства состоял семидесятилетний князь Голицын, заведывавший ранее какими то благотворительными учреждениями царицы и ею выдвинутый на пост главы правительства в период войны и революции. Когда друзья спрашивали этого «добродушного русского барина, старого рамолика», по определению либерального барона Нольде, зачем он принял такой хлопотливый пост, Голицын отвечал: «чтоб было одним приятным воспоминанием более». Этой цели он во всяком случае не достиг. О самочувствии последнего царского правительства в те часы свидетельствует следующий рассказ Родзянко. При первом известии о движении масс к Мариинскому дворцу, где происходили заседания министерства, были немедленно же потушены в здании все огни. Правители хотели одного: чтоб революция их не заметила. Слух ока-

зался, однако, ложным, нападения не произошло, и когда снова зажгли свет, то кое-кто из членов царского правительства, «к своему удивлению», оказался под столом. Какие он накоплял там воспоминания, не установлено.

Но и самочувствие самого Родзянко было, видимо, не на высоте. В долгих, но тщетных телефонных поисках правительства председатель Думы снова пробует дозвониться князя Голицына. Тот отвечает ему: «прошу более ни с чем ко мне не обращаться, я подал в отставку». Услышав эту весть, Родзянко, по рассказу его преданного секретаря, грузно опустился на кресло и закрыл лицо обеими руками... «Боже мой, какой ужас!... Без власти... Анархия... Кровь...» и тихо заплакал. При угасании старческого призрака царской власти Родзянко почувствовал себя несчастным, заброшенным, осиротелым. Как далек он был в этот час от мысли, что завтра ему придется «возглавить» революцию!

Телефонный ответ Голицына объясняется тем, что 27-го вечером совет министров окончательно признал себя неспособным справиться с создавшимся положением и предложил царю во главе правительства лицо, пользующееся общим доверием. Царь ответил Голицыну: «Относительно перемен в личном составе при данных обстоятелствах считаю их недопустимыми. Николай». Каких же еще обстоятельств он дожидался? Одновременно царь требовал принятия «самых решительных мер» для подавления мятежа. Это было легче сказать, чем сделать.

На другой день, 28-го, падает, наконец, духом и неукротимая царица. «Уступки необходимы, — телеграфирует она Николаю. — Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Алис». Понадобилось восстание всей гвардии, всего гарнизона, чтоб заставить гессенскую ревнительницу самодержавия согласиться, что «уступки необходимы». Теперь и царь начинает догадываться, что «этот толстяк Родзянко» сообщал ему не вздор. Николай ре-

шает ехать к семье. Возможно, что его в спину слегка подталкивают генералы ставки, которым не по себе.

Царский поезд ехал сперва без происшествий, на встречу выходили, как всегда, урядники и губернаторы. Вдали от революционного вихря, в привычном вагоне, среди привычной свиты, царь, видимо, опять утратил ощущение придвинувшейся вплотную развязки. В 3 часа дня 28-го, когда его судьба уже решена ходом событий, он посылает царице из Вязьмы телеграмму: «Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники». Вместо уступок, на которых настаивает даже царица, нежно любящий царь посылает с фронта войска. Но несмотри на «великолепную погоду», царю уже через несколько часов приходится столкнуться с революционной бурей лицом к лицу. Поезд дошел до станции Вишера, дальше железнодорожники его не пропустили: «испорчен мост». Вероятнее всего, этот предлог выдумала сама свита, чтоб скрасить положение. Николай пытался проехать или его пытались провести через Бологое, по Николаевской железной дороге; но поезда не пустили и туда. Это было гораздо нагляднее, чем все петроградские телеграммы. Царь оторвался от ставки и не находил дороги в свою столицу. Простыми железнодорожными «пешками» революция объявила шах королю!

Придворный историограф Дубенский, сопровождавший царя в поезде, записывает в дневнике: «Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь... Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен; она будет введена наверное... Все говорят, что надо только сторговаться с ними, с членами Временного Правительства». Перед опущенным семафором, за которым сгустилась смертельная опасность, граф Фредерикс, князь Долгорукий, герцог Лейхтенбергский, все, все высокие господа теперь за конституцию. Они и не думают больше о

борьбе. Надо только поторговаться, т. е. попытаться снова обмануть, как в 1905 году.

Пока поезд блуждал, не находя пути, царица посылала царю телеграмму за телеграммой, призывая его вернуться как можно скорее. Но телеграммы возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом: «место пребывания адресата неизвестно». Телеграфные чиновники не могли сыскать русского царя.

Полки с музыкой и знаменами шествовали к Таврическому дворцу. Гвардейский экипаж выступал под командою великого князя Кирилла Владимировича, у которого, как свидетельствует графиня Клейнмихель, сразу появилась революционная осанка. Караулы ушли. Приближенные покидали дворец. «Спасались все, кто мог», вспоминает Вырубова. По дворцу бродили кучки революционных солдат и с жадным любопытством все разглядывали. Прежде еще, чем на верхах решили, как быть, низы превращали дворец царизма в музей.

Царь, место пребывания которого неизвестно, поворачивает на Псков, в штаб Северного фронта, которым командует старый генерал Рузский. В царской свите одно предложение сменяется другим. Царь оттягивает. Он все еще считает днями и неделями там, где революция уже ведет счет минутами.

Поэт Блок такими чертами характеризовал царя в последние месяцы монархии: «упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и осторожный на словах, был уже сам себе не хозяин. Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти». Насколько же усилиться должны были черты безволия и задерганности, осторожности и недоверия в последние дни февраля и первые марта!

Николай собрался, наконец, послать, и все-таки, видимо, не послал, ненавистному Родзянко телеграмму о том, что, ради спасения родины, поручает ему составить новое министерство, но назначение министров

иностранных дел, военного и морского оставляет за собой. Царь хочет еще поторговаться с «ними»: ведь к Петрограду продвигается «много войск».

Генерал Иванов, действительно, прибыл без помех в Царское Село: очевидно, железнодорожники не решались вступать в столкновение с георгиевским батальоном. Генерал признавался позже, что по пути ему пришлось применять раза 3—4 «отеческое воздействие» против дерзивших ему нижних чинов: он ставил их на колени. Немедленно по приезде «диктатора» в Царское Село местные власти доложили ему, что столкновение георгиевского батальона с войсками угрожало бы опасностью царской семье. Попросту боялись за себя и советовали усмирителю, не разгружаясь, отправиться обратно.

Генерал Иванов задал другому «диктатору», Хабалову, 10 вопросов, на которые получил точные ответы. Воспроизводим их полностью, они этого заслуживают:

Вопросы Иванова:

1. Какие части в порядке и какие безобразят?
2. Какие вокзалы охраняются?
3. В каких частях города поддерживается порядок?
4. Какие власти правят этими частями города?
5. Все ли министерства правильно функционируют?
6. Какие полицейские власти находятся в данное время в вашем распоряжении?
7. Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении?
8. Какое количество продовольствия в вашем распоряжении?
9. Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих?
10. Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении?

Ответы Хабалова:

1. В моем распоряжении, в здании главного адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, две батареи; прочие войска перешли на

сторону революционеров или остаются по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, обезоруживая офицеров.

2. Все вокзалы во власти революционеров и строго ими охраняются.

3. Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

4. Ответить не могу.

5. Министры арестованы революционерами.

6. Не находятся вовсе.

7. Не имею.

8. Продовольствия в моем распоряжении нет. В городе к 25 февраля было 5.600.000 пудов запаса муки.

9. Все артиллерийские заведения во власти революционеров.

10. В моем распоряжении лично начальник штаба округа; с прочими окружными управлениями связи не имею.

Получив столь недвусмысленное освещение обстановки, ген. Иванов «согласился» вернуть свой неразгруженный эшелон на станцию Дно. «Таким образом, — заключает один из главных персонажей ставки, генерал Лукомский, — из командировки генерала Иванова с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось».

Впрочем, скандал имел тихий характер, утонув незаметно в волнах событий. Диктатор отослал, надо думать, знакомым провизию в Петроград и имел долгую беседу с царицей: она ссылалась на свою самоотверженную работу в лазаретах и жаловалась на неблагодарность армии и народа.

В Псков через Могилев идут тем временем вести одна чернее другой. Остававшийся в Петрограде собственный его величества конвой, где каждый солдат был известен по имени и обласкан царской семьей, явился в Государственную Думу, прося разрешения арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании. Вице-адмирал Курош

доносит, что принять меры к усмирению восстания в Кронштадте не находит возможным, так как не может ручаться ни за одну часть. Адмирал Непенин телеграфирует, что Балтийский флот признал Временный Комитет Государственной Думы. Московский главнокомандующий Мрозовский сообщает: «большинство войск с артиллерией передалось революционерам, во власти которых поэтому находится весь город, градоначальник с помощником выбыли из градоначальства». Выбыли — означало: бежали.

Царю все это было сообщено вечером 1 марта. До глубокой ночи шли разговоры и уговоры пойти на ответственное министерство. Царь, наконец, дал согласие к 2-м часам ночи, и его окружение вздохнуло с облегчением. Так как считалось само собою разумеющимся, что этим разрешается проблема революции, то одновременно приказано было вернуть на фронт те части, которые были двинуты на Петроград для подавления восстания. Рузский поспешил на рассвете сообщить благую весть Родзянко. Но часы царя очень отставали. Родзянко, на которого в Таврическом дворце уже навалились демократы, социалисты, солдаты, рабочие депутаты, отвечал Рузскому: «то, что предполагается вами, недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром... Везде войска становятся на сторону Думы и народа с требованием отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича». Правда, войска и не думали требовать ни сына, ни Михаила Александровича. Родзянко попросту приписал войскам и народу тот лозунг, на котором Дума все еще надеялась удержать революцию. Но так или иначе царская уступка пришла поздно: «анархия достигает таких размеров, что я (Родзянко) вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал»... Эти величественные слова свидетельствуют, что председатель Думы успел осушить свои слезы по Голицыну. Царь читал беседу Родзянко с Рузским и колебался, перечитывал и выжидал. Но

теперь уже военачальники забили тревогу: дело касалось немножко и их!

Генерал Алексеев произвел в ночные часы своего рода плебисцит среди главнокомандующих фронтами. Хорошо, что современные революции совершаются при участии телеграфа, так что самые первые побуждения и отклики власть имущих закрепляются для истории на бумажной ленте. Переговоры царских фельдмаршалов в ночь с 1-го на 2-ое марта представляют собою несравненный человеческий документ. Отрекаться царю или не отрекаться? Главнокомандующий западного фронта, генерал Эверт, соглашался дать свое заключение лишь после того, как выскажутся генералы Рузский и Брусилов. Главнокомандующий румынского фронта, генерал Сахаров, требовал, чтобы ему были сообщены предварительно заключения всех остальных главнокомандующих. После долгих проволочек этот доблестный воин заявил, что его горячая любовь к монарху не позволяет его душе мириться с принятием «гнусного предложения»; тем не менее, «рыдая», он рекомендовал царю отречься, дабы избежать «еще гнуснейших притязаний». Генерал-адъютант Эверт вразумительно объяснял необходимость капитуляции: «принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких». Великий князь Николай Николаевич с кавказского фронта коленопреклонно молил царя принять «сверхмеру» и отречься от престола; такое же моление шло от генералов Алексеева, Брусилова и адмирала Непенина. От себя Рузский на словах ходатайствовал о том же. Генералы почтительно приставили семь револьверных дул к вискам обожаемого монарха. Боясь упустить момент для примирения с новой властью и не менее того боясь собственных войск, полководцы, привыкшие к сдаче позиций, дали царю и верховному гланокомандующему единодушный совет: без боя сойти со сце-

ны. Это был уже не далекий Петроград, против которого, как казалось, можно было послать войска, но фронт, у которого приходилось эти войска заимствовать.

Выслушав столь внушительно обставленный доклад, царь решил отречься от престола, которым он уже не владел. Заготовлена была приличная случаю телеграмма Родзянко: «Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, чтобы он оставался при мне до совершенолетия, при регентстве брата моего Великого Князя Михаила Александровича. Николай». Телеграмма, однако, и на этот раз не была отправлена, так как пришло сообщение о выезде из столицы в Псков депутатов Гучкова и Шульгина. Это давало новый повод отсрочить решение. Царь приказал вернуть ему телеграмму. Он явно опасался продешевить и все еще ждал утешительных вестей, вернее сказать, надеялся на чудо. Прибывших депутатов Николай принял в 12 часов ночи со 2 на 3 марта. Чуда не совершилось, и уклоняться больше нельзя было. Царь неожиданно заявил, что не может расстаться с сыном, — какие смутные надежды бродили при этом в его голове? — и подписал манифест об отречении в пользу брата. Одновременно подписаны были указы Сенату о назначении князя Львова председателем совета министров, и Николая Николаевича — верховным главнокомандующим. Фамильные подозрения царицы оказались как бы оправданными: ненавистный «Николаша» вернулся к власти вместе с заговорщиками. Гучков считал, повидимому, всерьез, что революция примирится с августейшим военачальником. Последний тоже принял назначение за чистую монету. Он даже пытался в течение нескольких дней отдавать какие-то распоряжения и призывать к выполнению патриотического долга. Однако, революция безболезненно извергла его.

Чтоб сохранить видимость свободного решения,

Манифест об отречении был помечен 3 часами по полудни на том основании, что первоначальное решение царя об отречении состоялось в этом часу. Но ведь дневное «решение», передававшее престол сыну, а не брату, было фактически взято обратно в рассчете на более благоприятный оборот колеса. Об этом, однако, вслух никто не напоминал. Царь делал последнюю попытку спасти лицо перед ненавистными депутатами, которые, с своей стороны, допустили подделку исторического акта, т. е. обман народа. Монархия сходила со сцены с соблюдением своего стиля. Но и ее преемники остались верны себе. Они, вероятно, даже считали свое попустительство великодушием победителя к побежденному.

Отступая несколько от безличного стиля своего дневника, Николай записывает 2-го марта: «Утром пришел Рузский и прочел мне длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов Государственной думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эс-дековская партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку Алексееву и всем Главнокомандующим. В 12 с половиной часов пришли ответы. Для спасения России и удержания армии на фронте я решился на этот шаг. Я согласился, и из ставки прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал подписанный переделанный манифест. В час ночи уезжал из Пскова с тяжелым чувством; кругом измена, трусость, обман».

Горечь Николая, надо признать, не лишена была оснований. Еще только 28 февраля генерал Алексеев телеграфировал всем главнокомандующим фронтами: «На всех нас лег священный долг перед государем и родиной сохранить верность долгу и присяге в войсках действующих армий». А два дня спустя Алексеев призвал тех же главнокомандующих нарушить верность «долгу и присяге». Среди командного со-

ства не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции в твердом рассчете найти там удобные каюты. Генералы и адмиралы снимали царские вензеля и надевали красные банты. Сообщали впоследствии только об одном праведнике, каком-то командире корпуса, который умер от разрыва сердца во время новой присяги. Но не доказано, что сердце разорвалось от оскорбленного монархизма, а не от иных причин. Штатские сановники и по положению не обязаны были проявлять больше мужества, чем военные. Каждый спасался, как мог.

Но часы монархии решительно не совпадали с часами революции. 3 марта на рассвете Рузский был снова вызван к прямому проводу из столицы. Родзянко и князь Львов требовали задержать царский манифест, который опять оказался запоздавшим. С воцарением Алексея, сообщали уклончиво новые властители, помирились бы, может быть, — кто? — но воцарение Михаила абсолютно неприемлемо. Рузский не без ядовитости выразил сожаление по поводу того, что приезжавшие накануне депутаты Думы не были достаточно осведомлены о цели и задаче своей поездки. Но и у депутатов нашлось оправдание. «Вспыхнул неожиданно для всех такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел», объяснил Рузскому камергер, как еслибы он всю жизнь только и делал, что наблюдал солдатские бунты. «Провозглашение императором Михаила подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить». Как их всех вертит, и гнет, и треплет, и корчит!

Генералитет молча проглатывает и это новое «гнусное притязание» революции. Только Алексеев слегка отводит душу в телеграфном оповещении главнокомандующих: «На председателя Думы левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление, и в сообщениях Родзянко нет откровенности

и искренности». Только искренности не хватало генералам в эти часы!

Но тут царь еще раз передумал. Прибыв из Пскова в Могилев, он вручил своему бывшему начальнику штаба Алексееву для пересылки в Петроград листок бумаги со своим согласием на передачу престола сыну. Очевидно, эта комбинация показалась ему, в конце концов, более обещающей. Алексеев, по рассказу Деникина, унес телеграмму и... не послал. Он считал, что достаточно и тех двух манифестов, которые были уже объявлены армии и стране. Разнобой получался от того, что не только царь и его советники, но и думские либералы размышляли медленнее, чем революция.

Перед окончательным отъездом из Могилева, 8 марта, царь, уже формально арестованный, писал обращение к войскам, заканчивавшееся словами: «Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник отечеству, его предатель». Это была кем-то подсказанная попытка выбить из рук либерализма обвинение в германофильстве. Попытка осталась без последствий: обращение уже не посмели опубликовать.

Так закончилось царствование, которое было непрерывной цепью неудач, несчастий, бедствий и злодеяний, начиная с катастрофы на Ходынке во время коронования, через расстрелы стачечников и бунтующих крестьян, через русско-японскую войну, через страшный разгром революции 1905 г., через бесчисленные казни, карательные экспедиции и национальные погромы, и кончая безумным и подлым участием России в безумной и подлой мировой войне.

По прибытии в Царское Село, где он вместе с семьей подвергся заключению во дворце, царь, по словам Вырубовой, тихо проговорил: «Нет правосудия среди людей». Между тем именно эти слова непреложно свидетельствовали, что историческое правосудие, хоть и позднее, но существует.

* * *

Сходство последней четы Романовых с французской королевской четой эпохи Великой Революции бросается в глаза. Оно уже отмечалось в литературе, но бегло и без выводов. Между тем оно вовсе не случайно, как представляется на первый взгляд, и дает ценный материал для заключений.

Отделенные друг от друга пятью четвертями столетия царь и король представляются в известные моменты двумя актерами, выполняющими одну и ту же роль. Пассивное, выжидательное, но мстительное вероломство составляло отличительную черту обоих, с той разницей, что у Людовика оно было прикрыто сомнительным добродушием, у Николая — обходительностью. Они оба производили впечатление людей, которые тяготятся своим ремеслом и в то же время не согласны уступить хоть частицу своих прав, из которых не умеют сделать никакого употребления. Дневники обоих, родственные даже по стилю или по его отсутствию, одинаково обнаруживают гнетущую душевную пустоту.

Австриячка и гессенская немка образуют, с своей стороны, явную симметрию. Королевы выше своих королей не только физическим ростом, но и моральным. Мария Антуанетта менее набожна, чем Александра Федоровна и, в отличие от последней, горячо предана удовольствиям. Но обе одинаково презирали народ, не выносили мысли об уступках, одинаково не доверяли мужеству своих мужей, глядя на них сверху вниз, Антуанетта — с оттенком презрения, Александра — с жалостью.

Когда авторы мемуаров, приближавшиеся в свое время к петербургскому двору, начинают уверять нас, что Николай II, будь он частным лицом, оставил бы по себе добрую память, они просто воспроизводят давний стереотип благожелательных отзывов о Людовике XVI, немногим обогащая нас как в отношении

истории, так и — человеческой природы.

Мы слышали уже, как возмущался князь Львов, когда в разгар трагических событий первой революции он, вместо удрученного царя, увидел перед собою «веселого разбитного малого в малиновой рубахе». Не зная того, князь только повторял отзыв губернатора Морриса, писавшего в 1790 году о Людовике в Вашингтон: «чего можно ждать от человека, который, будучи в его положении, хорошо ест, пьет, спит и смеется; от этого доброго малого, который веселее, чем кто бы то ни было?»

Когда Александра Федоровна, за три месяца до падения монархии, предрекает: «все поворачивается к лучшему, — сны нашего Друга так много значат!», то она лишь повторяет Марию-Антуанетту, которая за месяц до низвержения королевской власти писала: «я чувствую бодрость духа, и что-то говорит мне, что скоро мы будем счастливы и спасены». Утопая, обе видят радужные сны.

Некоторые элементы сходства имеют, разумеется, случайный характер и представляют лишь интерес исторического анекдота. Неизмеримо важнее те черты, которые были привиты или прямо навязаны властной силой условий и которые бросают яркий свет на взаимоотношение между личностью и объективными факторами истории.

«Он не умел хотеть: вот главная черта его характера», говорит реакционный французский историк о Людовике. Эти слова кажутся написанными о Николае. Оба не умели хотеть. Зато оба умели не хотеть. Но. чего собственно могли «хотеть» последние представители безнадежно проигранного исторического дела?

«Обычно он слушал, улыбался и редко на что-либо решался. Первым его словом обычно было нет». О ком это? Опять-таки о Капете. Но в таком случае образ действий Николая был сплошным плагиатом. Оба идут к пропасти «с короной, надвинутой

на глаза». Но разве легче итти к пропасти, которой все равно нельзя избегнуть, с открытыми глазами? Что изменилось бы, в самом деле, если бы они отодвинули корону на затылок?

Профессиональным психологам следовало бы порекомендовать составить хрестоматию симметричных высказываний Николая и Людовика, Александры и Антуанетты и их приближенных о них. Недостатка в материале не было бы, и в результате получилось бы в высшей степени поучительное историческое свидетельство в пользу материалистической психологии: однородные (конечно, далеко не тождественные) раздражения при однородных условиях вызывают однородные рефлексы. Чем могущественнее раздражитель, тем скорее он преодолевает личные особенности. На щекотку люди реагируют по разному, на каленое железо — однородно. Как паровой молот одинаково превращает и шар и куб в пластинку, так под гнетом слишком больших и неотвратимых событий сплющиваются сопротивляющиеся, утрачивая грани своей «индивидуальности».

Людовик и Николай были последышами бурно жившей династии. Известная уравновешенность того и другого, спокойствие и «веселость» в трудные минуты являлись благовоспитанным выражением скудости внутренних сил, слабости нервных разрядов, нищеты духовных рессурсов. Моральные кастраты, оба были абсолютно лишены воображения и творчества, имели ровно настолько ума, чтоб чувствовать свою тривиальность и питали завистливую враждебность ко всему даровитому и значительному. Обоим выпало править страною в условиях глубоких внутренних кризисов и революционного пробуждения народа. Оба отбивались от вторжения новых идей и прибоя враждебных сил. Нерешительность, лицемерие и лживость были у обоих выражением не столько личной слабости, сколько полной невозможности удержаться на унаследованных позициях.

А как обстояло дело относительно жен? Александра, в еще большей степени, чем Антуанетта, была вознесена на самую вершину мечтаний принцессы, да еще столь захолустной, как гессенская, своим браком с неограниченным повелителем могущественной страны. Обе оне преисполнялись до краев сознания своей высокой миссии: Антуанетта — более фривольно, Александра — в духе протестантского ханжества, переведенного на церковно-славянский язык. Неудачи царствования и растущее недовольство народа безжалостно нарушали тот фантастический мир, который построили для себя эти завзятые, но в конце концов куриные головы. Отсюда растущее ожесточение, гложущая враждебность к чужому народу, не склонившемуся перед ними; ненависть к министрам, которые хоть сколько-нибудь считаются с враждебным миром, т. е. со страной; отчуждение даже от собственного двора, и постоянная обида на мужа, не оправдавшего ожиданий, возбужденных им в качестве жениха.

Историки и биографы психологического уклона нередко ищут и находят чисто-личное и случайное там, где через личность преломляются большие исторические силы. Это та же ошибка зрения, что и у придворных, которые считали последнего русского царя прирожденным «неудачником». Он и сам верил, что родился под несчастной звездой. На самом деле его неудачи вытекали из противоречия между теми старыми целями, которые ему завещали предки, и новыми историческими условиями, в какие он был поставлен. Когда древние говорили, что Юпитер отнимает разум у того, кого хочет погубить, то они в суеверной форме выражали итог глубоких исторических наблюдений. В словах Гете о разуме, который становится бессмыслицей, — «Vernunft wird Unsinn,» — заключается та же мысль о безличном Юпитере исторической диалектики, который отнимает разум у переживших себя исторических учреждений и обрекает на неудачи их защитников. Тексты ролей Романова и Капета были предписаны развитием исторической

драмы. На долю актеров приходились разве лишь оттенки интерпретации. Неудачливость Николая, как и Людовика, коренилась не в их личном гороскопе, а в историческом гороскопе сословно - бюрократической монархии. Они оба были прежде всего последышами абсолютизма. Их нравственное ничтожество, вытекая из их династического эпигонства, придавало последнему особенно зловещий характер.

Можно возразить: еслиб Александр III меньше пил, он мог бы прожить значительно дольше, революция столкнулась бы с царем совершенно другого склада и никакой симметрии с Людовиком XVI не получилось бы. Такое возражение, однако, нисколько не задевает сказанного выше. Мы совсем не собираемся отрицать значение личного в механике исторического процесса, ни значения случайного в личном. Нужно только, чтоб историческая личность, со всеми своими особенностями, бралась не как голый перечень психологических черт, а как живая реальность, выросшая из определенных общественных условий и на них реагирующая. Как роза не перестанет пахнуть потому только, что естественник укажет, какими ингредиентами почвы и атмосферы она питается, так и вскрытие общественных корней личности не отнимает у нее ни ее аромата, ни ее зловония.

Выдвинутое выше соображение насчет возможного долголетия Александра III способно как-раз осветить ту же проблему с другой стороны. Можно допустить, что Александр III не ввязался бы в 1904 году в войну с Японией. Этим самым была бы отодвинута первая революция. До каких пор? Возможно, что «революция 1905 г.» т. е. первая проба сил, первая брешь в системе абсолютизма, составила бы простое вступление ко второй, республиканской, и третьей, пролетарской. На этот счет возможны лишь более или менее интересные догадки. Но неоспоримо во всяком случае, что революция вытекала не из характера Николая II-го, и что не Александр III раз-

решил бы ее задачи. Достаточно напомнить, что нигде и никогда переход от феодального строя к буржуазному не совершался без насильственных потрясений. Только вчера мы это видали в Китае, сегодня снова наблюдаем в Индии. Самое большое, что можно сказать — это, что та или другая политика монархии, та или другая личность монарха могли приблизить или отдалить революцию и наложить известную печать на ее внешний ход.

С каким злобным и бессильным упорством царизм пытался отстоять себя уже в самые последние месяцы, недели и дни, когда его партия была безнадежно проиграна. Если самому Николаю не хватало воли, недостаток ее восполняла царица. Распутин являлся орудием воздействия клики, которая остервенело боролась за самосохранение. Даже в этом узком масштабе личность царя поглащается группой, представляющей сгусток прошлого и его последнюю конвульсию. «Политика» царскосельской верхушки лицом к лицу с революцией состояла из рефлексов затравленного и ослабевшего хищника. Если в степи преследовать волка на быстроходном автомобиле, зверь в конце концов выдохнется и ляжет в бессилии. Но попробуйте надеть на него ошейник, он попытается растерзать или, по крайней мере, поранить вас. Да и остается ли ему в этих условиях что-нибудь другое?

Либералы полагали, что остается. Вместо того, чтоб пойти своевременно на соглашение с цензовой буржуазией и тем предовратить революцию, — таков обвинительный акт либерализма против последнего царя, — Николай упрямо отбивался от уступок, и даже в самые последние дни, уже под ножом рока, когда каждая минута была на счету, все еще медлил, торговался с судьбой и упускал последние возможности. Все это звучит убедительно. Но как жаль, что либерализм, знавший столь безошибочные средства спасения для монархии, не нашел этих средств для себя!

Нелепо было бы утверждать, будто царизм ни-

когда и ни при каких условиях не шел на уступки. Он шел на них. поскольку они вызывались для него необходимостью самосохранения. После крымского разгрома Александр II провел полуосвобождение крестьян и ряд либеральных реформ в области земства, суда, печати, учебных заведений и пр. Царь сам выразил тогда руководящую мысль своих преобразований: освободить крестьян сверху, дабы не освободились снизу. Под натиском первой революции Николай II дал полуконституцию. Столыпин пустил наслом крестьянскую общину, чтоб расширить арену капиталистических сил. Все эти реформы имели, однако, для царизма смысл лишь постольку, поскольку уступки в частном сохраняли целое, т. е. основы сословного общества и самой монархии. Когда последствия реформ начинали перехлестывать за эти пределы, монархия неизбежно шла на попятный. Александр II во второй половине царствования обворовывал реформы первой половины. Александр III пошел по пути контрреформ еще дальше. Николай II отступил в октябре 1905 г. перед революцией, затем распустил им же созданные думы и, как только революция ослабела, совершил государственный переворот. На протяжении трех четвертей столетия, — если начать счет с реформ Александра II — развертывается то подземная, то открытая борьба исторических сил, далеко возвышающаяся над личными качествами отдельных царей и завершающаяся низвержением монархии. Только в исторических рамках этого процесса можно найти место для отдельных царей, их характеров, их «биографий».

Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на «свободную» индивидуальность, по произволу налагающую печать на события. Он всегда является коронованным агентом привиллегированных классов, формирующих общество по образу своему. Когда эти классы еще не исчерпали миссии, тогда и монархия крепка и уверена в себе. Тогда у нее в руках надежный аппарат власти и неограниченный выбор испол-

нителей, ибо наиболее даровитые люди еще не перешли во враждебный лагерь. Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества окончательно склоняется к закату: привиллегированные классы из организаторов национальной жизни превращаются в паразитарный нарост; утратив свои руководящие функции, они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах; недовольство собою они превращают в недовольство монархией; династия изолируется; круг преданных ей до конца людей сокращается; уровень их снижается; опасности между тем растут; новые силы напирают; монархия теряет способность к какой бы то ни было творческой инициативе; она обороняется, отбивается, отступает, — ее действия приобретают автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия Романовых.

Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай — стержень клики, уходящей корнями в безнадежно осужденное прошлое. В горизонтальном разрезе исторической монархии Николай — последнее звено династической цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-сословно-бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные меры и приемы управления, чтоб оградить старый социальный режим от надвигавшейся на него судьбы, и тем не менее завещали Николаю хаотическую империю, уже донашивавшую революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между разными путями гибели.

Либерализм мечтал о монархии британского образца. Но разве парламентаризм сложился на Темзе мирным эволюционным путем или явился плодом «свободной» предусмотрительности отдельного монарха? Нет, он отложился, как итог борьбы, которая длилась

века, и в которой один из королей оставил на перекрестке свою голову.

Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи первой революции. Карл I обнаруживал то же, в основном, сочетание черт, которыми мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и Николая II. «Карл оставался пассивным, — пишет Монтегю, — уступал там, где не в состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману, и не приобрел ни популярности, ни доверия». «Он не был тупым человеком — говорит другой историк о Карле Стюарте, — но у него не хватало твердости характера... Роль злого рока сыграла для него его жена, Генриетта французская, сестра Людовика XIII, пропитанная идеями абсолютизма еще больше, чем Карл». Не будем детализировать характеристику этой третьей, — в хронологическом порядке первой, — королевской четы, раздавленной национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредоточивалась прежде всего на королеве, как француженке и папистке, которой вменяли в вину шашни с Римом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе.

Но Англия имела, по крайней мере, века в своем распоряжении. Она была пионером буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше держала их под своим гнетом. Она эксплоатировала весь мир. Это смягчало внутренние противоречия, накопляло консерватизм, содействовало обилию и устойчивости жировых отложений, в виде паразитарного слоя лэндлордов, монархии, палаты лордов и государственной церкви. Благодаря исключительной исторической привиллегированности развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений перешел в нравы. Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные

континентальные филистеры, вроде русского профессора Милюкова или австро-марксиста Отто Бауэра. Но как раз теперь, когда Англия, теснимая во всем мире, проматывает последние рессурсы своей былой привиллегированности, ее консерватизм теряет свою эластичность и, даже в лице лейбористов, превращается в оголтелую реакцию. Пред лицом индийской революции «социалист» Макдональд не находит иных методов, кроме тех, какие Николай II противопоставлял русской революции. Только слепец может не видеть, что Британия идет навстречу гигантским революционным потрясениям, в которых бесследно погибнут обломки ее консерватизма, ее мирового господства и ее нынешней государственной машины. Макдональд подготовляет эти потрясения ничуть не хуже, чем это делал в свое время Николай II, и никак не с меньшей слепотой. То же, как видим, недурная иллюстрация к вопросу о роли «свободной» личности в истории!

Но где же было России, с ее запоздалым развитием, в хвосте всех европейских наций, со скудным экономическим фундаментом под ногами, вырабатывать «эластический консерватизм» общественных форм, — очевидно специально для потребностей профессорского либерализма и его левой тени, реформистского социализма? Россия слишком долго отставала, — и когда мировой империализм взял ее в тиски, она оказалось вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращенному курсу. Еслиб Николай пошел навстречу либерализму и сменил Штюрмера Милюковым, развитие событий отличалось бы несколько по форме, но не по существу. Ведь именно таким путем пошел на втором этапе революции Людовик, призвав к власти Жиронду: это не избавило от гильотины ни самого Людовика, ни, затем, Жиронду. Накопившиеся социальные противоречия должны были прорваться наружу и, прорвавшись, довести свою очистительную работу до конца. Перед напором народных масс, вынесших, наконец, на открытую арену свои невзгоды, бедствия, обиды, страсти, надежды,

иллюзии и цели, верхушечные комбинации монархии с либерализмом имели эпизодическое значение и могли оказать влияние разве на порядок явлений, может быть, на число действий, но никак не на общее развитие драмы и еще менее на ее грозную развязку.

ПЯТЬ ДНЕЙ.

23—27 февраля 1917.

23-е февраля было международным женским днем. Его предполагалось в социалдемократических кругах отметить в общем порядке: собраниями, речами, листками. Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Ни одна из организаций не призывала в этот день к стачкам. Более того, даже большевистская организация, притом наиболее боевая: комитет Выборгского района, сплошь рабочего, удерживала от стачек. Настроение масс, как свидетельствует Каюров, один из рабочих вожаков района, было очень напряженным, каждая стачка грозила превратиться в открытое столкновение. А так как комитет считал, что для боевых действий время не пришло: и партия недостаточно окрепла, и у рабочих мало связей с солдатами, то постановил не звать на забастовки, а готовиться к революционным выступлениям в неопределенном будущем. Такую линию проводил комитет накануне 23 февраля, и, казалось, все ее принимали. Но на другое утро, вопреки всяким директивам, забастовали текстильщицы нескольких фабрик и выслали к металлистам делегаток с призывом о поддержке стачки. «Скрепя серде», пишет Каюров, пошли на это большевики, за которыми потянулись рабочие — меньшевики и эс-эры. Но раз массовая стачка, то надо звать на улицу всех и самим стать во главе: такое решение провел Каюров, и Выборгскому комитету пришлось одобрить. «Мысль о выступлении давно уже зрела между рабочими, только в тот момент никто не предполагал, во что оно выль-

ется». Запомним это показание участника, очень важное для понимания механики событий.

Считалось заранее несомненным, что, в случае демонстрации, солдаты будут выведены из казарм на улицы, против рабочих. К чему это приведет? Время военное, власти шутить не склонны. Но, с другой стороны, «запасной» солдат военного времени это не старый солдат кадровой армии. Так ли уж он грозен? На эту тему в революционных кругах рассуждали хоть и много, но скорее отвлеченно, ибо никто, решительно никто — это можно на основании всех материалов утверждать категорически — не думал еще в то время, что день 23 февраля станет началом решительного наступления на абсолютизм. Речь шла о демонстрации, с неопределенными, но во всяком случае ограниченными перспективами.

Факт, следовательно, таков, что Февральскую революцию начали снизу, преодолевая противодействие собственных революционных организаций, причем инициативу самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата, работницы — текстильщицы, среди них, надо думать, не мало солдатских жен. Последним толчком послужили возросшие хлебные хвосты. Бастовало в этот день около 90 тысяч работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с полицией. Движение развернулось в Выборгском районе, с его крупными предприятиями, оттуда перекинулось на Петербургскую сторону. В остальных частях города, по свидетельству охранки, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь полиции вызывались уже и воинские наряды, повидимому, немногочисленные, но столкновений с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, направилась к городской думе с требованием хлеба. Это было то же, что от козла требовать молока. Появились в разных частях города красные знамена, и надписи на них свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба, но не хотят ни самодержавия, ни войны. Женский день про-

шел успешно, с подъемом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и к вечеру не догадывался еще никто.

На другой день движение не только не падает, но вырастает вдвое: около половины промышленных рабочих Петрограда бастует 24-го февраля. Рабочие являются с утра на заводы, не приступая к работе, открывают митинги, затем начинаются шествия к центру. В движение втягиваются новые районы и новые группы населения. Лозунг «хлеба» оттеснен или перекрыт лозунгами: «долой самодержавие» и «долой войну». Непрерывные демонстрации на Невском проспекте: сперва компактными массами рабочие, с пением революционных песен, позднее пестрая городская толпа, и в ней синие фуражки студентов. «Гуляющая публика относилась к нам сочувственно, а из некоторых лазаретов солдаты приветствовали нас маханием, кто чем мог». Многие ли отдавали себе отчет в том, что несет с собой это сочувственное махание больных солдат по адресу демонстрирующих? Но казаки беспрерывно, хоть и без ожесточения, атаковывали толпу, лошади их были в мыле; демонстранты раздавались по сторонам и снова смыкались. Страха в толпе не было. «Казаки обещают не стрелять», передавалось из уст в уста. Очевидно, у рабочих были с отдельными казаками беседы. Позже, однако, с руганью появились полупьяные драгуны, врезались в толпу, стали бить пиками по головам. Демонстранты изо всех сил крепились, не разбегаясь. «Стрелять не будут». Действительно, не стреляли.

Либеральный сенатор наблюдал на улицах мертвые трамваи, — или это было на следующий день, и память ему изменила? — иные с разбитыми стеклами, а иные боком на земле около рельсов, и вспоминал июльские дни 1914 года, накануне войны. «Казалось, что возобновляется старая попытка». Глаз сенатора не обманул его, — преемственность была очевидна: история подхватывала концы разорванной войною революционной нити и связывала их узлом.

В течение всего дня толпы народа переливались

из одной части города в другую, усиленно разгонялись полицией, задерживались и оттеснялись кавалерийскими и отчасти пехотными частями. Наряду с криком «долой полицию!» раздавалось все чаще «ура!» по адресу казаков. Это было знаменательно. К полиции толпа проявляла свирепую ненависть. Конных городовых гнали свистом, камнями, осколками льда. Совсем по иному подходили рабочие к солдатам. Вокруг казарм, около часовых, патрулей и цепей стояли кучки рабочих и работниц и дружески перекидывались с ними словами. Это был новый этап, который возник из роста стачки и из очной ставки рабочих с армией. Такой этап неизбежен в каждой революции. Но он всегда кажется новым и действительно ставится каждый раз по новому: люди, которые читали и писали о нем, не узнают его в лицо.

В Государственной думе в этот день рассказывалось, что громадная масса народа сплошь залила всю Знаменскую площадь, весь Невский проспект и все прилегающие улицы, и что наблюдалось совершенно небывалое явление: казаков и полки с музыкой толпа, революционная, а не патриотическая, провожала кличем «ура». На вопрос, что все это значит, первый встречный ответил депутату: «полицейский ударил женщину нагайкой, казаки вступились и прогнали полицию». Так ли произошло это действительно или иначе, этого никто не проверит. Но толпа верила, что это так, что это возможно. Вера эта не с неба свалилась, она возникла из предшествующего опыта и потому должна была стать залогом победы.

Рабочие Эриксона, одного из передовых заводов Выборгского района, после утреннего собрания, всей массой в 2 500 человек, вышли на Сампсониевский проспект и в узком месте наткнулись на казаков. Грудью коней пробивая дорогу, первыми врезались в толпу офицеры. За ними во всю ширину проспекта скачут казаки. Решительный момент! Но всадники осторожно, длинной лентой проехали через только что проложенный офицерами коридор. «Некоторые из них

улыбались, — вспоминает Каюров, — а один хорошо подмигнул рабочим». Не спроста подмигнул казак. Рабочие осмелели дружественной, а не враждебной к казакам смелостью и слегка заразили ею этих последних. Подмигнувший нашел подражателей. Несмотря на новые попытки офицеров, казаки, не нарушая открыто дисциплины, не разгоняли, однако, напористо толпу, а протекали через нее. Так повторилось три-четыре раза, и это еще более сблизило обе стороны. Казаки стали по одиночке отвечать рабочим на вопросы и даже вступать в мимолетные беседы. От дисциплины осталась самая тоненькая и прозрачная оболочка, которая грозила вот-вот прорваться. Офицеры поспешили оторвать разъезд от толпы и, отказавшись от мысли разогнать рабочих, поставили казаков поперек улицы заставой, чтоб не пропускать демонстрантов к центру. И это не помогло: стоя на месте честь честью, казаки не препятствовали, однако, «ныряниию» рабочих под лошадей. Революция не выбирает по произволу своих путей: на первых шагах она продвигалась к победе под брюхом казачьей лошади. Замечательный эпизод! И замечательный глаз рассказчика, который запечатлел все изгибы процесса. Не мудрено, рассказчик был руководителем, за ним было свыше двух тысяч человек: глаз командира, который опасается вражеских нагаек или пуль, смотрит зорко.

Перелом в армии наметился как будто прежде всего на казаках, исконных усмирителях и карателях. Это не значит, однако, что казаки были революционнее других. Наоборот, эти крепкие собственники, на своих лошадях, дорожившие своими казацкими особенностями, пренебрежительные к простым крестьянам, недоверчивые к рабочим, заключали в себе много элементов консерватизма. Но именно поэтому перемены, вызванные войною, ярче были заметны на них. А кроме того, ведь именно их дергали во все стороны, их посылали, их сталкивали лицом к лицу с народом, их нервировали и первыми подвергли испытанию. Им все это осточертело, они хотели домой и подмигивали: де-

лайте, мол, если умеете, мы мешать не будем. Однако, все это были лишь многозначительные симптомы. Армия еще армия, она связана дисциплиной, и основные нити в руках монархии. Рабочие массы безоружны. Руководители и не помышляют еще о решающей развязке.

В этот день на заседании совета министров стоял в числе других вопросов вопрос о беспорядках в столице. Стачка? Демонстрации? Не в первый раз. Все предусмотрено, распоряжения отданы. Простой переход к очередным делам.

Каковы же распоряжения? Несмотря на то, что в течение 23-го и 24-го избито 28 полицейских, — подкупающая точность подсчета! — начальник войск округа, генерал Хабалов, почти диктатор, еще не прибегал к стрельбе. Не от добродушия: все было предусмотрено и размечено заранее, и для стрельбы было свое время.

Революция застигла врасплох только в смысле момента. Но, вообще говоря, оба полюса, — революционный и правительственный, тщательно готовились к ней, готовились много лет, готовились всегда. Что касается большевиков, то вся их деятельность после 1905 г. была ничем иным, как подготовкой ко второй революции. Но и деятельность правительства в огромной своей доле являлась подготовкой к подавлению новой революции. Эта область правительственной работы приняла осенью 1916 года особенно планомерный характер. Комиссия под председательством Хабалова закончила к середине января 1917 г. очень тщательную разработку плана разгрома нового восстания. Город был разбит на шесть полицмейстерств, которые делились на районы. Во главе всех вооруженных сил ставился командир гвардейских запасных частей генерал Чебыкин. Полки были расписаны по районам. В каждом из шести полицмейстерств полиция, жандармерия и войска объединялись под командой особых штаб-офицеров. Казачья конница оставалась в распоряжении самого Чебыкина для операций более крупного мас-

штаба. Порядок расправы был намечен такой: сперва действует одна лишь полиция, затем выступают на сцену казаки с нагайками и, лишь в случае действительной необходимости, пускаются в дело войска с ружьями и пулеметами. Именно этот план, представлявший развитие опыта 1905 года, применялся в февральские дни на деле. Беда была не в отсутствии предусмотрительности и не в пороках самого плана, а в человеческом материале. Здесь грозила большая осечка.

Формально план опирался на весь гарнизон, насчитывавший полтораста тысяч солдат; но в действительности в рассчет вводилось всего каких-нибудь тысяч десять: помимо городовых, которых было $3^1/_2$ тысячи, твердая надежда была еще на учебные команды. Это объясняется характером тогдашнего петроградского гарнизона, состоявшего почти исключительно из частей запаса, прежде всего из 14 запасных батальонов при гвардейских полках, находившихся на фронте. Кроме того в гарнизон входили: один запасный пехотный полк, запасный самокатный батальон, запасный броневой дивизион, небольшие саперные и артиллерийские части и два донских казачьих полка. Это было очень много, слишком много. Разбухшие запасные части состояли из человеческой массы, либо почти не подвергшейся обработке, либо успевшей освободиться от нее. Да ведь такой была в сущности и вся армия.

Хабалов тщательно придерживался им же выработанного плана. В первый день, 23-го, подвизалась исключительно полиция. 24-го была выведена на улицы преимущественно кавалерия, но лишь для действия нагайкой и пикой. Использование пехоты и применение огня ставились в зависимость от дальнейшего развития событий. Но события не заставили себя ждать.

25-го стачка развернулась еще шире. По правительственным данным в ней участвовало в этот день 240 тысяч рабочих. Более отсталые слои подтягиваются по авангарду, бастует уже значительное число мелких предприятий, останавливается трамвай, не работают торговые заведения. В продолжение дня к

стачке примкнули и учащиеся высших учебных заведений. Десятки тысяч народу стекаются к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Делаются попытки устраивать уличные митинги, происходит ряд вооруженных столкновений с полицией. У памятника Александру III выступают ораторы. Конная полиция открывает стрельбу. Один оратор падает раненый. Выстрелами из толпы убит пристав, ранен полицмейстер и еще несколько полицейских. В жандармов бросают бутылки, петарды и ручные гранаты. Война научила этому искусству. Солдаты проявляют пассивность, а иногда и враждебность к полиции. В толпе возбужденно передают, что, когда полицейские начали стрельбу по толпе возле памятника Александру III, казаки дали залп по конным фараонам (такова кличка городовых), и те принуждены были ускакать. Это, видимо, не легенда, пущенная в оборот для поднятия собственного духа, так как эпизод, хоть и по разному, подтверждается с разных сторон.

Рабочий — большевик Каюров, один из подлинных вождей в эти дни, рассказывает, как демонстранты разбежались в одном месте под нагайками конной полиции, на виду у казачьего разъезда, и как он, Каюров, и с ним еще несколько рабочих, не последовали за убегавшими, а, сняв шапки, подошли к казакам со словами: «Братья-казаки, помогите рабочим в борьбе за их мирные требования, вы видите, как разделываются фараоны с нами, голодными рабочими. Помогите!» Этот сознательно приниженный тон, эти шапки в руках — какой меткий психологический рассчет, неподражаемый жест! Вся история уличных боев и революционных побед кишит такими импровизациями. Но они тонут бесследно в пучине больших событий, — историкам остается шелуха общих мест. «Казаки как-то особенно переглянулись», продолжает Каюров, «и не успели мы отойти, как бросились в происходящую свалку». А через несколько минут у вокзальных ворот толпа качает на руках казака, который на ее глазах зарубил шашкой полицейского пристава.

Полиция скоро совсем исчезла, т. е. стала действовать исподтишка. Зато появились с ружьями наперевес солдаты. Рабочие бросают им тревожно: «Неужели, товарищи, вы пришли помогать полиции?» В ответ грубое «проходи». Новая попытка заговорить кончается тем же. Солдаты угрюмы, их гложет червь, и им не в терпеж, когда вопрос попадает в самый центр их тревоги.

Разоружение фараонов становится тем временем общим лозунгом. Полиция — лютый, непримиримый, ненавидимый и ненавидящий враг. О завоевании ее на свою сторону не может быть и речи. Полицейских избивают или убивают. Совсем иное войска: толпа изо всех сил избегает враждебных столкновений с ними, наоборот, ищет путей расположить их к себе, убедить, привлечь, породнить, слить с собою. Несмотря на благоприятные слухи о поведении казаков, может быть, слегка и преувеличенные, толпа к коннице относится все же с опаской. Кавалерист воздымается высоко над толпой, и его душа отделена от души демонстранта четырьмя ногами лошади. Фигура, на которую приходится глядеть снизу вверх, кажется всегда значительнее и грознее. Пехота — тут же, рядом, на мостовой, ближе и доступнее. К ней масса старается подойти вплотную, заглянуть ей в глаза, обдать ее своим горячим дыханием. Большую роль во взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины — работницы. Они смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти приказывают: «отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам». Солдаты волнуются, стыдятся, они тревожно переглядываются, колеблются, кто-нибудь первым решается и — штыки виновато поднимаются над плечами наступающих, застава разомкнулась, радостное и благодарное «ура» потрясает воздух, солдаты окружены, везде споры, укоры, призывы, — революция делает еще шаг вперед.

Николай прислал из ставки телеграфное повеление Хабалову «завтра же» прекратить беспорядки. Воля

царя совпадала с дальнейшим звеном хабаловского «плана», так что телеграмма послужила лишь дополнительным толчком. Завтра должны будут заговорить войска. Не поздно ли? Пока еще сказать нельзя. Вопрос поставлен, но далеко еще не решен. Потачки со стороны казаков, колебания отдельных пехотных застав — лишь многообещающие эпизоды, повторенные тысячекратным эхом чуткой улицы. Этого достаточно, чтобы воодушевить революционную толпу, но слишком мало для победы. Тем более, что есть эпизоды и противоположного характера. Во второй половине дня взвод драгун, будто бы в ответ на револьверные выстрелы из толпы, впервые открыл огонь по демонстрантам у Гостиного Двора: по донесению Хабалова в ставку, убитых трое и десять ранено. Серьезное предупреждение! Одновременно Хабалов пригрозил, что все рабочие, состоящие на учете, как призывные, будут отправлены на фронт, если до 28-го не приступят к работам. Генерал предъявил трехдневный ультиматум, т. е. дал революции больший срок, чем ей понадобится, чтоб свалить Хабалова и монархию в придачу. Но это известно станет только после победы. А вечером 25-го никто еще не знал, что несет в своем чреве завтрашний день.

Постарамся яснее представить себе внутреннюю логику движения. Под флагом «женского дня» 23-го февраля началось долго зревшее и долго сдерживавшееся восстание петроградских рабочих масс. Первой ступенью восстания была стачка. В течение трех дней она ширилась и стала практически всеобщей. Это одно придавало массе уверенность и несло ее вперед. Стачка, принимая все более наступательный характер, сочеталась с демонстрациями, которые сталкивали революционную массу с войсками. Это поднимало задачу в целом в более высокую плоскость, где вопрос разрешается вооруженной силой. Первые дни принесли ряд частных успехов, но более симптоматического, чем материального характера.

Революционное восстание, затянувшееся на не-

сколько дней, может развиваться победоносно только в том случае, если оно повышается со ступени на ступень и отмечает новые и новые удачи. Остановка в развитии успехов опасна, длительное топтание на месте гибельно. Но даже и самих по себе успехов мало; надо, чтоб масса своевременно узнавала о них и успевала их оценить. Можно упустить победу и в такой момент, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять ее. Это бывало в истории.

Три первых дня были днями непрерывного повышения и обострения борьбы. Но именно по этой причине движение достигло того уровня, когда симптоматические удачи становились уже недостаточными. Вся активная масса вышла на улицы. С полицией она справлялась успешно и без труда. Войска в последние два дня уже были втянуты в события: на второй день — только кавалерия, на третий — также и пехота. Они оттесняли и преграждали, иногда попустительствовали, но к огнестрельному оружию почти не прибегали. Сверху не торопились нарушать план, отчасти не дооценивая то, что происходит — ошибка зрения реакции симметрично дополняла ошибку руководителей революции, — отчасти не будучи уверены в войсках. Но как раз третий день, силою развития борьбы, как и силою царского приказа, сделал неизбежным для правительства пустить в ход войска уже по настоящему. Рабочие поняли это, особенно передовой слой, тем более, что накануне драгуны уже стреляли. Вопрос вставал теперь в полном объеме перед обеими сторонами.

В ночь на 26-ое февраля в разных частях города было арестовано около сотни лиц, принадлежавших к различным революционным организациям, в том числе пять членов Петербургского комитета большевиков. Это тоже знаменовало переход правительства в наступление. Что то будет сегодня? Какими проснутся рабочие после вчерашней стрельбы? А главное: что скажут войска? Утренняя заря 26-го февраля занималась в тумане неопределенности и острой тревоги.

В виду ареста Петроградского комитета руководство всей работой в городе перешло в руки Выборгского района. Может быть это и к лучшему. Высшее руководство партии запаздывает безнадежно. Только утром 25-го бюро центрального комитета большевиков решило, наконец, выпустить листовку с призывом ко всероссийской всеобщей стачке. К моменту выхода листка, если он вообще вышел, всеобщая стачка в Петрограде уперлась уже целиком в вооруженное восстание. Руководство наблюдает сверху, колеблется и отстает, т. е. не руководит. Оно плетется за движением.

Чем ближе к заводам, тем больше решимости. Однако, сегодня, 26-го, и в районах тревога. Голодные, усталые, продрогшие, с огромной исторической ответственностью на плечах, выборжские вожаки собирались за городом, по огородам, чтоб перекинуться впечатлениями дня и наметить сообща маршрут... чего? новой демонстрации? Но к чему приведет безоружная демонстрация, раз правительство решилось итти до конца? Этот вопрос сверлит сознание. «Казалось одно: восстание ликвидируется». Здесь мы слышим голос уже знакомого нам Каюрова, и в первый момент нам кажется, что этот голос не его. Так низко упал барометр перед бурей.

В часы, когда колебания охватывают даже наиболее близких к массам революционеров, само движение зашло в сущности значительно дальше, чем представляется его участникам. Еще накануне, к вечеру 25-го февраля, Выборгская сторона оказалась полностью в руках восставших. Полицейские участки были разгромлены, отдельные чины полиции убиты, большинство скрылось. Градоначальство начисто утратило связь с огромной частью столицы. 26-го утром обнаружилось, что не только Выборгская сторона, но и Пески, почти вплоть до Литейного, находятся во власти восставших. По крайней мере, так определяли положение донесения полиции. В известном смысле это было верно, хотя восставшие вряд ли отдавали себе в

этом полный отчет: полиция во многих случаях, несомненно, покидала свое логово прежде, чем оно подвергалось угрозе со стороны рабочих . Но и независимо от этого, очищение фабричных районов от полиции не могло иметь в глазах рабочих решающего значения: ведь войска еще не сказали своего последнего слова. Восстание «ликвидируется», думалось смелым из смелых. Между тем оно только развертывалось.

26-ое февраля приходилось на воскресенье, заводы не работали, и это не позволяло с утра измерить объемом стачки силу напора масс. К тому же рабочие лишены были возможности собраться на заводах, как они делали в предшествующие дни, и это затрудняло демонстрации. Утром на Невском было тихо. В эти часы царица телеграфировала царю: «в городе спокойно». Но спокойствие длится недолго. Рабочие постепенно сосредоточиваются и двигаются со всех пригородов в центр. Их не пускают по мостам. Они валят по льду: ведь стоит еще только февраль, и вся Нева представляет один ледяной мост. Обстрел толпы на льду недостаточен, чтоб сдержать ее. Город преобразился. Всюди патрули, заставы, разъезды конницы. Пути к Невскому особено усиленно охраняются. То и дело раздаются залпы из невидимых засад. Число убитых и раненых растет. В разных направлениях движутся кареты скорой помощи. Откуда и кто стреляет, не всегда можно разобрать. Несомненно, что жестоко проученная полиция решила больше не подставлять себя. Она стреляет из окон, через балконные двери, из-за колонн, с чердаков. Создаются гипотезы, которые легко превращаются в легенды. Говорят, что для устрашения демонстрантов много солдат переодето в полицейские шинели. Говорят, что Протопопов разместил многочисленные пулеметные посты на чердаках домов. Комиссия, созданная после революции, не обнаружила этих постов. Но это не значит, что их не было. Однако, полиция в этот день отступает на задний план. В дело окончательно вступают войска. Им настрого приказано стрелять, и солдаты,

главным образом, учебные команды, т. е. унтер-офицерские школы полков, стреляют. По официальным данным в этот день было до 40 убитых и столько же раненых, не считая тех, что уведены и унесены толпой. Борьба переходит в решающую стадию. Отхлынет ли масса перед свинцом на свои окраины? Нет, она не отхлынула. Она хочет добиться своего.

Чиновничий, буржуазный, либеральный Петербург в испуге. Председатель Государственной Думы Родзянко требовал в этот день присылки надежных войск с фронта; затем «передумал» и порекомендовал военному министру Беляеву разгонять толпу не стрельбой, а холодной водой из кишки, через пожарных. Беляев, посоветовавшись с генералом Хабаловым, ответил, что окачивание водой приводит к обратному действию «именно потому, что возбуждает». Так шли на либерально-сановно-полицейской верхушке беседы об относительных преимуществах холодного и горячего душа для восставшего народа. Полицейские донесения за этот день свидетельствуют, что пожарной кишки недостаточно: «Во время беспорядков наблюдалось, как общее явление, крайне вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским нарядам, в которые толпа, в ответ на предложение разойтись, бросала каменьями и комьями сколотого с улицы льда. При предварительной стрельбе войсками вверх толпа не только не рассеивалась, но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применении стрельбы боевыми патронами в гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в большинстве прятались во дворы ближайших домов, и, по прекращении стрельбы, вновь выходили на улицу». Этот полицейский обзор свидетельствует о чрезвычайно высокой температуре масс. Правда, мало вероятно, чтоб толпа сама начинала бомбардировку войск, хотя бы и учебных команд, камнями и льдом: это слишком противоречит психологии восставших и их мудрой тактике по отношению к армии. Ради дополнительного оправдания массовых убийств краски в донесении не совсем

те и положены не совсем так, как было на деле. Но основное передано верно и с замечательной яркостью: масса не хочет больше отступать, она сопротивляется с оптимистической яркостью, остается на улице даже после убийственных залпов, цепляется не за жизнь, а за мостовую, за камни, за лед. Толпа не просто ожесточена, она отважна. Это потому, что несмотря на расстрелы, толпа не теряет веру в войска. Она рассчитывает на победу и хочет добиться ее во что бы то ни стало.

Нажим рабочих на армию усиливается — навстречу нажиму на армию со стороны властей. Петроградский гарнизон окончательно попадает в фокус событий. Выжидательный период, длившийся почти три дня, когда главная масса гарнизона имела возможность сохранять дружественный нейтралитет по отношению к восставшим, пришел к концу. «Стреляй по врагу!» приказывает монархия. «Не стреляй по братьям и сестрам!» кричат рабочие и работницы. И не только это: «Иди с нами!» Так, на улицах и площадях, у мостов, у казарменных ворот шла непрерывная, то драматическая, то незаметная, но всегда отчаянная борьба за душу солдата. В этой борьбе, в этих острых контактах рабочих и работниц с солдатами, под непрерывную трескотню ружей и пулеметов, решалась судьба власти, войны и страны.

Расстрелы демонстрантов усиливают в рядах руководителей неуверенность. Самый размах движения начинает казаться опасным. Даже на заседании Выборгского комитета 26-го вечером, т. е. за 12 часов до победы, подымались разговоры на тему, не пора ли призвать к окончанию забастовки. Это может показаться поразительным. Но дело в том, что победу гораздо легче узнать на другой день, чем накануне. Впрочем, настроения меняются часто под толчками событий и вестей. Упадок духа быстро сменяется приливом бодрости. Личного мужества у Каюровых и Чугуриных достаточно, но моментами щемит чувство ответственности за массу. Среди рядовых рабочих

колебаний меньше. Об их настроениях доносил по начальству хорошо осведомленный агент охранки Шурканов, игравший крупную роль в организации большевиков: «Так как воинские части не препятствовали толпе, — писал провокатор, — а в отдельных случаях даже принимали меры к парализованию начинаний чинов полиции, то массы получили уверенность в своей безнаказанности, и ныне после двух дней беспрепятственного хождения по улицам, когда революционные круги выдвинули лозунги: «долой войну» и «долой самодержавие», народ уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть бессильна подавить движение в силу того, что воинские части на ее стороне, что решительная победа близка, так как воинские части не сегодня — завтра выступят открыто на сторону революционных сил, что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва расти до полной победы и государственного переворота». Замечательная по сжатости и яркости характеристика! Донесение представляет собою ценнейший исторический документ. Это не помешает, конечно, победоносным рабочим расстрелять его автора.

Провокаторы, число которых огромно, особенно в Петрограде, больше, чем кто бы то ни было, боятся победы революции. Они ведут свою политику: на большевистских совещаниях Шурканов отстаивает самые крайние действия; в донесениях охранке внушает необходимость решительного применения оружия. Может быть, Шурканов с этой целью старался даже преувеличить наступательную уверенность рабочих. Но в основном он прав: события скоро подтвердят его оценку.

Колебались и гадали верхи в обоих лагерях, ибо ни один не мог априорно измерить соотношение сил. Внешние показатели окончательно перестали служить мерилом: одна из главных черт революционного кризиса и состоит в остром противоречии между сознанием и старыми формами общественных связей. Новое соотношение сил таинственно гнездилось в сознании рабочих и солдат. Но именно переход правительства в наступле-

ние, вызванный предшествующим наступлением революционных масс, перевел новое соотношение сил из потенциального состояния в действенное. Рабочий жадно и повелительно заглядывал в глаза солдату, а тот беспокойно и неуверенно отводил свой взор: это означало, что солдат уже как бы сам не ручается за себя. Рабочий подходил к солдату смелее. Тот угрюмо, но не враждебно, скорее виновато, отмалчивался, а иногда — все чаще — отвечал с напускной суровостью, чтоб скрыть, как тревожно у него сердце колотится в груди. Так совершался перелом. Солдат явно стряхивал с себя свое солдатство. Он сам себя при этом не сразу узнавал. Начальство говорило, что солдата опьяняла революция; солдату казалось, наоборот, что он протрезвляется от казарменного опиума. Так подготовился решающий день: 27 февраля.

Однако, уже накануне произошел факт, который, несмотря на свою эпизодичность, окрашивает собою по новому все события 26-го февраля: к вечеру восстала 4-я рота лейб-гвардии Павловского полка. В письменном донесении полицейского надзирателя совершенно категорически указывается причина восстания: «негодование к учебной команде того же полка, которая находилась в наряде на Невском и стреляла по толпе». Кто известил об этом 4-ю роту? Сведение об этом случайно сохранилось. Около 2-х часов дня к казармам Павловского полка прибежала кучка рабочих: перебивая друг друга, они передавали о стрельбе на Невском. «Скажите товарищам, что и павловцы в нас стреляют, мы видели на Невском солдат в вашей форме». Это был жгучий укор, пламенный призыв. «Все были расстроены и бледны». Семя упало не на камень. К 6-ти часам 4-я рота самовольно покинула казармы под командой унтер-офицера — кто он? имя его потонуло бесследно в ряду сотен и тысяч таких же героических имен, — и направилась к Невскому, чтоб снять свою учебную команду. Это не солдатский бунт из-за червивой солонины, это акт высо-

кой революционной инициативы. По пути рота имела стычку с конным полицейским разъездом, стреляла, одного городового и одну лошадь убила, другого городового и другую лошадь ранила. Дальнейший путь восставших в уличном вихре не прослежен. Рота вернулась в казармы и подняла на ноги весь полк. Но оружие было спрятано; по некоторым данным, солдаты овладели все же тридцатью винтовками. Вскоре их окружили преображенцы. 19 павловцев были арестованы и посажены в крепость; остальные сдались. По другим сведениям, начальство не досчиталось в тот вечер 21-го солдата с винтовками. Опасная течь! Эти 21 солдат будут всю ночь искать союзников и защитников. Спасти их может только победа революции. От них рабочие наверняка узнают о том, что произошло. Это не плохое предзнаменование для завтрашних боев.

Набоков, один из самых видных либеральных вождей, правдивые воспоминания которого кажутся местами дневником его партии и его класса, возвращался из гостей пешком домой в час ночи, по темным и настороженным улицам, «встревоженный и с мрачными предчувствиями». Возможно, что на одном из перекрестков ему попался беглый павловец. Оба поспешили разминуться: им нечего было сказать друг другу. В рабочих кварталах и в казармах одни дежурили или совещались, другие спали полусном бивуака и лихорадочно бредили завтрашним днем. Там беглый павловец нашел приют.

* * *

Как бедны записи массовых боев за февральские дни, скудны даже по сравнению с необильными записями октябрьских боев. В октябре восставшими руководила изо дня в день партия; в ее статьях, воззваниях и протоколах записана хотя бы внешняя последовательность борьбы. Не то в феврале. Сверху массами почти не руководили. Газеты молчали, ибо царила стачка. Массы, не оглядываясь, сами делали свою

историю. Восстановить живую картину событий, которые совершились на улицах, почти немыслимо. Хорошо еще, если можно воссоздать их общую последовательность и внутреннюю закономерность.

Правительство, еще не выронившее аппарата власти, обозревало события в целом хуже даже, чем левые партии, которые, как мы знаем, меньше всего были на высоте. После «успешных» расстрелов 26-го министры на миг воспрянули духом. На рассвете 27-го Протопопов успокоительно доносил, что, по полученным сведениям, «часть рабочих намеревается приступить к работам». Но рабочие и не думали возвращаться к станкам. Расстрелы и неудачи вчерашнего дня не обескуражили массы. Как это объяснить? Очевидно, минусы превышались какими-то плюсами. Разливаясь по улицам, сталкиваясь с врагом, встряхивая солдат за плечи, проползая под брюхом лошадей, наступая, разбегаясь, оставляя на перекрестках трупы, захватывая изредка оружие, передавая вести, подхватывая слухи,—восставшая масса становится коллективным существом с бесчисленным количеством глаз, ушей, щупальцев. Вернувшись к ночи с арены борьбы к себе, в заводские кварталы, масса перемалывает впечатления дня, и, отсеивая мелкое и случайное, подводит свой тяжеловесный итог. В ночь на 27-ое этот итог сложился примерно так, как докладывал властям провокатор Шурканов.

С утра рабочие снова стекаются к заводам и на общих собраниях постановляют продолжать борьбу. Особенно решительно настроены, как всегда, выборжцы. Но и в других районах утренние митинги проходят с большим подъемом. Продолжать борьбу! Но что это сегодня значит? Всеобщая стачка разрешилась революционными демонстрациями громадных масс, а демонстрации привели к столкновению с войсками. Продолжать борьбу значит сегодня звать к вооруженному восстанию. Но этот призыв никем не брошен. Он неотвратимо вырастает из событий, но он совершенно не поставлен в порядок дня революционной партией.

Искусство революционного руководства в наиболее критические моменты на девять десятых состоит в том, чтоб уметь подслушать массу, как Каюров подсмотрел движение казачьей брови, только в более широком масштабе. Непревзойденная способность подслушать массу составляла великую силу Ленина. Но Ленина в Петрограде не было. Легальные и полулегальные «социалистические» штабы, Керенские, Чхеидзе, Скобелевы и все те, которые вокруг них вертятся, изрекали предостережения и противодействовали движению. Но и центральный большевистский штаб, состоявший из Шляпникова, Залуцкого и Молотова, поражает беспомощностью и отсутствием инициативы. Фактически районы и казармы были предоставлены самим себе. Первое воззвание к войскам было выпущено только 26-го одной из социалдемократических организаций, близкой к большевикам. Это воззвание, имевшее достаточно нерешительный характер: даже призыва переходить на сторону народа оно в себе не заключало, — распространялось с утра 27-го по всем районам. «Однако, — свидетельствует руководитель организации, Юренев, — темп революционных событий был таков, что наши лозунги уже отставали от него. К моменту, когда листки проникли в солдатскую гущу, последняя совершила свое выступление». Что касается большевистского центра, то Шляпников, по требованию Чугурина, одного из лучших рабочих вожаков февральских дней, только 27-го утром написал воззвание к солдатам. Было ли оно напечатано? В лучшем случае оно могло явиться к шапочному разбору. Повлиять на события 27-го февраля оно никак не могло. Приходится установить, как правило: руководители отставали в те дни тем больше, чем выше стояли.

Но восстание, никем не названное по имени, встало тем не менее в порядок дня. Все мысли рабочих направлены на армию. Неужели мы ее не сдвинем? Разрозненной агитации сегодня уже недостаточно. Выборжцы устроили у казарм Московского полка митинг.

Предприятие оказалось неудачным: трудно ли офицеру или фельдфебелю привести в движение рукоятку пулемета? Рабочие были разогнаны жестоким огнем. Такая же попытка была сделана у казарм Запасного полка. И там то же: между рабочими и солдатами оказались офицеры с пулеметом. Рабочие вожаки неистовствовали, искали оружия, требовали его у партии. Они получали в ответ: оружие у солдат, достаньте у них. Это они знали и сами. Но как достать? Не сорвется ли сегодня все сразу? Так надвинулась критическая точка борьбы. Либо пулемет сметет восстание, либо восстание овладеет пулеметом.

В своих воспоминаниях Шляпников, главная фигура в тогдашнем петербургском центре большевиков, рассказывает, как он, на требование рабочими оружия, хотя бы револьверов, отказывал, отсылая за оружием в казармы. Он хотел таким образом избежать кровавых столкновений между рабочими и солдатами, ставя всю ставку на агитацию, т. е. на завоевание солдат словом и примером. Мы не знаем других свидетельств, которые подтверждали или опровергали бы это показание видного руководителя тех дней, свидетельствующее скорее об уклончивости, чем о дальновидности. Проще было бы признать, что у руководителей не было никакого оружия. Несомненно, что судьба каждой революции на известном этапе разрешается переломом настроения армии. Против многочисленной дисциплинированной, хорошо вооруженной и умело руководимой воинской силы безоружные или почти безоружные народные массы не могли бы одержать победы. Но каждый глубокий национальный кризис не может в той или другой степени не захватить и армию; таким образом вместе с условиями действительно народной революции подготовляется и возможность — конечно, не гарантия — ее победы. Однако, переход армии на сторону восставших не происходит сам собою и не является результатом одной лишь агитации. Армия разнородна, и ее антагонистические элементы связаны террором дисциплины. Революционные солдаты еще

накануне решающего часа не знают, какую силу они представляют и каково их возможное влияние. Разнородны, конечно, и рабочие массы. Но последние имеют неизмеримо больше возможностей проверить свои ряды в процессе подготовки решающего столкновения. Стачки, митинги, демонстрации являются столько же актами борьбы, сколько и ее измерителями. Не вся масса участвует в стачке. Не все стачечники готовы к бою. В наиболее острые моменты на улице оказываются самые решительные. Колеблющиеся, уставшие или консервативные сидят по домам. Здесь революционный отбор происходит сам собою, люди отсеиваются на решете событий. Иначе обстоит с армией. Революционные солдаты, сочувствующие, колеблющиеся, враждебные остаются связаны принудительной дисциплиной, нити которой сосредоточиваются до последнего момента в кулаке офицерства. Солдатские ряды попрежнему рассчитываются ежедневно на «первых» и «вторых»; но как им рассчитаться на мятежных и покорных?

Психологический момент перехода солдат на сторону революции подготовляется долгим молекулярным процессом, который, как и все процессы природы, имеет свою критическую точку. Но как определить ее? Воинская часть вполне может быть подготовленной для присоединения к народу, но не получить извне необходимого толчка. Революционное руководство еще не верит в возможность иметь на своей стороне армию и проходит мимо победы. После этого созревшего, но не осуществившегося восстания, в войсках может произойти реакция: солдаты потеряют вспыхнувшую в их душах надежду, протянут снова шею в ярмо дисциплины и при новой встрече с рабочими окажутся уже против восставших, особенно на дистанции. В этом процессе много невесомых или трудно взвешиваемых величин, перекрещивающихся токов, коллективных внушений и самовнушений. Но из всего этого сложного переплета материальных и психических сил выступает с неотразимой яркостью один вывод: солдаты в массе

своей тем более оказываются способны отвести в сторону штыки, или перейти с ними к народу, чем больше они убеждаются, что восставшие действительно восстали; что это не демонстрация, после которой придется снова возвращаться в казарму и сдавать отчет; что это борьба не на жизнь, а на смерть; что народ может победить, если к нему примкнуть, и что это не только обеспечит безнаказанность, но и принесет облегчение всей участи. Другими словами, перелом в настроении солдат восставшие могут вызвать лишь в том случае, если сами они действительно готовы вырвать победу какою угодно ценою, следовательно и ценою крови. А эта высшая решимость никогда не может и не хочет быть безоружной.

Критический час соприкосновения напирающей массы и преграждающих путь солдат имеет свою критическую минуту: это когда серая застава еще не рассыпалась, еще держится плечо к плечу, но уже колеблется, а офицер, собрав последнюю силу решимости, отдает команду «пли». Крик толпы, вопль ужаса и угрозы, заглушает голос команды, но только на половину. Ружья колышутся, толпа напирает. Тогда офицер направляет дуло револьвера на самого подозрительного из солдат. Из решающей минуты выступает ее решающая секунда. Гибель наиболее смелого солдата, на которого невольно оглядываются остальные, выстрел по толпе унтера из винтовки, выхваченной у убитого, — застава смыкается, ружья разряжаются сами, сметая толпу в переулки и дворы. Но сколько раз, начиная с 1905 года, бывало иначе: в самый критический миг, когда офицер готов спустить курок, его предупреждает выстрел из толпы, где есть свои Каюровы и Чугурины. Это решает не только судьбу уличной стычки, но, может быть, судьбу всего дня, даже всего восстания.

Задача, которую ставил себе Шляпников: оберечь рабочих от враждебных стычек с войсками, не давая восставшим в руки огнестрельного оружия,—вообще не выполнима. Прежде, чем дело дошло до столкнове-

ния с войсками, происходили бесчисленные стычки с полицией. Уличная борьба начиналась с разоружения ненавистных «фараонов», их револьверы переходили в руки восставших. Само по себе это слабое, почти игрушечное оружие против винтовок, пулеметов и пушек врага. Но подлинно ли они в руках врага? Для проверки этого рабочие и требовали оружия. Вопрос решается в области психологической. Но и в восстании психические процессы неотделимы от вещественных. Путь к солдатской винтовке ведет через револьвер, отнятый у фараона.

Переживания солдат в те часы были менее активны, чем переживания рабочих, но не менее глубоки. Напомним снова что гарнизон состоял преимущественно из многотысячных запасных батальонов, предназначенных для пополнения находившихся на фронте полков. Этим людям, в большинстве своем отцам семейств, предстояло итти в окопы, когда война была уже проиграна, а страна разорена. Они не хотели войны, они хотели вернуться домой, к хозяйству. Они достаточно хорошо знали, что творится при дворе и не чувствовали ни малейшей привязанности к монархии. Они не хотели воевать с немцами и еще меньше — с петербургскими рабочими. Они ненавидели правящий класс столицы, наслаждающийся во время войны. В их среде были рабочие с революционным прошлым, которые умели всем этим настроениям дать обобщенное выражение.

Довести солдат от глубокого, но еще непрорвавшегося наружу революционного недовольства до открытых мятежных действий или, на первых порах, хотя бы до мятежного отказа от действий — такова была задача. На третий день борьбы солдаты окончательно утратили возможность удерживаться на позиции благожелательного нейтралитета по отношению к восстанию. Лишь случайные осколки того, что творилось в те часы по линии соприкосновения рабочих и солдат, дошли до нас. Мы слышали накануне, как страстно рабочие жаловались павловцам на поведение их учебной команды. Такие сцены, такие беседы, упре-

ки, призывы разыгрывались во всех концах города. У солдат не оставалось больше времени на колебания. Их заставили вчера стрелять, сегодня заставят снова. Рабочие не сдаются, не отступают, под свинцом хотят добиться своего. И с ними работницы, жены, матери, сестры, возлюбленные. Да ведь это же и есть тот самый час, о котором так часто говорилось шопотом по углам: «еслибы всем вместе . . .». И в момент наивысших мучений, невыносимого страха перед наступающим днем, задыхающейся ненависти к тем, которые навязывают палаческую роль, раздаются в казарме первые голоса открытого возмущения, и в этих голосах, так и оставшихся безыменными, вся казарма с облегчением, с восторгом узнает себя. Так поднялся над землею день крушения романовской монархии.

На утреннем собрании у неутомимого Каюрова, где было до 40 представителей с заводов и фабрик, большинство высказалось за продолжение движения. Большинство, но не все. Досадно, что нельзя установить, какое большинство. Но в те часы было не до протоколов. Впрочем, решение оказалось запоздалым: собрание было прервано опьяняющей вестью о восстани солдат и о раскрытии тюрем. «Шурканов расцеловался со всеми присутствующими». Поцелуй Иуды, но к счастью не перед распятием.

Один за другим восстали с утра, перед выводом из казармы, запасные гвардейские батальоны, продолжив то, что начала накануне 4-ая рота павловцев. В документах, записях, воспоминаниях это грандиозное событие человеческой истории оставило лишь бледный и тусклый отпечаток. Угнетенные массы, даже когда они поднимаются на самые высоты исторического творчества, мало рассказывают о себе и еще меньше записывают. А захватывающее торжество победы смывает затем работу памяти. Возьмем то, что есть.

Первыми поднялись солдаты Волынского полка. Уже в 7 часов утра батальонный командир потревожил Хабалова по телефону, чтоб сообщить ему грозную весть: учебная команда, т. е. часть, особо пред-

назначенная для усмирительной работы, отказалась выходить, начальник ее убит или сам застрелился перед фронтом; вторая версия была, впрочем, скоро отброшена. Сжегши за собой мосты, волынцы устремились расширять базу восстания: в этом теперь было для них единственное спасение. Они бросились в соседние казармы Литовского и Преображенского полков, «снимая» солдат, как стачечники снимают рабочих, переходя с завода на завод. Некоторое время спустя Хабалов получил донесение, что волынцы не только не сдают винтовки, как приказал генерал, но вместе с преображенцами и литовцами и, что еще страшнее, «соединившись с рабочими», разгромили казармы жандармского дивизиона. Это свидетельствует, что вчерашний опыт павловцев не пропал: восставшие нашли руководителей и вместе с тем план действий.

В ранние утренние часы 27-го рабочие представляли себе решение задачи восстанья неизмеримо дальше, чем оно было на деле. Вернее сказать, они видели задачу почти полностью впереди, тогда как она была уже на девять десятых позади. Революционный натиск рабочих на казармы совпал с готовым уже революционным движением солдат на улицы. В течение дня эти два мощных потока сливаются воедино, чтоб бесследно размыть и снести сперва крышу, затем стены, а позже и фундамент старого здания.

Чугурин одним из первых явился на квартиру большевиков с винтовкой в руках и лентой патронов через плечо, «весь перепачканный, но сияющий и победный». Еще бы не сиять! Солдаты с оружием в руках переходят к нам! Кое-где рабочим уже удалось соединиться с солдатами, проникнуть в казармы, получить винтовки и патроны. Выборжцы, совместно с наиболее решительной частью солдат, наметили план действий: захват полицейских участков, в которых засели вооруженные городовые; разоружение всех полицейских чинов; освобождение рабочих, сидящих по участкам, и политических заключенных из тюрем; разгром правительственных отрядов в самом городе, соедине-

ние с еще не поднятыми на ноги воинскими частями и рабочими других районов.

Московский полк присоединился к восстанию не без внутренней борьбы. Поразительно, что этой борьбы в полках воообще было так мало. Монархическая верхушка бессильно отваливалась от солдатской массы и либо пряталась по щелям, либо спешила перекраситься. «В два часа дня, — вспоминает рабочий завода «Арсенал», Королев, — с выходом Московского полка мы вооружились . . . Мы взяли по револьверу и винтовке, отобрали подошедшую группу солдат (некоторые из них попросили ими командовать и указывать, что делать) и направились на Тихвинскую улицу для обстрела полицейского участка». Таким образом рабочие ни на минуту не затруднились указать солдатам, «что делать».

Одна за другой приходили радостные вести о победах: появились свои броневики! Под красными знаменами они наводили по районам ужас на всех еще не покорившихся. Теперь уже не нужно проползать под брюхом казачьей лошади. Революция становится во весь рост!

Часам к двенадцати дня Петроград снова стал полем военных действий: ружейная и пулеметная стрельба раздавалась всюду. Кто и где стреляет, не всегда можно разобрать. Ясно одно: перестреливаются прошлое и будущее. Немало и зрящей стрельбы: подростки палят из неожиданно доставшихся револьверов. Разбит арсенал: «говорят, одних браунингов разобрали по рукам несколько десятков тысяч». От горевших зданий окружного суда и полицейских участков тянулись к небесам столбы дыма. В некоторых пунктах стычки и перестрелки сгущались до настоящих сражений. На Сампсониевском проспекте к баракам, занятым самокатчиками, часть которых толпится в воротах, подходят рабочие. «Что же стоите, товарищи?» Солдаты улыбаются, «нехорошо улыбаются», свидетельствует один из участников, молчат, офицеры грубо приказывают рабочим проходить дальше. Са-

мокатчики, как и кавалеристы, являлись и в Февральской революции и в Октябрьской наиболее консервативными частями армии. Перед забором скопляются скоро рабочие и революционные солдаты. Надо вывести подозрительный батальон! Кто-то сообщает, что послано за броневиками: иначе не взять, пожалуй, самокатчиков, которые укрепились, выставив пулеметы. Но массе трудно ждать: она тревожно нетерпелива и в своем нетерпении права. Прозвучали первые выстрелы с обеих сторон. Но мешает досчатый забор, отделяющий солдат от революции. Наступающие решили свалить забор. Часть свалили, а часть подожгли. Бараки обнажились, числом около двадцати. Самокатчики сосредоточились в двух-трех. Свободные бараки были тут же подожжены. Через шесть лет Каюров будет вспоминать: «Пылающие бараки и сваленный окружающий их забор, пулеметная и ружейная стрельба, возбужденные лица осаждающих, примчавшийся грузовик, наполненный вооруженными революционерами и, наконец, явившийся броневик со сверкающими дулами орудий представляли собой великолепнейшую, незабываемую картину». Это старая царская крепостная поповско-полицейская Россия горела бараками и заборами, исходила огнем и дымом, издыхала в икотке пулеметной стрельбы. Как же было не восторгаться Каюрову, десяткам, сотням, тысячам Каюровых! Прибывший броневик дал несколько пушечных выстрелов по бараку с засевшими в нем офицерами и самокатчиками. Командующий защитой был убит, офицеры, сняв погоны и знаки отличия, бежали через прилегающие к баракам огороды, остальные сдались. Пожалуй, это было самое крупное из столкновений дня.

Военное восстание получило тем временем эпидемический характер. Не восстали в этот день только те части, которые не успели восстать. К вечеру примкнули солдаты Семеновского полка, знаменитого зверским усмирением московского восстания 1905 года: одиннадцать лет не прошло бесследно! Вместе с

егерями семеновцы уже совсем ночью сняли измайловцев, которых начальство держало запертыми в казармах: этот полк, окруживший и арестовавший 3 декабря 1905 года первый Петроградский Совет, считался и теперь еще одним из отсталых. Царский гарнизон столицы, насчитывавший полтораста тысяч солдат, расползался, таял, исчезал. К ночи он уже не существовал.

После утреннего известия о восстании полков Хабалов пытается еще оказать сопротивление, направив против восставших сводный отряд, около 1 000 человек, с самыми драконовскими инструкциями. Но судьба отряда принимает таинственный характер. «Начинает твориться в этот день нечто невозможное, — рассказывает после переворота несравненный Хабалов — ... отряд двинут, двинут с храбрым офицером, решительным, — речь идет о полковнике Кутепове, — но ... результатов нет». Посланные вслед этому отряду роты также пропадали бесследно. Генерал начал формировать резервы на Дворцовой площади, но «не было патронов и неоткуда было их добыть». Это все из подлинных показаний Хабалова перед следственной комиссией Временного Правительства. Куда же девались все-таки усмирительные отряды? Нетрудно догадаться: они сейчас же по выступлении тонули в восстании. Рабочие, женщины, подростки, восставшие солдаты облепляли хабаловские отряды со всех сторон, либо считая их своими, либо стремясь сделать их такими, и не давали им двигаться иначе, как вместе с необозримой толпой. Сражаться с этой плотно облепившей, уже ничего не боящейся, неисчерпаемой, всепроникающей массой можно было так же мало, как и фехтовать в тесте.

Одновременно с донесениями о восстании новых и новых полков шли требования надежных частей для усмирения восставших, для охраны телефонной станции, Литовского замка, Мариинского дворца и других еще более священных мест. Хабалов по телефону требовал прислать надежные части из Кронштадта, но

комендант ответил, что сам опасается за крепость. Хабалов еще не знал, что восстание перекинулось и на соседние гарнизоны. Генерал пытался или делал вид, что пытается, превратить Зимний дворец в редюит, но план сейчас же был оставлен, как неосуществимый, и последняя горсточка «верных» войск перешла в адмиралтейство. Там диктатор озаботился, наконец, совершить наиболее важное и неотложное дело: напечатать для обнародования два последних правительственных акта — об уходе Протопопова «по болезни» и об осадном положении в Петрограде. С последним действительно приходилось торопиться, так как уже через несколько часов армия Хабалова сняла «осаду» с Петрограда и разбежалась из адмиралтейства по домам. Только по неведению революция не арестовала еще 27-го вечером снабженного грозными полномочиями, но совсем не страшного генерала. Это было без осложнений сделано на следующий день.

Неужели же это и есть все сопротивление грозной императорской России перед лицом смертельной опасности? Да, почти все, несмотря на великий опыт расправы с народом и на тщательно разработанные планы. Позже опамятовавшиеся монархисты объясняли легкость февральской победы народа особым характером петроградского гарнизона. Но весь дальнейший ход революции опровергает это объяснение. Правда, еще в начале рокового года камарилья подсказывала царю мысль о необходимости обновить гарнизон столицы. Царь дал без труда себя убедить в том, что гвардейская кавалерия, считавшаяся особо преданной, достаточно «долго пробыла в огне» и заслужила отдых в своих петроградских казармах. Однако, после почтительных представлений фронта царь согласился на замену четырех полков конной гвардии тремя гвардейскими экипажами матросов. По версии Протопопова, замена была произведена будто бы без согласия царя, с вероломным умыслом со стороны командования: «матросы набраны из рабочих и представляют самый революционный элемент в армии». Но это яв-

ный вздор. Просто высшее гвардейское офицерство, особенно кавалерийское, делало слишком хорошую карьеру на фронте, чтоб стремиться в тыл. Кроме того, оно должно было не без страха думать о предназначавшихся ему усмирительных функциях во главе полков, ставших на фронте совсем иными, чем были на столичном плацу. Как показали вскоре события на фронте, конная гвардия уже не отличалась в это время от остальной конницы, а переведенные в столицу матросы-гвардейцы отнюдь не играли активной роли в февральском перевороте. Все дело в том, что ткань режима окончательно сгнила, не осталось ни одной живой нитки . . .

В течение 27-го февраля освобождены толпой без жертв политические арестованные из многочисленных столичных тюрем, в их числе патриотическая группа военно-промышленного комитета, арестованная 26 января, и члены Петербургского комитета большевиков, захваченные Хабаловым 40 часов тому назад. Политическое размежевание происходит сейчас же за воротами тюрьмы: меньшевики-патриоты направляются в Думу, где распределяются роли и посты; большевики идут в районы, к рабочим и солдатам, чтоб заканчивать с ними завоевание столицы. Нельзя давать врагу передышки. Революцию больше, чем всякое другое дело, надо доводить до конца.

Кто надоумил вести восставшие полки в Таврический дворец, ответить нельзя. Такой политический маршрут вытекал из всей обстановки. К Таврическому дворцу, как средоточию оппозиционной информации, естественно тяготели все элементы радикализма, не связанные с массами. Весьма вероятно, что именно эти элементы, внезапно почувствовавшие 27-го приток жизненных сил, выступали в качестве проводников восставшей гвардии. Эта роль была почетной и уже почти безопасной. Дворец Потемкина по всему своему расположению оказался как нельзя более подходящим в качестве центра революции. Одной только улицей Таврический сад отделен от целого военного городка,

где расположены гвардейские казармы, и размещен ряд военных учреждений. Правда, в течение многих лет эта часть города считалась и правительством и революционерами военным оплотом монархии. Да так оно и было. Но сейчас все повернулось. Из гвардейского сектора вышло солдатское восстание. Восставшим частям достаточно было пересечь улицу, чтоб упереться в сад Таврического дворца, который лишь одним кварталом отделен от Невы. А за Невою простирается Выборгский район, паровой котел революции: рабочим достаточно пройти по Александровскому мосту, а если он разведен, по льду Невы, чтобы попасть в гвардейские казармы или в Таврический дворец. Так этот разнородный и противоречивый по происхождению северо-восточный треугольник Петербурга: гвардия, дворец Потемкина и гиганты-заводы, плотно сомкнулся в плацдарм революции.

В здании Таврического дворца уже создаются или намечаются разные центры, в том числе и полевой штаб восстания. Нельзя сказать, чтоб он имел очень серьезный характер. «Революционные» офицеры, т. е. офицеры чем-нибудь, хотя бы недоразумением связанные в прошлом с революцией, но благополучно проспавшие восстание, спешат после его победы напомнить о себе или, по прямому призыву других, являются «на службу революции». Они глубокомысленно обозревают положение и пессимистически покачивают головами. Ведь эти взбудораженные толпы солдат, часто безоружных, совсем не боеспособны. Ни артиллерии, ни пулеметов, ни связи, ни командиров. Врагу достаточно одной крепкой части! Сейчас революционные толпы препятствуют, правда, каким бы то ни было планомерным операциям на улицах. Но на ночь рабочие уйдут к себе, обыватель затихнет, город опустеет. Если Хабалов ударит крепкой частью по казармам, он может оказаться хозяином положения. Эта мысль, кстати сказать, проходит в дальнейшем в разных варьянтах через все этапы революции. — Дайте мне крепкий полк, будут не раз говорить в своем кругу лихие

полковники, и я смету вам в два счета всю эту нечисть. Некоторые, как увидим, попробуют. Но всем придется повторять слова Хабалова: «отряд двинут, с храбрым офицером, но . . . результатов нет».

Да и откуда им быть? Самый непоколебимый из всех возможных отрядов составляли полицейские и жандармы, отчасти учебные команды некоторых полков. Но они оказывались жалкими перед натиском подлинных масс, как бессильными окажутся георгиевские батальоны и юнкерские училища через восемь месяцев, в Октябре. Откуда было монархии достать эту спасительную воинскую часть, готовую и способную вступить в длительное и безнадежное единоборство с двухмиллионным городом? Революция кажется предприимчивым на словах полковникам беззащитной, потому что она еще ужасающе хаотична: везде движения без цели, встречные потоки, людские водовороты, изумленные, точно внезапно оглохшие фигуры, расхлястанные шинели, жестикулирующие студенты, солдаты без ружей, ружья без солдат, стреляющие вверх подростки, тысячеголосый шум, вихри необузданных слухов, фальшивых страхов, ложных радостей, — стоит, кажись, занести над всем этим хаосом саблю, и все брызнет по сторонам без остатка. Но это была грубая ошибка зрения. Хаос только кажущийся. Под ним идет непреодолимая кристаллизация масс по новым осям. Эти неисчислимые толпы еще не определили для себя достаточно ясно, чего они хотят, но зато они пропитаны жгучей ненавистью к тому, чего больше не хотят. За их спиною уже непоправимый исторический обвал. Назад возврата нет. Если бы даже было кому разогнать их, они через час стали бы собираться снова, и второй прибой был бы более неистовым и кровавым. С февральских дней атмосфера Петрограда станет так накалена, что каждая враждебная воинская часть, попавшая в этот мощный очаг или только приблизившаяся к нему и опаленная его дыханием, преображается, теряет уверенность в себе, чувствует себя парализованной и без боя сдается на милость

победителя. В этом убедится завтра генерал Иванов, присланный царем с фронта с батальоном георгиевских кавалеров. Через пять месяцев та же участь постигнет генерала Корнилова. Через восемь — Керенского.

На улицах в предшествующие дни казаки казались наиболее податливыми: это потому, что их больше всего дергали. Но когда дело дошло до прямого восстания, конница еще раз оправдала свою консервативную репутацию, оказавшись позади пехоты. 27-го она еще сохраняла видимость выжидательного нейтралитета. Если Хабалов на нее уже не надеялся, то революция ее все еще опасалась.

Загадкой оставалась пока и Петропавловская крепость на островке, омываемом Невою, против Зимнего и великокняжеских дворцов. За своими стенами гарнизон крепости являлся или казался наиболее огражденным от внешних влияний мирком. Постоянной артиллерии в крепости нет, если не считать старинной пушки, ежедневно возвещающей петроградцам полдень. Но сегодня на стенах выставлены полевые орудия, наведенные на мост. Что там готовят? В Таврическом штабе ночью ломают себе голову над тем, как быть с Петропавловкой, а в крепости мучаются вопросом, что сделает с ними революция. На утро загадка разрешится: «на условии неприкосновенности офицерского состава» крепость сдастся Таврическому дворцу. Разобравшись в положении, что было не так трудно, офицеры крепости поторопятся предупредить неизбежный ход событий.

К вечеру 27-го в Таврический дворец тянутся солдаты, рабочие, студенты, обыватели. Здесь надеются найти тех, которые все знают, получить сведения или указания. Во дворец сносят с разных сторон оружие охапками и складывают в одной из комнат, превращенной в арсенал. Тем временем революционный штаб в Таврическом приступает ночью к работе. Он рассылает команды для охраны вокзалов и разведки по всем направлениям, откуда можно ждать опасности. Солдаты охотно и беспрекословно, хоть и крайне бес-

порядочно, выполняют распоряжения новой власти. Они требуют только каждый раз письменного приказа: инициатива исходит, вероятно, от оставшихся при полках осколков командного состава или от военных писарей. Но они правы: нужно немедля вносить порядок в хаос. У революционного штаба, как и у только что возникшего совета, нет еще никаких печатей. Революции предстоит еще только обзаводиться бюрократическим хозяйством. С течением времени она это сделает, увы, с избытком.

Революция начинает поиски врагов. По городу идут аресты, «самопроизвольные», будут укоризненно говорить либералы. Но вся революция самопроизвольна. В Таврический дворец приводят и приводят задержанных: председателя Государственного Совета, министров, городовых, агентов охранки, «германофильскую» графиню, жандармских офицеров целыми выводками. Некоторые сановники, как Протопопов, придут сюда сами арестоваться: так надежнее. «Стены зала, звучавшего хвалебными гимнами абсолютизму, слыхали ныне лишь вздохи и рыдания, — будет позже рассказывать выпущенная на волю графиня. — Арестованный генерал без сил опустился на соседний стул. Несколько членов Думы любезно предложили мне чашку чая. Потрясенный до глубины души генерал говорил волнуясь: «графиня, мы присутствуем при гибели великой страны!».

Тем временем не собиравшаяся гибнуть великая страна проходила мимо бывших людей, стуча сапогами, громыхая прикладами, потрясая воздух кликами и наступая на ноги. Революции всегда отличались неучтивостью: вероятно потому, что господствующие классы не озабочивались своевременно привитием народу хороших манер.

Таврический становится временной ставкой, правительственным центром, арсеналом, арестантским замком революции, еще не отершей крови и пота с лица. Сюда, в этот водоворот пробираются и предприимчивые враги. Случайно обнаружен переодетый жан-

дармский полковник, ведущий в углу свои записи, не для истории, а для военно-полевых судов. Солдаты и рабочие хотят покончить с ним тут же. Но люди из «штаба» вступаются и легко выводят жандарма из толпы. В это время революция еще благодушна, доверчива, мягкосердечна. Она станет беспощадной только после долгого ряда измен, обманов и кровавых испытаний.

Первая ночь победоносной революции исполнена тревоги. Импровизированные комиссары вокзалов и других пунктов, в большинстве своем из случайной интеллигенции, по личным связям, выскочки, шапочные знакомые революции — унтер-офицеры, особенно из рабочих, были бы куда полезнее! — начинают нервничать, видят всюду опасности, нервируют солдат и без конца телефонируют в Таврический, требуя подкреплений. Там тоже волнуются, телефонируют, посылают подкрепления, которые чаще всего не доходят. «Те, что получают приказы, — рассказывает один из участников ночного таврического штаба — не выполняют их; те, что действуют — действуют без приказа»...

Без приказа действуют рабочие кварталы. Революционные вожаки, выводившие свои заводы, захватывавшие участки, снимавшие затем полки и громившие убежища контр-революции, не спешат в Таврический, в штабы, в руководящие центры, наоборот, с иронией и недоверием кивают в эту сторону: уже слетаются молодчики на дележ шкуры не ими убитого и еще не добитого медведя. Рабочие-большевики, как и лучшие рабочие других левых партий проводят дни на улицах, ночи в районных штабах, держат связь с казармой, подготовляют завтрашний день. В первую ночь победы они продолжают и развивают ту работу, которую выполняли в течение всех этих пяти суток. Они составляют молодой костяк революции, слишком еще рыхлой, как всякая революция на первых порах.

Набоков, уже знакомый нам член кадетского центра, состоявший в это время легализованным дезертиром в генеральном штабе, как всегда отправился

27-го на службу и оставался в канцелярии, ничего не зная о событиях, до трех часов. Вечером на Морской слышались выстрелы, — Набоков слушал их из своей квартиры, — проносились броневики, отдельные солдаты и матросы пробегали, прижимаясь к стенам, — почтенный либерал наблюдал их из боковых окон тамбура. «Телефон продолжал работать, и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать». Этот человек будет скоро одним из вдохновителей Революционного (!) Временного Правительства, под видом управляющего его делами. На улице к нему завтра подойдет незнакомый старик, какой-нибудь конторщик или, может быть, учитель, снимет шляпу и скажет: «Спасибо вам за все, что вы сделали для народа». Набоков об этом со скромной гордостью расскажет сам.

КТО РУКОВОДИЛ ФЕВРАЛЬСКИМ ВОССТАНИЕМ?

Адвокаты и журналисты обиженных революцией классов потратили впоследствии немало чернил, чтоб доказать, что в феврале произошел в сущности бабий бунт, перекрытый затем солдатским мятежом, и что это именно было выдано за революцию. Людовик XVI тоже хотел думать в свое время, что взятие Бастилии — это бунт, но ему почтительно объяснили, что это революция. Те, которые теряют от революции, редко склонны признать за ней ее настоящее имя, ибо оно, несмотря на все усилия злобствующих реакционеров, окружено в исторической памяти человечества ореолом освобождения от старых оков и предрассудков. Привиллегированные всех веков, как и их лакеи, неизменно пытались объявлять низвергнувшую их революцию, в противовес прошлым, мятежом, смутой или бунтом черни. Пережившие себя классы не отличаются изобретательностью.

Вскоре после 27-го февраля делались попытки приравнять февральскую революцию к младотурецкому военному перевороту, о котором, как мы знаем, не мало мечтали на верхах русской буржуазии. Сближение это имело, однако, настолько безнадежный характер, что встретило серьезный отпор в одной из буржуазных газет. Туган-Барановский, экономист, прошедший в молодости школу Маркса, русская разновидность Зомбарта, писал 10 марта в «Биржевых Ведомостях»:

«Турецкая революция заключалась в победоносном восстании армии, подготовленном и осуществленном вождями этой армии. Солдаты были лишь послушными исполнителями замыслов своих офицеров. Те же гвардейские полки, которые 27 февраля опрокинули

русский трон, пришли без своих офицеров... Не армия, а рабочие начали восстание. Не генералы, а солдаты пошли к Государственной Думе. Солдаты же поддержали рабочих не потому, что они послушно выполняли приказания своих офицеров, а потому, что ... почувствовали свою кровную связь с рабочими, как с классом таких же трудящихся людей, как и они сами. Крестьяне и рабочие — вот два социальных класса, которые делали русскую революцию».

Эти слова не нуждаются ни в поправках ни в дополнениях. Дальнейшее развитие революции достаточно подтвердило и закрепило их смысл.

Последний день февраля был в Петербурге первым днем после победы: днем восторгов, объятий, радостных слез, многоречивых излияний, но вместе с тем и днем заключительных ударов по врагу. На улицах еще трещали выстрелы. Говорили, что продолжают стрелять сверху «фараоны» Протопопова, не осведомленные о победе народа. Снизу палили по чердакам, слуховым окнам и колокольням, где предполагались вооруженные фантомы царизма. Около 4-х часов занято было адмиралтейство, куда укрылись последние остатки того, что было раньше государственной властью. Революционные организации и импровизированные группы производили в городе аресты. Шлиссельбургская каторжная тюрьма была взята без выстрела. Присоединялись к революции новые и новые полки: в столице и в окрестностях.

Переворот в Москве был только отголоском восстания в Петрограде. Те же настроения среди рабочих и солдат, но менее ярко выраженные. Несколько более левые настроения в среде буржуазии. Еще большая, чем в Петрограде, слабость революционных организаций. Когда начались события на Неве, московская радикальная интеллигенция устраивала совещания на тему, как быть, и ни к чему не приходила. Только 27-го февраля на фабриках и заводах Москвы начались забастовки, затем демонстрации. Офицеры говорили солдатам по казармам, что на улицах взбунтова-

лась сволочь, которую придется усмирить. «Но уже теперь, рассказывает солдат Шишилин, солдаты понимали слово сволочь обратно». К двум часам появилось у здания Городской думы из разных полков много солдат, искавших способа примкнуть к революции. На следующий день забастовки разрослись. Толпы тянулись к Думе с флагами. Солдат автомобильной роты Муралов, старый большевик, агроном, великодушный и мужественный гигант, привел к Думе первую цельную и дисциплинированную воинскую часть, которая заняла радио и другие посты. Через восемь месяцев Муралов будет командовать войсками Московского военного округа.

Открыты были тюрьмы. Тот же Муралов привез грузовик, наполненный освобожденными политическими. Околоточный, с рукой у козырька, спрашивал у революционера, следует ли выпускать также и евреев. Дзержинский, только что освобожденный из каторжной тюрьмы и еще не сменивший арестантского платья, выступал в здании Думы, где уже формировался Совет депутатов. Артиллерист Дорофеев расскажет, как рабочие конфектной фабрики Сиу пришли 1-го марта со знаменами в казарму артиллерийской бригады брататься с солдатами, и как многие не могли вместить радости и плакали. Были в городе отдельные выстрелы из-за угла, но в общем не было ни вооруженных столкновений, ни жертв: за Москву ответ держал Петроград.

В ряде провинциальных городов движение началось только 1-го марта, после того, как переворот совершился уже и в Москве. В Твери рабочие с работ отправились демонстрацией в казармы и, смешавшись с солдатами, прошлись по улицам города. Тогда еще пели марсельезу, а не интернационал. В Нижнем-Новгороде у здания городской думы, которое в большинстве городов играло роль Таврического дворца, собирались тысячи народа. После речи городского головы рабочие с красными знаменами двинулись освобождать политических из тюрем. Из 21 воинской

части гарнизона уже к вечеру 18 добровольно перешли на сторону революции. В Самаре и Саратове происходили митинги, организовывались Советы рабочих депутатов. В Харькове полицеймейстер, успевший на вокзале осведомиться о перевороте, встал в экипаже перед взбудораженной толпой и, подняв фуражку, крикнул изо всех легких: «да здравствует революция, ура!». В Екатеринослав весть пришла из Харькова. Во главе манифестации шагал помощник полицеймейстера, поддерживая рукою длинную саблю, как и во время парадов в табельные дни. Когда выяснилось окончательно, что монархии не подняться, в учреждениях осторожно стали снимать и прятать на чердаки царские портреты. Таких анекдотов, правдивых и вымышленных, не мало ходило в либеральных кругах, еще не успевших потерять вкус к шутливому тону по адресу революции. Рабочие, как и солдатские гарнизоны переживали события совсем по иному.

В отношении ряда других провинциальных городов (Псков, Орел, Рыбинск, Пенза, Казань, Царицын и др.) хроника отмечает под 2 марта: «стало известно о происшедшем перевороте, и население присоединилось к революции». Эта характеристика, несмотря на свой суммарный характер, в основном правильно передает то, что произошло.

В деревню сведения о революции текли из ближайших городов, отчасти от властей, а главным образом через базары, через рабочих, через отпускных солдат. Деревня воспринимала переворот медленнее и менее энтузиастично, чем город, но не менее глубоко: она его связывала с войной и с землей.

Не будет преувеличением сказать, что Февральскую революцию совершил Петроград. Остальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не было. Не нашлось во всей стране таких групп населения, партий, учреждений или воинских частей, которые решились бы выступить в защиту старого строя. Это показывает, как неосновательны запоздалые рассуждения реакционеров на тему о том,

что, будь в составе питерского гарнизона гвардейская кавалерия, или приведи Иванов с фронта надежную бригаду, судьба монархии была бы иная. Ни в тылу ни на фронте не нашлось ни бригады, ни полка, которые готовы были бы сражаться за Николая II-го.

Переворот произведен инициативой и силою одного города, составлявшего примерно $^{1}/_{75}$ часть населения страны. Можно сказать, если угодно, что величайший демократический акт был совершен самым недемократическим образом. Вся страна была поставлена перед совершившимся фактом. То обстоятельство, что в перспективе предполагалось Учредительное Собрание, не меняет дела, ибо сроки и способы созыва национального представительства определялись органами, вышедшими из победоносного петроградского восстания. Это бросает яркий свет на вопрос о функции демократических форм вообще, в революционные эпохи — в особенности. Юридическому фетишизму народной воли революции всегда наносили тяжкие удары, и тем беспощаднее, чем глубже, смелее, демократичнее были эти революции.

Довольно часто говорилось, особенно в отношении Великой французской революции, что крайняя централизация монархии позволила затем революционной столице думать и действовать за всю страну. Это объяснение поверхностно. Если революция обнаруживает централистические тенденции, то не в подражание свергнутой монархии, а вследствие неотразимых потребностей нового общества, не мирящегося с партикуляризмом. Если столица играет в революции столь доминирующую роль, как бы концентрируя в себе в известные моменты волю нации, то это именно потому, что столица наиболее ярко выражает и доводит до конца основные тенденции нового общества. Провинция воспринимает шаги столицы, как свои собственные намерения, но уже превращенные в действия. В инициативной роли центров — не нарушение демократизма, а его динамическое осуществление. Однако, ритм этой динамики в великих революциях

никогда не совпадал с ритмом формальной, репрезентативной демократии. Провинция присоединяется к действиям центра, но с запозданием. При характеризующем революцию быстром развитии событий, это приводит к острым кризисам революционного парламентаризма, неразрешимым методами демократии. Национильное представительство во всех подлинных революциях неизменно расшибало себе голову о динамику революции, главным очагом которой являлась столица. Так было в XVII веке в Англии, в XVIII — во Франции, в XX — в России. Роль столицы определяется не традициями бюрократического централизма, а положением руководящего революционного класса, авангард которого естественно сосредоточен в главном городе: это одинаково верно и для буржуазии и для пролетариата.

Когда февральская победа определилась полностью, стали подсчитывать жертвы. В Петрограде насчитали: 1.443 убитых и раненых, в том числе 869 военных, из них 60 офицеров. По сравнению с жертвами любого сражения великой бойни эти внушительные цифры ничтожны. Либеральная печать провозгласила Февральскую революцию бескровной. В дни всеобщего благорастворения и взаимной амнистии патриотических партий, никто не стал восстанавливать истину. Альберт Тома, друг всего победоносного, даже и победоносных восстаний, писал тогда о «самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной русской революции». Правда, он надеялся, что она останется в распоряжении французской биржи. Но в конце концов Тома не выдумал пороха. 27-го июня 1789 г. Мирабо восклицал: «какое счастье, что эта великая революция обойдется без злодеяний и без слез!... История слишком долго повествовала лишь о деяниях хищных зверей... Мы можем надеяться, что начинаем историю людей». Когда все три сословия объединились в национальном собрании, предки Альберта Тома писали: «Революция кончена, она не стоила ни капли крови». Надо, однако, признать, что в тот период

крови действительно еще не было. Не то в февральские дни. Но легенда о бескровной революции упорно держалась, отвечая потребности либерального буржуа изображать дело так, будто власть досталась ему сама собою.

Если Февральская революция отнюдь не была бескровной, то нельзя не изумляться незначительному количеству жертв как в момент переворота, так и, особенно, в первый период после него. Ведь это же была расплата за гнет, преследования, издевательства, гнусные заушения, которым в течение веков подвергались народные массы России! Матросы и солдаты расправлялись, правда, кое-где с наиболее подлыми истязателями, в образе офицеров. Но число таких расправ было в начале ничтожно по сравнению с числом старых кровавых обид. Массы отряхнули с себя добродушие лишь значительно позже, когда убедились, что господствующие классы хотят все потянуть назад и присвоить себе не ими совершенную революцию, как они всегда присваивали себе не ими производимые блага жизни.

* * *

Туган-Барановский прав, когда говорит, что Февральскую революцию совершили рабочие и крестьяне, последние — в лице солдат. Но остается еще большой вопрос о том, кто руководил переворотом? Кто поднял на ноги рабочих? Кто вывел на улицу солдат? После победы эти вопросы стали предметом партийной борьбы. Проще всего они разрешались универсальной формулой: никто не руководил революцией, она произошла сама по себе. Теория «стихийности» пришлась как нельзя более по душе не только всем тем господам, которые вчера еще мирно администрировали, судили, обвиняли, защищали, торговали или командовали, а сегодня спешили породниться с революцией; но и многим профессиональным политикам и бывшим революционерам, которые, проспав револю-

цию, хотели думать, что они в этом отношении не отличаются от всех остальных.

В своей курьезной «Истории русской смуты» генерал Деникин, бывший главнокомандующий белой армией, говорит о 27 февраля: «В этот решительный день вождей не было, была одна стихия. В ее грозном течении не виделось тогда ни цели, ни плана, ни лозунгов». Ученый историк Милюков забирает не глубже генерала, питающего пристрастие к письменности. До переворота либеральный вождь объявлял всякую мысль о революции внушением немецкого штаба. Но положение осложнилось после переворота, приведшего либералов к власти. Теперь задача Милюкова состояла уже не в том, чтоб возложить на революцию бесчестье гогенцоллернской инициативы, а, наоборот, в том, чтоб не представить честь инициативы революционерам. Либерализм полностью усыновляет теорию стихийности и безличности переворота. Милюков сочувственно ссылается на полулиберала — полусоциалиста Станкевича, приват-доцента, ставшего правительственным комиссаром при ставке верховного командования. «Масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему позыву... — пишет Станкевич о февральских днях. — С каким лозунгом вышли солдаты? Кто вел их когда они завоевывали Петроград, когда жгли Окружный суд? Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор, и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка». Стихийность получает здесь почти мистический характер.

Тот же Станкевич дает в высшей степени ценное свидетельское показание: «В конце января месяца мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским... К возможности народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне-левые русла, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны». Взгляды кружка Керен-

ского ничем по существу не отличались от кадетских. Не отсюда могла исходить инициатива.

«Революция ударила как гром с неба, — говорит представитель эсеровской партии Зензинов. — Будем откровенны: она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас, революционеров, работавших на нее долгие годы и ждавших ее всегда».

Немногим лучше обстояло дело и с меньшевиками. Один из журналистов буржуазной эмиграции рассказывает о своей встрече 24-го февраля в вагоне трамвая со Скобелевым, будущим министром революционного правительства: «Этот социалдемократ, один из лидеров движения, говорил мне, что беспорядки носят характер грабежа, который необходимо подавить. Это не помешало Скобелеву утверждать через месяц, что он и его друзья сделали революцию». Краски здесь, вероятно, сгущены. Но в основном позиция легальных социалдемократов-меньшевиков передана довольно близко к действительности.

Наконец, один из позднейших лидеров левого крыла социалистов-революционеров, Мстиславский, перешедший впоследствии к большевикам, говорит о февральском перевороте: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими». Не существенно, в какой мере они походили на дев; но спали действительно все.

Как обстояло дело с большевиками? Нам это уже отчасти известно. Главными руководителями подпольной большевистской организации в Петрограде были тогда три человека: бывшие рабочие Шляпников и Залуцкий и бывший студент Молотов. Шляпников, довольно долго живший заграницей и находившийся в близкой связи с Лениным, был в политическом смысле более зрелым и активным из тройки, составлявшей бюро Центрального Комитета. Однако, воспоминания самого Шляпникова лучше всего подтверждают, что события были тройке не по плечу. До самого последнего часа руководители считали, что дело идет о революционной манифестации, одной в ряду многих, но

никак не о вооруженном восстании. Известный уже нам Каюров, один из руководителей Выборгского района, категорически утверждает: «Руководящих начал от партийных центров совершенно не ощущалось... Петроградский Комитет был арестован, а представитель Ц. К. тов. Шляпников бессилен был дать директивы завтрашнего дня».

Слабость подпольных организаций была непосредственным результатом полицейских разгромов, дававших правительству совершенно исключительные результаты в обстановке патриотических настроений начала войны. Всякая организация, в том числе и революционная, имеет тенденцию отставать от своей социальной базы. Подпольные организации большевиков в начале 1917 года все еще не оправились от придавленности и разобщенности, между тем как в массах патриотическое поветрие уже круто сменилось революционным возмущением.

Чтобы яснее представить себе положение в области революционного руководства, нужно помнить, что наиболее авторитетные революционеры, вожди левых партий, находились в эмиграции, отчасти в тюрьмах и ссылке. Чем опаснее была партия для старого режима, тем более жестоко она оказывалась обезглавленной к моменту революции. Народники имели думскую фракцию, возглавлявшуюся беспартийным радикалом Керенским. Официальный лидер социалистов-революционеров, Чернов, находился в эмиграции. Меньшевики располагали в Думе партийной фракцией, во главе с Чхеидзе и Скобелевым. Мартов был в эмиграции, Дан и Церетелли — в ссылке. Вокруг левых фракций, народнической и меньшевистской, группировалось значительное количество социалистической интеллигенции, с революционным прошлым. Это создавало подобие политического штаба, но такого, который способен был обнаружиться лишь после победы. У большевиков не было думской фракции: пять рабочих депутатов, в которых царское правительство видело организующий центр революции, были арестова-

ны в первые месяцы войны. Ленин был в эмиграции, Зиновьев с ним, Каменев — в ссылке, как и малоизвестные тогда руководители-практики: Свердлов, Рыков, Сталин. Польский социалдемократ Дзержинский, не принадлежавший еще к большевикам, находился на каторге. Случайные наличные руководители, именно потому, что они привыкли действовать под безапелляционно авторитетным руководством, не считали себя и не считались другими способными играть в революционных событиях руководящую роль.

Но если большевистская партия не смогла обеспечить восставшим авторитетное руководство, то о других политических организациях нечего и говорить. Этим подкреплялось ходячее убеждение в стихийном характере февральской революции. Тем не менее оно глубоко ошибочно или, в лучшем случае, бессодержательно.

Борьба в столице длилась не час и не два, а пять дней. Руководители пытались сдерживать. Массы отвечали усилением напора и шли вперед. Они имели против себя старое государство, за традиционным фасадом которого еще предполагалась могущественная сила; либеральную буржуазию с Государственной думой, с земским и городским союзами, с военно-промышленными организациями, академиями, университетами, разветвленной прессой; наконец, две сильные социалистические партии, которые натиску снизу противопоставляли патриотическое сопротивление. В лице партии большевиков, восстание имело наиболее близкую, но обезглавленную организацию, с раздробленными кадрами, со слабыми нелегальными ячейками. И тем не менее революция, которой в эти дни никто не ждал, развернулась и, когда наверху казалось, что движение уже угасает, она крутым подъемом, могущественной конвульсией, обеспечила себе победу.

Откуда же эта беспримерная сила выдержки и натиска? Недостаточно сослаться на ожесточение. Одного ожесточения мало. Питерские рабочие, как они ни были разбавлены за годы войны человеческим сы-

рьем, несли в себе большой революционный опыт. В их выдержке и натиске, при отсутствии руководства и противодействии сверху, был свой не всегда высказанный, но жизненно обоснованный учет сил и свой стратегический рассчет.

Накануне войны революционный слой рабочих шел за большевиками и вел за собой массы. С начала войны положение круто изменилось: подняли голову консервативные прослойки, потянули за собой значительную часть класса, революционные элементы оказались изолированы и притихли. В ходе войны положение начало меняться, сперва медленно, после поражений — все быстрее и радикальнее. Активное недовольство охватывало весь рабочий класс. Правда, у значительных кругов его оно было патриотически окрашено; но это не имело ничего общего с рассчетливым и трусливым патриотизмом имущих классов, которые откладывали все внутренние вопросы до победы. Именно война, ее жертвы, ее ужасы и ее позор, сталкивали не только старые, но и новые слои рабочих с царским режимом, сталкивали с новой остротой и приводили к выводу: дальше терпеть нельзя! Вывод был всеобщим, он связывал массы воедино и придавал им могучую силу напора.

Армия разбухла, втянув в себя миллионы рабочих и крестьян. У каждого были в войсках свои люди: сын, муж, брат, свояк. Армия не была отгорожена, как до войны, от народа. С солдатами встречались теперь несравненно чаще, их провожали на фронт, с ними жили, когда они прибывали на побывку, с ними вступали на улицах и в трамваях в беседу о фронте, их посещали в лазаретах. Рабочие кварталы, казарма, фронт, в значительной степени и деревня стали сообщающимися сосудами. Рабочие знали, что чувствует и думает солдат. У них были несчетные разговоры о войне, о людях, которые наживаются на войне, о генералах, о правительстве, о царе и царице. Солдат говорил про войну: будь она проклята! А рабочий отвечал про правительство: будь они прокляты! Солдат

говорил: что же вы тут в центре молчите? Рабочий отвечал: голыми руками не управиться, еще в 1905 году мы на армию нарезались... Солдат задумывался: кабы всем сразу подняться! Рабочий: именно всем сразу! Беседы такого рода до войны велись одиночками и имели конспиративный характер. Теперь они велись повсюду, по каждому поводу и почти открыто, по крайней мере в рабочих кварталах.

Царская охранка иногда очень удачно опускала свой зонд. За две недели до революции петроградский филер, подписывавшийся кличкой Крестьянинов, доносил рапортом о разговоре в трамвае, пересекавщем рабочую окрайну. Солдат рассказывает, что в его полку восемь человек на каторге за то, что прошлой осенью отказались стрелять в рабочих завода Нобель, а стреляли в полицию. Беседа ведется совершенно открыто, так как в рабочих кварталах полицейские и сыщики предпочитают оставаться незамеченными. «Мы с ними расправимся», заключает солдат. Дальше рапорт гласит: «Один мастеровой ему сказал: — «Для этого нужно организоваться, чтобы все были, как один». Солдат ответил: «Пусть не беспокоются об этом, у нас уже давно организовано... Довольно им кровь пить, люди страдают на позиции, а они здесь рожи наедают»... Особых приключений не случилось. 10 февраля 1917 г. Крестьянинов». Бесподобный сыщицкий эпос! «Особых приключений не случилось». Они случатся, и при том скоро: беседа в трамвае знаменует их неминуемое приближение.

Стихийность восстания Мстиславский иллюстрирует любопытным примером: когда «Союз офицеров 27 февраля», возникший сейчас же после переворота, попытался опросом установить, кто первый вывел Волынский полк, получилось семь заявлений насчет семи инициаторов этого решающего действия. Весьма вероятно, прибавим мы, что частица инициативы действительно принадлежала нескольким солдатам; не исключено притом, что главный инициатор пал во время уличных боев, унеся свое имя в неизвестность. Но это не умаляет

исторического веса его безыменной инициативы. Еще важнее другая сторона дела, выводящая нас за пределы казармы. Восстание гвардейских батальонов, вспыхнувшее сюрпризом для либеральных и легально-социалистических кругов, совсем не явилось неожиданностью для рабочих. Без восстания последних не вышел бы на улицу и Волынский полк. Уличное столкновение рабочих с казаками, которое адвокат наблюдал из окна и о котором он передал по телефону депутату, представлялось обоим эпизодом безличного процесса: заводская саранча столкнулась с казарменной саранчей. Но не таким дело представлялось казаку, который осмелился подмигнуть рабочему, ни рабочему, который сразу решил, что казак «подмигнул хорошо». Молекулярное взаимопроникновение армии и народа совершалось непрерывно. Рабочие следили за температурой армии и немедленно почувствовали приближение критической точки. Это и придавало такую несокрушимую силу наступлению уверовавших в победу масс.

Здесь мы должны привести меткое замечание либерального сановника, пытавшегося подвести итоги своим февральским наблюдениям. «Принято говорить: движение началось стихийно, солдаты сами вышли на улицу. С этим я никак не могу согласиться. Да и что значит слово «стихийно»?... «Самопроизвольное зарождение» еще меньше уместно в социологии, чем в естествознании. Оттого, что никто из революционных вождей с именем не мог привесить к движению свой ярлык, оно становится не безличным, а только безыменным». Эта постановка вопроса, несравненно более серьезная, чем ссылки Милюкова на немецких агентов и русскую стихийность, принадлежит бывшему прокурору, встретившему революцию в должности царского сенатора. Может быть именно судебный стаж позволил Завадскому усвоить себе, что революционное восстание не могло возникнуть ни по команде иностранных агентов, ни в порядке безличного процесса природы.

Тот же автор приводит два эпизода, которые позволили ему заглянуть, как бы через замочную скважину, в лабораторию революционного процесса. В пятницу 24 февраля, когда наверху никто еще не ждал переворота в ближайшие дни, трамвай, в котором ехал сенатор, совершенно неожиданно, с треском, так что стекла зазвенели, а одно разбилось, заворотил с Литейного на боковую улицу и стал. Кондуктор предложил всем выходить: «дальше вагон не пойдет». Пассажиры возражали, бранились, но выходили. «Я до сих пор вижу лицо отмалчивавшегося кондуктора: злобно-решительное, какой-то волчий облик». Трамвайное движение прекратилось всюду, куда глаз хватал. Этот решительный кондуктор, в котором либеральному сановнику уже привиделся «волчий облик», должен был обладать высоким сознанием долга, чтоб единолично остановить вагон с чиновниками на улице императорского Петербурга, во время войны. Именно такие кондуктора остановили вагон монархии, с теми же, примерно, словами: «дальше вагон не пойдет!» и высадили вон бюрократию, не отличая, за спешностью дела, жандармских генералов от либеральных сенаторов. Кондуктор с Литейного был сознательным фактором истории. Его нужно было предварительно воспитать.

Во время пожара Окружного суда либеральный юрист, из кругов того же сенатора, стал выражать на улице сожаление по поводу того, что гибнет лаборатория судебной экспертизы и нотариальный архив. Пожилой человек мрачного вида, по внешности рабочий, сердито возразил: «Дома и землю сумеем сами разделить и без твоего архива!» Вероятно, эпизод литературно округлен. Но такого рода пожилых рабочих, умевших подать нужную реплику, было немало в толпе. Сами они не имели отношения к поджогу Окружного суда: к чему? Но их уж во всяком случае не могли испугать такого рода «эксцессы». Они вооружали массы необходимой идеей не только против царской полиции, но и против либеральных юристов, пуще

всего боявшихся, как бы в огне революции не сгорели нотариальные акты собственности. Эти безыменные суровые политики завода и улицы не с неба свалились: их надо было воспитать.

Регистрируя события в последние дни февраля, охранка тоже отмечала, что движение «стихийно», то-есть не имеет планомерного руководства сверху; но тут же присовокупляла: «при общей распропагандированности пролетариата». Оценка бьет в точку: профессионалы борьбы с революцией, прежде, чем занять камеры, освобожденные революционерами, гораздо ближе схватили облик совершающегося процесса, чем вожди либерализма.

Мистика стихийности ничего не объясняет. Чтоб правильно оценить обстановку и определить момент удара по врагу, нужно было, чтоб у массы, у ее руководящего слоя, были свои запросы к историческим событиям и свои критерии для их оценки. Другими словами, нужна была не масса вообще, а масса петроградских и вообще русских рабочих, прошедших через революцию 1905 года, через московское восстание декабря 1905 г., разбившееся о гвардейский Семеновский полк; нужно было, чтоб в этой массе рассеяны были рабочие, продумывавшие опыт 1905 года, критиковавшие конституционные иллюзии либералов и меньшевиков, усвоившие себе перспективу революции, задумывавшиеся десятки раз над вопросом об армии, наблюдавшие пристально за тем, что совершалось в ее среде, способные делать из своих наблюдений революционные выводы и сообщать их другим. Нужно было, наконец, наличие в частях самого гарнизона передовых солдат, захваченных или хотя бы задетых в прошлом революционной пропагандой.

На каждом заводе, в каждом цеху, в каждой роте, в каждой чайной, в военном лазарете, на этапном пункте, даже в обезлюженной деревне шла молекулярная работа революционной мысли. Везде были свои истолкователи событий, главным образом из рабочих, у которых справлялись, что слышно, от которых ждали

нужного слова. Эти вожаки часто были предоставлены самим себе, питались обрывками революционных обобщений, доходивших до них разными путями, сами вычитывали из либеральных газет, что им было нужно, между строк. Их классовый инстинкт был изощрен политическим критерием и, если не все свои идеи они доводили до конца, зато мысль их неизменно и упорно работала в одном и том же направлении. Элементы опыта, критики, инициативы, самоотвержения пронизывали массу и составляли внутреннюю, недоступную поверхностному взгляду, но тем не менее решающую механику революционного движения, как сознательного процесса.

Чванным политикам либерализма и прирученного социализма все, что происходит в массах, представляется обычно инстинктивным процессом, все равно, как еслиб дело шло о муравейнике или о пчелином улье. На самом деле мысль, которая буравила толщу рабочих, была куда смелее, проницательнее и сознательнее тех мыслишек, которыми пробавлялись образованные классы. Более того, эта мысль была и научнее: не только потому, что она была в значительной степени оплодотворена методами марксизма, но прежде всего потому, что она непрестанно питалась живым опытом масс, которым предстояло вскоре выступить на революционную арену. Научность мысли состоит в ее сооответствии с объективным процессом и в ее способности влиять на этот процесс и направлять его. Разве этим свойством хоть в малейшей мере обладали идеи правительственных кругов, где вдохновлялись апокалипсисом и верили снам Распутина? Или, может быть, научно обоснованными были идеи либерализма, который надеялся, что, участвуя в свалке капиталистических гигантов, отсталая Россия сможет одновременно выиграть и победу, и парламентаризм? Или, может быть, научной была идейная жизнь интеллигентских кружков, которые рабски приспособлялись к одряхлевшему с детских лет либерализму, ограждая в то же время свою мнимую самостоятельность давно

выдохшимися оборотами речи? Поистине, здесь было царство духовной неподвижности, призраков, суеверий и фикций, если угодно, царство «стихийности». Не в праве ли мы, в таком случае, полностью обернуть либеральную философию февральского переворота? Да, мы в праве сказать: в то время, как официальное общество — вся эта многоэтажная надстройка правящих классов, слоев, групп, партий и клик — жило со дня на день инерцией и автоматизмом, пробавляясь остатками изношенных идей, глухое к неотразимым запросам развития, обольщаясь призраками и ничего не предвидя, в рабочих массах происходил самостоятельный и глубокий процесс роста не только ненависти к правящим, но и критической оценки их бессилия, накопления опыта и творческой сознательности, завершившейся революционным восстанием и его победой.

На поставленный выше вопрос: кто руководил февральским восстанием, мы можем следовательно ответить с достаточной определенностью: сознательные и закаленные рабочие, воспитанные главным образом партией Ленина. Но мы тут же должны прибавить: это руководство оказалось достаточным, чтоб обеспечить победу восстания, но его не хватило на то, чтоб сразу же обеспечить за пролетарским авангардом ведущую роль в революции.

ПАРАДОКС ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Восстание победило. Но кому оно передало вырваннную у монархии власть? Мы переходим здесь к центральной проблеме февральского переворота: как и почему власть оказалась в руках либеральной буржуазии?

Начавшимся 23 февраля волнениям в думских кругах и буржуазном «обществе» значения не придавали. Либеральные депутаты и патриотические журналисты по прежнему собирались в салонах, обсуждали вопрос о Триесте и Фиуме и снова подтверждали необходимость для России Дарданелл. Когда указ о роспуске Думы был уже подписан, думская комиссия все еще спешно обсуждала вопрос о передаче продовольственного дела городскому самоуправлению. Менее, чем за 12 часов до восстания гвардейских батальонов, Общество славянской взаимности мирно заслушивало годовой отчет. «Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, — вспоминает один из депутатов, — меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно-оживленных улицах». Жуткая пустота образовалась вокруг старых господствующих классов и уже щемила сердца их завтрашних преемников.

К 26-му серьезность движения стала ясна как правительству, так и либералам. В этот день ведутся между министрами и членами Думы переговоры о соглашении, над которыми либералы впоследствии так и не подняли покрывала. Протопопов в своих показаниях сообщал, что лидеры думского блока требовали по прежнему назначения новых министров из лиц, пользующихся общественным доверием: «эта мера, может быть, успокоит народ». Но день 26-го создал, как

мы знаем, известную заминку в развитии революции, и правительство на короткий момент почувствовало себя тверже. Когда Родзянко явился к Голицыну, чтобы убедить его выйти в отставку, премьер в ответ указал папку на столе, в которой лежал готовый указ о роспуске Думы, с подписью Николая, но без даты. Дату проставил Голицын. Как решилось правительство на такой шаг в момент возраставшего натиска революции? На этот счет у правящей бюрократии давно уже сложилась твердая концепция. «Будем ли мы с блоком или без него — для рабочего движения это безразлично. С этим движением можно справиться другими средствами, и до сих пор министерство внутренних дел справлялось». Так говорил Горемыкин еще в августе 1915 г. С другой стороны, бюрократия считала, что Дума, в случае роспуска, не решится ни на какие смелые шаги. Опять-таки еще в августе 1915 года, при обсуждении вопроса о роспуске недовольной Думы, министр внутренних дел князь Щербатов говорил: «Вряд ли на прямое неподчинение думцы решатся. Все-таки огромное большинство их — трусы и за свою шкуру дрожат». Князь выражался не очень изысканно, но в конце концов верно. В борьбе с либеральной оппозицией бюрократия чувствовала таким образом достаточно прочную почву под ногами.

27-го утром депутаты, встревоженные разрастающимися событиями, собирались на очередное заседание. Большинство только тут узнало, что Дума распущена. Это казалось тем более неожиданным, что еще накануне велись мирные переговоры. «И тем не менее, — пишет с гордостью Родзянко, — Дума подчинилась закону, все же надеясь найти выход из запутанного положения, и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и насильно собираться в заседании не делала». Депутаты собрались на частное совещание, на котором исповедывались друг другу в бессилии. Умеренный либерал Шидловский не без злорадства вспоминал позже предложение, сделанное крайним левым кадетом Некрасовым, будущим спо-

движником Керенского: «установить военную диктатуру, вручив всю власть популярному генералу». Тем временем, отсутствовавшими на частном совещании Думы заправилами прогрессивного блока предпринята была практическая попытка спасения. Вызвав великого князя Михаила в Петербург, они предложили ему принять на себя диктатуру, «понудить» личный состав правительства подать в отставку и потребовать от царя по прямому проводу «даровать» ответственное министерство. В те часы, когда поднимались первые гвардейские полки, вожди либеральной буржуазии делали последнюю попытку подавить восстание при помощи династической диктатуры и в то же время войти за счет революции в соглашение с монархией. «Нерешительность великого князя, жалуется Родзянко, способствовала тому, что благоприятный момент был упущен».

Как легко радикальная интеллигенция верила тому, чего ей хотелось, свидетельствует беспартийный социалист Суханов, который начинает в этот период играть в Таврическом дворце известную политическую роль. «Мне сообщили основную политическую новость этих утренних часов незабвенного дня, — рассказывает он в своих обширных воспоминаниях: указ о роспуске Государственной Думы объявлен, и Дума ответила на него отказом разойтись, избрав Временный Комитет». Это пишет человек, почти не выходивший из Таврического дворца и державший там за пуговицы знакомых депутатов. В своей истории революции Милюков, вслед за Родзянко, категорически заявляет: «Там было вынесено, после ряда горячих речей, постановление не разъезжаться из Петрограда, а не постановление «не расходиться» Г. Думе, как учреждению, как о том сложилась легенда». «Не расходиться» значило бы взять на себя хотя бы и запоздалую инициативу. «Не разъезжаться» означало умыть руки и выжидать, в какую сторону повернет ход событий. Для доверчивости Суханова имеются, впрочем, смягчающие обстоятельства. Слух о

том, что Дума приняла революционное постановление не подчиниться царскому указу, пустили в попыхах думские журналисты в своем информационном бюллетене, единственном тогда издании из-за всеобщей стачки. Так как восстание в течение дня победило, то депутаты отнюдь не спешили опровергать ошибку, поддерживая иллюзии своих левых друзей: к восстановлению истины они приступили только в эмиграции. Эпизод, как будто второстепенный, но полный значения. Революционная роль Думы в день 27-го февраля была полностью мифом, родившимся из политического легковерия радикальной интеллигенции, обрадованной и испуганной революцией, не верившей в способность масс довести дело до конца и стремившейся как можно скорее прислониться к цензовой буржуазии.

В мемуарах депутатов, принадлежавших к думскому большинству, сохранился, к счастью, рассказ о том, как Дума встречала революцию. По рассказу князя Мансырева, одного из правых кадет, среди депутатов, собравшихся утром 27-го в большом числе, не было ни членов президиума, ни лидеров партий, ни главарей прогрессивного блока: те уже знали о роспуске и о восстании и предпочитали как можно дольше не показывать головы; к тому же в эти именно часы они, повидимому, вели переговоры с Михаилом о диктатуре. «В Думе царило общее смятение и растерянность, говорит Мансырев. Даже оживленные разговоры прекратились, а вместо них слышались вздохи и короткие реплики, вроде: «дождались» или же откровенный страх за свою особу». Так повествует умереннейший депутат, вздыхавший громче других. Уже во втором часу дня, когда вожди оказались вынуждены появиться в Думе, секретарь президиума принес радостную, но неосновательную весть: «беспорядки будут скоро подавлены, потому что приняты меры». Возможно, что под мерами понимались переговоры о диктатуре. Но Дума угнетена и ждет разрешающего слова от вождя прогрессивного блока. «Мы уже потому не можем сейчас принимать никаких решений, — заявля-

ет Милюков, — что размер беспорядков нам неизвестен также, как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных войск, рабочих и общественных организаций. Надобно собрать точные сведения обо всем этом и тогда уже обсуждать положение, а теперь еще рано». В два часа пополудни 27-го февраля для либерализма все еще «рано»!. «Собрать сведения» значит умыть руки и выждать исхода борьбы. Но Милюков не кончил речи, которую он, впрочем, и начинал с тем, чтоб ничем не кончить, как в зал вбегает Керенский в сильном возбуждении: громадные толпы народа и солдат идут к Таврическому дворцу, провозглашает он, и намерены требовать от Думы, чтобы та взяла власть в свои руки!.. Радикальный депутат точно знает, чего требуют громадные толпы народа. На самом деле это сам Керенский впервые требует, чтоб власть взяла Дума, которая в душе все еще надеется на подавление восстания. Сообщение Керенского вызывает «общее недоумение и растерянные взгляды». Не успевает, однако, он кончить, как его прерывает вбежавший в перепуге думский служитель: передовые части солдат уже подошли к Дворцу, их не пустил отряд караула у подъезда, начальник караула будто бы тяжело ранен. Еще через минуту оказывается, что солдаты уже вошли во Дворец. Позже будут в речах и статьях говорить, что солдаты пришли приветствовать Думу и присягать ей. Но сейчас все в смертельной панике. Вода подступает к горлу. Вожди шушукаются. Нужно выгадать отсрочку. Родзянко наспех вносит подсказанное ему предложение об образовании Временного Комитета. Утвердительные крики. Но все хотят убраться поскорее, тут не до выборов. Испуганный не менее других председатель предлагает поручить создание Комитета Совету старейшин. Опять утвердительные крики немногих оставшихся в зале: большинство успело уже исчезнуть. Такова была первая реакция распущенной царем Думы на победу восстания.

Тем временем революция создавала в том же зда-

нии, только в менее парадной его части, другой орган. Революционным руководителям не приходилось выдумывать его. Опыт советов 1905 года навсегда врезался в сознание рабочих. При каждом подъеме движения, даже во время войны, почти автоматически возрождалась идея советов. И хотя понимание роли советов было глубоко различным у большевиков и меньшевиков, — у эсеров вообще не было устойчивых оценок, — самая форма организации стояла как бы вне споров. Освобожденные из тюрьмы меньшевики, члены военно-промышленного комитета, встретились в Таврическом дворце с деятелями профессионального и кооперативного движения, того же правого крыла, и с меньшевистскими депутатами Думы, Чхеидзе и Скобелевым, и тут же образовали Временный Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов, который в течение дня пополнялся преимущественно бывшими революционерами, утратившими связь с массами, но сохранившими «имена». Исполнительный Комитет, включивший в свой состав и большевиков, призвал рабочих немедленно выбирать депутатов. Первое заседание было назначено вечером в Таврическом дворце. Оно действительно состоялось в 9 часов и санкционировало состав Исполнительного Комитета, пополнив его официальными представителями всех социалистических партий. Но совсем не в этом было значение первого собрания представителей победоносного пролетариата столицы. На заседании выступили с приветствиями делегаты восставших полков. В их числе были и совсем серые солдаты, как бы контуженные восстанием и еще туго ворочавшие языком. Но именно они находили слова, которых не найти никакому трибуну. Это была одна из самых патетических сцен революции, почувствовавшей свою силу, неисчислимость пробужденных масс, грандиозность задач, гордость своими успехами, радостное замирание сердца перед завтрашним днем, который должен быть еще прекраснее, чем сегодняшний. Революция еще не имеет своего ритуала, улица еще в дыму, массы еще

не умеют по новому петь, заседание течет без порядка, без берегов, как река в половодье, совет захлебывается в собственном энтузиазме. Революция уже могуча, но еще наивна детской наивностью.

На этом первом заседании решено объединить гарнизон с рабочими в общем совете рабочих и солдатских депутатов. Кто первый предложил это решение? Оно должно было явиться с разных, вернее, со всех сторон, как отголосок того братанья рабочих и солдат, которое решило в этот день судьбу революции. Нельзя, однако, не отметить, что по словам Шляпникова, социал-патриоты первоначально возражали против вовлечения армии в политику. С момента своего возникновения Совет, в лице Исполнительного Комитета, начинает действовать, как власть. Он избирает временную продовольственную комиссию и возлагает на нее заботу о восставших и о гарнизоне вообще. Он организует возле себя временный революционный штаб, — все называется временным в эти дни, — о котором у нас уже шла речь выше. Чтоб изъять из распоряжения чиновников старой власти финансовые средства, Совет постановляет немедленно же занять революционным караулом государственный банк, казначейство, монетный двор и экспедицию по заготовлению государственных бумаг. Задачи и функции Совета непрерывно растут под напором масс. Революция получает свой бесспорный центр. Рабочие, солдаты, а вскоре и крестьяне будут отныне обращаться только к Совету: в их глазах он становится средоточием всех надежд и всех властей, воплощением самой революции. Но и представители имущих классов будут искать у Совета, хоть и со скрежетом зубовным, защиты, указаний, разрешения конфликтов.

Однако, уже в эти первые часы победы, когда со сказочной быстротой и непреодолимой силой складывалась новая власть революции, те социалисты, которые оказались во главе Совета, с тревогой озирались вокруг себя в поисках настоящего «хозяина». Они считали само собою разумеющимся, что власть должна

перейти к буржуазии. Здесь завязывается главный политический узел нового режима: одна из его нитей ведет в комнату Исполнительного Комитета рабочих и солдат, другая — в помещение центра буржуазных партий.

Совет старейшин в третьем часу дня, когда победа в столице определилась уже полностью, выбрал «Временный Комитет членов Думы», из состава партий прогрессивного блока, с присоединением Чхеидзе и Керенского. Чхеидзе отказался, Керенский вилял. Название предусмотрительно указывало, что дело идет не об официальном органе Государственной Думы, а о частном органе совещания членов Думы. Вожди прогрессивного блока до конца продумывали лишь один вопрос: как оградить себя от ответственности, не связывая себе рук. Задача Комитета была определена с тщательной двусмысленностью: «восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами». Ни слова о том, какой порядок эти господа думают восстановлять, ни о том, с какими учреждениями они собираются сноситься. Они не протягивали еще открыто руки к шкуре медведя: а что если он не убит, а лишь тяжело ранен? Только в 11 часов вечера 27-го февраля, когда по признанию Милюкова, «выяснился весь размер революционного движения, Временный Комитет решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выпадавшую из рук правительства». Незаметно из Комитета членов Думы новый орган превратился в Комитет самой Думы: для сохранения государственно-правовой преемственности нет лучшего средства, как подлог. Но Милюков умалчивает о самом главном: вожди Исполнительного Комитета, образовавшегося в течение дня, успели явиться во Временный Комитет и настоятельно требовали от него взять в свои руки власть. Этот дружественный толчок возымел свое действие. Впоследствии Милюков объяснял решение думского Комитета тем, что правительство готовилось будто бы направить на восставших верные войска, «и на улицах столицы де-

ло грозило дойти до настоящих сражений». На самом деле никаких войск у правительства уже не было, переворот был целиком позади. Родзянко впоследствии писал, что, в случае отказа от власти, «Дума была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками, и власть сразу очутилась бы у большевиков». Это, конечно, нелепое преувеличение, вполне в духе почтенного камергера; но оно безошибочно отражает самочувствие Думы, которая вручение ей власти воспринимала, как акт политического изнасилования.

При таких настроениях решение давалось не легко. Особенно бурно колебался Родзянко, допрашивая других: «что это будет, — бунт или не бунт?» Депутат-монархист Шульгин ответил ему, по собственной передаче: «Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство, мы ему сдадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах...» Не нужно придираться к площадным ругательствам реакционного джентльмена по адресу рабочих: революция крепко наступила этим господам на хвост. Мораль ясна: победит монархия, — будем с нею; победит революция, — постараемся ее обокрасть.

Совещание длилось долго. Демократические вожди в волнении дожидались решения. Наконец из кабинета Родзянко вышел Милюков. У него был торжественный вид. Подойдя к советской делегации, Милюков заявил: «Состоялось решение, мы берем власть»... «Я не спрашивал, кто это — мы, — восторженно вспоминает Суханов. — Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение. Я почувствовал, что корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки». Какая вычурная форма для

прозаического признания рабской зависимости мелкобуржуазной демократии от капиталистического либерализма! И какая убийственная ошибка политической перспективы: передача власти либералам не только не придаст устойчивости государственному кораблю, наоборот, станет с этого дня источником безвластия революции, величайшего хаоса, ожесточения масс, крушения фронта, а в дальнейшем — чрезвычайной ожесточенности гражданской войны.

* * *

Если глядеть только назад, на прошлые века, то факт перехода власти в руки буржуазии представится достаточно закономерным: во всех прошлых революциях на баррикадах дрались рабочие, подмастерья, отчасти студенты, на их сторону переходили солдаты, а власть прибирала затем к рукам солидная буржуазия, осторожно наблюдавшая баррикады через окно. Но февральская революция 1917 года отличалась от прежних революций несравненно более высоким социальным характером и политическим уровнем революционного класса, враждебным недоверием восставших к либеральной буржуазии и возникновением, в силу этого, в самый момент победы, нового органа революционной власти: Совета, опирающегося на вооруженную силу масс. При этих условиях переход власти в руки изолированной и безоружной буржуазии требует объяснения.

Прежде всего надо ближе присмотреться к тому соотношению сил, которое сложилось в результате переворота. Не была ли советская демократия вынуждена объективной обстановкой отказаться от власти в пользу крупной буржуазии? Сама буржуазия не думала этого. Мы уже знаем, что она не только не ожидала от революции власти, но, наоборот, предвидела в ней смертельную опасность всему своему социальному положению. «Умеренные партии не толь-

ко не желали революции, — пишет Родзянко, — но просто боялись ее. В частности партия народной свободы («кадеты»), как стоящая на левом фланге умеренных групп и поэтому имевшая больше всех точек соприкосновения с революционными партиями страны, была озабочена надвигающейся катастрофой больше всех». Опыт 1905 года слишком внушительно говорил либералам, что победа рабочих и крестьян может оказаться не менее опасной для буржуазии, чем для монархии. Казалось бы, ход февральского восстания только подтверждал это предвиденье. Как ни бесформены были во многих отношениях политические идеи революционных масс в те дни, линия водораздела между трудящимися и буржуазией была во всяком случае проведена непримиримо.

Близкий к либеральным кругам приват-доцент Станкевич, друг, а не враг прогрессивного блока, следующими чертами характеризует настроение либеральных кругов на второй день после переворота, которого им не удалось предотвратить: «Официально торжествовали, славословили революцию, кричали «ура» борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Но в душе, в разговорах наедине — ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем. Никогда не забудется фигура Родзянко, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и отчаяния, он проходил через толпы распоясанных солдат по корридорам Таврического дворца. Официально значилось — «солдаты пришли поддержать Думу в ее борьбе с правительством», а фактически Дума оказалась упраздненной с первых же дней. И то же выражение было на лицах всех членов Временного Комитета Думы и тех кругов, которые стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния». Это живое свиде-

тельство ценнее всяких социологических изысканий насчет соотношения сил. По собственному рассказу, Родзянко содрогался от бессильного возмущения при виде того, как неизвестные солдаты, «неизвестно, по чьему распоряжению», производили аресты сановников старого режима и приводили их в Думу. Камергер оказывался чем-то в роде начальника тюрьмы по отношению к людям, с которыми у него, конечно, были расхождения, но которые все же оставались для него людьми своего круга. Пораженный «произволом», Родзянко пригласил арестованного Щегловитова к себе в кабинет, но солдаты наотрез отказались выдать ему ненавистного сановника. «Когда я попробовал проявить свой авторитет, — рассказывает Родзянко, — солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызывающим, дерзким видом, показали мне на свои винтовки, после чего, без всяких обиняков, Щегловитов был уведен неизвестно куда». Можно ли ярче подтвердить слова Станкевича о том, что полки, якобы пришедшие поддержать Думу, на самом деле упразднили ее?

Что власть была с первого часа в руках Совета, на этот счет думцы могли позволять себе меньше иллюзий, чем кто-либо иной. Депутат-октябрист Шидловский, один из руководителей прогрессивного блока, вспоминает: «Были захвачены Советом все почтовые и телеграфные учреждения, все петроградские станции железных дорог, все типографии, так что без его разрешения нельзя было ни послать телеграмму, ни выехать из Петрограда, ни напечатать воззвания». В эту недвусмысленную характеристику соотношения сил нужно только внести одно уточнение: «захват» Советом телеграфа, железных дорог, типографий и пр. означает лишь, что рабочие и служащие этих предприятий не хотели подчиняться никому, кроме Совета.

Жалоба Шидловского как нельзя лучше иллюстрируется эпизодом, происшедшим в самый разгар переговоров о власти между вождями Совета и Думы. Их совместное заседание было прервано срочным сообще-

нием, что из Пскова, где находился царь после своих блужданий по железнодорожным путям, вызывают Родзянко к прямому проводу. Всемогущий председатель Думы заявил, что один на телеграф не поедет. — «Пусть господа рабочие и солдатские депутаты дадут мне охрану или поедут со мной, а то меня арестуют, там на телеграфе. — Что ж! у вас сила и власть, — возбужденно продолжал он. Вы, конечно, можете меня арестовать... Может быть, вы всех нас арестуете, мы не знаем!»... Это происходило 1-го марта, менее, чем через двое суток после того, как власть была «взята» Временным Комитетом, во главе которого стоял Родзянко.

Как же, все-таки, при таком положении, либералы оказались у власти? Кто и как уполномочил их образовать правительство в результате революции, которой они страшились, которой они противодействовали, которую они пытались подавить, которая была совершена враждебными им массами, притом с такой решительностью и смелостью, что Совет рабочих и солдат, вышедший из восстания, явился естественным и представлялся всем неоспоримым хозяином положения?

Послушаем теперь другую сторону, ту, которая сдавала власть. «Народ не тяготел к Государственной Думе, — пишет Суханов о февральских днях, — не интересовался ею и не думал — ни политически, ни технически, — делать ее центром движения». Это признание тем более замечательно, что автор его приложит в ближайшие часы все силы для передачи власти Комитету Государственной Думы. «Милюков отлично понимал, — говорит далее Суханов по поводу переговоров 1-го марта, — что в полной власти Исполнительного Комитета дать власть цензовому правительству, или не дать ее». Можно ли выразиться категоричнее? Может ли политическая обстановка быть яснее? И тем не менее Суханов, в полном противоречии с обстановкой и с самим собою, тут же заявляет: «Власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной... На такое решение необ-

ходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет». Революция погибнет — без Родзянко!

Проблема живого соотношения социальных сил подменена здесь априорной схемой и условной терминологией: такова самая суть интеллигентского доктринерства. Но мы увидим дальше, что это доктринерство отнюдь не было платоническим: оно выполняло вполне реальную политическую функцию, хоть и с завязанными глазами.

Мы не случайно цитировали Суханова. В этот первый период вдохновителем Исплнительного Комитета был не председатель его, Чхеидзе, честный и ограниченный провинциал, но именно Суханов, наименее, вообще говоря, приспособленный для революционного руководства. Полународник-полумарксист, больше добросовестный наблюдатель, чем политик, больше журналист, чем революционер, больше резонер, чем журналист, он был способен держаться революционной концепции лишь до тех пор, пока не нужно было претворять ее в дело. Пассивный интернационалист во время войны, он с первого дня революции решил, что нужно как можно скорее и власть и войну подкинуть буржуазии. Теоретически, т. е. по крайней мере по потребности, если не по способности, связывать концы с концами, он был выше наличных тогда членов Исполнительного Комитета. Но главную его силу составляло все же то, что он переводил на язык доктринерства органические черты этой разношерстной и все же однородной братии: неверие в свои силы, страх перед массой и высокомерно-почтительное отношение к буржуазии. Ленин назвал Суханова одним из лучших представителей мелкой буржуазии. И это самое лестное, что можно сказать о нем.

Не нужно только забывать при этом, что дело идет прежде всего о мелкой буржуазии нового, капиталистического типа, о промышленных, торговых и банковских служащих, о чиновниках капитала, с одной стороны, рабочей бюрократии, с другой, т. е. о том но-

вом среднем сословии, во имя которого небезызвестный немецкий социалдемократ Эдуард Бернштейн предпринял в конце прошлого века ревизию революционной концепции Маркса. Чтоб ответить на вопрос о том, как революция рабочих и крестьян сдала власть буржуазии, надо ввести в политическую цепь промежуточное звено: мелко-буржуазных демократов и социалистов типа Суханова, журналистов и политиков нового среднего сословия, которые учили массы, что буржуазия есть враг, а сами больше всего боялись выпустить массы из-под команды этого врага. Противоречие между характером революции и характером вышедшей из нее власти объясняется противоречивым характером нового мелкобуржуазного средостения между революционными массами и капиталистической буржуазией. В ходе дальнейших событий революции политическая роль мелкобуржуазной демократии нового типа раскроется перед нами до конца. Пока ограничимся немногими словами.

В восстании участвует непосредственно меньшинство революционного класса, причем силу этого меньшинства составляет поддержка его или, по крайней мере, сочувствие к нему со стороны большинства. Активное и боевое меньшинство под огнем врага неизбежно выдвигает вперед наиболее революционные и самоотверженные свои элементы. Естественно, если в февральских боях на первом месте стояли рабочие большевики. Но положение становится иным с момента победы, когда начинается ее политическое закрепление. К выборам в органы и учреждения победоносной революции призываются и притекают неизмеримо более широкие массы, чем те, которые сражались с оружием в руках. Это относится не только к общедемократическим органам, как городские думы и земства, или позже — Учредительное собрание, но и к классовым, как советы рабочих депутатов. Подавляющее большинство рабочих, меньшевиков, эс-еров и беспартийных, поддерживало большевиков в момент непосредственной схватки с царизмом. Но лишь ма-

ленькое меньшинство рабочих понимало, чем большевики отличаются от других социалистических партий. В то же время все рабочие проводили резкую грань между собою и буржуазией. Этим определилось политическое положение после победы. Рабочие выбирали социалистов, т. е. тех, кто не только против монархии, но и против буржуазии. Они почти не делали при этом различия между тремя социалистическими партиями. А так как меньшевики и эс-эры обладали неизмеримо большими кадрами интеллигенции, притекавшей к ним со всех сторон, и получили таким образом сразу в свои руки огромный штат агитаторов, то выборы, даже от фабрик и заводов, давали огромный перевес меньшевикам и эс-эрам.

В ту же сторону, но еще с неизмеримо большей силой, давила пробудившаяся армия. На пятый день восстания петроградский гарнизон пошел за рабочими. После победы он оказался призван к выборам в советы. Солдаты доверчиво выбирали тех, кто был за революцию, против монархического офицерства, и кто умел об этом сказать вслух: это оказались вольноопределяющиеся, писаря, фельдшера, молодые офицеры военного времени из интеллигенции, мелкие военные чиновники, т. е. низший слой того же «нового среднего сословия». Все они почти поголовно записывались, начиная с марта, в партию эс-эров, которая своей идейной бесформенностью как нельзя лучше отвечала их промежуточному социальному положению и их политической ограниченности. Представительство гарнизона оказалось таким образом несравненно умереннее и буржуазнее, чем солдатские массы. Но последние этого различия не сознавали: оно должно было еще только обнаружиться на опыте ближайших месяцев. Рабочие, с своей стороны, стремились примыкать как можно теснее к солдатам, чтоб закрепить завоеванный кровью союз и прочнее вооружить революцию. А так как от лица армии говорили преимущественно новоиспеченные эс-эры, то это не могло не повышать авторитет этой партии, наряду с ее союзни-

ками, меньшевиками, в глазах самих рабочих. Так сложилось преобладание в советах двух соглашательских партий. Достаточно сказать, что даже в Совете Выборгского района руководящая роль в первое время принадлежала рабочим-меньшевикам. Большевизм в тот период еще только глухо клокотал в глубоких недрах революции. Официальные же большевики, даже в Петроградском совете, представляли ничтожное меньшинство, которое, к тому же, не очень ясно определяло свои задачи.

Так сложился парадокс Февральской революции. Власть — в руках демократических социалистов. Она отнюдь не захвачена ими случайно, путем бланкистского удара; нет, она им вручена открыто победоносными массами народа. Эти массы не только отказывают буржуазии в доверии и поддержке, но и не отделяют ее от дворянства и бюрократии. Свое оружие они предоставляют только в распоряжение советов. Между тем единственной заботой социалистов, столь легко возглавивших советы, является вопрос: согласится ли политически изолированная, ненавидимая массами и насквозь враждебная революции буржуазия принять власть из их рук? Ее согласия нужно добиться во что бы то ни стало, а так как очевидно, что буржуазия не может отказаться от буржуазной программы, то мы, «социалисты», должны отречься от нашей программы: промолчать о монархии, о войне, о земле, — только бы буржуазия приняла дар власти. Совершая эту операцию, «социалисты», как бы в насмешку над собою, продолжают именовать буржуазию не иначе, как классовым врагом. В обрядовых формах богослужения совершается, таким образом, акт вызывающего кощунства. Классовая борьба, доведенная до конца, есть борьба за государственную власть. Основное свойство революции в том, что она доводит классовую борьбу до конца. Революция и есть непосредственная борьба за власть. Между тем, наши «социалисты» озабочены не тем, чтобы отнять власть у так называемого классового врага, который ее не

имеет и собственными силами взять не может, — а, наоборот, тем, чтобы вручить ему власть во что бы то ни стало. Разве же это не парадокс? Он казался тем более поразительным, что опыта немецкой революции 1918 года тогда еще не существовало, и человечество не было еще свидетелем грандиозной и гораздо более успешной операции того же типа, совершенного «новым средним сословием», руководящим германской социалдемократией.

Как объясняли свое поведение соглашатели? Один довод имел доктринерский характер: так как революция буржуазная, то социалисты не должны компрометировать себя властью, — пусть буржуазия сама отвечает за себя. Это звучало очень непримиримо. В действительности же, мнимой непримиримостью мелкая буржуазия маскировала свое раболепие перед силой богатства, образования, ценза. Право крупной буржуазии на власть мелкие буржуа признавали ее первородным правом, независимым от соотношения сил. В основе здесь было то же почти инстинктивное движение, которое заставляет мелкого купца или учителя почтительно посторониться на вокзале или в театре, чтоб дать пройти Ротшильду. Доктринерские аргументы служили только компенсацией за сознание собственного ничтожества. Уже через два месяца, когда выяснилось, что буржуазия собственными силами никак не удержит уступленной ей власти, соглашатели без труда отбросили свои «социалистические» предубеждения и вошли в коалиционное министерство. Не для того, чтобы вытеснить оттуда буржуазию, наоборот, чтобы спасти ее. Не вопреки ее воле, а, наоборот, по ее предложению, которое звучало как приказание: буржуазия угрожала демократам обрушить, в противном случае, власть им на голову.

Второй довод в пользу отказа от власти имел более практическую видимость, не будучи более серьезным по существу. Уже знакомый нам Суханов выдвигал на первый план «распыленность» демократической России: «в руках демократии тогда не было

сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций — ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных». Это звучит, как насмешка! О советах рабочих и солдатских депутатов не говорит тут ни слова социалист, выступающий от имени советов. Между тем, благодаря традиции 1905 года, советы возникли, как из под земли, и сразу стали несравненно могущественнее, чем все другие организации, которые пытались позже соперничать с ними (муниципалитеты, кооперативы, отчасти профессиональные союзы). Что касается крестьянства, класса, распыленного по самой своей природе, то как раз благодаря войне и революции, оно оказалось организовано, как никогда: война собрала крестьян в армию, а революция придала армии политический характер! Не меньше восьми миллионов крестьян были объединены в роты и эскадроны, которые сейчас же создали свое революционное представительство и, через его посредство, в любой момент могли быть поставлены на ноги по телефонному звонку. Это ли похоже на «распыленность»?

Можно, правда, сказать, что в момент решения вопроса о власти демократия не знала еще, как будет себя держать фронтовая армия. Не будем поднимать вопрос о том, было ли хоть малейшее основание опасаться или надеяться, что истомленные войною фронтовики захотят поддержать империалистическую буржуазию. Достаточно того, что весь этот вопрос полностью разрешился в течение ближайших двух-трех дней, которые у соглашателей и ушли как раз на подготовку за кулисами буржуазного правительства. «Переворот был благополучно завершен к 3-му марта», признает Суханов. Несмотря на присоединение всей армии к советам, вожди последних изо всей силы отталкивали власть: они тем больше боялись ее, чем полнее она сосредоточивалась в их руках.

Но почему же? Каким образом демократы, «социалисты», непосредственно опиравшиеся на такие человеческие массы, каких не знала за собой никакая демократия в истории, притом на массы со значитель-

ным опытом, дисциплинированные и вооруженные, организованные в советы, каким образом эта могущественная, несокрушимая, казалось бы, демократия могла бояться власти? Эта замысловатая на вид загадка объясняется тем, что демократия не доверяла своей собственной опоре, боялась самой массы, не верила в прочность ее доверия к себе, и пуще всего страшилась «анархии», т. е. того, что взяв власть, она вместе с властью, окажется игрушкой так называемых разнузданных стихий. Другими словами, демократия чувствовала себя не призванной руководительницей народа в момент его революционного подъема, а левым крылом буржуазного порядка, его щупальцем, протянутым в массы. Социалистической она называла и даже считала себя, чтоб замаскировать не только от масс, но и от самой себя свою действительную роль: без такого самоопьянения она не могла бы выполнить ее. Так разрешается основной парадокс Февральской революции.

Вечером 1-го марта в заседание Комитета Думы явились представители Исполнительного Комитета: Чхеидзе, Стеклов, Суханов и др., чтоб обсудить условия поддержки нового правительства советами. Программа демократов начисто снимала вопросы о войне, республике, земле, восьмичасовом рабочем дне и сводилась к одному единственному требованию: дать левым партиям свободу агитации. Пример бескорыстия для народов и веков: социалисты, у которых в руках находилась вся власть, и от которых полностью зависело давать или не давать свободу агитации другим, передавали власть своим «классовым врагам» с условием, чтобы эти последние пообещали им... свободу агитации. Родзянко боялся итти на телеграф и говорил Чхеидзе и Суханову: «власть у вас, вы можете нас всех арестовать». Чхеидзе и Суханов отвечали ему: «возьмите власть, но, только, не арестовывайте нас за пропаганду». Когда изучаешь переговоры соглашателей с либералами и все вообще эпизоды взаимоотношений левого и правого крыла Таврического дворца в те дни, то кажется, что на гигантской сцене,

на которой развертывается историческая драма народа, группа провинциальных актеров, воспользовавшись свободным уголком и паузой, разыгрывает пошлый водевиль с переодеваньем.

Вожди буржуазии, надо отдать им справедливость, не ожидали ничего подобного. Пожалуй, они меньше боялись бы революции, еслиб рассчитывали на такого рода политику со стороны ее вождей. Правда, они просчитались бы и в этом случае, но уже вместе с последними. Опасаясь все-таки, что буржуазия не согласится взять власть и на предложенных условиях, Суханов ставит грозный ультиматум: «Стихию можем сдержать или мы, или никто... Выход один: согласиться на наши условия». Другими словами: примите программу, которая есть ваша программа; за это мы обещаем вам укротить массу, которая дала нам власть. Бедные укротители стихий!

Милюков был удивлен. «Он и не думал скрывать, вспоминает Суханов, свое удовлетворение и свое приятное удивление». Когда же советские делегаты для пущей важности прибавили, что их условия «окончательны», Милюков даже расчувствовался и поощрил их фразой: «Да, и слушал вас и думал о том, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года»... Таким тоном благодушного крокодила гогенцоллернская дипломатия разговаривала в Брест-Литовске с делегатами Украинской Рады, воздавая должное их государственной зрелости, прежде чем проглотить их. Если советская демократия не была проглочена буржуазией, то в этом не заслуга Суханова и не вина Милюкова.

Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся классах никакой опоры. Но вместе с властью она получила подобие опоры из вторых рук: меньшевики и эс-эры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия буржуазии. Если взглянуть на эту операцию в разрезе формальной демократии, то получится картина двухстепенных

выборов, в которых меньшевики и эс-эры выступают в технической роли среднего звена, т. е. кадетских выборщиков. Если взять вопрос политически, то придется сказать, что соглашатели обманули доверие масс, призвав к власти тех, против кого сами были избраны. Наконец, с более глубокой, социальной точки зрения, вопрос представится так: мелкобуржуазные партии, проявлявшие в будничных условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собою, как только оказались подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и поторопились передать руль представителям капитала. В этом акте прострации сразу обнаружилась ужасающая шаткость нового среднего сословия и его унизительная зависимость от крупной буржуазии. Сознавая или только чувствуя, что власть в их руках все равно долго удержаться не сможет, что придется вскоре сдавать ее направо или налево, демократы решили, что лучше сдать ее сегодня солидным либералам, чем завтра — крайним представителям пролетариата. Но и в таком освещении роль соглашателей, не смотря на свою социальную обусловленность, не перестает быть вероломной по отношению к массам.

Отдав свое доверие социалистам, рабочие и солдаты оказывались, неожиданно для себя, политически экспроприированными. Они недоумевали, тревожились, но не находили сразу выхода. Их собственные избранники оглушали их сверху аргументами, на которые они не имели готового ответа, но которые противоречили всем их чувствам и намерениям. Революционные тенденции масс уже в момент февральского переворота совершенно не совпадали с соглашательскими тенденциями мелко-буржуазных партий. Пролетарий и крестьянин голосовали за меньшевика и эс-эра не как за соглашателей, а как за противников царя, помещика и капиталиста. Но голосуя за них, они создали средостение между собой и своими целями. Они не могли теперь уже продвинуться вперед, не натолкнувшись на воздвигнутое ими же средостение и не опрокинув его.

Таково было поразительное qui pro quo, заложенное в классовых отношениях, как их вскрыла Февральская революция.

* *
*

К основному парадоксу немедленно же присоединился дополнительный. Либералы соглашались взять власть из рук социалистов лишь при условии, что монархия согласится принять власть из их собственных рук.

В то время, как Гучков с уже знакомым нам монархистом Шульгиным ездили в Псков для спасения династии, проблема конституционной монархии оказалась в центре переговоров между двумя Комитетами Таврического дворца. Милюков убеждал демократов, принесших ему на ладони власть, что Романовы теперь уже не могут быть опасны, что Николай, конечно, должен быть устранен, но зато царевич Алексей при регенте Михаиле вполне могли бы обеспечить благополучие страны: «один — больной ребенок, а другой — совсем глупый человек». Прибавим еще характеристику, какую дал кандидату в цари либеральный монархист Шидловский: «Михаил Александрович всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, всецело предавшись конскому спорту». Поразительная рекомендация, особенно, если ее повторить перед массами. После бегства Людовика XVI в Варенн Дантон провозгласил в якобинском клубе, что, раз человек слабоумен, он не может быть королем. Русские либералы считали, наоборот, что слабоумие монарха служит лучшим украшением конституционного режима. Впрочем, это был непринужденный аргумент, рассчитанный на психологию левых простаков, но слишком все же грубый и для них. Широким кругам либеральных обывателей внушалось, что Михаил — «англоман», без уточнения, идет ли речь о скачках или о парламентаризме. А главное,

необходим «привычный символ власти», иначе народ вообразит, что пришло безвластие.

Демократы слушали, вежливо удивлялись и уговаривали... провозгласить республику? нет, только не предрешать вопроса. Пункт третий условий Исполнительного Комитета гласил: «Временное Правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления». Милюков сделал из вопроса о монархии ультиматум. Демократы были в отчаяньи. Но тут на помощь пришли массы. На митингах Таврического дворца, решительно никто, не только рабочие, но и солдаты, не хотели царя, и не было никаких средств навязать его. Тем не менее Милюков пытался плыть против течения и спасать трон и династию через головы левых союзников. В своей истории революции он сам осторожно отмечает, что к концу 2-го марта волнение, вызванное его сообщением о регенстве Михаила, «значительно усилилось». Родзянко гораздо красочнее рисует эффект, который монархические маневры либералов вызывали в массах. Едва прибыв из Пскова с актом отречения Николая в пользу Михаила, Гучков, по требованию рабочих, отправился с вокзала в железнодорожные мастерские, изложил, что произошло и, огласив акт отречения, закончил: «Да здравствует император Михаил!». Результат получился неожиданный. Оратор был, по рассказу Родзянко, немедленно рабочими арестован, будто бы даже с угрозами расстрела. «С большим трудом удалось освободить его при помощи дежурной роты ближайшего полка». Родзянко, как всегда, кое в чем преувеличивает, но основное изложено им правильно. Страну так радикально вырвало монархией, что она никак не могла снова пролезть народу в глотку. Революционные массы не допускали и мысли о новом царе!

Пред лицом такой коньюнктуры члены Временного Комитета один за другим отодвигались от Михаила, — не окончательно, а «до Учредительного Собрания»: там видно будет. Только Милюков и Гучков стояли

за монархию до конца и по прежнему ставили в зависимость от этого свое участие в кабинете. Как быть? Демократы считали, что без Милюкова нельзя составить буржуазное правительство, а без буржуазного правительства нельзя спасти революцию. Пререкания и уговаривания шли без конца. В утреннем совещании 3 марта мнение о необходимости «убедить великого князя отречься»,—его, следовательно, считали царем!—как будто совсем победило во Временном Комитете. Левый кадет Некрасов успел составить и проект отречения. Но так как Милюков упорно не сдавался, то после новых страстных споров было, наконец, найдено решение: «обе стороны мотивируют перед великим князем свои мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю». Таким образом, «совсем глупый человек», которому низложенный восстанием старший брат, в противоречии даже с династическим статутом, пытался подкинуть трон, оказался неожиданно суперарбитром в вопросе о государственном устройстве революционной страны. Как это ни невероятно, но состязательный процесс о судьбах государства состоялся. Чтоб побудить великого князя оторваться от конюшень для трона, Милюков заверил его, что имеется полная возможность вне Петрограда собрать военную силу для защиты его прав. Другими словами, едва успев получить власть из рук социалистов, Милюков выдвинул план монархического coup d'état. По окончании речей за и против, которых было немало, великий князь попросил время на размышление. Пригласив к себе в другую комнату Родзянко, Михаил спросил его в упор: гарантируют ли ему новые властители только корону или также и голову? Несравненный камергер ответил, что может лишь обещать монарху умереть, в случае нужды, с ним вместе. Это претендента .совершенно не устраивало. Выйдя после объятий с Родзянко к ожидавшим его депутатам, Михаил Романов «довольно твердо» заявил, что отказывается от предложенной ему высокой, но рискованной должности. Тогда Керенский, олице-

творявший в этих переговорах совесть демократии, восторженно привскочил со стула со словами: «Ваше Высочество, Вы — благородный человек!» и поклялся, что отныне будет всюду заявлять это. «Пафос Керенского, сухо комментирует Милюков, плохо гармонировал с прозой принятого решения». Нельзя не согласиться. Для пафоса текст этой интермедии действительно не оставлял места. Сделанное выше сравнение с водевилем в углу античной арены приходится дополнить указанием на то, что сцена оказалась разделена ширмами на две половины: в одной революционеры упрашивали либералов спасти революцию, в другой либералы умоляли монархию спасти либерализм.

Представители Исполнительного Комитета искренно недоумевали, почему такой просвещенный и дальновидный человек, как Милюков, упрямится из-за какой-то там монархии и даже готов отказаться от власти, если ему, в придачу к ней, не дадут Романова. Монархизм Милюкова не был, однако, ни доктринерским, ни романтическим; наоборот, он вытекал из обнаженного рассчета перепуганных собственников. В его обнаженности и состояла его безнадежная слабость. Историк Милюкова мог, правда, сослаться на то, что вождь французской революционной буржуазии Мирабо также стремился в свое время примирить революцию с королем. В основе и там был страх собственников за собственность: осторожнее было прикрыть ее монархией, как монархия прикрывала себя церковью. Но в 1789 г. традиция королевской власти во Франции имела еще всенародное признание, не говоря о том, что вся окружающая Европа была монархической. Держась за короля, французская буржуазия оставалась еще на общей почве с народом, по крайней мере, в том смысле, что пользовалась против него его же предрассудками. Совсем иным было положение в России в 1917 г. Помимо крушений и аварий монархического режима в разных странах мира, сама русская монархия была непоправимо надломлена уже в 1905 г. После 9-го января поп Гапон проклял царя и

его «змеиное отродье». Совет Рабочих Депутатов 1905-го года стоял открыто на почве республики. Монархические чувства крестьянства, на которые сама монархия долго рассчитывала и ссылкой на которые буржуазия прикрывала свой монархизм, оказались попросту несуществующими. Поднимавшаяся в дальнейшем воинственная контр-революция, начиная с Корнилова, хоть и лицемерно, но тем более демонстративно отрекалась от царской власти: так мало оставалось монархических корней в народе. Но та же революция 1905 г., которая смертельно ранила монархию, на всегда подорвала неустойчивые республиканские тенденции «передовой» буржуазии. Противореча друг другу, эти два процесса дополняли друг друга. Чувствуя себя с первых часов Февральской революции утопающей, буржуазия хваталась за соломинку. Монархия ей нужна была не потому, что это было ее общее верование с народом; наоборот, буржуазия не могла уже ничего противопоставить верованиям народа, кроме коронованного фантома. «Образованные» классы России выступили на арене революции не как глашатаи рационального государства, а как защитники средневековых учреждений. Не имея опоры ни в народе, ни в себе самих, они искали ее над собою. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтоб охранить помещичью землю от переворота. Он чувствовал себя при этом гораздо ближе с наиболее заскорузлыми царскими генералами и иерархами православной церкви, чем с теми ручными демократами, которые ни о чем так не заботились, как о благорасположении либералов. Не будучи в силах сломить революцию, Милюков твердо решил перехитрить ее. Он готов был проглотить многое: гражданские свободы для солдат, демократические муниципалитеты, Учредительное Собрание, но при одном условии: чтоб ему была предоставлена архимедова точка, в виде монархии. Он рассчитывал постепенно и шаг за шагом сделать монархию осью группировки генералитета, подновленной

бюрократии, князей церкви, собственников, всех недовольных революцией и, начав с «символа», создавать постепенно реальную монархическую узду на массы, по мере того, как последние будут уставать от революции. Только бы выиграть время! Другой руководитель кадетской партии, Набоков, объяснил позже, какое капитальное преимущество было бы достигнуто при согласии Михаила на трон: «Устранен был бы роковой вопрос о созыве Учредительного Собрания во время войны». Эти слова надо запомнить: борьба из-за сроков Учредительного Собрания занимала между февралем и октябрем большое место, причем кадеты категорически отрицали свое намерение оттянуть созыв народного представительства, очень настойчиво и упорно проводя политику проволочек на деле. Увы, им приходилось при этом опираться только на себя: монархического прикрытия они так-таки и не получили. После дезертирства Михаила Милюков не мог уже хвататься и за соломинку.

НОВАЯ ВЛАСТЬ.

Оторванная от народа, связанная гораздо теснее с иностранным финансовым капиталом, чем с трудящимися массами собственной страны, враждебная революции, которая одержала победу, запоздалая русская буржуазия не могла от собственного имени найти ни одного довода в пользу своих претензий на власть. Между тем обоснование необходимо было, ибо революция подвергает немилосердной проверке не только унаследованные права, но и новые притязания. Меньше всего способен был предъявить убедительные для массы доводы председатель Временного Комитета Родзянко, в первые дни после переворота оказавшийся во главе революционной страны.

Камер-паж при Александре II, офицер кавалергардского полка, губернский предводитель дворянства, камергер Николая II, монархист насквозь, богатый помещик и земский деятель, член партии октябристов, депутат Государственной Думы, Родзянко был затем выбран ее председателем. Это произошло после сложения с себя полномочий Гучковым, которого, как «младотурка», ненавидели при дворе: Дума надеялась, что через посредство камергера легче найдет доступ к сердцу монарха. Родзянко делал, что мог: нелицемерно заверял царя в своей преданности династии, выпрашивал как милости, быть представленным наследнику и рекомендовался последнему, как «самый большой и толстый человек в России». Несмотря на все это византийское скоморошество, камергер не завоевал царя для конституции, и царица кратко именовала Родзянко в письмах мерзавцем. Во время войны председатель Думы несомненно доставлял не мало неприятных минут царю, загоняя его при личных докладах в угол

размашистыми увещаниями, патриотической критикой и мрачными пророчествами. Распутин считал Родзянко личным врагом. Близкий к дворцовой банде Курлов говорит о присущем Родзянко «нахальстве при несомненной ограниченности». Витте отзывался о председателе Думы снисходительнее, но немногим лучше: «человек не глупый, довольно толковый; но все-таки главное качество Родзянко заключается не в его уме, а в голосе, — у него отличный бас». Родзянко пытался сперва победить революцию при помощи пожарной кишки; плакал, когда узнал, что правительство князя Голицына бежало с поста; отказывался с ужасом от власти, которую принесли ему социалисты; потом решил взять ее, но как верноподанный, чтоб при первой возможности вернуть монарху утерянный предмет. Не вина Родзянко, если такой возможности не представилось. Зато революция, при содействии тех же социалистов, доставила камергеру широкую возможность громыхать басом перед восставшими полками. Уже 27 февраля отставной кавалергардский ротмистр Родзянко говорил прибывшему в Таврический дворец кавалерийскому полку: «Православные воины, послушайте моего совета. Я старый человек, я вас обманывать не стану, — слушайте офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной Думой. Да здравствует святая Русь!». Такую революцию готовы были принять все гвардейские офицеры. Зато солдаты недоумевали, зачем нужно было производить ее. Родзянко боялся солдат, боялся рабочих, считал Чхеидзе и других левых немецкими агентами и, возглавляя революцию, поминутно оглядывался, не арестует ли его Совет.

Фигура Родзянко несколько смехотворна, но не случайна: камергер с отличным басом олицетворял собою союз двух правящих классов России, помещиков и буржуазии, с присоединением к ним прогрессивного духовенства: сам Родзянко был очень благочестив и сведущ в церковных песнопеньях, а либеральные буржуа, независимо от своего отношения к православию,

считали союз с церковью столь же необходимым для порядка, как и союз с монархией.

На почтенном монархисте, получившем власть от заговорщиков, мятежников и тираноубийц, не было в те дни лица. Другие члены Комитета чувствовали себя немногим лучше. Некоторые из них вообще не появлялись в Таврическом дворце, считая положение недостаточно определившимся. Наиболее мудрые ходили на цыпочках вокруг костра революции, кашляли от дыму и говорили себе: пускай перегорит, тогда попробуем что-нибудь изжарить. Согласившись взять власть, Комитет не сразу решился сформировать министерство. «В ожидании, когда наступит момент образования правительства», как выражается Милюков, Комитет ограничился назначением комиссаров из членов Думы в высшие правительственные учреждения: это еще оставляло возможность отступления.

В министерство внутренних дел был отправлен незначительный, но может быть менее других трусливый депутатов Караулов, который 1-го марта приказ об аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Этот грозный революционный жест имел чисто платонический характер, так как полиция была арестована до всяких приказов, и тюрьма была для нее единственным убежищем от расправы. Значительно позже реакция усматривала в демонстративном акте Караулова начало всех дальнейших бедствий.

Комендантом Петрограда назначен был полковник Энгельгардт, офицер гвардейского полка, владелец скаковых конюшен и крупный землевладелец. Вместо того, чтоб арестовать «диктатора» Иванова, прибывшего с фронта для усмирения столицы, Энгельгардт отправил в его распоряжение реакционного офицера, в качестве начальника штаба: в конце концов, это были свои люди.

В министерство юстиции послано было светило московской либеральной адвокатуры, красноречивый и пустой Маклаков, который прежде всего дал понять реакционным бюрократам, что не хочет быть минис-

тром милостью революции, и «оглянувшись на вошедшего товарища — курьера», сказал по французски: «le danger est à gauche».

Рабочим и солдатам не нужно было знать по французски, чтоб почувствовать во всех этих господах своих лютых врагов.

Родзянко во главе Комитета пошумел, однако, недолго. Его кандидатура в председатели революционного правительства отпала сама собою: посредник между собственниками и монархией слишком уж явно не годился в посредники между собственниками и революцией. Но он не сошел со сцены, упрямо пытаясь оживить Думу, как противовес Совету, и неизменно оставаясь в центре всех попыток сплочения буржуазно-помещичьей контр-революции. Мы еще о нем услышим.

1-го марта Временный Комитет приступил к формированию министерства, выдвинув в его состав тех самых людей, которых Дума, начиная с 1915 года, неоднократно рекомендовала царю, как пользующихся доверием страны: это были крупные аграрии и промышленники, оппозиционные депутаты Думы, вожди прогрессивного блока. Факт таков, что произведенный рабочими и солдатами переворот на составе революционного правительства, за одним исключением, не отразился вовсе. Исключением был Керенский. Амплитуда Родзянко-Керенский есть официальная амплитуда Февральской революции.

Керенский вошел в правительство, как бы в качестве ее полномочного посла. Между тем его отношение к революции было отношением провинциального адвоката, выступавшего в политических процессах. Керенский не был революционером, — он лишь терся около революции. Попав впервые в четвертую Думу, благодаря своему легальному положению, Керенский стал председателем серой и безличной фракции трудовиков, которая являлась анемичным плодом политического скрещивания либерализма с народничеством. Ни теоретической подготовки, ни политиче-

ской школы, ни способности к обобщающему мышлению, ни политической воли у него не было. Все эти качества заменялись беглой восприимчивостью, легкой воспламеняемостью и тем красноречием, которое действует не на мысль или волю, а на нервы. Выступления в Думе, в духе декламаторского радикализма, который не испытывал недостатка в поводах, создали Керенскому если не популярность, то известность. Во время войны Керенский, в качестве патриота, считал, вместе с либералами, самую идею революции гибельной. Он признал революцию, когда она пришла и, зацепившись за его подобие популярности, так легко подняла его наверх. Переворот естественно отождествлялся для него с новой властью. Исполнительный Комитет решил, однако, что в буржуазной революции власть должна принадлежать буржуазии. Эта формула казалась Керенскому фальшивой уже по одному тому, что захлопывала перед ним двери министерства. Керенский был вполне основательно убежден, что его социализм не помешает буржуазной революции, как и последняя не нанесет ущерба его социализму. Временный Комитет Думы решил попытаться оторвать радикального депутата от Совета и достиг этого без труда, предложив ему портфель юстиции, от которого успел уже отказаться Маклаков. Керенский ловил в кулуарах друзей и спрашивал: брать или не брать? Друзья не сомневались, что Керенский решил взять. Суханов, весьма расположенный к Керенскому в тот период, подметил у него, правда, по позднейшим воспоминаниям, «уверенность в какой-то своей миссии... и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался». В конце концов друзья, в том числе и Суханов, советовали Керенскому взять портфель: так будет все-таки надежнее, через своего человека можно будет знать, что делается у этих хитрых либералов. Но толкая Керенского шопотом на грехопадение, к которому он и без того стремился изо всех сил, лидеры Исполкома отказывали ему в официальной санкции. Ведь Исполнительный Комитет

уже высказался, напоминал Суханов Керенскому, а ставить снова вопрос в Совете «небезопасно», ибо Совет может попросту ответить: «власть должна принадлежать советской демократии». Таков дословный рассказ самого Суханова, — невероятное сочетание наивности и цинизма. Вдохновитель всей мистерии власти открыто признает,что уже 2-го марта Петроградский совет был настроен в пользу формального взятия власти, которая ему фактически принадлежала с вечера 27-го февраля, и что только за спиною рабочих и солдат, без их ведома и вопреки их действительной воле, социалистические вожди могли экспроприировать власть в пользу буржуазии. Сделка демократов с либералами приобретает в рассказе Суханова все необходимые юридические признаки преступления против революции, именно тайного заговора против власти народа и его прав.

По поводу нетерпения Керенского руководители Исполнительного Комитета шушукались о неудобстве для социалиста официально брать кусочек власти из рук думцев, которые только что получили всю власть из рук социалистов. Лучше пусть Керенский сделает это на свою ответственность. Поистине, эти господа каким-то безошибочным инстинктом находили из всякого положения как можно более запутанный и фальшивый выход. Но Керенский не хотел войти в правительство в пиджаке радикального депутата; ему нужен был плащ уполномоченного победоносной революции. Чтоб не натолкнуться на сопротивление, он не обращался за санкцией ни к той партии, членом которой он себя провозгласил, ни в Исполнительный Комитет, где он числился товарищем председателя. Не предупреждая руководителей, он на пленарном заседании Совета, представлявшем в те первые дни еще хаотический митинг, потребовал слова для внеочередного заявления и в речи, которую одни называют сумбурной, другие истерической, в чем, впрочем, нет противоречия, требовал к себе доверия и говорил о своей общей готовности умереть за революцию и о более

непосредственной готовности взять портфель министра юстиции. Достаточно было упоминания о необходимости полной политической амнистии и суда над царскими сановниками, чтоб вызвать бурные аплодисменты неопытного и никем не руководимого собрания. «Этот фарс, вспоминает Шляпников, вызвал у многих глубокое возмущение и отвращение к Керенскому». Но никто ему не возвражал: передав власть буржуазии, социалисты, как мы уже знаем, избегали поднимать этот вопрос перед массой. Голосования не было. Керенский решил истолковать аплодисменты, как мандат доверия. По своему он был прав. Совет несомненно был за вступление социалистов в министерство, видя в этом шаг к ликвидации буржуазного правительства, с которым он ни на минуту не мирился. Так или иначе, опрокинув официальную доктрину власти, Керенский дал 2-го марта согласие на пост министра юстиции. «Своим назначением, рассказывает октябрист Шидловский, он был очень доволен, и я отлично помню, как в помещении Временного Комитета он, лежа в кресле, горячо говорил о том, на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию». Действительно, он это показал через несколько месяцев в процессе против большевиков.

Меньшевик Чхеидзе, которому либералы, руководствуясь слишком несложным рассчетом и международной традицией, хотели навязать в трудную минуту министерство труда, категорически отказался и остался председателем Совета депутатов. Менее блестящий, чем Керенский, Чхеидзе сделан был все же из более серьезного материала.

Осью Временного правительства, хотя формально и не главой, стал Милюков, бесспорный лидер кадетской партии. «Милюков был вообще несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету, — писал кадет Набоков, после того, как уже порвал с Милюковым, — как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума». Суханов, вменявший Милюкову в личную вину крушение

русского либерализма, писал вместе с тем: «Милюков был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов... Без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции». При всей своей чрезмерной приподнятости эти отзывы отмечают неоспоримое превосходство Милюкова над другими политиками русской буржуазии. Его сила состояла в том же, в чем и слабость: он полнее и законченнее других выражал на языке политики судьбу русской буржуазии, т. е. ее историческую безвыходность. Если меньшевики плакались, что Милюков погубил либерализм, то с большим основанием можно бы сказать, что либерализм погубил Милюкова.

Несмотря на подогретый им в империалистических целях неославизм, Милюков всегда оставался буржуазным западником. Целью своей партии он ставил торжество в России европейской цивилизации. Но чем дальше, тем больше он боялся тех революционных путей, какими шли западные народы. Его западничество свелось поэтому к бессильной зависти Западу.

Английская и французская буржуазия строила новое общество по образу своему. Германская пришла позже, и ей пришлось в течение долгого времени сидеть на овсяном отваре философии. Немцы выдумали слово «миросозерцание», которого нет ни у англичан, ни у французов: в то время, как западные нации создали новый мир, немцы созерцали его. Но немецкая буржуазия, убогая в политическом действии, создала классическую философию, — и это не малый вклад. Русская пришла еще позже. Правда, она перевела немецкое слово «миросозерцание» на русский язык, притом в нескольких варьянтах, но этим только ярче обнаружила, наряду с политической импотенцией, убийственную философскую скудость. Она импортировала идеи, как и технику, установив для последней высокие пошлины, а для первых — карантин страха. Этим чертам своего класса и призван был давать политическое выражение Милюков.

Бывший московский профессор истории, автор значительных научных трудов, затем основатель кадетской партии, слившейся из союза либеральных помещиков и союза левых интеллигентов, Милюков был совершенно свободен от той несносной, отчасти барской, отчасти интеллигентской черты политического диллетантизма, которая свойственна большинству русских либеральных политиков. Милюков относился к своей профессии очень серьезно, и это одно его выделяло.

Русские либералы до 1905 года обычно стеснялись быть либералами. Налет народничества, а позже марксизма долго служил для них необходимой защитной окраской. В этой стыдливой, по существу очень неглубокой капитуляции довольно широких буржуазных кругов, в том числе и ряда молодых промышленников, перед социализмом выражался недостаток внутренней уверенности у класса, который явился достаточно своевременно, чтобы сосредоточить в своих руках миллионы, но слишком поздно, чтобы стать во главе нации. Бородатые отцы, разбогатевшие мужики и лавочники, накопляли, не размышляя о своей общественной роли. Сыновья кончали университеты в период предреволюционного брожения идей и, когда пытались найти свое место в обществе, то не спешили стать под знамя либерализма, уже изношенное передовыми странами, полинялое и все в заплатах. В течение некоторого времени они отдавали революционерам часть своей души и даже частицу своих доходов. В еще большей степени это относится к представителям свободных профессий: в значительной своей части они проходили в молодые годы через полосу социалистических симпатий. Профессор Милюков никогда не болел корью социализма. Он был органическим буржуа и не стыдился этого.

Правда, в эпоху первой революции Милюков не совсем еще отказался от надежды опереться на революционные массы через посредство прирученных социалистических партий. Витте рассказывает, что на требование, которое он во время формирования своего

конституционного кабинета в октябре 1905 г., обратил к кадетам: «отсечь революционный хвост», те ответили ему, что они также не могут отказаться от вооруженных сил революции, как сам Витте — от армии. По существу дела это и тогда уже был шантаж: чтоб поднять себе цену, кадеты запугивали Витте массами, которых боялись сами. Именно на опыте 1905 года Милюков убедился, что, как бы ни были сильны либеральные симпатии социалистических групп интеллигенции, подлинные силы революции — массы, никогда не отдадут своего оружия буржуазии и, чем лучше окажутся вооружены, тем более будут для нее опасны. Открыто провозгласив, что красное знамя есть красная тряпка, Милюков с явным облегчением ликвидировал роман, которого в сущности серьезно никогда не начинал.

Оторванность так называемой «интеллигенции» от народа составляла одну из традиционных тем русской журналистики, причем либералы, в противоположность социалистам, под интеллигенцией понимали все «образованные», т. е. имущие классы. После того, как эта оторванность катастрофически разверзлась перед либералами во время первой революции, идеологи «образованных» классов жили как бы в постоянном ожидании страшного суда. Один из либеральных писателей, философ, не связанный условностями политики, выразил страх перед массой с такой исступленной силой, которая напоминает эпилептическую реакционность Достоевского: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной». При таком политическом самочувствии можно ли было либералам мечтать о руководстве революционной нацией? Вся политика Милюкова отмечена печатью безнадежности. В момент национального кризиса возглавляемая им партия думает о том, как уклониться от удара, а не о том, как нанести его.

Как писатель, Милюков тяжеловесен, многословен

и утомителен. Таков же он и в качестве оратора. Декоративность ему не свойственна. Это могло бы быть плюсом, еслиб скаредная политика Милюкова так явно не нуждалась в маскировке, или еслиб у него было, по крайне мере, объективное прикрытие в виде великой традиции: но у него не было и малой. Официальная политика во Франции, квинт-эссенция буржуазного эгоизма и вероломства, имеет два могущественных подспорья: традицию и риторику. Помножаясь друг на друга, они окутывают защитным покровом каждого буржуазного политика, даже такого прозаического клерка крупных собственников, как Пуанкаре. Не вина Милюкова, если у него не оказалось патетических предков, и если политику буржуазного эгоизма ему пришлось проводить на рубеже Европы и Азии.

«Наряду с симпатиями к Керенскому, — читаем мы в воспоминаниях эсера Соколова о Февральской революции, — с самого начала существовала большая, ничем не прикрытая и по своему странная антипатия к Милюкову. Мне не было понятно, да непонятно и теперь, почему этот почтенный общественный деятель был так непопулярен?» Еслиб филистры поняли причину своего восхищения Керенским и своей нелюбви к Милюкову, они перестали бы быть филистерами. Буржуазный обыватель не любил Милюкова потому, что Милюков слишком прозаично и трезвенно, без прикрас, выражал политическую сущность русской буржуазии. Глядя на себя в милюковское зеркало, буржуа видел, что он сер, корыстен, труслив и, как это обычно бывает, обижался на зеркало.

Замечая, с своей стороны, недовольные гримасы либерального буржуа, Милюков спокойно и уверенно говорил: «обыватель глуп». Он произносил эти слова без раздражения, чуть не с лаской, желая сказать: если сегодня обыватель не понимает меня, не беда, поймет позже. В Милюкове жила основательная уверенность в том, что буржуа его не выдаст и, повинуясь логике положения, потянется за ним, Милюковым, ибо больше ему некуда итти. И действительно:

после февральского переворота все буржуазные партии, даже правые, шли за кадетским вождем, поругивая и даже проклиная его.

Иначе обстояло дело с демократическим политиком социалистической окраски, с каким-нибудь Сухановым. Это был не простой обыватель, наоборот, профессиональный политик, достаточно изощренный в своем маленьком ремесле. «Умным» этот политик не мог казаться, ибо слишком било в глаза постоянное противоречие между тем, чего он хотел, и тем, к чему приходил. Но он умничал, путал и надоедал. Чтоб повести его за собою, надо было обмануть его, не только признавая за ним полную самостоятельность, но даже обвиняя его в избытке командования, в самовластии. Это льстило ему и примиряло с ролью услужающего. Именно в беседе с этими социалистическими умниками Милюков и бросил свою фразу: «обыватель глуп». Это была тонкая лесть: «умны только мы с вами». На самом же деле Милюков именно в этот момент вдевал демократическим друзьям кольцо в нос. С этим кольцом они и были впоследствии сброшены.

Личная непопулярность не позволила Милюкову стать во главе правительства: он взял иностранные дела, которые составляли его специальность и в Думе.

Военным министром революции оказался уже знакомый нам крупный московский промышленник Гучков, в молодости либерал, с авантюристской складкой, затем доверенное лицо крупной буржуазии при Столыпине в период разгрома первой революции. Роспуск двух первых Дум, где господствовали кадеты, привел к государственному перевороту 3-го июня 1907 г., с целью изменения избирательного права в пользу партии Гучкова, руководившей затем двумя последними думами, до самой революции. При открытии в Киеве в 1911 г. памятника Столыпину, убитому террористом, Гучков, возлагая венок, молча склонился до земли: это был жест от имени класса. В Думе Гучков посвящал себя главным образом вопросам «военной

мощи» и в подготовке войны шел рука об руку с Милюковым. В качестве председателя центрального военно-промышленного комитета, Гучков сплачивал промышленникв под знаменем патриотической оппозиции, отнюдь не препятствуя в то же время заправилам прогрессивного блока, включая и Родзянко, греть руки на военных поставках. Революционной рекомендацией Гучкова была связанная с его именем полулегенда о подготовке дворцового переворота. Бывший шеф полиции утверждал сверх того, что Гучков «позволял себе в частных разговорах о монархе применять к нему в высокой степени оскорбительный эпитет». Это вполне вероподобно. Но Гучков не составлял на этот счет исключения. Благочестивая царица ненавидела Гучкова, расточала по его адресу грубые ругательства в письмах и выражала надежду, что он будет повешен «на высоком дереве». Впрочем, у царицы многие были для этого на виду. Так или иначе, но тот, кто до земли кланялся палачу первой революции, оказался военным министром второй.

Министром земледелия назначен был кадет Шингарев, провинциальный врач, ставший затем депутатом Думы. Ближайшие единомышленники по партии считали его честной посредственностью, или, как выразился Набоков, «русским провинциальным интеллигентом, рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб». Неопределенный радикализм молодых лет успел давно выветриться, и главной заботой Шингарева стало показать имущим классам свою государственную зрелость. Хотя старая кадетская программа говорила о «принудительном отчуждении помещичьих земель по справедливой оценке», но никто из собственников не брал этой программы в серьез, особенно теперь, в годы военной инфляции, и Шингарев видел главную свою задачу в том, чтоб затормозить разрешение аграрной проблемы, обнадеживая крестьян миражем Учредительного Собрания, которого кадеты не хотели созывать. На земельном вопросе и на вопросе войны Фе-

вральской революции предстояло свернуть себе шею. Шингарев помог ей в этом, чем мог.

Портфель финансов получил молодой человек, по фамилии Терещенко. Откуда взяли его? спрашивали друг друга с удивлением в Таврическом дворце. Осведомленные люди объясняли, что это — владелец сахарных заводов, имений, лесов и прочих несметных богатств, оцениваемых в 80 миллионов рублей золотом, председатель военно-промышленного комитета в Киеве, с хорошим французским произношением и, сверх того, знаток балета. Прибавляли еще многозначительно, что Терещенко, в качестве наперсника Гучкова, почти участвовал в великом заговоре, который должен был низложить Николая II. Революция, которая помешала заговору, помогла Терещенко.

В течение пяти февральских дней, когда на холодных улицах столицы разыгрывались революционные бои, перед нами тенью промелькнула несколько раз фигура либерала из сановной семьи, сына бывшего царского министра Набокова, почти символическая в своей самодовольной корректности и эгоистической черствости. Решающие дни восстания Набоков проводил в четырех стенах канцелярии или семьи, «в тупом и тревожном ожидании». Теперь он стал управляющим делами Временного правительства, фактически министром без портфеля. В берлинской эмиграции, где его убила шальная пуля белогвардейца, он оставил не лишенные интереса записки о временном правительстве. Вменим ему это в заслугу.

Но мы забыли назвать премьера, которого впрочем все забывали в наиболее серьезные моменты его короткого премьерства. 2-го марта, рекомендуя митингу Таврического дворца новое правительство, Милюков назвал князя Львова «воплощением русской общественности, гонимой царским режимом». Позднее, в своей истории революции, Милюков осторожно замечает, что во главе правительства был поставлен князь Львов, «мало известный лично большинству членов Временного Комитета». Историк пытается здесь

снять с политика ответственность за выбор. На самом деле князь давно числился в кадетской партии, на ее правом крыле. После роспуска I-й Думы, на знаменитом заседании депутатов в Выборге, обратившемся к населению с ритуальным призывом обиженного либерализма: не платить налогов, князь Львов присутствовал, но не подписал воззвания. Набоков вспоминает, что, тотчас по приезде в Выборг, князь заболел, причем болезнь его «приписывалась тому волнению, в котором он находился». Повидимому, князь не был создан для революционных потрясений. Будучи весьма умеренным, князь Львов, в силу политического безразличия, походившего на широту взглядов, терпел во всех возглавлявшихся им организациях большое число левых интеллигентов, бывших революционеров, социалистических патриотов, укрывавшихся от войны. Они работали не хуже чиновников, не воровали и в то же время создавали князю подобие популярности. Князь, богач и либерал — это импонировало среднему буржуа. Князя Львова намечали, поэтому, в премьеры еще при царе. Если свести сказанное во едино, то придется признать, что глава правительства Февральской революции представлял собою хотя и сиятельное, но заведомо пустое место. Родзянко был бы во всяком случае колоритнее.

Легендарная история русского государства начинается с рассказа летописи о том, как делегаты славянских племен отправились к скандинавским князьям с просьбой: «приходите владеть и княжить нами». Злополучные представители социалистической демократии превратили историческую легенду в быль, не в IX веке, а в XX, с той разницей, что обратились не к заморским князьям, а ко внутренним. Так, в результате победоносного восстания рабочих и солдат, у власти оказались несколько богатейших помещиков и промышленников, ничем ровно не замечательных, политических диллетантов без программы, с нелюбящим волнений князем во главе.

Состав правителства был с удовлетворением встре-

чен в союзных посольствах, в буржуазных и бюрократических салонах и в более широких слоях средней и отчасти мелкой буржуазии. Князь Львов, октябрист Гучков, кадет Милюков — эти имена звучали успокоительно. Имя Керенского, может быть, и заставляло морщиться союзников, но не пугало. Более дальновидные понимали: в стране все же революция; при столь надежном кореннике, как Милюков, резвая пристяжная может быть только полезна. Так должен был рассуждать французский посол Палеолог, любивший русские метафоры.

В среде рабочих и солдат состав правительства породил сразу враждебные чувства или, в лучшем случае, глухое недоумение. Имена Милюкова или Гучкова не могли вызвать ни одного приветственного возгласа не только на фабрике, но и в казарме. На этот счет сохранились немалочисленные свидетельства. Офицер Мстиславский передает угрюмую тревогу солдат по поводу того, что власть от царя перешла к князю: стоило ли из-за этого кровь проливать? Станкевич, принадлежавший к интимному кружку Керенского, обходил 3-го марта свой саперный батальон, роту за ротой, и рекомендовал новое правительство, которое сам он считал лучшим из всех возможных и о котором говорил с большим воодушевлением. «Но в аудитории чувствовался холодок». Лишь когда оратор называл Керенского, солдаты «вспыхивали истинным удовлетворением». К этому времени общественное мнение столичного мещанства успело уже превратить Керенского в центрального героя революции. Солдаты, в гораздо большей степени, чем рабочие, хотели видеть в Керенском противовес буржуазному правительству и лишь недоумевали, почему он там один. Но Керенский был не противовесом, а дополнением, прикрытием, украшением. Он защищал те же интересы, что и Милюков, но при вспышках магния.

* * *

Какова была реальная конституция страны с учреждением новой власти?

Монархическая реакция попряталась по щелям. Как только схлынули первые воды потопа, собственники всех видов и направлений сгруппировались под знаменем кадетской партии, которая сразу оказалась единственной несоциалистической партией и в то же время крайней правой на открытой арене.

Массы шли повально к социалистам, которые сливались в их сознании с советами. Не только рабочие и солдаты огромных тыловых гарнизонов, но и весь разношерстный мелкий люд городов, ремесленники, уличные торговцы, маленькие чиновники, извощики, дворники, прислуга всех видов, чуждались Временного правительства и его канцелярий, искали власти поближе, подоступнее. Все в большем числе появлялись в Таврическом дворце крестьянские ходоки. Массы вливались в советы, как в триумфальные ворота революции. Все, что оставалось за пределами советов, как бы отваливалось от революции и казалось принадлежащим к другому миру. Так оно и было: за пределами советов оставался мир собственников, в котором все краски смешались сейчас в один серовато-розовый защитный цвет.

Не вся трудовая масса выбирала советы, не вся она пробудилась одновременно, не все слои угнетенных посмели сразу поверить, что переворот касается и их. У многих в сознании тяжело ворочалась лишь нечленораздельная надежда. В советы устремилось все активное в массах, а во время революции более, чем когда либо, активность побеждает; и так как массовая активность росла со дня на день, то база советов непрерывно расширялась. Это и была единственно реальная база революции.

В Таврическом дворце были две половины: Дума и Совет. Исполнительный комитет первоначально теснился в каких-то тесных канцеляриях, через которые протекал непрерывный человеческий поток. Депутаты Думы пытались чувствовать себя хозяевами в своих

парадных помещениях. Но перегородки скоро были снесены половодьем революции. Несмотря на всю нерешительность своих руководителей, Совет непреодолимо расширялся, а Дума оттеснялась на задворки. Новое соотношение сил всюду прокладывало себе дорогу.

Депутаты в Таврическом дворце, офицеры в своих полках, командующие в своих штабах, директора и администраторы на заводах, на железных дорогах, на телеграфе, помещики или управляющие в имениях, все чувствовали себя с первых дней революции под недоброжелательным и неутомимым надзором массы. Совет был в глазах этой массы организованным выражением ее недоверия ко всем тем, которые ее угнетали. Наборщики ревниво следили за текстом набираемых статей, железнодорожные рабочие тревожно и бдительно наблюдали за воинскими поездами, телеграфисты вчитывались по новому в текст телеграмм, солдаты переглядывались при каждом подозрительном движении офицера, рабочие выбрасывали с завода черносотенного мастера и брали под надзор либерального директора. Дума с первых часов революции, а Временное правительство с первых ее дней стали резервуаром, в который стекались жалобы и обиды общественных верхов, их протесты против «эксцессов», их горестные наблюдения и мрачные предчувствия.

«Без буржуазии мы не сможем овладеть государственным аппаратом», рассуждал социалистический мелкий буржуа, боязливо озираясь на казенные здания, откуда глядел пустыми глазницами скелет старого государства. Выход нашли в том, что на обезглавленный революцией аппарат наставили кое-как либеральную голову. Новые министры вступали в царские министерства и, овладев аппаратом пишущих машинок, телефонов, курьеров, стенографисток и чиновников, убеждались изо дня в день, что машина работает холостым ходом.

Керенский впоследствии вспоминал, как Временное правительство «взяло в свои руки власть на третий

день всероссийской анархии, когда на всем пространстве земли русской не только не существовало никакой власти, но не осталось буквально ни одного городового». Советы рабочих и солдатских депутатов, руководившие многомиллионными массами, не в счет: ведь это только элемент анархии. Беспризорность страны характеризуется исчезновением городового. В этом исповедании веры самого левого из министров ключ ко всей политике правительства.

Места губернаторов заняли, по распоряжению князя Львова, председатели губернских земских управ, которые не многим отличались от своих предшественников; нередко это были помещики-крепостники, считавшие даже губернаторов якобинцами. Во главе уездов стали председатели уездных управ. Под свежим наименованием комиссаров население узнавало старых врагов. «Те же старые попы, только названные высокопарным именем», как сказал некогда Мильтон по поводу трусливой реформации пресвитериан. Губернские и уездные комиссары завладели машинками, переписчицами и чиновниками губернаторов и исправников, чтоб убедиться, что те не завещали им никакой власти. Жизнь в губерниях и уездах сосредоточивалась вокруг советов. Двоевластие прошло таким образом сверху до низу. Но на местах советские руководители, те же эсеры и меньшевики, были попроще и далеко не всегда отбрасывали от себя власть, которая им навязывалась всей обстановкой. В результате этого деятельность провинциальных комиссаров состояла главным образом в жалобах на полную невозможность осуществлять свои полномочия.

На второй день после образования либерального министерства буржуазия почувствовала, что она не приобрела власть, а, наоборот, потеряла ее. При всей фантастичности произвола распутинской клики до переворота реальная власть ее имела ограниченный характер. Влияние буржуазии на государственные дела было огромно. Самое участие России в войне было в большей мере делом буржуазии, чем монархии. Но

главное состояло в том, что царская власть обеспечивала собственникам их заводы, земли, банки, дома, газеты и, следовательно, в самом жизненном вопросе была их властью. Февральский переворот изменил положение в двух противоположных направлениях: он торжественно вручил буржуазии внешние атрибуты власти, но в то же время отнял у нее ту долю реального господства, которою она располагала до революции. Вчерашние служащие земского союза, где хозяином был князь Львов, и военно-промышленного комитета, где командовал Гучков, стали сегодня, под именем эс-эров и меньшевиков, господами положения в стране и на фронте, в городе и в деревне, назначали Львова и Гучкова в министры и ставили им при этом условия, точно нанимали их в прикащики.

С другой стороны, Исполнительный комитет, создав буржуазное правительство, отнюдь не решался, подобно библейскому богу, заявить, что его творение хорошо. Наоборот, он сейчас же поспешил увеличить дистанцию между собою и делом рук своих, заявив, что собирается поддерживать новую власть лишь постольку, поскольку она будет верно служить демократической революции. Временное правительство отлично сознавало, что не продержиться и часу без поддержки официальной демократии; между тем поддержка была ему обещана лишь, как награда за хорошее поведение, т. е. за выполнение чуждых ему задач, от разрешения которых сама демократия только что уклонилась. Правительство никогда не знало, в каких пределах оно может проявить свою полуконтрабандную власть. Не всегда могли ему это сказать заранее заправилы Исполкома, ибо и им трудно было предугадать, на какой черте прорвется недовольство в их собственной среде, как отражение недовольства массы. Буржуазия делала вид, что социалисты ее обманули. В свою очередь социалисты боялись, что своими преждевременными претензиями либералы только взбудоражат массы и ухудшат и без того нелегкое положение. «Постольку-поскольку» — эта

двусмысленность наложила свою печать на весь предоктябрьский период, став юридической формулой внутренней лжи, заложенной в ублюдочный режим Февральской революции.

Для воздействия на правительство Исполнительный комитет избрал особую комиссию, которую вежливо, но смехотворно, назвал «контактной». Организация революционной власти была таким образом официально построена на началах взаимного уговаривания. Небезызвестный мистический писатель Мережковский нашел прецедент для такого режима только в ветхом завете: при царях Израиля состояли пророки. Но библейские пророки, как и пророк последнего Романова, получали, по крайней мере, внушения непосредственно с небес, и цари не смели перечить: этим обеспечивалось единство власти. Совсем иное дело — пророки Совета: они вещали лишь под внушением собственной ограниченности. Либеральные же министры считали, что ничто доброе вообще не может исходить от Совета. Чхеидзе, Скобелев, Суханов и др. ходили к правительству и многословно убеждали его уступить; министры возражали; делегаты возвращались в Исполнительный комитет; давили на него авторитетом правительства; снова вступали в контакт с министрами, и — начинали с начала. Эта сложная мельница не давала помола.

В контактной комиссии все жаловались. Особенно Гучков плакался перед демократами на непорядки в армии, вызываемые попустительством Совета. Иногда военный министр революции «в прямом и буквальном смысле... проливал слезы, по крайней мере, усердно вытирал глаза платком». Он полагал не без основания, что осушать слезы помазанников составляет прямую функцию пророков.

9-го марта генерал Алексеев, стоявший во главе ставки, телеграфировал военному министру: «германское ярмо близко, если только мы будем потакать Совету». Гучков отвечал ему крайне слезливо: правительство, увы, не располагает реальной властью, в руках

Совета войска, железные дороги, почта, телеграф. «Можно прямо сказать, что Временное правительство существует лишь, пока это допускается Советом».

Неделя проходила за неделей, а положение нисколько не улучшалось. Когда Временное правительство послало в начале апреля депутатов Думы на фронт, оно со скрежетом зубов внушало им не обнаруживать никаких разногласий с делегатами Совета. Либеральные депутаты чувствовали себя во все время поездки как бы под конвоем, но сознавали, что без этого они, несмотря на высокие полномочия, не могли бы не только предстать пред солдатами, но и найти места в вагоне. Эта прозаическая деталь в воспоминаниях князя Мансырева прекрасно дополняет переписку Гучкова со ставкой о сущности февральской конституции. Один из реакционных остряков не без основания характеризовал положение так: «старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая — под домашним арестом».

Но разве же у Временного правительства не было другой опоры, кроме двусмысленной поддержки советской верхушки? Куда девались имущие классы? Вопрос основательный. Связанные своим прошлым с монархией, имущие классы поспешили после переворота перегруппироваться по новой оси. Совет промышленности и торговли, представительство объединенного капитала всей страны, уже 2-го марта «преклонился перед подвигом Государственной Думы» и отдал себя «в полное распоряжение» ее Комитета. Земства и городские думы вступили на тот же путь. 10-го марта уже и Совет объединенного дворянства, опоры трона, призвал на языке патетической трусости всех русских людей «сплотиться вокруг Временного правительства, как единой ныне в России законной власти». Почти одновременно с этим учреждения и органы имущих классов начали осуждать двоевластие, возлагая за непорядки ответственность на советы, сперва осторожно, затем все смелее. За хозяевами потянулись верхи служащих, объединения либеральных профессий, госу-

дарственные чиновники. Из армии шли сфабрикованные в штабах телеграммы, адреса и резолюции того же характера. Либеральная пресса открыла кампанию «за единовластие», которая в ближайшие месяцы приняла характер ураганного огня по вождям советов. Все вместе выглядело чрезвычайно внушительно. Большое число учреждений, известных имен, резолюций, статей, решительность тона, все это оказывало безошибочное действие на впечатлительных заправил Исполнительного комитета. И тем не менее за этим угрожающим парадом имущих классов не было серьезной силы. — А сила собственности? возражали большевикам мелко-буржуазные социалисты. Собственность есть отношение между людьми. Она представляет огромную силу, доколе пользуется всеобщим признанием, которое поддерживается системой принуждения, именуемой правом и государством. Но ведь в том-то и была суть положения, что старое государство сразу рушилось, и все старое право оказалось поставлено массами под знак вопроса. На заводах рабочие все больше сознавали себя хозяевами, хозяин — непрошенным гостем. Еще менее уверенно чувствовали себя помещики в деревнях, лицом к лицу с угрюмыми и ненавидящими мужиками, далеко от власти, в существование которой помещики, за дальностью расстояния, первоначально верили. Но собственники, лишенные возможности распоряжаться собственностью и даже охранять ее, переставали быть подлинными собственниками, а становились сильно испуганными обывателями, которые не могли оказать своему правительству никакой поддержки, ибо больше всего нуждались в ней сами. Уже очень скоро они начали проклинать правительство за его слабость. Но в лице правительства они лишь проклинали собственную судьбу.

Тем временем совокупная деятельность Исполнительного комитета и министерства как бы поставила своей задачей доказать, что искусство управления во время революции состоит во многословном упущении времени. У либералов это было делом сознательного

рассчета. По их твердому убеждению, все вопросы требовали отлагательства, кроме одного: принесения присяги на верность Антанте.

Милюков познакомил своих коллег с тайными договорами. Керенский пропустил их мимо ушей. Повидимому, один только обер-прокурор святейшего синода, богатый неожиданностями Львов, однофамилец премьера, но не князь, бурно возмутился и даже назвал договоры «разбойничьими и мошеничьими», чем вызвал несомненно снисходительную улыбку Милюкова («обыватель глуп») и предложение простого перехода к очередным делам. Официальная декларация правительства обещала созыв Учредительного Собрания в наикратчайший срок, который, однако, преднамеренно не был определен. О государственной форме не было речи: правительство надеялось еще вернуть потерянный рай монархии. Но действительная суть декларации состояла в обязательстве довести войну до победного конца и «неуклонно исполнять заключенные с союзниками соглашения». В отношении грознейшей проблемы народного существования революция совершилась как бы для того только, чтобы объявить: все остается по старому. Так как демократы придавали признанию новой власти со стороны Антанты мистическое значение: мелкий торговец ничто, пока банк не признает его кредитоспособным, — то Исполнительный Комитет молча проглотил империалистическую декларацию 6 марта. «Ни один официальный орган демократии — сокрушался Суханов через год — ...публично не реагировал на акт Временного правительства, обесчестивший нашу революцию, при самом ее рождении, перед лицом демократической Европы».

8-го вышел, наконец, из министерской лаборатории декрет об амнистии. К этому времени двери тюрем были во всей стране уже открыты народом, политические ссыльные возвращались в сплошном потоке митингов, энтузиазма, военной музыки, речей и цветов. Декрет прозвучал, как запоздалое эхо канцелярий. 12-го была провозглашена отмена смертной казни.

Четыре месяца спустя казнь была восстановлена для солдат. Керенский обещал поднять правосудие на небывалую высоту. Сгоряча он, действительно, провел предложение Исполнительного комитета, вводившее представителей рабочих и солдат в качестве членов мировых судов. Это была единственная мера, в которой ощущалось сердцебиение революции, и которая вызывала поэтому ужас всех евнухов юстиции. Но на этом дело и остановилось. Занявший при Керенском видную должность по министерству адвокат Демьянов, тоже «социалист», решил, по собственным словам, держаться принципа оставления на местах всех старых деятелей: «политика революционного правительства никого не должна без нужды обижать». Это было, в основном, правило всего Временного правительства, которое пуще всего боялось обидеть кого-либо из среды господствующих классов, даже царскую бюрократию. Не только судьи, но и прокуроры царизма остались на местах. Конечно, могли обидеться массы. Но это уже касалось советов: массы не входили в поле зрения правительства.

Нечто вроде свежей струи вносил только упомянутый уже темпераментный обер-прокурор Львов, докладывавший официально об «идиотах и мерзавцах», заседающих в святейшем Синоде. Министры слушали не без тревоги эти сочные характеристики, но Синод продолжал оставаться государственным учреждением, православие — государственной религией. Даже состав Синода сохранился: революция не должна ни с кем ссориться.

Продолжали заседать или, по крайней мере, получать жалованье, члены Государственного Совета, верные слуги двух или трех императоров. Этот факт приобрел скоро символическое значение. По заводам и казармам шумно протестовали. Исполнительный комитет волновался. Правительство потратило два заседания на обсуждение вопроса о судьбе и о жалованьи членов Государственного совета и не могло притти ни к какому решению. Да и как потревожить почтенных

людей, среди которых, к тому же, не мало добрых знакомых?

Распутинские министры сидели еще в крепости, но Временное правительство поспешило уже назначить бывшим министрам пенсии. Это звучало, как издевательство или как голос с того света. Но правительство не хотело ссориться со своими предшественниками, хотя бы и посаженными в тюрьму.

Сенаторы продолжали дремать в расшитых мундирах, и, когда вновь пожалованный Керенским левый сенатор Соколов осмелился явиться в черном сюртуке, его попросту удалили с заседания: царские сенаторы не боялись ссориться с Февральской революцией, когда убедились, что ее правительство лишено зубов.

Причину крушения мартовской революции в Германии Маркс усматривал некогда в том, что она «реформировала лишь самую политическую верхушку, между тем, как оставила неприкосновенными все слои под этой верхушкой — старую бюрократию, старую армию, старых, родившихся, воспитавшихся и посеревших на службе у абсолютизма судей». Социалисты типа Керенского искали спасения в том, в чем Маркс видел причину гибели. Марксисты из меньшевиков были с Керенским, а не с Марксом.

Единственной областью, в которой правительство проявило инициативу и революционный темп, оказалось акционерное законодательство: реформаторский декрет вышел уже 17 марта. Национальные и вероисповедные ограничения были отменены только через три дня. В составе правительства было не мало лиц, которые при старом режиме страдали разве лишь от недочетов акционерного дела.

Рабочие нетерпеливо требовали восмичасового рабочего дня. Правительство притворялось глухим на оба уха. Сейчас война, все должны жертвовать собою на пользу родины. К тому же это дело Совета: пусть успокоит рабочих.

Еще грознее стоял вопрос о земле. Тут нужно было сделать хоть что-нибудь. Подстегиваемый пророками

министр земледелия Шингарев предписал создать на местах земельные комитеты, предусмотрительно не определив их функций и задач. Крестьяне вообразили, что комитеты должны дать им землю. Помещики считали, что комитеты должны оградить их собственность. Так на шее февральского режима с самого начала затягивалась мужицкая петля, более неумолимая, чем все остальные.

Согласно официальной доктрине все вопросы, породившие революцию, откладывались до Учредительного Собрания. Разве могли предвосхищать национальную волю безупречные конституционные демократы, которым, увы, не удалось посадить на эту волю верхом Михаила Романова. Подготовка будущего национального представительства ставилась тем временем с такой бюрократической солидностью и рассчитанной медлительностью, что само Учредительное Собрание превращалось в мираж. Только 25 марта, почти через месяц после переворота, — месяц революции! — правительство постановило образовать для выработки избирательного закона громоздкое Особое совещание. Но оно не открывалось. В своей насквозь фальшивой «Истории революции» Милюков конфузливо сообщает, что в результате разных проволочек «при первом правительстве работа Особого совещания так и не началась». Проволочки входили в конституции Совещания и в его обязанности. Задача была в том, чтоб оттянуть Учредительное Собрание до лучших времен: до победы, до мира или до корниловских календ.

Русская буржуазия, которая пришла на свет слишком поздно, смертельно ненавидела революцию. Но ее ненависти не хватало силы. Приходилось выжидать и маневрировать. Не имея возможности опрокинуть и задушить революцию, буржуазия рассчитывала взять ее измором.

ДВОЕВЛАСТИЕ

Что составляет сущность двоевластия? Нельзя не остановиться на этом вопросе, освещения которого нам не приходилось встречать в исторической литературе. Между тем двоевластие есть своеобразное состояние общественного кризиса, свойственное далеко не одной только русской революции 1917 года, хотя и подмеченное наиболее отчетливо именно в ней.

Антагонистические классы существуют в обществе всегда, и класс, лишенный власти, неизбежно стремится в той или другой степени отклонить государственный курс в свою сторону. Это, однако, совсем еще не значит, что в обществе царит двое или многовластие. Характер политического строя определяется непосредственно отношением угнетенных классов к господствующему. Единовластие, необходимое условие устойчивости каждого режима, сохраняется до тех пор, пока господствующему классу удается навязывать всему обществу свои экономические и политические формы, как единственно возможные.

Одновременное властвование юнкерства и буржуазии — в гогенцоллернской ли форме или в республиканской — не есть двоевластие, как ни сильны временами конфликты между двумя соучастниками во власти: социальная основа у них общая, расколом государственного аппарата их столкновения не грозят. Режим двоевластия возникает лишь из непримиримого столкновения классов, возможен, поэтому, только в революционную эпоху и образует собою один из ее основных элементов.

Политическая механика революции состоит в переходе власти от одного класса к другому. Насильственный переворот сам по себе совершается обычно в ко-

роткий срок. Но ни один исторический класс не возносится от подчиненного положения к господствующему внезапно, за одну ночь, хотя бы это была ночь революции. Он уже должен накануне занимать чрезвычайно независимое положение по отношению к официально господствующему классу; мало того, он должен сосредоточивать на себе надежды промежуточных классов и слоев, недовольных существующим, но не способных к самостоятельной роли. Историческая подготовка переворота приводит в предреволюционный период к такому положению, когда класс, призванный осуществить новую общественную систему, не став еще хозяином страны, фактически сосредоточивает в своих руках значительную долю государственного могущества, тогда как официальный аппарат государства остается еще в руках старых владык. Это и есть исходное двоевластие всякой революции.

Но это не единственный его вид. Если новый класс, поставленный у власти революцией, которой он не хотел, является по существу уже старым, исторически запоздалым классом; если он успел износиться до своего официального коронования; если, придя к власти, он застает своего антагониста уже достаточно созревшим и протягивающим руку к кормилу государства, — тогда на смену одному неустойчивому равновесию двоевластия политический переворот приводит другое, иногда еще менее устойчивое. В победе над «анархией» двоевластия и состоит на каждом новом этапе задача революции или — контр-революции.

Двоевластие не только не предполагает, но, вообще говоря, исключает дележ власти на равные половины и вообще какое-либо формальное равновесие властей. Это не конституционный, а революционный факт. Он свидетельствует о том, что нарушение социального равновесия уже раскололо государственную надстройку. Двоевластие возникает там, где враждебные классы уже опираются на несовместимые по существу государственные организации, — отжившую и слагающуюся, — которые на каждом шагу оттесняют

друг друга в области руководства страной. Доля власти, достающаяся при этом каждому из борющихся классов, определяется соотношением сил и ходом борьбы.

По самому своему существу такое состояние не может быть устойчивым. Общество нуждается в концентрации власти и, в лице господствующего класса, или, в данном случае, двух полугосподствующих классов, непримиримо стремится к ней. Расщепление власти предвещает не что иное, как гражданскую войну. Прежде, однако, чем соперничающие классы и партии решаются на нее, особенно в том случае, если они боятся вмешательства третьей силы, они могут оказаться вынуждены довольно долго терпеть и даже как бы санкционировать систему двоевластия. Тем не менее она неизбежно взрывается. Гражданская война придает двоевластию наиболее наглядное, именно территориальное выражение: каждая из властей, создав свой укрепленный плацдарм, ведет борьбу за остальную территорию, которая нередко претерпевает двоевластие в форме поочередного нашествия двух воюющих властей, пока одна из них не утверждается окончательно.

Английская революция XVII столетия, именно потому, что это была великая революция, разворотившая нацию до дна, представляет собою явное чередование режимов двоевластия с острыми переходами от одного к другому, в виде гражданской войны.

Сперва королевской власти, опирающейся на привиллегированные классы или верхи классов, аристократов и епископов, противостоят буржуазия и близкие ей слои поместного дворянства. Правительством буржуазии является пресвитерианский парламент, опирающийся на лондонское Сити. Затяжная борьба этих двух режимов разрешается открытой гражданской войной. Два правительственных центра, Лондон и Оксфорд, создают свои армии, двоевластие оформляется территориально, хотя, как всегда в гражданской войне, территориальные разграничения крайне неу-

стойчивы. Парламент побеждает. Король пленен и ждет своей участи.

Казалось бы, создаются условия единовластия пресвитерианской буржуазии. Но еще прежде, чем сломлена королевская власть, парламентская армия превращается в самостоятельную политическую силу. Она сосредоточивает в своих рядах индепендентов, благочестивых и решительных мелких буржуа, ремесленников, земледельцев. Армия властно вмешивается в общественную жизнь не просто как вооруженная сила, не как преторианская гвардия, а как политическое представительство нового класса, противостоящего зажиточной и богатой буржуазии. Соответственно с этим армия создает новый государственный орган, поднимающийся над военным командованием: совет солдатских и офицерских депутатов («агитаторов»). Наступает новый период двоевластия: пресвитерианского парламента и индепендентской армии. Двоевластие ведет к открытому столкновению. Буржуазия оказывается бессильна противопоставить «образцовой армии» Кромвеля, т. е. вооруженным плебеям, собственную армию. Конфликт кончается чисткой пресвитерианского парламента при помощи индепендентской сабли. От парламента остается охвостье, устанавливается диктатура Кромвеля. Низы армии, под руководством левеллеров, крайнего левого крыла революции, пытаются противопоставить господству военных верхов, грандов армии, свой собственный, настоящий плебейский режим. Но новое двоевластие не получает развития: у левелеров, у мелкобуржуазных низов еще нет и не может быть своего исторического пути. Кромвель скоро справляется с противниками. Устанавливается новое, далеко, впрочем, не устойчивое, политическое равновесие на ряд лет.

Во время Великой французской революции Учредительное собрание, хребтом которого являлись верхи третьего сословия, сосредоточивало в своих руках власть, не отнимая, однако, полностью прерогатив короля. Период Учредительного собрания есть период

острого двоевластия, которое кончается бегством короля в Варенн и ликвидируется формально лишь с учреждением республики.

Первая французская конституция (1791 г.), построенная на фикции полной независимости законодательной и исполнительной власти друг от друга, скрывала на самом деле или стремилась скрыть от народа реальное двоевластие: буржуазии, окончательно окопавшейся в Национальном собрании после взятия народом Бастилии, и старой монархии, еще опиравшейся на верхи дворянства, клира, бюрократии и военщины, не говоря о надеждах на иностранную интервенцию. В этом противоречивом режиме было заложено его неизбежное крушение. Выход мог быть найден либо в уничтожении буржуазного представительства силами европейской реакции, либо в гильотине для короля и монархии. Париж и Кобленц должны были помериться силами.

Но еще прежде, чем дело дошло до войны и гильотины, выступает на сцену Парижская коммуна, опирающаяся на городские низы третьего сословия и все более дерзко оспаривающая власть у официальных представителей буржуазной нации. Создается новое двоевластие, первые проявления которого мы наблюдаем уже в 1790 г., когда крупная и средняя буржуазия еще прочно сидит в администрации и муниципалитетах. Какая поразительная — и вместе как гнусно оклеветанная! — картина усилий плебейских слоев подняться снизу, из социальных подвалов и катакомб, и вступить на ту запретную арену, где люди в париках и кюлотах решали судьбы нации. Казалось, что самый фундамент, попиравшийся ногами просвещенной буржуазии, ожил и зашевелился, из сплошной массы выступили человеческие головы, протянулись вверх мозолистые руки, послышались хриплые, но мужественные голоса! Дистрикты Парижа, бастарды революции, зажили собственной жизнью. Они были признаны — их невозможно было не признать! — и преобразованы в секции. Но они неизменно ломали перегородки

и получали приток свежей крови снизу, открывая, вопреки закону, доступ в свои ряды бесправным, беднякам, санкюлотам. Одновременно с этим деревенские муниципалитеты становятся прикрытием мужицкого восстания против буржуазной законности, покровительствующей феодальной собственности. Так из-под второй нации поднимается третья.

Парижские секции сперва оппозиционно противостояли Коммуне, которою владела еще почтенная буржуазия. Смелым порывом 10 августа 1792 г. секции завладели Коммуной. Отныне революционная Коммуна противостала Законодательному собранию, а затем Конвенту, которые отставали от хода и задач революции, регистрировали события, а не делали их, ибо не располагали энергией, отвагой и единодушием того нового класса, который успел подняться со дна парижских дистриктов и нашел опору в самых отсталых деревнях. Как секции овладели Коммуной, так Коммуна, путем нового восстания, овладела Конвентом. Каждый из этих этапов характеризовался резко очерченным двоевластием, оба крыла которого стремились установить единую и сильную власть, правое — путем обороны, левое — путем наступления. Столь характерная для революций, как и для контр-революций, потребность в диктатуре вытекает из невыносимых противоречий двоевластия. Переход от одной его формы к другой осуществляется путем гражданской войны. Великие этапы революции, т. е. передвижка власти к новым классам или слоям, совершенно не совпадают при этом с циклами представительных учреждений, которые шествуют за динамикой революции, как ее запоздалая тень. В конце концов революционная диктатура санкюлотов сливается, правда, с диктатурой конвента, — но какого? — очищенного рукой террора от жирондистов, еще вчера господствовавших в нем, урезанного, приспособленного к господству новой социальной силы. Так, по ступеням двоевластия, французская революция в течение четырех лет поднимается к своей кульминации. Начиная

с 9 термидора, она, снова по ступеням двоевластия, начинает спускаться вниз. И опять гражданская война предшествует каждому спуску, как она сопровождала ранее каждый подъем. Так новое общество ищет нового равновесия сил.

Русская буржуазия, воюя с распутинской бюрократией и сотрудничая с ней, за время войны чрезвычайно укрепила свои политические позиции. Эксплоатируя поражения царизма, она, через посредство земского и городского союзов и военно-промышленных комитетов, сосредоточила в своих руках большое могущество, распоряжалась самостоятельно огромными государственными средствами, представляла собою, по сути дела, параллельное правительство. Во время войны царские министры жаловались, что князь Львов снабжает армию, кормит, лечит и даже устраивает парикмахерские для солдат. «Надо с этим покончить, или отдать ему в руки всю власть», говорил еще в 1915 г. министр Кривошеин. Он не думал, что Львов через полтора года получит «всю власть», только не из рук царя, а из рук Керенского, Чхеидзе и Суханова. Но на второй день после того, как это совершилось, открылось новое двоевластие: наряду со вчерашним либеральным полуправительством, сегодня формально узаконенным, выросло неофициальное, но тем более действительное правительство трудящихся масс, в лице советов. С этого момента русская революция начинает выростать в событие всемирно-исторического значения.

В чем, однако, своеобразие двоевластия Февральской революции? В событиях XVII и XVIII столетий двоевластие представляет собою каждый раз естественный этап борьбы, навязанный ее участникам временным соотношением сил, причем каждая из сторон стремится заменить двоевластие собственным единовластием. В революции 1917 года мы видим, как официальная демократия сознательно и преднамеренно создает двоевластие, отбиваясь изо всех сил от перехода власти в ее собственные руки. Двоевластие скла-

дывается, на первый взгляд, не в результате борьбы классов за власть, а в результате добровольной «уступки» власти одним классом другому. Поскольку русская «демократия» стремилась к выходу из двоевластия, она его видела в своем собственном отстранении от власти. Именно это мы и назвали парадоксом Февральской революции.

Некоторую аналогию можно найти разве в поведении немецкой буржуазии в 1848 году по отношению к монархии. Но аналогия не полна. Немецкая буржуазия стремилась, правда, во что бы то ни стало поделить власть с монархией на основах соглашения. Но буржуазия не имела полноты власти в своих руках и отнюдь не уступала ее целиком монархии. «Прусская буржуазия номинально владела властью, она ни минуты не сомневалась в том, что силы старого государства без задних мыслей предоставят себя в ее распоряжение и превратятся в преданных приверженцев ее собственного всевластия» (Маркс и Энгельс). Русская демократия 1917 года, обладавшая с момента переворота всей властью, стремилась не просто поделить ее с буржуазией, а сдать ей государство целиком. Это значит, пожалуй, что в первой четверти XX века официальная русская демократия успела политически разложиться больше, чем немецкая либеральная буржуазия середины XIX века. Это вполне закономерно, ибо представляет оборотную сторону того подъема, который проделал за эти десятилетия пролетариат, занявший место ремесленников Кромвеля и санкюлотов Робеспьера.

Если взглянуть на дело поглубже, то двоевластие Временного правительства и Исполнительного комитета имело чисто отраженный характер. Претендентом на новую власть мог быть только пролетариат. Неуверенно опираясь на рабочих и солдат, соглашатели вынуждены были поддерживать двойную бухгалтерию царей и пророков. Двоевластие либералов и демократов лишь отражало подспудное пока еще двоевластие буржуазии и пролетариата. Когда большевики оттеснят

соглашателей во главе советов, — это произойдет через несколько месяцев — тогда подспудное двоевластие выступит наружу, и это будет канун октябрьского переворота. До этого момента революция будет жить в мире политических отражений. Преломившись через резонерство социалистической интеллигенции, двоевластие из этапа классовой борьбы превратилось в регулятивную идею. Именно этим оно поставило себя в центре теоретического обсуждения. Ничто не пропадает даром. Отраженный характер февральского двоевластия позволил нам лучше понять те этапы истории, когда двоевластие выступает, как полнокровный эпизод в борьбе двух режимов. Так отраженный и немощный свет луны дает возможность сделать важные заключения о солнечном свете.

В неизмеримо более высокой зрелости русского пролетариата, по сравнению с городскими массами старых революций, и заключалась коренная особенность русской революции, приведшая сперва к парадоксу полупризрачного двоевластия и помешавшая затем реальному двоевластию разрешиться в пользу буржуазии. Ибо вопрос стоял так: либо буржуазия действительно овладает старым государственным аппаратом, подновив его для своих целей, причем советы должны будут сойти на нет; либо советы лягут в основу нового государства, ликвидировав не только старый аппарат, но и господство тех классов, которым он служил. Меньшевики и эсеры держали курс на первое решение. Большевики — на второе. Угнетенные классы, которым, по словам Марата, не хватало в прошлом ни знаний, ни сноровки, ни руководства, чтоб довести начатое ими дело до конца, оказались в русской революции XX века вооружены и тем и другим и третьим. Победили большевики.

Через год после их победы тот же вопрос, при ином соотношении сил, повторился в Германии. Социалдемократия держала курс на установление демократической власти буржуазии и ликвидацию советов. Люксембург и Либкнехт держали путь на диктатуру

советов. Победили социалдемократы. Гильфердинг и Каутский в Германии, Макс Адлер — в Австрии предлагали «скомбинировать» демократию с советской системой, включив рабочие советы в конституцию. Это значило бы потенциальную или открытую гражданскую войну превратить в составную часть государственного режима. Нельзя придумать более курьезной утопии. Единственным ее оправданием в немецких землях служит, разве, старая традиция: еще вюртембергские демократы 48 года хотели республики с герцогом во главе.

Противоречит ли явление двоевластия, недостаточно до сих пор оцененное, марксовой теории государства, которая рассматривает правительство, как исполнительный комитет господствующего класса? Это все равно, что сказать: противоречит ли колебание цен под влиянием спроса и предложения трудовой теории ценности? Опровергает ли самоотвержение самки, защищающей детеныша, теорию борьбы за существование? Нет, в этих явлениях мы находим только более сложное сочетание тех же законов. Если государство есть организация классового господства, а революция есть смена господствующего класса, то переход власти из рук одного класса в руки другого должен по необходимости создавать противоречивые состояния государства, прежде всего в форме двоевластия. Соотношение классовых сил не есть математическая величина, поддающаяся априорному вычислению. Когда старый режим выбит из равновесия, новое соотношение сил может установиться лишь в результате их взаимопроверки в борьбе. Это и есть революция.

Может показаться, что эта теоретическая справка отвлекла нас от событий 1917 года. На самом деле она вводит нас в самую их сердцевину. Именно вокруг проблемы двоевластия вращалась драматическая борьба партий и классов. Только с теоретической вышки можно полно обозреть и правильно понять ее.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

То, что создалось 27-го февраля в Таврическом дворце, под названием Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, имело по существу мало общего с этим именем. Совет рабочих депутатов 1905-го года, родоначальник системы, вырос из всеобщей стачки. Он непосредственно представлял массы в борьбе. Вожаки стачки становились депутатами Совета. Отбор личного состава происходил под огнем. Руководящий орган был выбран Советом для дальнейшего руководства борьбой. Именно Исполнительный комитет 1905 г. поставил в порядок дня вооруженное восстание.

Февральская революция, благодаря восстанию полков, победила прежде, чем рабочие создали советы. Исполнительный комитет возник самочинно, до Совета, помимо заводов и полков, после победы революции. Мы видим здесь классическую инициативу радикалов, стоящих в стороне от революционной борьбы, но собирающихся пожать ее плоды. Действительные вожаки рабочих еще не покидали улицы, разоружали одних, вооружали других, закрепляли победу. Наиболее дальнозоркие из них были сразу встревожены вестями о возникновении в Таврическом дворце какого-то Совета рабочих депутатов. Подобно тому, как либеральная буржуазия, в ожидании дворцового переворота, который кто-то должен был совершить, заготовила осенью 1916 г. резервное правительство, чтобы, в случае удачи, навязать его новому царю, — так радикальные интеллигенты образовали свое резервное подправительство в момент февральской победы. Поскольку все они, по крайней мере, в прошлом, были причастны к рабочему движению и склонны прикры-

ваться его традициями, они назвали свое детище Исполнительным комитетом Совета. Это была одна из тех полупреднамеренных подделок, которыми полна история, в том числе и история народных восстаний. При революционном повороте событий и разрыве преемственности те «образованные» слои, которым предстоит приобщиться к власти, охотно хватаются за имена и символы, связанные с героическими воспоминаниями масс. Слова нередко заслоняют суть вещей, особенно, когда это вызывается интересами влиятельных слоев. Огромный авторитет Исполнительного комитета уже в день его возникновения опирался на его мнимую преемственность с Советом 1905 года. Комитет, утвержденный первым хаотическим собранием Совета, оказывал затем решающее влияние как на состав Совета, так и на его политику. Это влияние было тем более консервативным, что естественного отбора революционных представителей, который обеспечивается накаленной атмосферой борьбы, больше не было. Восстание осталось уже за спиною, все опьянялись победой, располагались устраиваться по новому, размякли души, отчасти и головы. Понадобились месяцы новых конфликтов и борьбы в новых условиях, с вытекавшей отсюда перетасовкой личного состава, чтобы советы из органов, увенчавших задним числом победу, стали подлинными органами борьбы и подготовки нового восстания. Мы тем больше настаиваем на этой стороне дела, что она до сих пор совершенно оставлялась в тени.

Однако, не только условия возникновения Исполнительного комитета и Совета определили их умеренный и соглашательский характер; на лицо были более глубокие и длительные причины, действовавшие в том же направлении.

Солдат в Петрограде было свыше полутораста тысяч. Рабочих и работниц всех категорий, по крайней мере, в четыре раза больше. Тем не менее на двух рабочих делегатов в Совете приходилось пять солдатских. Нормы прдставительства имели крайне растя-

жимый характер, солдатам всячески шли на встречу. В то время, как рабочие выбирали одного представителя на тысячу, мелкие воинские части посылали от себя нередко двух. Серое солдатское сукно стало основным советским фоном.

Но и среди штатских далеко не все были выбраны рабочими. В Совет попало не мало лиц по индивидуальному приглашению, по протекции, или просто благодаря пронырливости своей, — радикальных адвокатов и врачей, студентов, журналистов, представлявших разные проблематические группы, а чаще всего собственные амбиции. Это явное искажение характера Совета охотно допускалось руководителями, которые не прочь были разбавить слишком терпкую эссенцию заводов и казарм теплой водицей образованного мещанства. Многие из этих случайных пришельцев, искателей приключений, самозванцев и привыкших к трибуне говорунов надолго оттеснили своими авторитетными локтями молчаливых рабочих и нерешительных солдат.

Если так обстояло дело в Петрограде, не трудно представить себе, как оно выглядело в провинции, где победа пришла совсем без борьбы. Вся страна кишела солдатами. Гарнизоны Киева, Гельсингфорса, Тифлиса не уступали по численности петроградскому; в Саратове, Самаре, Тамбове, Омске стояло по 70—80 тысяч солдат; в Ярославле, Екатеринославе, Екатеринбурге по 60 тысяч; в целом ряде городов по 50, 40 и 30 тысяч. Советское представительство было в разных местах организовано по разному, но везде ставило войска в привиллегированное положение. Политически это вызывалось стремлением самих рабочих пойти как можно больше на встречу солдатам. Руководители столь же охотно шли навстречу офицерству. Сверх значительного числа поручиков и прапорщиков, проходивших в первое время от солдат, давалось нередко, особенно в провинции, особое представительство командному составу. В результате военные имели во многих советах совершенно подавляющее большин-

ство. Солдатские массы, еще не успевшие приобресть политическую физиономию, определяли, через своих представителей, физиономию советов.

В каждом представительстве заложен элемент несоответствия. Он особенно велик на второй день после переворота. Депутатами политически беспомощных солдат нередко оказывались в первое время люди совершенно чуждые солдатам и революции, всякого рода интеллигенты и полуинтеллигенты, укрывавшиеся в тыловых гарнизонах и выступавшие поэтому крайними патриотами. Так создавалось расхождение между настроением казарм и настроением советов. Офицер Станкевич, которого солдаты его батальона принимали после переворота угрюмо и недоверчиво, с успехом выступал в солдатской секции на острую тему о дисциплине. «Почему в Совете — спрашивал он себя — настроения более мягкие и приятные, чем в батальоне?» Это наивное недоумение лишний раз свидетельствует о том, как трудно подлинным чувствам низов проложить себе дорогу на верх.

Тем не менее, уже начиная с 3 марта, митинги солдат и рабочих начинают требовать от Совета немедленно устранить Временное правительство либеральной буржуазии и самому взять в руки власть. Инициатива и тут принадлежит Выборгскому району. Да и могло ли быть требование, более понятное и близкое массам? Но вскоре эта агитация оборвалась: не только потому, что оборонцы дали ей резкий отпор; хуже было то, что большевистское руководство уже в первой половине марта фактически склонилось перед режимом двоевластия. А кроме большевиков никто не мог поставить вопрос о власти ребром. Выборгским вожакам пришлось отступить. Петроградские рабочие, однако, ни на один час не верили новому правительству и не считали его своим. Но они чутко прислушивались к солдатам, стараясь не слишком резко противопоставить себя им. Солдаты же, по складам разбиравшие лишь первые фразы политики, хоть и не доверяли, по мужицки, всяким господам, но напряженно

прислушивались к своим представителям, которые, в свою очередь, почтительно прислушивались к авторитетным лидерам Исполкома; что касается последних, то они только и делали, что тревожно прислушивались к пульсу либеральной буржуазии. На этом прислушивании снизу вверх все и держалось — до поры до времени.

Однако, настроения низов прорывались наружу, и искусственно снятый вопрос о власти каждый раз снова выпирал, хотя и в замаскированной форме. «Солдаты не знают, кого слушать», жалуются районы и провинция, доводя таким путем до Исполкома недовольство двоевластием. Делегации Балтийского и Черноморского флотов заявляют 16 марта, что с Временным правительством они готовы считаться в той мере, в какой оно будет итти заодно с Исполнительным комитетом. Другими словами, они собирались с ним вовсе не считаться. Эта нота звучит чем дальше, тем настойчивее. «Армия и население должны подчиняться только распоряжениям Совета», постановляет 172-й запасный полк и тут же формулирует обратную теорему: «тем из распоряжений Временного правительства, которые идут вразрез с решениями Совета, подчиняться не следует». Со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства Исполком санкционировал такое положение. Со скрежетом зубовным правительство терпело его. Ничего другого им обоим и не оставалось.

Уже в начале марта советы возникают во всех важнейших городах и промышленных центрах. Отсюда они в течение ближайших недель распространяются по всей стране. Деревню они начинают захватывать лишь в апреле-мае. От имени крестьянства первоначально говорит главным образом армия.

Исполнительный комитет Петроградского совета естественно получил общегосударственное значение. Остальные советы равнялись по столице, один за другим вынося решения об условной поддержке Временного правительства. Хотя в первые месяцы отноше-

ния между Петроградским советом и провинциальными складывались гладко, без конфликтов и серьезных недоразумений, тем не менее необходимость общегосударственной организации вытекала из всей обстановки. Через месяц после низвержения самодержавия созвано было первое совещание советов, неполное и одностороннего состава. Хотя из 185 представленных организаций местные советы составляли две трети, но это были преимущественно солдатские советы; вместе с представителями фронтовых организаций, военные делегаты, главным образом офицеры, находились в подавляющем большинстве. Раздавались речи о войне до полной победы и окрики по адресу большевиков, несмотря на их более, чем умеренное поведение. Совещание пополнило шестнадцатью консервативными провинциалами Петроградский исполнительный комитет, узаконив его общегосударственный характер.

Правое крыло еще более окрепло. Отныне недовольных все чаще пугали провинцией. Постановление об упорядочении состава Петроградского совета, вынесенное еще 14 марта, почти не приводилось в исполнение. Решает ведь все равно не местный совет, а Всероссийский исполнительный комитет. Официальные вожди заняли почти недосягаемую позицию. Важнейшие решения принимались в Исполкоме, вернее, в его правящем ядре, по предварительному соглашению с ядром правительства. Совет оставался в стороне. Его третировали, как митинг: «не там, не в общих собраниях делается политика, и все эти «пленумы» решительно не имеют практического значения» (Суханов). Самодовольные вершители судеб считали, что, доверив им руководство, советы в сущности выполнили свою роль. Близкое будущее покажет, что это не так. Масса бывает многотерпелива, но она вовсе не есть глина, из которой можно лепить, что угодно. А в революционные эпохи она учится скоро. В этом и состоит главная мощь революции.

* * *

Чтобы лучше понять дальнейшее развитие событий, надо остановиться на характеристике тех двух партий, которые с начала революции заключили тесный блок, господствовали в советах, в демократических муниципалитетах, на съездах так называемой революционной демократии и даже донесли свое все более, впрочем, таявшее большинство до Учредительного Собрания, которое стало последним отблеском их недавней силы, как зарево на горной вершине, освещенной уже закатившимся солнцем.

Если русская буржуазия явилась слишком поздно, чтобы быть демократической, то русская демократия, по той же самой причине, хотела себя считать социалистической. Демократическая идеология была безнадежно израсходована в течение XIX-го века. На рубеже XX-го русской радикальной интеллигенции, если она хотела найти доступ к массам, необходима была социалистическая окраска. Такова общая историческая причина, приведшая к созданию двух промежуточных партий: меньшевиков и социалстов-революционеров. У каждой из них была, однако, своя генеалогия и своя идеология.

Взгляды меньшевиков слагались на марксистской основе. Вследствие все той же исторической запоздалости России марксизм стал в ней первоначально не столько критикой капиталистического общества, сколько обоснованием неизбежности буржуазного развития страны. История хитро использовала, когда ей понадобилось, выхолощенную теорию пролетарской революции для того, чтобы, при помощи ее, европеизировать в буржуазном духе широкие круги затхлой народнической интеллигенции. Меньшевикам в этом процессе отведено более крупное место. Составляя левое крыло буржуазной интеллигенции, они связывали ее с наиболее умеренными прослойками рабочих, тяготевшими к легальной работе вокруг Думы и в профессиональных союзах.

Социалисты-революционеры, наоборот, теорети-

чески боролись с марксизмом, по частям поддаваясь ему. Они считали себя партией, осуществляющей союз интеллигенции, рабочих и крестьян, разумеется, под руководством критического разума. В экономической области их идеи представляли неудобоваримую мешанину разных исторических наслоений, отражая противоречивые условия существования крестьянства в быстро капитализирующейся стране. Будущая революция представлялась эсерам не буржуазной и не социалистической, но «демократической»: политической формулой они подменяли социальное содержание. Они намечали себе, таким образом, путь между буржуазией и пролетариатом, а следовательно, и роль третейского судьи над ними. После Февраля могло казаться, что эсеры очень близко подошли к такому положению.

Еще со времени первой революции они имели корни в крестьянстве. В первые месяцы 1917 года вся деревенская интеллигенция усвоила себе традиционную народническую формулу: «земля и воля». В отличие от меньшевиков, всегда остававшихся чисто городской партией, социалисты-революционеры, казалось, нашли чрезвычайно мощную опору в деревне. Мало того, они господствовали и в городах: в советах, через солдатские секции, и в первых демократических муниципалитетах, где они собирали абсолютное большинство голосов. Могущество партии казалось беспредельным. На самом деле оно являлось политической аберрацией. Партия, за которую голосуют все, кроме того меньшинства, которое знает, за кого голосовать, не есть партия, как язык, на котором говорят младенцы всех стран, не есть национальный язык. Партия эсеров выступала, как торжественное наименование всего того, что было незрелого, бесформенного и путанного в Февральской революции. Всякий, кто от дореволюционного прошлого не унаследовал достаточных оснований голосовать за кадетов или за большевиков, голосовал за эсеров. Но кадеты стояли в замкнутом лагере собственников. Большевики еще бы-

ли малочисленны, непонятны, даже страшны. Голосование за эсеров означало голосование за революцию в общем и целом и ровно ни к чему не обязывало. В городах оно означало стремление солдат сблизиться с партией, которая стоит за крестьян, стремление отсталой части рабочих держаться ближе к солдатам, стремление мелкого городского люда не отрываться от солдат и крестьян. В этот период членский билет эсера являлся временным свидетельством на право входа в учреждения революции и сохранял свою силу до обмена на другой билет, более серьезного характера. Недаром о великой партии, захватывавшей всех и вся, сказано было, что она является только грандиозным нулем.

Начиная с первой революции, меньшевики выводили необходимость союза с либералами из буржуазного характера революции и ставили этот союз выше сотрудничества с крестьянством, как с ненадежным союзником. Большевики, наоборот, всю перспективу революции строили на союзе пролетариата с крестьянством против либеральной буржуазии. Так как эсеры считали себя прежде всего крестьянской партией, то следовало, как будто, ждать в революции союза большевиков с народниками, в противовес союзу меньшевиков с либеральной буржуазией. На самом деле мы видим в Февральской революции противоположную группировку. Меньшевики и социалисты-революционеры выступают в теснейшем союзе, который дополняется их блоком с либеральной буржуазией. Большевики на официальном поле политики совершенно изолированы.

Этот, на первый взгляд, необъяснимый факт на самом деле вполне закономерен. Социалисты-революционеры отнюдь не были крестьянской партией, несмотря на повальные симпатии к их лозунгам в деревне. Основное ядро партии, то, которое определяло ее действительную политику и выдвигало из своей среды министров и чиновников, было гораздо больше связано с либеральными и радикальными кругами города,

чем с восстающими массами крестьян. Это руководящее ядро, страшно разбухшее, благодаря карьеристскому притоку мартовских эсеров, до смерти испугалось размаха крестьянского движения, шедшего под эсеровскими лозунгами. Новоиспеченные народники, конечно, желали крестьянам всего хорошего, но красного петуха они не хотели. Ужас эсеров перед восставшей деревней параллелен ужасу меньшевиков перед наступлением пролетариата; в совокупности своей демократический испуг был отражением вполне реальной опасности, которую движение угнетенных несло имущим классам, сплачивая последние в один лагерь буржуазно-помещичьей реакции. Блок эсеров с правительством помещика Львова знаменовал разрыв их с аграрной революцией, как блок меньшевиков с промышленниками и банкирами, типа Гучкова, Терещенко и Коновалова, был равносилен их разрыву с движением пролетариата. Союз меньшевиков и эсеров означал при этих условиях не сотрудничество пролетариата и крестьянства, а коалицию партий, порвавших с пролетариатом и крестьянством ради блока с имущими классами.

Из сказанного ясно, насколько фиктивен был социализм обеих демократических партий; но это вовсе не значит, что их демократизм был действителен. Наоборот, именно худосочие демократизма и нуждалось в социалистической маскировке. Русский пролетариат вел борьбу за демократию в непримиримом антагонизме с либеральной буржуазией. Демократические партии, шедшие в блоке с либеральной буржуазией, должны были неизбежно вступить в конфликт с пролетариатом. Таковы социальные корни дальнейшей жестокой борьбы между соглашателями и большевиками.

Если свести очерченные выше процессы к их обнаженной классовой механике, которой конечно не сознавали до конца участники и даже руководители обоих соглашательских партий, то получится такое примерно распределение исторических функций. Либе-

ральная буржуазия уже не могла овладеть массой. Поэтому она боялась революции. Но революция была нужна для буржуазного развития. От цензовой буржуазии отделились два отряда, состоявшие из младших ее братьев и сыновей. Один из отрядов направился к рабочим, другой — к крестьянам. Они пытались привлечь тех и других к себе, искренне и горячо доказывая, что они — социалисты и враждебны буржуазии. Таким путем они, действительно, приобрели значительное влияние в народе. Но очень скоро действие их идей переросло через их головы. Буржуазия почувствовала смертельную опасность и подала сигнал тревоги. Оба отделившихся от нее отряда, меньшевики и эсеры, дружно откликнулись на призыв старшего в семье. Перешагнув через старые разногласия, они стали плечом к плечу и, повернувшись спиною к массам, бросились на помощь буржуазному обществу.

Социалисты-революционеры, даже по сравнению с меньшевиками, поражали рыхлостью и дряблостью. Большевикам они во все важные моменты казались просто кадетами третьего сорта. Кадетам они представлялись третьесортными большевиками. Место второго сорта в обоих случаях занимали меньшевики. Зыбкость опоры и бесформенность идеологии вели к соответственному личному отбору: на всех эсеровских вождях была печать недоделанности, поверхностности и сантиментальной ненадежности. Можно сказать безо всякого преувеличения: рядовой большевик проявлял больше проницательности в политике, т. е. в отношениях между классами, чем самые прославленные эсеровские вожди.

Не имея устойчивых критериев, эсеры проявляли склонность к нравственным императивам. Незачем пояснять, что моралистические претензии нисколько не препятствовали проявлять в большой политике мелкое плутовство, столь вообще характерное для промежуточных партий без устойчивой опоры, ясной доктрины и подлинного нравственного стержня.

В блоке меньшевиков и эсеров руководящее место

принадлежало меньшевикам, несмотря на то, что бесспорное численное преобладание было на стороне эсеров. В этом распределении ролей сказывались на свой лад гегемония города над деревней, перевес городской мелкой буржуазии над сельской, наконец, идейное превосходство «марксистской» интеллигенции над интеллигенцией, которая держалась истинно-русской социологии и кичилась скудостью старой русской истории.

В первые недели после переворота ни одна из левых партий, как мы уже знаем, не имела в столице своего настоящего штаба. Общепризнанные вожди социалистических партий находились в эмиграции. Вожди второго ряда передвигались к центру с дальнего Востока. Это создавало у временных руководителей осторожное и выжидательное настроение, толкавшее их ближе друг к другу. Ни одна из руководящих групп не доводила в эти недели своих мыслей до конца. Борьба партий в Совете носила крайне мирный характер: дело шло как бы об оттенках внутри одной и той же «революционной демократии». Правда, с приездом из ссылки Церетелли (19 марта) советское руководство совершило довольно резкий поворот вправо, в сторону прямой ответственности за власть и за войну. Но и большевики, к середине марта, под влиянием прибывших из ссылки Каменева и Сталина, взяли резко вправо, так что дистанция между советским большинством и левой оппозицией к началу апреля стала, пожалуй, меньше, чем была в начале марта. Настоящая дифференциация началась несколько позже. Можно даже назвать ее точную дату: 4-ое апреля, на другой день после прибытия Ленина в Петроград.

Партия меньшевиков имела во главе разных своих течений ряд выдающихся фигур, но ни одного революционного вождя. Крайнее правое крыло, возглавлявшееся старыми учителями русской социалдемократии, Плехановым, Засулич, Дейчем, стояло на патриотической позиции еще при самодержавии. Как раз нака-

нуне Февральской революции Плеханов, плачевно переживший себя, писал в американской газете, что стачки и другие виды борьбы рабочих в России являлись бы теперь преступлением. Более широкие круги старых меньшевиков, в их числе такие фигуры, как Мартов, Дан, Церетелли, причисляли себя к лагерю Циммервальда и отклоняли от себя ответственность за войну. Но интернационализм левых меньшевиков, как и левых эсеров, прикрывал в большинстве случаев демократическую оппозиционность. Февральская революция примирила большинство этих «циммервальдцев» с войной, в которой они отныне открыли оборону революции. С наибольшей решимостью встал на этот путь Церетелли, тянувший за собой Дана и других. Мартов, встречавший начало войны во Франции и прибывший из-за границы только 9 мая, не мог не видеть, что его вчерашние единомышленники пришли после февральского переворота к тому, с чего Гед, Самба и другие начали в 1914 году, когда взяли на себя защиту буржуазной республики против германского абсолютизма. Став во главе левого крыла меньшевиков, которому не удалось подняться до сколько-нибудь серьезной роли в революции, Мартов оставался в оппозиции к политике Церетелли-Дана, противодействуя в то же время сближению левых меньшевиков с большевиками. От имени официального меньшевизма выступал Церетелли, за которым шло несомненное большинство: дореволюционные патриоты без труда объединились с патриотами февральского призыва. У Плеханова была, однако, своя группа, совершенно шовинистическая, стоявшая вне партии и даже вне Совета. У фракции Мартова, не покидавшей общей партии, не было своей газеты, как не было и своей политики. Как всегда во время больших исторических событий, Мартов безнадежно растерялся и повис в воздухе. В 1917 году, как и в 1905 г., революция почти не заметила этого выдающегося человека.

Председателем Петроградского совета, а затем и Центрального исполнительного комитета почти авто-

матически оказался председатель меньшевистской фракции в Думе, Чхеидзе. В свои обязанности он стремился вкладывать весь запас своей добросовестности, прикрывая постоянную неуверенность в себе незамысловатой шутливостью. На нем лежала неизгладимая печать его провинции. Горная Грузия, страна солнца, виноградников, крестьян и мелких дворян, с небольшим процентом рабочих, выдвинула широкий слой левой интеллигенции, гибкой, темпераментной, но в подавляющем большинстве своем не поднимавшейся над мелкобуржуазным горизонтом. Во все четыре думы Грузия посылала депутатами меньшевиков, и во всех четырех фракциях ее депутаты играли роль лидеров. Грузия стала Жирондой русской революции. Если жирондистов XVIII века обвиняли в федерализме, то жирондисты Грузии, начав с защиты единой и неделимой России, закончили сепаратизмом.

Наиболее выдающейся фигурой, выдвинутой грузинской Жирондой, являлся несомненно бывший депутат второй Думы, Церетелли, который немедленно по прибытии из ссылки возглавил не только меньшевиков, но и все тогдашнее советское большинство. Не теоретик, даже не журналист, но выдающийся оратор, Церетелли был и остался радикалом южнофранцузского типа. В условиях парламентской рутины он чувствовал бы себя, как рыба в воде. Но он родился в революционную эпоху и отравил себя в юности дозой марксизма. Во всяком случае из всех меньшевиков он проявил в событиях революции наибольший размах и стремление сводить концы с концами. Именно поэтому он больше других содействовал крушению февральского режима. Чхеидзе всецело подчинялся Церетелли, хотя моментами и пугался его доктринерской прямолинейности, сближавшей вчерашнего революционера-каторжанина с консервативными представителями буржуазии.

Меньшевик Скобелев, обязанный свежей популярностью своему положению депутата последней Думы, производил, и не только вследствие своей внешней мо-

ложавости, впечатление студента, играющего на домашней сцене роль государственного человека. Скобелев специализировался на тушении «эксцессов», устранении местных конфликтов и вообще практическом замазывании щелей двоевластия, пока он, в злополучной роли министра труда, не был включен в майское коалиционное правительство.

Влиятельнейшей фигурой среди меньшевиков был Дан, старый работник партии, считавшийся всегда второй фигурой после Мартова. Если меньшевизм вообще впитал в кровь и плоть нравы и дух немецкой социалдемократии эпохи упадка, то Дан прямо-таки казался членом немецкого партийного правления, Эбертом меньшего масштаба. Немецкий Дан с успехом провел через год в Германии ту политику, которая в России не удалась русскому Эберту. Причина, однако, не в людях, а в условиях.

Если первой скрипкой в оркестре советского большинства был Церетелли, то на пронзительном кларнете изо всей силы легких, с налитыми кровью глазами, играл Либер. Это был меньшевик из еврейского Рабочего Союза (Бунд), с давним революционным прошлым, очень искренний, очень темпераментный, очень красноречивый, очень ограниченный и страстно стремившийся показать себя непреклонным патриотом и железным государственным человеком. Либер буквально исходил ненавистью к большевикам.

Фалангу меньшевистских лидеров можно замкнуть бывшим ультра-левым большевиком Войтинским, видным участником первой революции, отбывшим каторгу и порвавшим в марте с партией на почве патриотизма. Примкнув к меньшевикам, Войтинский, как полагается, стал профессиональным пожирателем большевиков. Ему не хватало только темперамента, чтоб сравняться с Либером в травле своих бывших единомышленников.

Штаб народников был столь же мало однороден, но гораздо менее значителен и ярок. Так называемые народные социалисты, составлявшие крайний правый фланг, возглавлялись старым эмигрантом Чайковским,

который боевым шовинизмом равнялся Плеханову, не имея ни его талантов, ни его прошлого. Рядом стояла старуха Брешко-Брешковская, которую эсеры называли бабушкой русской революции, но которая усердно навязывалась в крестные матери русской контр-революции. Престарелый анархист Крапоткин, сохранявший с юности слабость к народникам, воспользовался войной, чтоб дезавуировать все то, чему учил чуть не в течение полустолетия: отрицатель государства поддерживал Антанту, и если порицал русское двоевластие, то не во имя безвластия, а во имя единовластия буржуазии. Однако, эти старики играли скорее декоративную роль, хотя Чайковский позже, в войне против большевиков, возглавлял одно из белых правительств, состоявших на иждивении Черчилля.

Первое место среди эсеров, далеко впереди остальных, но не в партии, а над партией, занял Керенский, человек без какого бы то ни было партийного прошлого. Нам придется не раз еще встречаться в дальнейшем с этой провиденциальной фигурой, силу которой составляло в период двоевластия сочетание слабостей либерализма со слабостями демократии. Формальное вступление в партию эсеров не нарушило презрительного отношения Керенского к партиям вообще: он считал себя непосредственным избранником нации. Но ведь и эсеровская партия перестала к этому времени быть партией, став грандиозным, поистине национальным нулем. В Керенском она нашла себе адэкватного вождя.

Будущий министр земледелия, а затем и председатель Учредительного Собрания, Чернов, был несомненно наиболее репрезентативной фигурой старой эсеровской партии и не случайно считался ее вдохновителем, теоретиком и вождем. Со значительными, но не связанными единством, познаниями, скорее начетчик, чем образованный человек, Чернов всегда имел в своем распоряжении неограниченный выбор подходящих к случаю цитат, которые долго поражали воображение русской молодежи, немногому научая ее. На

один единственный вопрос этот многословный вождь не имел ответа: кого и куда он ведет? Эклектические формулы Чернова, сдобренные моралью и стишками, соединяли до поры до времени разношерстную публику, которая во все критические часы тянула в разные стороны. Неудивительно, если свой метод формирования партии Чернов самодовольно противопоставлял ленинскому «сектантству».

Чернов прибыл из-за границы через пять дней после Ленина: Англия в конце концов пропустила его. На многочисленные приветствия в Совете вождь самой большой партии ответил самой длинной речью, о которой Суханов, наполовину эсер, отзывался так: «не один я, а многие другие эсеровские партийные патриоты морщились и покачивали головами, что это он так неприятно поет, так странно жеманится и закатывает глазки, да и говорит без конца, ни к селу ни к городу». Вся дальнейшая деятельность Чернова в революции развернулась по камертону первой его речи. После нескольких попыток противопоставить себя слева Керенскому и Церетелли Чернов, притиснутый со всех сторон, сдался без боя, очистился от своего эмигрантского циммервальдизма, вошел в контактную комиссию, а позже и в коалиционное правительство. Все, что он делал, было невпопад. Он решил, поэтому, уклоняться. Воздерживание от голосования стало для него формой политического существования. Его авторитет от апреля к октябрю таял еще быстрее, чем ряды его партии. При всем различии между Черновым и Керенским, ненавидевшими друг друга, оба они целиком сидели корнями в дореволюционном прошлом, в старом русском рыхлом обществе, в худосочной и претенциозной интеллигенции, которая горела желанием поучать народные массы, опекать их и благодетельствовать, но была совершенно неспособна прислушаться к ним, понять их и поучиться у них. А без этого нет революционной политики.

Авксентьев, поднимавшийся партией до самых высоких постов революции, — председатель Исполни-

тельного комитета крестьянских депутатов, министр внутренних дел, председатель предпарламента, — представлял уже совершенную карикатуру на политика: обаятельный учитель словесности женской гимназии в Орле — вот все, что можно о нем сказать. Правда, его политическая деятельность оказалась гораздо злонамереннее его личности.

Крупную, но больше закулисную роль во фракции эсеров и в правящем советском ядре играл Гоц. Террорист из известной революционной семьи, Гоц был менее претенциозен и более деловит, чем его ближайшие политические друзья. Но в качестве так называемого «практика» ограничивался делами кухни, предоставляя большие вопросы другим. Нужно, впрочем, прибавить, что он не был ни оратором, ни писателем, и что главным его рессурсом являлся личный авторитет, оплаченный годами каторжных работ.

Мы в сущности назвали всех, кого можно было назвать среди руководящего круга народников. Дальше идут уже совершенно случайные фигуры, вроде Филипповского, относительно которого никто не мог объяснить, почему собственно он попал на самую верхушку февральского Олимпа: решающую роль сыграл, надо полагать, его мундир морского офицера.

Наряду с официальными вождями двух господствовавших партий в Исполкоме было немало «диких», одиночек, участников прошлого движения на разных его этапах, людей, задолго до переворота отошедших от борьбы и теперь, после торопливого возвращения под знамя победившей революции, не спешивших надевать на себя партийное ярмо. Во всех основных вопросах дикие шли по линии советского большинства. В первое время им принадлежала даже руководящая роль. Но по мере того, как прибывали из ссылки и эмиграции официальные вожди, беспартийные оттирались на вторые места, политика оформлялась, партийность входила в свои права.

Противники Исполнительного комитета из лагеря реакции не раз указывали впоследствии на засилье в

нем инородцев: евреев, грузин, латышей, поляков и пр. Хотя по отношению ко всей массе членов Исполнительного комитета инородцы составляли совсем невысокий процент, но несомненно, что они занимали очень видное место в президиуме, в различных комиссиях, среди докладчиков и пр. Так как интеллигенция угнетенных национальностей, сосредоточенная преимущественно в городах, обильно пополняла революционные ряды, то немудрено, если среди старшего поколения революционеров число инородцев было особенно значительно. Их опыт, хотя и не всегда высокого качества, делал их незаменимыми при возведении новых общественных форм. Совершенно вздорными являются, однако, попытки вывести политику советов и ход всей революции из мнимого засилья инородцев. Национализм и в этом случае обнаруживает презрение к действительной нации, т. е. народу, изображая его, в период его великого национального пробуждения, простым чурбаном в чужих и случайных руках. Но почему же и как инородцы получили такую чудодейственную силу над коренными миллионами? На самом деле, именно в момент глубокого исторического поворота толща нации нередко ставит себе на службу те элементы, которые вчера еще были придавлены и потому с наибольшей готовностью дают выражение новым задачам. Не инородцы ведут революцию, а национальная революция пользуется инородцами. Так бывало даже и при крупных реформах сверху. Политика Петра I не переставала быть национальной, когда, сворачивая со старых путей, привлекала к себе на службу инородцев и иностранцев. Мастера немецкой слободки и голландские шкипера лучше выражали в тот период потребности национального развития России, чем русские попы, натасканные некогда греками, или московские бояре, тоже жаловавшиеся на иноземное засилье, хотя сами происходили от иноземцев, формировавших русское государство. Во всяком случае инородческая интеллигенция 1917 года делилась между теми же партиями, что и истинно русская, страдала теми же по-

роками и совершала те же ошибки, причем как раз инородцы в среде меньшевиков и эсеров щеголяли особой ревностью об обороне и единстве России.

Так выглядел Исполнительный комитет, верховный орган демократии. Две партии, растерявшие иллюзии, но сохранившие предрассудки, со штабом вождей, не способных перейти от слова к делу, оказались во главе революции, которая призвана была рвать оковы столетий и закладывать основы нового общества. Вся деятельность соглашателей стала цепью мучительных противоречий, изнурявших народные массы и подготовлявших конвульсии гражданской войны.

Рабочие, солдаты, крестьяне брали события в серьез. Они считали, что созданные ими советы должны немедленно приняться за устранение тех бедствий, которые породили революцию. Все шли в советы. Всякий нес то, что наболело. А у кого не наболело? Требовали решения, надеялись на помощь, ждали справедливости, настаивали на возмездии. Ходатаи, жалобщики, просители, обличители считали, что, наконец-то, враждебную власть заменили своей. Народ Совету верит, народ вооружен, значит Совет и есть власть. Они так понимали дело, — и разве они не были правы? Непрерывный поток солдат, рабочих, солдатских жен, мелких торговцев, служащих, матерей, отцов открывал и закрывал двери, искал, спрашивал, плакал, требовал, заставлял принимать меры, иногда точно указывая, какие — и превращал Совет на деле в революционную власть. «Это совершенно не было в интересах и, во всяком случае, не входило в планы самого Совета», жалуется знакомый нам Суханов, который, разумеется, посильно боролся с этим процессом. С успехом ли? Увы, он вынужден тут же признать, что «советский аппарат стал непроизвольно, автоматически, против воли Совета, вытеснять официальную государственную машину, работавшую все более и более холостым ходом». Что же делали доктринеры капитуляции, механики холостого хода? «Приходилось мириться и брать на себя отдельные функции управле-

ния, — меланхолически признается Суханов, — поддерживая в то же время фикцию, что это управляет Мариинский дворец». Вот чем занимались эти люди в разоренной стране, объятой пламенем войны и революции: маскарадными мерами они ограждали престиж правительства, которое народ органически извергал. Да погибнет революция, но да здравствует фикция!.. А в то же время власть, которую эти люди изгоняли через дверь, влезала к ним обратно через окно, застигая их каждый раз врасплох и ставя в смешное или недостойное положение.

Еще в ночь на 28-ое февраля Исполнительный комитет закрыл монархическую печать и установил для газет разрешительный порядок. Раздались протесты. Особенно громко кричали те, которые привыкли зажимать всем рты. Через несколько дней Комитет снова столкнулся с вопросом о свободе печати: разрешать или не разрешать выход реакционных газет? Возникли разногласия. Доктринеры типа Суханова стояли за абсолютную свободу прессы. Чхеидзе сперва не соглашался: как можно оставлять оружие в бесконтрольном распоряжении смертельных врагов? Никому, к слову сказать, не приходило в голову предоставить самый вопрос на разрешение правительства. Да это было бы и беспредметно: типографские рабочие признавали только распоряжения Совета. 5-го марта Исполнительный комитет подтвердил: правые издания закрыть, выход новых газет поставить в зависимость от разрешения Совета. Но уже 10-го это постановление было отменено под напором буржуазных кругов. «Трех дней было достаточно, чтобы образумиться», торжествовал Суханов. Неосновательное торжество! Пресса не стоит над обществом. Условия ее существования во время революции отражают ход самой революции. Когда последняя принимает или может принять характер гражданской войны, ни один из воюющих лагерей не допустит существования вражеской прессы в районе своего влияния, как и не выпустит добровольно из своих рук контроля над арсеналами,

железными дорогами или типографиями. В революционной борьбе печать только один из родов оружия. Право на слово во всяком случае не выше, чем право на жизнь. А революция присваивает себе и это последнее. Можно установить как закон: революционные правительства бывают тем либеральнее, тем терпимее, тем «великодушнее» к реакции, чем мельче их программа, чем больше они связаны с прошлым, чем консервативнее их роль. И наоборот: чем грандиознее задачи, чем большее количество приобретенных прав и интересов они нарушают, тем концентрированнее революционная власть, тем обнаженнее ее диктатура. Плохо ли это или хорошо, но именно такими путями человечество до сих пор шло вперед.

Совет был прав, когда хотел удержать в своих рукак контроль над печатью. Почему же он так легко отказался от этого? Потому, что он вообще отказался от серьезной борьбы. Он молчал о мире, о земле, даже о республике. Передав власть консервативной буржуазии, он не имел ни основания опасаться правой печати, ни возможности бороться против нее. Зато уже через небольшое число месяцев правительство, при поддержке Совета, стало беспощадно расправляться с левой печатью. Газеты большевиков закрывались одна за другой.

7 марта Керенский в Москве декламировал: «Николай II в моих руках... Маратом русской революции я никогда не буду... Николай II под моим личным наблюдением отправится в Англию»... Дамы бросали цветы, студенты аплодировали. Но низы всполошились. Еще ни одна серьезная революция, т. е. такая, которой было, что терять, не выпускала низложенного монарха за границу. От рабочих и солдат шли непрерывные требования: арестовать Романовых. Исполком почуял, что в этом вопросе шутить нельзя. Было решено, что дело Романовых Совет должен взять в свои руки: правительство таким образом открыто признано было не заслуживающим доверия. Исполнительный комитет дал приказ по всем железным дорогам не

пропускать Романова: вот почему царский поезд блуждал по путям. Один из членов Исполкома, рабочий Гвоздев, правый меньшевик, был отряжен для ареста Николая. Керенский оказался дезавуирован и с ним вместе правительство. Но оно не ушло, а молча подчинилось. Уже 9 марта Чхеидзе докладывал Исполнительному комитету, что правительство «отказалось» от мысли вывезти Николая в Англию. Царская семья подвергнута была аресту в Зимнем дворце. Так Исполнительный комитет воровал у себя самого власть из-под подушки. А с фронта все настойчивее поступали требования: перевести бывшего царя в Петропавловскую крепость.

Революции всегда означали имущественные перетасовки, не только в порядке законодательства, но и в порядке массовых захватов. Аграрная революция никогда вообще в истории иначе не происходила: легальная реформа шла неизменно в обозе красного петуха. В городах роль захватов бывала меньше: буржуазные революции не имели задачей потрясти буржуазную собственность. Но не было еще, кажется, революции, когда массы не завладевали бы для общественных целей зданиями, принадлежавшими ранее врагам народа. Сейчас же после февральского переворота вышли из подполья партии, возникли профессиональные союзы, шли непрерывные митинги, во всех районах были свои советы, — всем нужны были помещения. Организации захватывали необитаемые дачи царских министров или пустующие дворцы царских балерин. Потерпевшие жаловались, либо власти вмешивались по собственной инициативе. Но так как захватчики владели по существу властью, а официальная власть была призраком, то прокурорам приходилось в конце концов обращаться к тому же Исполнительному комитету с ходатайством о восстановлении попранных прав балерины, несложные функции которой высоко оплачивались членами династии из народных средств. В движение приводилась, как полагается, контактная комиссия, министры заседали, бюро Ис-

полкома совещалось, к захватчикам посылались делегации — и дело затягивалось на месяцы.

Суханов сообщает, что в качестве «левого» он не имел ничего против самых радикальных законодательных вторжений в права собственности, но зато являлся «ярым врагом всяких захватов». Подобными уловками горе-левые обычно прикрывали свою несостоятельность. Подлинно революционное правительство могло бы несомненно свести к минимуму хаотические захваты путем своевременного декрета о реквизиции помещений. Но левые соглашатели сдали власть фанатикам собственности, чтобы затем тщетно проповедывать массам уважение к революционной законности... под открытым небом. Климат Петрограда не благоприятствует платонизму.

Хлебные хвосты дали последний толчок революции. Они же явились первой угрозой новому режиму. Уже в учредительном заседании Совета постановлено было создать Продовольственную комиссию. Правительство мало размышляло о том, как кормить столицу. Оно не прочь было бы смирить ее голодом. Задача и в дальнейшем легла на Совет. В его распоряжении имелись экономисты и статистики с некоторым практическим стажем, служившие раньше в хозяйственных и административных органах буржуазии. Это были в большинстве случаев меньшевики правого крыла, как Громан и Череванин, или бывшие большевики, отошедшие далеко вправо, как Базаров и Авилов. Но едва они становились лицом к лицу с задачей прокормления столицы, как оказывались вынуждены всей обстановкой предлагать весьма радикальные меры для обуздания спекуляции и организации рынка. В ряде заседаний Совета утверждалась целая система мероприятий «военного социализма», включавшая в свой состав объявление всех хлебных запасов государственным достоянием, установление твердых цен на хлеб, в соответствии с такими же ценами на продукты промышленности, государственный контроль над производством, правильный товарообмен с деревней.

Вожди Исполнительного комитета переглядывались друг с другом в тревоге; не зная, что предложить, они присоединялись к радикальным резолюциям. Члены контактной комиссии застенчиво передавали их затем правительству. Правительство обещало изучить. Но ни князь Львов, ни Гучков, ни Коновалов не имели охоты контролировать, реквизировать и всячески урезывать себя и своих друзей. Все экономические постановления Совета разбивались о пассивное сопротивление государственного аппарата, поскольку не осуществлялись самочинно местными советами. Единственная практическая мера, которую провел Петроградский совет в области продовольствия, состояла в ограничении потребителя твердым пайком: полтора фунта для лиц физического труда, фунт — для остальных. Правда, это ограничение почти не внесло еще изменения в реальный продовольственный бюджет столичного населения: фунт и полтора фунта — жить можно. Бедствия повседневного недоедания впереди. Революции придется в течение лет, не месяцев, а лет, все туже и туже подтягивать кушак на запавшем животе. Она вынесет это испытание. Сейчас ее мучает еще не голод, а неизвестность, неопределенность курса, неуверенность в завтрашнем дне. Экономические трудности, обостренные 32-мя месяцами войны, стучатся в двери и окна нового режима. Расстройство транспорта, недостаток разных видов сырья, изношенность значительной части оборудования, грозная инфляция, расстройство товарооборота, все это требует смелых и неотложных мер. Приходя к ним по линии экономической, соглашатели делали их невозможными по линии политической. Каждая хозяйственная проблема, в которую они упирались, превращалась в осуждение двоевластия, и каждое решение, которое им приходилось подписывать, невыносимо жгло им пальцы.

Большой проверкой сил и отношений стал вопрос о восьмичасовом рабочем дне. Восстание победило, но всеобщая стачка продолжается. Рабочие всерьез по-

лагают, что перемена режима должна внести перемены и в их судьбу. Это сразу вызывает тревогу новых правителей, и либералов, и социалистов. Патриотические партии и газеты бросают клич: «солдаты — в казармы, рабочие — к станкам!» Значит все остается по старому? спрашивают рабочие. Пока-что, смущенно отвечают меньшевики. Но рабочие понимают: если сейчас не будет перемен, то дальше и подавно. Урегулировать дело с рабочими буржуазия предоставляет социалистам. Сославшись на то, что одержанная победа «в достаточной степени обеспечила позицию рабочего класса в его революционной борьбе», — в самом деле: разве не стали у власти либеральные помещики? — Исполнительный комитет постановляет 5 марта приступить к возобновлению работ в петроградском районе. Рабочие к станкам! Такова сила бронированного эгоизма образованных классов, либералов, вместе с их социалистами. Эти люди верили, что миллионы рабочих и солдат, поднятые на восстание несокрушимым напором недовольства и надежд, покорно примирятся после победы со старыми условиями жизни. Из исторических книг вожди вынесли убеждение, что так происходило в прошлых революциях. Но нет, так даже и в прошлом не было никогда. Если трудящиеся и загонялись в прежнее стойло, то не иначе, как кружным путем, через ряд поражений и обманов. Жестокую социальную изнанку политических переворотов остро чувствовал Марат. Поэтому он так и оклеветан официальными историками. «Революция совершается и поддерживается только низшими классами общества, — писал он за месяц до переворота 10 августа 1792 г., — всеми этими обездоленными, которых бесстыдное богатство третирует, как каналий, и которых римляне, со свойственным им цинизмом, некогда прозвали пролетариями». Что же дает революция обездоленным? «Добившись сначала некоторого успеха, движение в конце концов оказывается побежденным; всегда ему не хватает знания, сноровки, средства, оружия, вождей, определенного плана дей-

ствий; оно остается беззащитным против заговорщиков, обладающих опытностью, ловкостью и хитростью». Мудрено ли, что Керенский не хотел быть Маратом русской революции?

Один из бывших капитанов русской промышленности, В. Ауэрбах, с возмущением рассказывает, что «низами революция понималась, как что-то вроде масленицы: прислуга, например, пропадала на целые дни, гуляла с красными бантиками, каталась на автомобилях, возвращалась только к утру, чтобы помыться и опять на гулянье». Замечательно, что, пытаясь показать деморализующее действие революции, обличитель изображает поведение прислуги теми чертами, которые, за вычетом, разве, красного бантика, как нельзя лучше воспроизводят обычную жизнь буржуазной патрицианки. Да, революция воспринимается угнетенными как праздник, или как канун праздника, и первое движение пробужденных ею домашних рабынь состоит в том, чтоб ослабить ярмо повседневной, унизительной, тоскливой, безысходной неволи. Рабочий класс в целом не мог и не хотел утешиться одними лишь красными бантиками, как символом победы — для других. На заводах Петрограда шло волнение. Не малое число предприятий открыто не подчинились постановлению Совета. К станкам рабочие, конечно, готовы итти, ибо вынуждены; но на каких условиях? Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня. Меньшевики ссылались на 1905 год, когда рабочие пытались захватным путем ввести 8-ми часовый рабочий день и потерпели поражение: «борьба на два фронта — с реакцией и капиталистами — не по силам пролетариату». Это была их центральная идея. Меньшевики, вообще говоря, признавали неизбежность в будущем разрыва с буржуазией. Но это чисто теоретическое признание ни к чему их не обязывало. Они считали, что не надо форсировать разрыва. А так как буржуазия отбрасывается в лагерь реакции не горячими фразами ораторов и журналистов, а самостоятельным движением трудя-

щихся классов, то меньшевики изо всех сил противодействовали экономической борьбе рабочих и крестьян. «Для рабочего класса — учили они — сейчас социальные вопросы не стоят на первом плане. Теперь он добывает себе политическую свободу». Но в чем состоит эта умозрительная свобода, рабочие постигнуть не могли. Они хотели прежде всего немного свободы для своих мышц и нервов. И они напирали на хозяев. Какая ирония: как раз в день 10 марта, когда меньшевистская газета писала, что 8-часовой рабочий день не стоит в порядке дня, общество заводчиков и фабрикантов, которое накануне уже оказалось вынуждено войти в официальные сношения с Советом, заявило о своем согласии на введение восьмичасового рабочего дня и организацию фабрично-заводских комитетов. Промышленники проявили больше дальновидности, чем демократические стратеги Совета. Не мудрено: на заводах хозяева стояли лицом к лицу с рабочими, которые не менее, чем на половине петроградских предприятий, в том числе на большинстве крупнейших, единодушно покидали станки после 8-ми часов труда. Они брали сами то, в чем им отказывали правительство и Совет. Когда либеральная пресса с умилением сравнивала жест русских промышленников 10 марта 1917 года с жестом французского дворянства 4-го августа 1789 г., она была гораздо ближе к исторической истине, чем думала сама: подобно феодалам конца XVIII века, русские капиталисты действовали из-под палки необходимости и временной уступкой надеялись обеспечить в дальнейшем восстановление утраченного. Один из кадетских публицистов, нарушая официальную ложь, прямо признавал: «на несчастье меньшевиков, большевики уже принудили террором общество фабрикантов согласиться на немедленное введение 8-часового рабочего дня». В чем состоял террор, мы уже знаем. Рабочие-большевики несомненно занимали в движении первое место. И опять, как в решающие дни февраля, подавляющее большинство рабочих шло за ними.

С очень смешанным чувством Совет, руководимый меньшевиками, зарегистрировал грандиозную победу, одержанную в сущности против него. Посрамленным лидерам пришлось, однако, сделать еще шаг вперед и предложить Временному правительству издать, до Учредительного Собрания, указ о 8-часовом дне по всей России. Но правительство, по соглашению с предпринимателями, уперлось и, выжидая лучших дней, отказалось выполнить требование, предъявленное ему без всякой настойчивости.

В Московской области открылась та же борьба, но приняла более затяжной характер. И здесь Совет, несмотря на сопротивление рабочих, потребовал возобновления работ. На одном из крупнейших заводов резолюция против прекращения стачки собрала 7 тысяч голосов против 6. Так же приблизительно реагировали и другие предприятия. 10 марта Совет еще раз подтвердил обязательность немедленного возвращения к станкам. Хотя в большинстве заводов после этого и начались работы, но почти всюду развернулась борьба за сокращение рабочего дня. Рабочие поправляли своих руководителей действием. Долго упиравшемуся Московскому совету пришлось, наконец, 21 марта ввести 8-часовой рабочий день собственным постановлением. Промышленники немедленно подчинились. В провинции борьба перешла и на апрель. Почти всюду советы сперва сдерживали и противодействовали, затем, под напором рабочих, вступали в переговоры с предпринимателями; где последние не шли на соглашение, советы оказывались вынуждены самостоятельно декретировать введение 8-часового рабочего дня. Какая брешь в системе!

Правительство преднамеренно оставалось в стороне. Тем временем, под дирижерством либеральных лидеров, открылась неистовая кампания против рабочих. Чтоб сломить их, решено было восстановить против них солдат. Сокращение рабочего дня означает ведь ослабление фронта. Разве можно думать только о себе во время войны? Разве в окопах считают число

часов? Когда имущие классы становятся на путь демагогии, они не останавливаются ни перед чем. Агитация приняла бешенный характер и скоро была перенесена в окопы. Солдат Пирейко в своих фронтовых воспоминаниях признает, что агитация, ведшаяся главным образом новоиспеченными социалистами из офицеров, была не безуспешна. «Но все несчастие офицерского состава, пытавшегося натравить солдат на рабочих, заключалось в том, что они были офицерами. Слишком свежо еще было в памяти каждого солдата, чем был для него офицер в прошлом». Наиболее острый характер травля рабочих приняла, однако, в столице. Промышленники совместно с кадетским штабом нашли неограниченные средства и силы для агитации в гарнизоне. «В двадцатых числах, рассказывает Суханов, на всех перекрестках, в трамваях, в любом общественном месте можно было видеть рабочих и солдат, сцепившихся между собою в неистовом словесном бою». Случались и физические свалки. Рабочие поняли опасность и умело парировали ее. Для этого им достаточно было рассказать правду, назвать цифры военных барышей, показать солдатам заводы и цеха с грохотом машин, адским пламенем печей — свой постоянный фронт, на котором они несли неисчислимые жертвы. Начались, по инициативе рабочих, правильные посещения частями гарнизона заводов, особенно работающих на оборону. Солдат смотрел и слушал, рабочий показывал и объяснял. Посещения заканчивались торжественным братанием. Социалистические газеты печатали многочисленные резолюции воинских частей об их неразрушимой солидарности с рабочими. К половине апреля самый предмет конфликта исчез со столбцов газет. Буржуазная пресса замолчала. Так, после экономической победы рабочие одержали политическую и моральную.

События, связанные с борьбой за восьмичасовой рабочий день, имели большое значение для всего дальнейшего развития революции. Рабочие завоевали несколько свободных часов в неделю для чтения, собра-

ний, а также и упражнений с винтовкой, которые получили правильный характер с момента создания рабочей милиции. После столь яркого урока рабочие стали ближе присматриваться к советским руководителям. Авторитет меньшевиков понес серьезный урон. Большевики окрепли на заводах, отчасти и в казармах. Солдат стал внимательнее, вдумчивее, осторожнее: он понял, что кто-то подстерегает его. Вероломный замысел демагогии повернулся против его вдохновителей. Вместо отчуждения и вражды получилась более тесная спайка между рабочими и солдатами.

Правительство, несмотря на идиллию контакта, ненавидело Совет, его вождей и их опеку. Оно это обнаружило при первой представившейся возможности. Так как Совет выполнял чисто правительственные функции, притом по просьбе самого правительства, когда нужно было усмирять массы, то Исполком просил о выдаче ему скромной субсидии на расходы. Правительство отказало и, несмотря на повторные настояния Совета, поставило на своем: оно не может выдавать государственные средства «частной организации». Совет смолчал. Бюджет Совета лег на рабочих, не устававших производить денежные сборы на нужды революции.

В то же время обе стороны, либералы и социалисты, поддерживали декорум полного взаимного дружелюбия. На Всероссийском совещании советов существование двоевластия было объявлено измышлением. Керенский заверял делегатов армии, что между правительством и Советом — полное единение в задачах и целях. Не менее усердно двоевластие отрицалось Церетелли, Даном и другими советскими столпами. При помощи лжи стремились укрепить режим, построенный на лжи.

Однако, режим шатался с первых недель. Лидеры были неистощимы в деле организационных комбинаций: они стремились опереться на случайных представителей против массы, на солдат против рабочих, на новые думы, земства и кооперацию против советов,

на провинцию против столицы, а под конец, на офицерство против народа.

Советская форма не заключает в себе никакой мистической силы. Она отнюдь не свободна от пороков всякого представительства, неизбежных, пока неизбежно это последнее. Но сила ее в том, что она сводит все же эти пороки к минимуму. Можно с уверенностью сказать, — и опыт скоро подтвердит это, — что всякое другое представительство, атомизирующее массу, выражало бы в революции ее действительную волю несравненно хуже и с гораздо большим запозданием. Из всех форм революционного представительства совет — самая гибкая, непосредственная и прозрачная. Но это все же лишь форма. Она не может дать больше того, что способны вложить в нее в каждый данный момент массы. Зато она может облегчить массам понимание сделанных ошибок и их исправление. В этом и состоял один из важнейших залогов развития революции.

Каковы же были политические перспективы Исполнительного комитета? Вряд ли у кого-либо из вождей были перспективы, продуманные до конца. Суханов впоследствии утверждал, что, по его плану, власть сдавалась буржуазии лишь на короткий срок, чтобы демократия, окрепнув, могла тем вернее эту власть отнять. Однако, это построение, наивное само по себе, имеет явно ретроспективный характер. Во всяком случае оно в свое время никем не было формулировано. Под руководством Церетелли шатания Исполнительного комитета, если и не прекратились, то были, по крайней мере, включены в систему. Церетелли открыто провозгласил, что без крепкой буржуазной власти революции грозит неминуемая гибель. Демократия должна ограничиваться давлением на либеральную буржуазию, остерегаясь неосторожным шагом толкнуть ее в лагерь реакции, наоборот, поддерживая ее, поскольку она будет укреплять завоевания революции. В конце концов этот межеумочный режим

должен был завершиться буржуазной республикой, с социалистами в качестве парламентской оппозиции.

Камнем преткновения являлась для лидеров не столько перспектива, сколько текущая программа действий. Соглашатели обещали массам добиться от буржуазии демократической внутренней и внешней политики путем «давления». Бесспорно, под давлением народных масс господствующие классы не раз в истории шли на уступки. Но давление означает в последнем счете угрозу оттеснить господствующий класс от власти и занять его место. Именно этого оружия, однако, и не было в руках демократии. Она сама добровольно вручила буржуазии власть. В моменты конфликтов не демократия угрожала отнять власть, а, наоборот, буржуазия пугала отказом от власти. Таким образом главный рычаг в механике давления находился в руках буржуазии. Этим и объясняется, что при всем своем бессилии, правительство с успехом сопротивлялось всем сколько-нибудь серьезным домогательствам советских верхов.

В середине апреля даже Исполнительный комитет оказался слишком широким органом для политических таинств руководящего ядра, окончательно повернувшегося лицом к либералам. Выделено было бюро, исключительно из правых оборонцев. Отныне большая политика делалась в собственном кругу. Все как будто налаживалось и упрочивалось. Церетелли господствовал в советах неограниченно. Керенский поднимался выше и выше. Но именно к этому моменту стали явственно обнаруживаться первые тревожные признаки внизу, в массах. «Поразительно, — пишет Станкевич, близкий к кружку Керенского, — как раз в момент, когда Комитет организовался, когда ответственность за работы взяло на себя бюро, избранное только из оборонческих партий, — как раз в это время он выпустил из рук руководство массой, которая ушла в сторону от него». Поразительно? Нет, только закономерно.

АРМИЯ И ВОЙНА.

Уже в месяцы, предшествовавшие революции, дисциплина в армии резко пошатнулась. Можно подобрать не мало офицерских жалоб того времени: солдаты непочтительны к начальству, обращение с лошадьми, с казенным имуществом, даже с оружием из рук вон плохое, в воинских поездах беспорядок. Не везде дело обстояло одинаково плохо. Но везде оно шло в одном направлении: к развалу.

Теперь прибавилось потрясение революции. Восстание петроградского гарнизона произошло не только без офицерства, но и против него. В критические часы командиры попросту попрятали головы. Депутат-октябрист Шидловский беседовал 27 февраля с офицерами Преображенского полка, очевидно, с целью прощупать их отношение к Думе, но встретил среди аристократов-гвардейцев полное непонимание происходящего, может быть, впрочем, наполовину притворное: все это были перепуганные монархисты. «Каково было мое удивление, — рассказывает Шидловский, — когда на следующее утро я увидел на улице весь Преображенский полк шедшим в строю, в образцовом порядке, с оркестром во главе, без единого офицера»... Правда, некоторые части приходили в Таврический со своими командирами, точнее было бы сказать, приводили их с собою. Офицеры чувствовали себя в торжественном шествии на положении пленников. Графиня Клейнмихель, наблюдавшая эти сцены, в качестве арестованной, выражается определеннее: офицеры походили на баранов, ведомых на заклание.

Не февральский переворот создал рознь между солдатами и офицерами, он явился лишь ее обнаружением. В сознании солдат восстание против монархии

являлось прежде всего восстанием против командного состава. «С утра 28 февраля, — вспоминает кадет Набоков, носивший в те дни офицерскую форму, — выходить было опасно, потому что с офицеров начали срывать погоны». Так выглядел в гарнизоне первый день нового режима!

Первой заботой Исполнительного комитета было помирить солдат с офицерами. Это означало не что иное, как подчинить части прежним командирам. Возвращение в полки офицерства, должно было, по словам Суханова, предохранить армию от «всеобщей анархии или диктатуры темной и распыленной солдатчины». Эти революционеры, также как и либералы, боялись солдат, а не офицерства. Между тем рабочие вместе с «темной солдатчиной» опасались всяких бед именно со стороны блестящего офицерства. Примирение получалось, поэтому, непрочное.

Станкевич рисует отношение солдат к вернувшимся к ним после переворота офицерам такими чертами: «Солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только без офицеров, но ... во многих случаях против офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказалось, совершили великий подвиг освобождения. Если это подвиг, и если офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу, — ведь ему это было легче и безопаснее сделать? Теперь, после факта победы, оно присоединилось к подвигу. Но искренне и надолго ли?» Слова эти тем поучительнее, что автор их сам принадлежал к тем «левым» офицерам, которые и не думали выводить на улицу своих солдат.

Утром 28-го на Сампсониевском проспекте командир инженерной части объяснял своим солдатам, что «ненавистное всем правительство свергнуто», образовалось новое, во главе с князем Львовым, значит надо попрежнему подчиняться офицерам. «А теперь прошу по местам в казармы». Несколько солдат крикнуло: «рады стараться», большинство смотрело растерянно: только и всего? Эту сцену наблюдал случайно Каюров.

Его передернуло. «Позвольте мне слово, господин командир»... И не дождавшись разрешения, Каюров поставил вопрос: «Разве для замены одного помещика другим на улицах Петрограда проливалась в течение трех дней кровь рабочих?» Каюров и тут взял быка за рога. Поставленный им вопрос составил содержание борьбы ближайших месяцев. Антагонизм между солдатом и офицером являлся преломлением вражды между крестьянином и помещиком.

В провинции командиры, успевшие, очевидно, получить инструкции, излагали события по одному образцу: государь надорвал свои силы в заботах о стране и вынужден тяжесть правления передать брату. Видно было на лицах солдат, жалуется один из офицеров в глухом углу Крыма: Николай ли, Михаил ли, — все едино. Когда, однако, тот же командир вынужден оказался на следующее утро сообщить батальону о победе революции, солдаты, по его словам, переродились. Их вопросы, жесты, взгляды ясно свидетельствовали об «упорной длительной работе, которую кто-то настойчиво выполнял над этими темными, серыми, не привыкшими мыслить мозгами». Какая пропасть между офицером, мозги которого без усилия приспособляются к последней петроградской телеграмме, и этими солдатами, которые хоть и туго, но честно определяют свое отношение к событиям, самостоятельно взвешивая их на корявой ладони!

Высшее командование, признав формально переворот, решило вообще не пропускать революцию на фронт. Начальник штаба ставки приказал главнокомандующим фронтами, в случае появления на подвластной им территории революционных делегаций, которые генерал Алексеев для краткости именовал шайками, немедленно захватывать их и предавать на месте же военно-полевому суду. На следующий день тот же генерал именем «его высочества», великого князя Николая Николаевича, требовал от правительства «прекращения всего того, что ныне происходит в тыловых районах армии», другими словами — революции.

Командование оттягивало осведомление действующей армии о перевороте, насколько было возможно, не столько из верности монархии, сколько из страха перед революцией. На некоторых фронтах установился подлинный карантин: письма из Петрограда не пропускались, приезжих задерживали, — старый режим воровал таким образом у вечности несколько лишних дней. Весть о перевороте докатывалась до боевой линии не ранее 5—6 марта, — и в каком виде? Мы уже приблизительно слышали: главнокомандующим назначен великий князь, царь отрекся во имя родины, в остальном все по старому. Во многих окопах, может быть, даже в большинстве, сведения о революции приходили от немцев раньше, чем из Петрограда. Могло ли быть сомнение для солдат, что все начальство в заговоре для сокрытия правды? И могли ли солдаты хоть на грош верить тем же офицерам, нацепившим через день-два красные бантики?

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает, будто сообщение о событиях в Петрограде сперва не произвело заметного влияния на матросов. Но как только появились из столицы первые социалистические газеты, «во мгновение ока настроение команд изменилось, начались митинги, из щелей выползли преступные агитаторы». Адмирал попросту не понял того, что совершалось перед его глазами. Не газеты вызвали перемену настроения. Они лишь рассеяли сомнения матросов насчет глубины переворота и позволили им открыто проявить свои истинные чувства, не опасаясь расправы со стороны начальства. Политический облик черноморского офицерства, свой собственный в том числе, тот же автор характеризует одной фразой: «Большинство офицеров флота считало, что без царя отечество погибнет». Демократы считали, что отечество погибнет без возвращения такого рода светочей к темным матросам.

Командный состав армии и флота скоро выделил из себя два фланга: одни пытались удержаться на своих местах, подлаживаясь под революцию, записыва-

лись в эсеры, позже часть их пыталась пролезть даже в большевики. Другие, наоборот, петушились, пробовали противодействовать новым порядкам, но скоро срывались на каком-нибудь остром конфликте и смывались солдатским половодьем. Подобные группировки настолько естественны, что повторялись во всех революциях. Непримиримые офицеры французской монархии, те, которые, по словам одного из них, «боролись, пока могли», меньше страдали от неподчинения солдат, чем от прислужничества благородных коллег. В конце концов большинство старого командного состава оттеснялось, подавлялось, и лишь небольшая часть перевоспитывалась и ассимилировалась. Офицерство лишь в более драматической форме разделяло судьбу тех классов, из которых рекрутировалось.

Армия вообще представляет собою сколок общества, которому служит, с тем отличием, что она придает социальным отношениям концентрированный характер, доводя их положительные и отрицательные черты до предельного выражения. Война не случайно не выдвинула в России ни одного военного имени. Высший командный состав достаточно ярко характеризован одним из его среды: «много авантюры, много невежества, много эгоизма, интриг, карьеризма, алчности, бездарности и недальновидности, — пишет генерал Залесский, — и очень мало знания, талантов, желания рисковать собою и даже своим комфортом и здоровьем». Николай Николаевич, первый верховный главнокомандующий, выделялся только высоким ростом и августейшей грубостью. Генерал Алексеев, серая посредственность, старший военный писарь армии, брал усидчивостью. Корнилова, смелого боевого начальника, даже почитатели его считали простаком; Верховский, военный министр Керенского, отзывался позже о Корнилове, как о львином сердце при бараньей голове. Брусилов и адмирал Колчак несколько превосходили, пожалуй, других интеллигентностью, но и только. Деникин был не без характера, но в осталь-

ном совершенно ординарным армейским генералом, прочитавшим пять или шесть книг. А дальше уж шли Юденичи, Драгомировы, Лукомские, с французским языком и без него, просто пьющие и сильно пьющие, но совершенные ничтожества.

В офицерском корпусе нашла, правда, свое широкое представительство не только дворянская, но и буржуазная и демократическая Россия. Война влила в ряды армии десятки тысяч мелко-буржуазной молодежи, ввиде офицеров, военных чиновников, врачей, инженеров. Эти круги, стоявшие почти сплошь за войну до победы, чувствовали необходимость каких-то широких мер, но подчинялись в конце концов реакционным верхам, при царизме — из страха, а после переворота — по убеждению, как демократия в тылу подчинялась буржузаии. Соглашательская часть офицерства разделила в дальнейшем злополучную судьбу соглашательских партий, с той разницей, что на фронте положение складывалось неизеримо острее. В Исполнительном комитете можно было долго держаться на двусмысленностях, пред лицом солдат это было труднее.

Недоброжелательство и трения между демократическим и аристократическим офицерством, не будучи в состоянии обновить армию, вносили только лишний элемент разложения в нее. Физиономию армии определяла старая Россия, и это была физиономия насквозь крепостническая. Офицеры по прежнему считали наилучшим солдатом покорного и нерассуждающего крестьянского парня, в котором еще не пробудилось сознание человеческой личности. Такова была «национальная», суворовская традиция русской армии, опиравшаяся на первобытное земледелие, крепостное право и сельскую общину. В XVIII столетии Суворов извлекал еще из этого материала чудеса. Лев Толстой с барской любовью идеализировал, в своем Платоне Каратаеве, старый тип русского солдата, безропотно подчиняющегося природе, произволу и смерти («Война и Мир»). Французская революция, откры-

вавшая великолепное вторжение индивидуализма во все области человеческой деятельности, поставила на суворовском военном искусстве крест. В течение XIX века, как и в XX-м, на всем протяжении между французской революцией и русской, царская армия бывала неизменно бита, как армия крепостническая. Складывавшийся на этой «национальной» почве командный состав отличался презрением к личности солдата, духом пассивного мандаринства, невежеством в области своего ремесла, полным отсутствием героического начала и изрядной вороватостью. Авторитет офицерства держался на внешних знаках отличия, на ритуале чинопочитания, на системе репрессий и даже на особом условном языке, подлом наречии рабства — «точно так», «никак нет», «не могу знать», — каким солдат должен был разговаривать с офицером. Принимая революцию на словах и присягая Временному правительству, царские маршалы попросту перекладывали на павшую династию свои собственные грехи. Они милостиво соглашались на то, чтоб Николай II был объявлен козлом отпущения за все прошлое. Но дальше — ни шагу! Где ж им было понять, что моральная сущность революции состояла в одухотворении той человеческой массы, на духовной неподвижности которой зиждилось все их благополучие. Назначенный командовать фронтом, Деникин заявил в Минске: «Революцию приемлю всецело и безотговорочно. Но революционизирование армии и внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны». Классическая формула генеральского тупоумия! Что касается рядовых генералов, то они, по выражению Залесского, требовали одного: «Не трогайте только нас, — а остальное для нас безразлично!» Однако, революция не могла их не тронуть. Выходцы из привиллегированных классов, они не могли ничего выиграть, но многого лишиться. Им угрожала потеря не только командных привиллегий, но и земельной собственности. Под прикрытием лойяльности к Временному правительству, реакционное офицерство повело тем более

ожесточенную борьбу против советов. Когда же оно убедилось, что революция неудержимо проникает в солдатские массы и в родовые деревни, оно усмотрело в этом неслыханное вероломство — со стороны Керенского, Милюкова, даже Родзянко. О большевиках нечего и говорить.

Условия существования военного флота в еще гораздо большей степени, чем армии, постоянно заключали в себе живые зародыши гражданской войны. Жизнь матросов в стальных ящиках, куда их насильственно втискивают на несколько лет, даже пищей не всегда отличалась от жизни каторжан. Тут же рядом офицерство, в большинстве из привиллегированных кругов, которое морскую службу добровольно избрало своим призванием, отождествляет отечество с царем, царя — с собою, и в матросе видит наименее ценную часть военного корабля. Два чуждых друг другу и замкнутых мира живут в тесном соприкосновении, не выпуская друг друга из глаз. Суда флота базировались на приморские промышленные города, с большим числом рабочих, необходимых для постройки и ремонта судов. К тому же в составе машинных команд и технических служб на самих кораблях немало квалифицированных рабочих. Вот условия, которые превращали военный флот в революционную мину. В переворотах и военных восстаниях всех стран матросы представляли наиболее взрывчатое вещество; почти всегда они, при первой возможности, сурово расправлялись со своим офицерством. Русские матросы не составили исключения.

В Кронштадте переворот сопровождался вспышкой кровавой мести против командиров, которые, в ужасе перед собственным прошлым, пытались спрятать от матросов революцию. Одной из первых жертв пал командующий флотом адмирал Вирен, пользовавшийся заслуженной ненавистью. Часть командного состава была матросами арестована. Офицеры, оставленные на свободе, были лишены оружия.

В Гельсингфорсе и Свеаборге адмирал Непенин не

пропускал никаких известий из восставшего Петрограда до ночи 4 марта, запугивая матросов и солдат репрессиями. Тем более свирепо вспыхнуло здесь восстание, длившееся ночь и день. Много офицеров было арестовано. Наиболее ненавистных спустили под лед. «Судя по рассказу Скобелева о поведении гельсингфорских и флотских властей, — пишет Суханов, отнюдь не снисходительный к «темной солдатчине», — надо удивляться, что эти эксцессы были так незначительны».

Но и в сухопутных войсках не обошлось без кровавых расправ, которые прошли несколькими волнами. Сперва это была месть за прошлое, за подлые заушения солдата. В воспоминаниях, жгучих, как язвы, недостатка не было. С 1915 года официально введено было в царской армии дисциплинарное наказание розгами. Офицеры по собственному усмотрению пороли солдат, нередко отцов семейств. Но дело не всегда шло только о прошлом. На Всероссийском совещании советов докладчик по вопросу об армии сообщал, что еще 15—17 марта отдавались в действующей армии приказы о наложении телесных наказаний на солдат. Депутат Думы, вернувшись с фронта, рассказывал, что казаки, в отсутствии офицеров, заявили ему: «Вот, вы говорите, приказ (повидимому знаменитый «приказ № 1», о котором еще речь впереди). Он получен вчера, а сегодня мне комендант морду набил». Большевики столь же часто ездили удерживать солдат от эксцессов, как и соглашатели. Но кровавые возмездия были так же неизбежны, как отдача после выстрела. Во всяком случае именовать Февральскую революцию бескровной у либералов не было иных оснований, кроме того, что она доставила им власть.

Некоторые из офицеров умудрялись вызывать острые конфликты из-за красных бантиков, которые в глазах солдат были символом разрыва с прошлым. На этой почве был убит командир сумского полка. Командир корпуса, потребовавший у вновь прибывшего пополнения снять красные банты, был арестован

солдатами и посажен на гауптвахту. Не мало столкновений выходило и из-за царских портретов, не удалявшихся из официальных помещений. Была ли это преданность монархии? В большинстве случаев только неверие в прочность революции и личная страховка. Но солдаты не без основания видели за портретами притаившийся призрак старого режима.

Не продуманные мероприятия сверху, а порывистые движения снизу устанавливали новый режим в армии. Дисциплинарная власть офицеров не была ни отменена, ни ограничена; она просто отпала в течение первых недель марта сама собой. «Было ясно, — говорит начальник черноморского штаба, — что если-бы офицер попробовал наложить дисциплинарное взыскание на матроса, то не было сил для приведения этого наказания в исполнение». В этом и состоит один из признаков подлинно народной революции.

С падением дисциплинарной власти практическая несостоятельность офицерства оказалась ничем не прикрыта. Станкевич, которому нельзя отказать ни в наблюдательности, ни в интересе к военному делу, дает уничтожающий отзыв о командном составе и с этой стороны: учение шло все еще по старым уставам, совершенно не отвечавшим потребностям войны. «Такие занятия были только испытанием на терпеливость и повиновение солдат». Вину за собственную несостоятельность офицерство стремилось, разумеется, переложить на революцию.

Скорые на жестокую расправу, солдаты готовы были и к детской доверчивости и самозабвенной признательности. На короткий момент депутат Филоненко, священник и либерал, показался фронтовикам носителем идей освобождения, пастырем революции. Старые церковные представления причудливо соединились с новой верой. Солдаты носили священника на руках, поднимали его над головами, усаживали заботливо в сани, — и он затем, захлебываясь от восторга, докладывал Думе: «Мы не могли распрощаться. Они целовали нам руки и ноги». Депутату казалось,

что Дума имеет в армии громадный авторитет. На самом деле авторитет имела революция, и это она бросала свой ослепительный отблеск на отдельные случайные фигуры.

Символическая чистка, произведенная Гучковым на верхах армии — смещение нескольких десятков генералов, — не давал никакого удовлетворения солдатам, а в то же время создавала в высшем офицерстве состояние неуверенности. Каждый боялся, что не подойдет, большинство плыло по течению, подлаживалось и показывало кулак в кармане. Еще хуже обстояло со средним и низшим офицерством, сталкивавшимся с солдатами лицом к лицу. Здесь правительственной чистки вовсе не было. Ища легальных путей, артиллеристы фронтовой батареи писали в Исполнительный комитет и в Государственную думу о своем командире: «Братцы ... покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу». Не получая ответа, солдаты начинали обычно действовать собственными средствами: неповиновеньем, вытеснением, даже арестами. Только после этого начальство спохватывалось, убирало с глаз арестованных или избитых, иногда пытаясь наказать солдат, но еще чаще оставляя их безнаказанными, чтоб еще больше не осложнять дела. Это создавало невыносимое положение для офицерства, не внося в то же время никакой определенности в положение солдат.

Даже многие боевые офицеры, те, которые серьезно относились к судьбе армии, настаивали на необходимости генеральной чистки командного состава: без этого, по их уверению, нельзя было и думать о возрождении боеспособности частей. Солдаты представляли депутатам Думы не менее убедительные доводы. Раньше, когда их обижали, они должны были жаловаться начальству, которое обычно не обращало на жалобы внимания. Теперь как же быть?. Ведь начальство осталось старое, значит, и судьба жалоб будет старая. «На этот вопрос было очень трудно ответить», признается депутат. А между тем этот простой

вопрос охватывал всю судьбу армии и предрешал ее будущее.

Не следует представлять себе взаимоотношения в армии однородными на всем протяжении страны, во всех родах войск и во всех частях. Нет, пестрота была очень значительна. Если матросы Балтийского флота отозвались на первую весть о революции расправой над офицерами, то рядом, в гарнизоне Гельсингфорса, офицеры еще в начале апреля занимали руководящее положение в солдатском совете, и на торжествах выступал здесь от социалистов-революционеров внушительный генерал. Таких контрастов ненависти и доверчивости было не мало. Но все же армия представляла систему сообщающихся сосудов, и политические настроения солдат и матросов тяготели к одному уровню.

Дисциплина кое-как держалась, покуда солдаты рассчитывали на скорые и решительные перемены. «Но когда солдаты увидели — по словам одного фронтового делегата, — что все осталось по-старому, тот же гнет, рабство и темнота, то же издевательство — начались волнения». Природа, которая не догадалась большую часть человечества вооружить горбами, как на грех, снабдила солдат нервной системой. Революции служат для того, чтоб напоминать время от времени об этом двойном упущении.

В тылу, как и на фронте, случайные поводы легко вели к конфликтам. Солдатам предоставлено было право свободного посещения, «наравне со всеми гражданами», театров, собраний, концертов и проч. Многие солдаты толковали это, как право бесплатного посещения театров. Министр разъяснил им, что «свободу» нужно понимать в умозрительном смысле. Но восставшие народные массы никогда еще не обнаруживали склонности ни к платонизму, ни к кантианству.

Износившаяся ткань дисциплины разрывалась в несколько приемов, в разное время в разных гарнизонах и разных частях. Командиру нередко представлялось, что в его полку или дивизии все шло хорошо

до появления газет или до приезда агитатора извне. На деле совершалась работа более глубоких и неотразимых сил.

Либеральный депутат Янушкевич привез с фронта то обобщение, что сильнее всего оказалась дезорганизация в «зеленых» частях, где мужики. «В частях, более революционных с офицерами уживаются очень хорошо». На самом деле дисциплина дольше всего держалась на двух полюсах: в привиллегированной кавалерии, из зажиточных крестьян, и в артиллерии, вообще в технических войсках, с высоким процентом рабочих и интеллигенции. Дольше всех крепились казаки-собственники, опасавшиеся аграрной революции, при которой большинство их могло только потерять, а не выиграть. Отдельные части казачества не раз и после переворота выполняли усмирительную работу. Но в общем все же разница была лишь в темпах и в сроках разложения.

В глухой борьбе были свои приливы и отливы. Офицеры пытались приспособиться. Солдаты снова начинали выжидать. Но через временные смягчения, через дни и недели перемирия, социальная ненависть, разлагавшая армию старого режима, достигала все более высокого напряжения. Она все чаще вспыхивала трагическими зарницами. В Москве, в одном из цирков, созвано было собрание инвалидов, солдат и офицеров совместно. Оратор-калека резко заговорил с трибуны про офицеров. Поднялся протестующий шум, стук ногами, палками, костылями. «А давно ли вы, господа офицеры, оскорбляли солдат розгой и кулаком?» Раненые, контуженные, изувеченные люди стояли стеной друг против друга, калеки-солдаты против калек-офицеров, большинство против меньшинства, костыли против костылей. В этой кошмарной сцене на арене цирка была уже заложена грядущая свирепость гражданской войны.

* * *

Над всеми отношениями и противоречиями в армии, как и в стране, тяготел один вопрос, который назывался коротким словом **война**. От Балтийского моря до Черного, от Черного до Каспийского, и дальше вглубь Персии, на необозримом фронте, стояло 68 пехотных и 9 кавалерийских корпусов. Что с ними будет дальше? Что будет с войною?

В области боевого снабжения армия к началу революции значительно окрепла. Внутреннее производство для нужд войны повысилось, одновременно усилился подвоз военного материала, особенно артиллерии, от союзников через Мурманск и Архангельск. Ружья, пушки, снаряды имелись в несравненно большем количестве, чем в первые годы войны. Производилось развертывание новых пехотных дивизий. Расширены были инженерные войска. На этом основании некоторые из злополучных воевод пытались позже доказывать, что Россия стояла накануне победы, и что помешала этому только революция. Двенадцать лет перед тем Куропаткин и Линевич с таким же основанием утверждали, что Витте помешал им разгромить японцев. На самом деле Россия была в начале 1917 года от победы дальше, чем когда-либо. Наряду с повышением боевого снабжения в армии обнаружился, к концу 1916 г., острый недостаток продуктов питания, тиф и цынга вызывали больше жертв, чем бои. Расстройство транспорта все более затрудняло переброску, и это одно сводило к нулю стратегические комбинации, связанные с крупными перегруппировками войсковых масс. В довершение острый недостаток лошадей осуждал нередко артиллерию на неподвижность. Но главное все же было не здесь: безнадежным было нравственное состояние армии. Его можно определить так: армии, как армии, уже не было. Поражения, отступления, мерзость правящих в конец подорвали войска. Этого нельзя было исправить административными мерами, как нельзя было изменить нервную систему страны. Солдат смотрел теперь на кучу снарядов с таким же отвращением, как на кучу червивого мяса:

все это казалось ему ненужным, негодным, обманом и воровством. И офицер не мог сказать ему ничего убедительного и уже не решался свернуть ему скулу. Офицер сам считал себя обманутым старшим командованием и в то же время нередко чувствовал за старших свою вину перед солдатом. Армия была неизлечимо больна. Она еще пригодна была, чтоб сказать свое слово в революции. Но для войны она уже не существовала. Никто не верил в успех войны, офицеры так же мало, как и солдаты. Никто не хотел больше воевать — ни армия, ни народ.

Правда, в высоких канцеляриях, где жили особой жизнью, еще говорили по инерции о больших операциях, о весеннем наступлении, о захвате турецких проливов. В Крыму даже готовили для последней цели большой отряд. В ведомостях значилось, что для десанта назначается лучший элемент армии. Из Петрограда прислали гвардейцев. Однако, по рассказу офицера, приступившего к занятиям с ними 25 февраля, т. е. за два дня до переворота, пополнение оказалось из рук вон плохое. Никакого желания воевать не было в этих равнодушных голубых, карих и серых глазах... «Все их мысли, все их стремления были только и исключительно — мир».

Таких и подобных свидетельств имеется не мало. Революция лишь обнаружила то, что сложилось до нее. Лозунг «долой войну» стал поэтому одним из главных лозунгов февральских дней. Он шел от женских демонстраций, от рабочих Выборгской стороны и из гвардейских казарм.

При объезде депутатами фронта в начале марта, солдаты, особенно старших возрастов, неизменно спрашивали: «А что же говорят про землю?» Депутаты уклончиво отвечали, что земельный вопрос будет решен Учредительным Собранием. Но тут раздается голос, выдающий общую затаенную думу: «Что земля, — если меня не будет, то мне и земли не надо». Такова исходная солдатская программа революции: сперва мир, затем земля.

На Всероссийском совещании советов, в конце марта, где было не мало патриотического бахвальства, один из делегатов, представлявший непосредственно солдатские окопы, с большой правдивостью передавал, как фронт воспринял весть о революции: «Все солдаты сказали: слава богу, может быть, теперь мир скоро будет». Окопы поручили этому делегату передать съезду: «Мы готовы жизнь свою положить за свободу, но мы все-таки, товарищи, хотим конца войны». Это был живой голос действительности, особенно во второй половине наказа. Потерпеть еще потерпим, раз нужно, но пусть там, наверху, торопятся с миром.

Царские войска во Франции, т. е. в совершенно для них искусственной среде, движимы были теми же чувствами и проделывали те же этапы разложения, что и армия на родине. «Когда услышали мы, что царь отрекся, — объяснял на чужбине офицеру пожилой солдат из безграмотных крестьян, — то здесь же и подумали, что, значит, и война кончится... Ведь царь нас на войну посылал... А зачем мне свобода, если я опять в окопах гнить должен?» Это подлинно солдатская философия революции, не извне принесенная: таких простых и убедительных слов ни один агитатор не выдумает.

Либералы и полулиберальные социалисты пытались задним числом представить революцию, как патриотическое восстание. 11 марта Милюков объяснял французским журналистам: «Русская революция произведена была для того, чтобы отстранить препятствия, стоявшие на пути России к победе». Тут лицемерие идет рядом с самообольщением, хотя лицемерия, надо думать, все же больше. Откровенные реакционеры видели яснее. Фон-Струве, панславист из немцев, православный из лютеран и монархист из марксистов, хоть и на языке реакционной ненависти, все же ближе определял действительные истоки переворота. «Поскольку в революции участвовали народные и, в частности, солдатские массы, — писал он — она была не патриотическим взрывом, а самовольно по-

громной демобилизацией и была прямо направлена против продолжения войны, т. е. была сделана ради прекращения войны».

Наряду с верной мыслью, эти слова заключают в себе, однако, и клевету. Погромная демобилизация росла на самом деле из войны. Революция не создала, а, наоборот, даже приостановила ее: Дезертирство, чрезвычайно сильное накануне революции, в первые недели после переворота ослабело. Армия выжидала. В надежде, что революция даст мир, солдат не отказывался подпереть плечом фронт: иначе ведь новое правительство и мира не сможет заключить.

«Солдаты определенно высказывают взгляд, — докладывает 23 марта начальник гренадерской дивизии, — что мы можем только обороняться, а не наступать». Военные раппорты и политические доклады на разные лады повторяют эту мысль. Прапорщик Крыленко, старый революционер и будущий верховный главнокомандующий у большевиков, свидетельствовал, что для солдат вопрос о войне разрешался в то время формулой: «фронт держать, в наступление не итти». На более торжественном, однако, вполне искреннем языке это и значило защищать свободу.

«Штыки в землю втыкать нельзя!» Под влиянием смутных и противоречивых настроений, солдаты в те времена отказывались нередко и слушать большевиков. Им казалось, может быть, под впечатлением отдельных неумелых речей, что большевики не заботятся об обороне революции и могут помешать правительству заключить мир. В этом солдат чем дальше, тем больше заверяли социал-патриотические газеты и агитаторы. Но не давая подчас большевикам выступать, солдаты с первых дней революции решительно отвергали мысль о наступлении. Столичным политикам это казалось каким-то недоразумением, которое можно устранить, если на солдат как следует нажать. Агитация за войну выросла в чрезвычайной степени. Буржуазная пресса в миллионах экземпляров изображала задачи революции в свете войны до победы. Со-

глашатели подтягивали этой агитации, вначале вполголоса, потом смелее. Влияние большевиков, очень слабое в момент переворота, еще более уменьшилось, когда тысячи рабочих, сосланных на фронт за забастовки, покинули ряды армии. Стремление к миру почти не находило, таким образом, открытого и ясного выражения как раз там, где оно было напряженнее всего. Командирам и комиссарам, которые искали утешительных иллюзий, такое положение давало возможность обманываться насчет действительного положения вещей. В статьях и речах того времени нередки утверждения, будто солдаты отказываются от наступления исключительно вследствие неправильного понимания формулы «без аннексий и контрибуций». Соглашатели не щадили себя, разъясняя, что оборонительная война допускает наступление, а иногда и требует его. Как будто дело было в этой схоластике! Наступление означало возобновление войны. Выжидательное держание фронта означало перемирие. Солдатская теория и практика оборонительной войны была формой молчаливого, а в дальнейшем и открытого, соглашения с немцами: «Не трогайте нас, и мы вас не тронем». Больше этого армия уже не могла дать войне.

Солдаты тем менее поддавались воинственным увещаниям, что, под видом подготовки к наступлению, реакционное офицерство явно пыталось прибирать вожжи к рукам. В солдатский обиход входила фраза: «Штык против немцев, приклад против внутреннего врага». Штык во всяком случае имел оборонительное назначение. О проливах окопные солдаты не думали. Стремление к миру составляло могучее подпочвенное течение, которое скоро должно было пробиться наружу.

Не отрицая, что уже до революции «замечались» в армии отрицательные явления, Милюков пытался, однако, долгое время после переворота утверждать, что армия была способна осуществить предписанные ей Антантой задачи. «Большевистская пропаганда — писал он в качестве историка — далеко не сразу проникла

на фронт. Первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой». Весь вопрос рассматривается в плоскости пропаганды, как будто ею исчерпывается исторический процесс. Под видом запоздалой борьбы с большевиками, которым он приписывает явно мистическую силу, Милюков ведет борьбу с фактами. Мы уже видели, как армия выглядела в действительности. Посмотрим, как сами командиры оценивали ее боеспособность в первые недели и даже дни после переворота.

6-го марта главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский сообщает Исполнительному комитету, что начинается полное неподчинение солдат власти; необходим приезд на фронт популярных деятелей, чтобы внести хоть какое-нибудь спокойствие в армию.

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает в своих воспоминаниях: «С первых дней революции для меня было ясно, что войну вести нельзя, и что она проиграна». Того же мнения, держался, по его словам, и Колчак, и если оставался в должности командующего флотом, то только для того, чтобы предохранить офицерский состав от насилий.

Граф Игнатьев, занимавший высокий командный пост в гвардии, писал в марте Набокову: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа... Гучков тогда же сказал Набокову, что получает такие письма массами.

Отдельные, по внешности, более благоприятные отзывы, крайне редкие, разрушаются обычно дополнительными пояснениями. «Стремление войск к победе осталось, — доносит командующий 2-й армией Данилов, — в некоторых частях даже усилилось». Но тут же замечает: «Дисциплина пала... Наступательные действия желательно отложить до тех пор, когда острое положение уляжется (1—3 месяца)». Затем неожиданное добавление: «Из пополнений доходит 50%;

если они будут так же таять и впредь и будут так же недисциплинированы, на успех наступления рассчитывать нельзя».

«К оборонительным действиям дивизия вполне способна», докладывает доблестный начальник 51-й пехотной дивизии, — и тут же присовокупляет: «Необходимо избавить армию от влияния солдатских и рабочих депутатов». Это, однако, совсем не так просто!

Начальник 182-й дивизии докладывает командиру корпуса: «С каждым днем все чаще появлялись недоразумения по пустякам, в сущности, но грозные по характеру, все больше и больше нервировались солдаты и тем более офицеры».

Здесь дело идет пока еще о разрозненных свидетельствах, хотя и многочисленных. Но вот 18-го марта состоялось в ставке совещание высших чинов по поводу состояния армии. Заключения центральных управлений единодушны. «Укомплектование людьми в ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных частях происходят брожения. Армия переживает болезнь. Наладить отношения между офицерами и солдатами удастся, вероятно, лишь через 2—3 месяца (генералы не понимали, что болезнь будет только еще прогрессировать). Пока же замечается упадок духа среди офицерского состава, брожение в войсках, значительное дезертирство. Боеспособность армии понижена, и рассчитывать на то, что в данное время армия пойдет вперед, очень трудно». Вывод: «приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо».

В следующие за этим недели положение продолжает быстро ухудшаться, и свидетельства множатся без конца.

В конце марта командующий 5-ой армией генерал Драгомиров писал генералу Рузскому: «Боевое настроение упало. Не только у солдат нет никакого желания наступать, но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени, угрожающей исходу войны...

Политика, широко охватившая все слои армии ... заставила всю войсковую массу желать одного — прекращения войны и возвращения домой».

Генерал Лукомский, один из столпов реакционной ставки, недовольный новыми порядками, перешел в начале революции на командование корпусом, и нашел, по его рассказу, что дисциплина держалась еще только в артиллерийских и инженерных частях, в которых было много кадровых офицеров и солдат. «Что же касается всех трех пехотных дивизий, то они были на пути к полному развалу».

Дезертирство, сократившееся после переворота под влиянием надежд, снова возросло под влиянием разочарования. За одну неделю, с 1-го по 7-ое апреля, дезертировало, по сообщению генерала Алексеева, около 8 тысяч солдат с Северного и Западного фронта. «С большим удивлением, — писал он Гучкову, — читаю отчеты безответственных людей о «прекрасном» настроении армии. Зачем? Немцев не обманем, а для себя — это роковое самообольщение».

Следует отметить себе, что нигде еще почти нет ссылки на большевиков: большинство офицеров едва усвоило это странное название. Если в рапортах поднимается речь о причинах разложения армии, то это оказываются газеты, агитаторы, советы, «политика» вообще, словом, Февральская революция.

Попадались еще отдельные начальники-оптимисты, которые надеялись, что все образуется. Больше было таких, которые преднамеренно закрывали глаза на факты, чтоб не причинять неприятностей новой власти. И, наоборот, значительное число командиров, особенно высших, сознательно преувеличивало признаки распада, чтоб добиться от власти решительных мер, которых они, однако, сами не могли или не решались назвать по имени. Но основная картина бесспорна. Застигнув больную армию, переворот облек процесс ее неудержимого распада в политические формы, которые с каждой неделей принимали все более беспощадную отчетливость. Революция доводила до конца не

только страстную жажду мира, но и вражду солдатской массы к командному составу и господствующим классам вообще.

В середине апреля Алексеев сделал личный доклад правительству о настроении армии, причем, видимо, не щадил красок. «Я хорошо припоминаю, пишет Набоков, какое чувство жути и безнадежности меня охватывало». Надо полагать, при этом докладе, который мог относиться лишь к первым шести неделям после переворота, присутствовал и Милюков; вероятнее всего, именно он выводил Алексеева, стремясь запугать своих коллег, а через их посредство — друзей-социалистов. Гучков действительно имел после этого беседу с представителями Исполнительного комитета. «Начались гибельные братания, — жаловался он. — Зарегистрированы случаи прямого неповиновения. Приказы предварительно обсуждаются в армейских организациях и на общих митингах. Об активных операциях в таких-то частях не пожелали и слушать... Когда люди надеются, что завтра будет мир, — не без основания говорил Гучков, — то сегодня нельзя заставить себя сложить голову». Отсюда военный министр делал вывод: «Надо перестать говорить вслух о мире». А так как именно революция научила людей вслух говорить о том, о чем они думали раньше про себя, то это значило: надо прикончить революцию.

Солдат, конечно, и в первый день войны не хотел ни умирать, ни воевать. Но он так же не хотел этого, как артиллерийская лошадь не хотела тащить тяжелое орудие по грязи. Как лошадь, он не думал, что от навалившейся на него ноши можно избавиться. Между его волей и событиями войны не было никакой связи. Революция открыла ему эту связь. Для миллионов солдат она стала означать право на лучшую жизнь, прежде всего право на жизнь вообще, право оградить свою жизнь от пуль и снарядов, а заодно — и свою физиономию от офицерского кулака. В этом смысле и сказано выше, что основной психологический процесс в армии состоял в пробуждении личности. В вулканиче-

ском извержении индивидуализма, принимавшего нередко анархические формы, образованные классы видели измену нации. А между тем на деле в бурных выступлениях солдат, в их необузданных протестах, даже в их кровавых эксцессах только и формировалась нация из сырого безличного доисторического материала. Столь ненавистный буржуазии разлив массового индивидуализма вызывался характером Февральской революции, именно как революции буржуазной.

Но это было не ее единственное содержание. Ибо, помимо крестьянина и его сына-солдата, в революции участвовал рабочий. Он уже давно чувствовал себя личностью, вошел в войну не только с ненавистью к ней, но и с мыслью о борьбе против нее, и революция означала для него не только голый факт победы, но и частичное торжество его идей. Низвержение монархии для него было лишь первой ступенью, и он на ней не задерживался, торопясь к другим целям. Весь вопрос для него состоял в том, насколько его дальше поддержат солдат и крестьянин. — Зачем мне земля, если меня не будет на ней? — спрашивал солдат. — Зачем мне свобода, говорил он вслед за рабочим, стоя у недоступных для него дверей театра, если ключи к свободе у господ? Так сквозь необозримый хаос Февральской революции уже просвечивали стальные черты Октябрьской.

ПРАВЯЩИЕ И ВОЙНА.

Что думали делать с этой войной и с этой армией Временное правительство и Исполнительный комитет?

Прежде всего нужно понять политику либеральной буржуазии, так как первую скрипку играла она. По внешнему виду военная политика либерализма оставалась наступательно-патриотической, захватнической, непримиримой. На самом деле она была противоречивой, вероломной и быстро становилась пораженческой.

«Если бы и не было революции, война все равно была бы проиграна, и был бы по всей вероятности заключен сепаратный мир», писал впоследствии Родзянко, суждения которого не отличались самостоятельностью, но именно поэтому хорошо выражали среднее мнение либерально-консервативных кругов. Восстание гвардейских батальонов предвещало имущим классам не внешнюю победу, а внутреннее поражение. Либералы тем меньше могли делать себе на этот счет иллюзии, что они заранее предвидели опасность и, как могли, боролись против нее. Неожиданный революционный оптимизм Милюкова, объявившего переворот ступенью к победе, был в сущности последним рессурсом отчаяния. Вопрос о войне и мире на три четверти перестал для либералов быть самостоятельным вопросом. Они чувствовали, что им не дано будет использовать революцию для войны. Тем повелительнее вставала перед ними другая задача: использовать войну против революции.

Вопросы мирового положения России после войны: долги и новые займы, рынки капиталов и рынки сбыта, стояли, разумеется, и сейчас перед вождями русской буржуазии. Но не эти вопросы определяли ее политику непосредственно. Сегодня дело шло не об обес-

печении наиболее выгодных международных условий для буржуазной России, а о спасении самого буржуазного режима, хотя бы ценою дальнейшего обессиления России. «Сперва надо выздороветь, — говорил тяжко раненый класс,—а затем уж приводить в порядок дела». Выздороветь значило справиться с революцией.

Поддержание военного гипноза и шовинистических настроений открывало для буржуазии единственную еще возможную политическую связь с массами, прежде всего с армией, против так называемых углубителей революции. Задача состояла в том, чтоб унаследованную от царизма войну, с прежними союзниками и целями, представить народу, как новую войну, как оборону революционных завоеваний и надежд. Стоит этого достигнуть, — но как? — и либерализм твердо рассчитывал направить против революции всю ту организацию патриотического общественного мнения, которая вчера служила ему против распутинской клики. Если не удалось спасти монархию, как высшую инстанцию против народа, нужно было тем более держаться за союзников: на время войны Антанта, во всяком случае, представляла апелляционную инстанцию несравненно более могущественную, чем могла бы явиться собственная монархия.

Продолжение войны должно было оправдать сохранение старого военного и бюрокртического аппарата, оттяжку Учредительного Собрания, подчинение революционной страны фронту, т. е. генералитету, сомкнувшемуся с либеральной буржуазией. Все внутренние вопросы, прежде всего аграрный, и все социальное законодательство, откладывались до окончания войны, которое, в свою очередь, откладывалось до победы, в которую либералы не верили. Война на истощение врага превращалась в войну на истощение революции. Это, может быть, и не был законченный план, заранее обсужденный и взвешенный на официальных заседаниях. Но в этом и не было надобности. План вытекал из всей предшествующей

политики либерализма и из созданной революцией обстановки.

Вынужденный итти путем войны, Милюков не имел, разумеется, основания заранее отказываться от участия в дележе добычи. Ведь надежды на победу союзников оставались вполне реальными, а со вступлением Америки в войну чрезвычайно возросли. Правда, Антанта — одно, а Россия — другое. Вожди русской буржуазии научились в течение лет понимать, что при экономической и военной слабости России, победа Антанты над центральными империями неминуемо должна стать ее победой над Россией, которая при всех возможных варьянтах должна выйти из войны разбитой и ослабленной. Но либеральные империалисты решили сознательно закрывать глаза на эту перспективу. Другого им ничего уже и не оставалось. Гучков прямо заявлял в своем кругу, что спасти Россию может только чудо, и что надежда на чудо составляет его программу, как военного министра. Милюкову для внутренней политики нужен был миф победы. В какой мере он еще сам верил в него, не имеет значения. Но он упрямо твердил, что Константинополь должен быть наш. При этом он действовал со свойственным ему цинизмом. 20 марта русский министр иностранных дел убеждал союзных послов предать Сербию, чтоб купить таким путем измену Болгарии центральным империям. Французский посол морщился. Милюков, однако, настаивал на «необходимости отказаться в этом вопросе от сентиментальных соображений», а заодно и от того неославизма, который он проповедывал со времени разгрома первой революции. Недаром Энгельс писал Бернштейну еще в 1882 г.: «К чему сводится все русское панславистское шарлатанство? К взятию Константинополя — вот и все».

Обвинения в германофильстве, даже в немецком подкупе, направлявшиеся еще вчера против дворцовой камарильи, были сегодня повернуты отравленным острием против революции. Чем дальше, тем смелее,

громче, наглее звучала эта нота в речах и статьях кадетской партии. Прежде чем овладеть турецкими водами, либерализм мутил источники и отравлял колодцы революции.

Далеко не все либеральные лидеры, во всяком случае, не сразу, заняли после переворота непримиримую позицию в вопросе о войне. Многие находились еще в атмосфере дореволюционных настроений, связанных с перспективой сепаратного мира. Отдельные руководящие кадеты рассказали об этом впоследствии с полной откровенностью. Набоков, по собственному признанию, уже 7-го марта заговаривал с членами правительства о сепаратном мире. Несколько членов кадетского центра коллективно пытались доказать своему лидеру невозможность затягивания войны. «Милюков со свойственной ему холодной отчетливостью доказывал, по словам барона Нольде, что цели войны должны быть достигнуты». Генерал Алексеев, сблизившийся в это время с кадетами, подтягивал Милюкову, утверждая, что «армия может быть поднята». Поднять ее призван был, очевидно, этот штабной организатор бедствий.

Кое-кто среди либералов и демократов, понаивнее, не понимал курса Милюкова и считал его самого рыцарем верности союзникам, Дон-Кихотом Антанты. Какая нелепость! После того, как большевики взяли власть, Милюков ни на минуту не задумался отправиться в оккупированный немцами Киев и предложить свои услуги гогенцоллернскому правительству, которое, правда, не торопилось их принять. Ближайшей целью Милюкова было при этом получить для борьбы с большевиками то самое немецкое золото, призраком которого он пытался ранее запятнать революцию. Апелляция Милюкова к Германии показалась в 1918 году многим либералам столь же непонятной, как в первые месяцы 1917 года — его программа разгрома Германии. Но это были лишь две стороны одной и той же медали. Готовясь изменить союзникам, как ранее Сербии, Милюков не изменял ни себе, ни своему

классу. Он проводил одну и ту же политику, и не его вина, если она выглядела неказисто. Прощупывая при царизме пути сепаратного мира с целью избегнуть революции; требуя войны до конца, чтоб справиться с Февральской революцией; ища позже союза с Гогенцоллерном, чтоб опрокинуть Октябрьскую революцию, — Милюков одинаково оставался верен интересам имущих. Если он им не помог, расшибаясь каждый раз о новую стену, то это потому, что его доверители находились в тупике.

Чего Милюкову особенно не хватало на первых порах после переворота, так это неприятельского наступления, хорошего германского тумака по черепу революции. На беду март и апрель по климатическим условиям были неблагоприятны на русском фронте для операций большого масштаба. А главное, немцы, положение которых становилось все более тяжким, решили, после больших колебаний, предоставить русскую революцию своим внутренним процессам. Только генерал Лизинген проявил частную инициативу на Стоходе 20—21 марта. Его успех одновременно испугал германское правительство и обрадовал русское. С таким же бесстыдством, с каким ставка при царе преувеличивала малейшие успехи, она теперь раздула поражение на Стоходе. Следом за ней шла либеральная печать. Случаи неустойчивости, паники и потерь в русских войсках живописались с таким же вкусом, как ранее — пленных и трофеи. Буржуазия и генералитет явно переходили на позиции пораженчества. Но Лизинген был остановлен сверху, и фронт снова застыл в весенней грязи и в выжидании.

Замысел — опереться на войну против революции — мог иметь шансы на успех лишь при условии, если промежуточные партии, за которыми шли народные массы, соглашались брать на себя роль передаточного механизма либеральной политики. Связать идею войны с идеей революции либерализму было не под силу: еще вчера он проповедывал, что революция будет гибельна для войны. Надо было навязать эту задачу

демократии. Но перед ней, конечно, нельзя было раскрывать «секрета». Ее надо было не посвящать в план, а поймать на крючок. Надо было ее зацепить за ее предрассудки, за ее чванство своим государственным разумом, за ее страх пред анархией, за ее суеверное преклонение пред буржуазией.

В первые дни социалисты — мы вынуждены называть так для краткости меньшевиков и эсеров — не знали, что им делать с войной. Чхеидзе вздыхал: «Мы все время говорили против войны, как же я могу теперь призывать к продолжению войны?» 10-го марта Исполнительный комитет постановил послать приветствие Францу Мерингу. Этой маленькой демонстрацией левое крыло пыталось успокоить свою не очень требовательную социалистическую совесть. О самой войне Совет продолжал молчать. Вожди боялись создать на этом вопросе столкновение с Временным правительством и омрачить медовые недели «контакта». Не меньше боялись они расхождений в собственной среде. Среди них были оборонцы и циммервальдцы. Те и другие переоценивали свои разногласия. Широкие круги революционной интеллигенции претерпели за время войны основательное буржуазное перерождение. Патриотизм, открытый или замаскированный, связал интеллигенцию с правящими классами, оторвав ее от масс. Знамя Циммервальда, которым прикрывалось левое крыло, не обязывало ко многому, а в то же время позволяло не обнажать свою патриотическую солидарность с распутинской кликой. Но теперь романовский режим был опрокинут. Россия стала демократической страной. Ее игравшая всеми красками свобода ярко выделялась на полицейском фоне Европы, зажатой в тиски военной диктатуры. Неужели же мы не будем защищать нашу революцию против Гогенцоллерна? восклицали старые и новые патриоты, ставшие во главе Исполнительного комитета. Циммервальдцы, типа Суханова и Стеклова, неуверенно ссылались на то, что война остается империалистической: ведь либералы заявляют, что ре-

волюция должна обеспечить намеченные при царе аннексии. «Как же я могу призывать теперь к продолжению войны?» тревожился Чхеидзе. Но так как сами циммервальдцы были инициаторами передачи власти либералам, то их возражения повисали в воздухе. После нескольких недель колебаний и сопротивлений, первая часть плана Милюкова была, при содействии Церетелли, достаточно благополучно разрешена: плохие демократы, считавшие себя социалистами, впряглись в лямку войны и, под кнутом либералов, старались изо всех силенок обеспечить победу... Антанты над Россией, Америки над Европой.

Главная функция соглашателей состояла в том, чтоб революционную энергию масс переключить на провода патриотизма. Они стремились, с одной стороны, возродить боеспособность армии, — это было трудно; они пытались, с другой стороны, побудить правительства Антанты отказаться от грабежей, — это было смехотворно. В обоих направлениях они шли от иллюзий к разочарованиям и от ошибок к унижениям. Отметим первые вехи на этом пути.

В часы своего недолгого величия Родзянко успел издать приказ о немедленном возвращении солдат в казармы и о подчинении их офицерам. Вызванное этим возбуждение гарнизона заставило Совет посвятить одно из первых своих заседаний вопросу о дальнейшей судьбе солдата. В горячей атмосфере тех часов, в хаосе заседания, похожего на митинг, под прямую диктовку солдат, которым не успели помешать отсутствовавшие вожди, возник знаменитый «приказ № 1», единственный достойный документ Февральской революции, хартия вольностей революционной армии. Его смелые параграфы, дававшие солдатам организованный выход на новую дорогу, постановляли: создать во всех воинских частях выборные комитеты; выбрать солдатских представителей в Совет; во всех политических выступлениях подчиняться Совету и своим комитетам; оружие держать под контролем ротных и батальонных комитетов и «ни в коем случае не вы-

давать офицерам»; в строю — строжайшая воинская дисциплина, вне строя — полнота гражданских прав; отдание чести вне службы и титулование офицеров отменяется; воспрещается грубое обращение с солдатами, в частности обращение к ним на «ты» и пр.

Таковы были выводы петроградских солдат из их участия в перевороте. Могли ли они быть иными? Сопротивляться никто не посмел. Во время выработки «приказа» вожди Совета были отвлечены более высокими заботами: они вели переговоры с либералами. Это дало им возможность ссылаться на свое alibi, когда им пришлось оправдываться перед буржуазией и командным составом.

Одновременно с приказом № 1 Исполнительный комитет, успевший спохватиться, прислал в типографию, в качестве противоядия, обращение к солдатам, которое, под видом осуждения самосудов над офицерами, требовало подчинения старому командному составу. Наборщики попросту отказались набирать этот документ. Демократические авторы были вне себя от возмущения: куда мы идем? Неправильно было бы, однако, полагать, будто наборщики стремились к кровавым расправам над офицерством. Но призыв к подчинению царскому командному составу на второй день после переворота казался им равносильным открытию ворот контр-революции. Конечно, наборщики превысили свои права. Но они чувствовали себя не только наборщиками. Дело шло, по их мнению, о голове революции.

В те первые дни, когда судьба возвращавшихся в полки офицеров крайне остро волновала как солдат, так и рабочих, межрайонная социал-демократическая организация, близкая к большевикам, поставила больной вопрос с революционной смелостью. «Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры, — гласило выпущенное ею к солдатам воззвание — выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа». И что же? Прокламация,

вполне отвечавшая обстановке, была немедленно конфискована Исполнительным комитетом, а Чхеидзе в своей речи назвал ее провокаторской. Демократы, как видим, совсем не стеснялись ограничивать свободу печати, поскольку удары приходилось наносить налево. К счастью, их собственная свобода была достаточно ограниченной. Поддерживая Исполнительный комитет, как свой высший орган, рабочие и солдаты во все важные моменты поправляли политику руководства прямым вмешательством с своей стороны.

Уже через несколько дней Исполнительный комитет пытался путем «приказа № 2» отменить первый приказ, ограничивая поле его действия петроградским военным округом. Тщетно! Приказ № 1 был несокрушим, ибо он ничего не выдумывал, а только закреплял то, что рвалось наружу в тылу и на фронте и требовало признания. Лицом к лицу с солдатами даже либеральные депутаты заслонялись от вопросов и упреков «приказом № 1». Но в большой политике смелый приказ стал главным аргументом буржуазии против советов. Битые генералы открыли с этих пор в «приказе № 1» главное препятствие, помешавшее им сокрушить немецкие войска. Происхождение приказа выводилось из Германии. Соглашатели не уставали оправдываться в содеянном и нервировали солдат, пытаясь правой рукой отнять то, что упустили левой.

Между тем в Совете большинство рядовых депутатов уже требовало выборности командиров. Демократы всполошились. Не найдя лучших доводов, Суханов пугал тем, что буржуазия, которой вручена власть, на выборность не пойдет. Демократы откровенно прятались за спину Гучкова. В их игре либералы занимали то самое место, которое монархия должна была занять в игре либерализма. «Идя с трибуны на свое место, — рассказывает Суханов, — я натолкнулся на солдата, который загородил мне дорогу и, потрясая у меня перед глазами кулаком, в ярости кричал о господах, не бывших никогда в солдатской шкуре». После этого «эксцесса» наш демократ, окон-

чательно потерявший равновесие, побежал искать Керенского, и лишь при помощи последнего «вопрос был затем как-то смазан». Эти люди только и делали, что смазывали вопросы.

Две недели удавалось им притворяться, что они не замечают войны. Наконец, дальнейшие оттяжки стали невозможны. 14 марта Исполнительный комитет внес в Совет написанный Сухановым проект манифеста «К народам всего мира». Либеральная печать назвала вскоре этот документ, объединивший правых и левых соглашателей, «приказом № 1» в области внешней политики. Но эта лестная оценка была столь же фальшива, как и тот документ, к которому она относилась. «Приказ № 1» представлял собою честный ответ самих низов на вопросы, поставленные революцией перед армией. Манифест 14 марта представлял собою вероломный ответ верхов на вопросы, честно поставленные им солдатами и рабочими.

Манифест, конечно, выражал пожелание мира, притом демократического, без аннексий и контрибуций. Но этой фразеологией западные империалисты научились пользоваться задолго до февральского переворота. Именно во имя прочного, честного, «демократического» мира Вильсон собирался в те дни вступить в войну. Благочестивый Асквит давал в парламенте ученую классификацию аннексий, из которой вытекало с несомненностью, что осуждены, как безнравственные, должны быть все те аннексии, которые противоречат интересам Великобритании. Что касается французской дипломатии, то самая суть ее состояла в том, чтоб жадности лавочника и ростовщика придавать наиболее освободительное выражение. Советский документ, которому нельзя отказать в простоватой искренности побуждений, фатально попадал в наезженную колею официального французского лицемерия. Манифест обещал «стойко защищать нашу собственную свободу» от иностранного милитаризма. Именно этим и промышляли французские социал-патриоты с августа 1914 года. «Наступила пора народам взять в свои

руки решение вопроса о войне и мире», возглашал Манифест, авторы которого от имени русского народа только что предоставили разрешать этот вопрос крупной буржуазии. Рабочих Германии и Австро-Венгрии манифест призывал: «Откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров!» Эти слова заключали в себе квинт-эссенцию лжи, ибо вожди Совета и не думали рвать собственный союз с королями Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами, своими собственными и всех стран Антанты. Передав руководство внешней политикой Милюкову, который недавно еще собирался превратить Восточную Пруссию в русскую губернию, вожди Совета призывали германских и австро-венгерских рабочих следовать примеру русской революции. Театральное осуждение бойни ничего не меняло, этим занимался и папа. При помощи патетических фраз, направленных против теней банкира, помещика и короля, соглашатели превращали Февральскую революцию в орудие реальных королей, помещиков и банкиров. Уже в приветственной телеграмме Временному правительству, Ллойд-Джордж оценил русскую революцию, как доказательство того, что «настоящая война в основе своей есть борьба за народное правительство и за свободу». Манифест 14 марта «в основе своей» солидаризировался с Ллойд-Джорджем и оказывал ценную поддержку милитаристической пропаганде в Америке. Трижды права была газета Милюкова, когда писала, что «воззвание, начавшееся со столь типичных пацифистских тонов, в сущности, развертывается в идеологию, общую нам со всеми нашими союзниками». Если русские либералы тем не менее не раз свирепо нападали на манифест, а французская цензура вообще не пропускала его, то это вызывалось страхом перед тем толкованием, которое давали этому документу революционные, но еще доверчивые массы.

Написанный циммервальдцем Манифест знаменовал принципиальную победу патриотического крыла.

На местах советы подхватили сигнал. Лозунг «война войне» был объявлен недопустимым. Даже на Урале и в Костроме, где большевики были сильны, патриотический манифест получил единогласное одобрение. Не мудрено: ведь и в Петроградском совете большевики не дали этому фальшивому документу отпора.

Через несколько недель пришлось производить частичную уплату по векселю. Временное правительство выпустило военный заем, который, конечно, был назван «займом свободы». Церетелли доказывал, что так как правительство «в общем и целом» выполняет свои обязательства, демократия должна поддержать заем. В Исполнительном комитете оппозиционное крыло собрало больше трети голосов. Но на пленуме Совета (22 апреля) против займа голосовало всего 112 человек из почти двух тысяч депутатов. Отсюда делали иногда вывод: Исполком левее Совета. Но это неверно. Совет был лишь честнее Исполкома. Если война есть защита революции, то нужно дать на войну деньги, нужно поддержать заем. Исполком был не революционнее, а уклончивее. Он жил двусмысленностями и оговорками. Им же поставленное правительство он поддерживал «в общем и целом» и брал на себя ответственность за войну лишь «постольку поскольку». Эти мелкие хитрости были чужды массам. Солдаты не могли ни воевать постольку поскольку, ни умирать в общем и целом.

Чтоб закрепить победу государственной мысли над бреднями, генерал Алексеев, собиравшийся 5-го марта расстреливать шайки пропагандистов, официально поставлен был 1 апреля во главе вооруженных сил. Отныне все было в порядке. Вдохновитель внешней политики царизма, Милюков, состоял министром иностранных дел. Руководитель армии при царе, Алексеев, стал верховным главнокомандующим революции. Преемственность была восстановлена полностью.

В то же время советские вожди вынуждались логикой положения сами распускать петли той сети, ко-

торую плели. Официальная демократия смертельно боялась тех командиров, которых терпела и поддерживала. Она не могла не противопоставить им свой контроль, стремясь одновременно и опереть его на солдат и сделать его по возможности независимым от них. В заседании 6 марта Исполнительный комитет признал желательным ввести своих комиссаров при всех воинских частях и военных учреждениях. Таким образом создавалась тройная связь: части делегировали своих представителей в Совет; Исполнительный комитет посылал своих комиссаров в части; наконец, во главе каждой части становился выборный комитет, представлявший собой как бы низовую ячейку Совета.

Одну из важнейших обязанностей комиссаров составляло наблюдение за политической благонадежностью штабов и командного состава. «Демократический режим, пожалуй, превзошел самодержавный», негодует Деникин и тут же хвастает, как ловко его штаб перехватывал и передавал ему шифрованную переписку комиссаров с Петроградом. Присматривать за монархистами и крепостниками, — что может быть возмутительнее? Иное дело — воровать переписку комиссаров с правительством. Но как бы ни обстояло с моралью, внутренние отношения правящаго аппарата армии выступают с полной ясностью: обе стороны боятся друг друга и враждебно следят друг за другом. Их связывает только общий страх пред солдатами. Сами генералы и адмиралы, каковы бы ни были их дальнейшие надежды и планы, ясно видели, что без демократического прикрытия им не сдобровать. Положение о комитетах во флоте было выработано Колчаком. Он рассчитывал в будущем задушить их. Но так как сегодня нельзя было шагу ступить без комитетов, то Колчак ходатайствовал перед ставкой об их утверждении. Подобным же образом генерал Марков, один из будущих белых полководцев, послал в начале апреля в министерство проект института комиссаров для проверки лойяльности командного состава. Так «вековые законы армии», т. е. традиции военного бю-

рократизма, ломались, как соломинки, под напором революции.

Солдаты подходили к комитетам с противоположного конца и сплачивались вокруг них против командного состава. И хотя комитеты защищали командиров от солдат, но только до известного предела. Положение офицера, пришедшего в столкновение с комитетом, становилось невыносимым. Так складывалось неписанное право смещения солдатами начальников. На Западном фронте, по словам Деникина, к июлю месяцу ушло до 60 старых начальников, от командира корпуса до командира полка. Подобные же смещения происходили и внутри полков.

Тем временем шла кропотливая канцелярская работа в военном министерстве, в Исполкоме, в контактных заседаниях, имевшая задачей создать «разумные» формы отношений в армии и поднять авторитет начальников, сведя армейские комитеты ко второстепенной, преимущественно хозяйственной роли. Но пока высокие вожди тенью щетки чистили тень революции, комитеты развернулись в могущественную централизованную систему, восходившую к Петроградскому Исполнительному комитету и организационно закреплявшую за ним власть над армией. Этой властью Исполнительный комитет пользовался, однако, главным образом, для того, чтобы через комиссаров и комитеты снова впрячь армию в войну. Солдатам приходилось все чаще задумываться над вопросом, как это так выходит, что избранные ими комитеты говорят часто не то, что думают они, солдаты, а то, чего хочет от них, солдат, начальство.

Окопы все в большем и большем числе посылают в столицу депутатов, узнать, что и как. С начала апреля движение фронтовиков становится непрерывным, каждый день в Таврическом идут коллективные беседы, приезжие солдаты тяжело шевелят мозгами, разбираясь в таинствах политики Исполкома, который ни на один вопрос не умеет ответить ясно. Армия грузно переходит на советскую позицию, чтоб тем

яснее убедиться в несостоятельности советского руководства.

Либералы, не смея открыто противопоставить себя Совету, пытаются, однако, еще вести борьбу за армию. Политической связью с ней должен, конечно, служить шовинизм. Кадетский министр Шингарев на одном из собеседований с окопными ходоками защищал приказ Гучкова против «излишней снисходительности» к пленным, ссылаясь на «немецкие зверства». Министр не встретил ни малейшего сочувствия. Собрание решительно высказалось за облегчение участи пленных. Это были те самые люди, которых либералы походя обвиняли в эксцессах и зверствах. Но у серых фронтовиков имелись свои критерии. Они считали допустимым отмстить офицеру за издевательства над солдатами; но им казалось подлостью мстить пленному немецкому солдату за действительные или мнимые зверства Людендорфа. Вечные нормы морали, увы, оставались чужды этим корявым и вшивым мужикам.

Из попыток буржуазии овладеть армией возникло состязание, впрочем, совсем не развернувшееся, между либералами и соглашателями на съезде делегатов Западного фронта 7—10 апреля. Первый съезд одного из фронтов должен был стать решающей политической проверкой армии, и обе стороны послали в Минск лучшие свои силы. От Совета: Церетелли, Чхеидзе, Скобелев, Гвоздев; от буржуазии — сам Родзянко, кадетский Демосфен, Родичев и другие. Страшное напряжение царило в битком набитом здании минского театра и расходилось из него кругами по городу. Из сообщений делегатов раскрывалась картина того, что есть. По всему фронту идет братанье, солдаты берут все смелей инициативу, командный состав и думать не может о репрессивных мерах. Что тут могли сказать либералы? Пред лицом этой страстной аудитории они сразу отказались от мысли противопоставлять свои резолюции советским. Они ограничивались патриотическими нотами в приветственных речах и скоро смылись совсем. Битва была выиграна демократами

без боя. Им приходилось не вести массы против буржуазии, а сдерживать их. Лозунг мира, двусмысленно переплетенный с лозунгом обороны революции в духе Манифеста 14 марта, господствовал над съездом. Советская резолюция о войне была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся. Последняя надежда либералов противопоставить фронт тылу, армию — совету, рассыпалась прахом. Но и демократические вожди возвращались со съезда более напуганные своей победой, чем вдохновленные ею. Они увидели духов, пробужденных революцией, и почувствовали, что эти духи им не по плечу.

БОЛЬШЕВИКИ И ЛЕНИН.

3 апреля в Петроград прибыл из эмиграции Ленин. Только с этого момента большевистская партия начинает говорить полным голосом и, что еще важнее, своим собственным.

Первый месяц революции был для большевизма временем растерянности и шатаний. В «Манифесте» Центрального комитета большевиков, составлявшемся сейчас же после победы восстания, говорилось, что «рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во Временное революционное правительство». Манифест был напечатан в официальном органе Совета без комментариев и возражений, точно речь шла об академическом вопросе. Но и руководящие большевики придавали своему лозунгу чисто демонстративное значение. Они действовали не как представители пролетарской партии, которая готовится открыть самостоятельную борьбу за власть, а как левое крыло демократии, которое, провозглашая свои принципы, собирается в течение неопределенно долгого времени играть роль лойальной оппозиции.

Суханов утверждает, что на заседании Исполнительного комитета 1 марта в центре обсуждения стояли лишь условия передачи власти: против самого факта образования буржуазного правительства не было поднято ни одного голоса, несмотря на то, что в Исполнительном комитете числилось из 39 членов 11 большевиков и примыкающих к ним, причем 3 члена центра, Залуцкий, Шляпников и Молотов, присутствовали на заседании.

На другой день в Совете, по рассказу самого Шляпникова, из присутствовавших четырех сотен де-

путатов против передачи власти буржуазии голосовало всего 19 человек, тогда как в большевистской фракции числилось уже человек сорок. Самое это голосование прошло совершенно незаметно, в формально-парламентском порядке, без ясных контр-предложений со стороны большевиков, без борьбы и без какой бы то ни было агитации в большевистской печати.

4 марта Бюро ЦК приняло резолюцию о контрреволюционном характере Временного правительства и о необходимости держать курс на демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Петроградский комитет, не без основания признавший эту резолюцию академической, так как она совершенно не указывала, что делать сегодня, подошел к проблеме с противоположного конца. «Считаясь с резолюцией о Временном правительстве, принятой Советом», он заявил, что «не противодействует власти Временного правительства, постольку, поскольку»... По существу это была позиция меньшевиков и эсеров, только отодвинутая на вторую линию окопов. Открыто оппортунистическая резолюция Петроградского комитета лишь по форме противоречила позиции ЦК, академичность которой означала не что иное, как политическое примирение с совершившимся фактом.

Готовность молча или с оговоркой склониться перед правительством буржуазии отнюдь не встречала безраздельного сочувствия в партии. Большевики-рабочие сразу натолкнулись на Временное правительство, как на враждебное укрепление, неожиданно выросшее на их пути. Выборгский комитет проводил тысячные митинги рабочих и солдат, почти единогласно принимавшие резолюцию о необходимости взятия власти Советом. Активный участник этой агитации, Дингельштедт, свидетельствует: «Не было ни одного митинга, ни одного рабочего собрания, которое отклонило бы нашу резолюцию такого содержания, если только было кому ее предлагать». Меньшевики и эсеры боялись в первое время открыто выступать со своей постановкой вопроса о власти перед рабочей

и солдатской аудиторией. Резолюция выборжцев, в виду ее успеха, была отпечатана и расклеена в виде плаката. Но Петроградский комитет наложил прямое запрещение на эту резолюцию, и выборжцы вынуждены были смириться.

В вопросе о социальном содержании революции и перспективах ее развития, позиция большевистского руководства была не менее смутной. Шляпников рассказывает: «Мы соглашались с меньшевиками в том, что переживаем момент революционной ломки феодальных, крепостнических отношений, что на смену им идут всяческие «свободы», свойственные буржуазным отношениям». «Правда» писала в первом своем номере: «Основной задачей является... введение демократического республиканского строя». В наказе рабочим депутатам Московский комитет заявлял: «Пролетариат стремится достигнуть свободы для борьбы за социализм — свою конечную цель». Традиционная ссылка на «конечную цель» достаточно подчеркивает историческую дистанцию по отношению к социализму. Дальше этого не шел никто. Опасение перейти за пределы демократической революции диктовало политику выжидания, приспособления и фактического отступления перед соглашателями.

Как тяжко политическая бесхарактерность центра отражалась на провинции, нетрудно понять. Ограничимся свидетельством одного из руководителей саратовской организации: «Наша партия, принимавшая активное участие в восстании, повидимому, упустила влияние на массу, и оно было перехвачено меньшевиками и эсерами. Каковы лозунги большевиков, никто не знал... Картина была очень неприятная».

Левые большевики, прежде всего рабочие, изо всех сил стремились прорвать карантин. Но и они не знали, как парировать доводы о буржуазном характере революции и опасностях изоляции пролетариата. Скрепя сердце, они подчинялись директивам руководства. Различные течения в большевизме с первого дня довольно резко сталкивались друг с другом, но ни одно из них

не доводило своих мыслей до конца. «Правда» отражала это смутное и неустойчивое состояние идей партии, не внося в него никакого единства. Положение еще более осложнилось к середине марта, после прибытия из ссылки Каменева и Сталина, которые круто повернули руль официальной партийной политики вправо.

Большевик почти с самого возникновения большевизма, Каменев всегда стоял на правом фланге партии. Не лишенный теоретической подготовки и политического чутья, с большим опытом фракционной борьбы в России и запасом политических наблюдений на Западе, Каменев лучше многих других большевиков схватывал общие идеи Ленина, но только для того, чтоб на практике давать им как можно более мирное истолкование. Ни самостоятельности решения, ни инициативы действия от него ждать было нельзя. Выдающийся пропагандист, оратор, журналист, не блестящий, но вдумчивый, Каменев был особенно ценен при переговорах с другими партиями и для разведки в других общественных кругах, причем из таких экскурсий он всегда приносил в себе частицу чуждых партии настроений. Эти черты Каменева были настолько явны, что никто почти не ошибался на счет его политической фигуры. Суханов отмечает в нем отсутствие «острых углов»: его «всегда необходимо взять на буксир, и если он иногда упрется, то не сильно». В таком же духе пишет и Станкевич: отношения Каменева к противникам «были так мягки, что, казалось, он сам стыдился непримиримости своей позиции: в Комитете он был, несомненно, не врагом, а только оппозицией». К этому почти нечего прибавить.

Сталин представлял совершенно иной тип большевика и по своему психическому складу и по характеру своей партийной работы: крепкого, теоретически и политически примитивного организатора. Если Каменев, в качестве публициста, в течение ряда лет оставался с Лениным в эмиграции, где находился очаг теоретической работы партии, то Сталин, в качестве так на-

зываемого практика, без теоретического кругозора, без широких политических интересов и без знания иностранных языков, был неотделим от русской почвы. Такие работники появлялись заграницей только наездами, чтоб получить инструкции, сговориться насчет дальнейших задач и вернуться снова в Россию. Сталин выдвинулся среди практиков энергией, упорством и изобретательностью в закулисных ходах. Если Каменев, по свойствам своей натуры, «стеснялся» практических выводов большевизма, то Сталин, наоборот, склонен был отстаивать усвоенные им практические выводы без всякого смягчения, сочетая настойчивость с грубостью.

Несмотря на противоположность характеров, Каменев и Сталин не случайно заняли в начале революции общую позицию: они дополняли друг друга. Революционная концепция без революционной воли то же, что часы со сломанной пружиной: политическая стрелка Каменева всегда отставала от революционных задач. Но отсутствие широкой политической концепции обрекает и самого волевого политика на нерешительность при наступлении больших и сложных событий. Эмпирик Сталин открыт чужим влияниям не со стороны воли, а со стороны мысли. Так, публицист без решимости и организатор без кругозора довели в марте свой большевизм до самой грани меньшевизма. Сталин оказался при этом еще менее Каменева способен развернуть самостоятельную позицию в Исполнительном комитете, куда он вступил, как представитель партии. Не осталось в протоколах или в печати ни одного предложения, заявления, протеста, в которых Сталин выражал бы большевистскую точку зрения в противовес пресмыкательству «демократии» перед либерализмом. Суханов говорит в своих «Записках»: «У большевиков в это время, кроме Каменева появился в Исполнительном комитете Сталин... За время своей скромной деятельности в Исполнительном комитете (он) производил — не на одного меня — впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло

и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать». Если Суханов явно недооценивает Сталина в целом, то он правильно характеризует его политическую безличность в соглашательском Исполкоме.

14 марта манифест «К народам всего мира», истолковывавший победу Февральской революции в интересах Антанты и означавший торжество нового, республиканского социал-патриотизма французской марки, принят был в Совете единогласно. Это означало несомненный успех Каменева-Сталина, достигнутый, видимо, без большой борьбы. «Правда» писала о нем, как о «сознательном компромиссе между различными течениями, представленными в Совете». Следовало бы прибавить, что компромисс означал прямой разрыв с течением Ленина, которое в Совете вовсе не оказалось представлено.

Член заграничной редакции Центрального органа Каменев, член Центрального комитета Сталин и депутат Думы Муранов, также вернувшийся из Сибири, отстранили старую, слишком «левую» редакцию «Правды» и, опираясь на свои проблематические права, взяли с 15 марта газету в свои руки. В программной статье новой редакции заявлялось, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, «поскольку оно борется с реакцией или контр-революцией». По вопросу о войне новые руководители высказывались не менее категорически: пока германская армия повинуется своему императору, русский солдат должен «стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд — снарядом». «Не бессодержательное «долой войну» — наш лозунг. Наш лозунг — давление на Временное правительство с целью заставить его... выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию переговоров... А до тех пор каждый остается на своем боевом посту!». Идеи, как и формулировки, насквозь оборонческие. Программа давления на империалистическое правительство с целью «склонить» его к миролюбивому образу действий была программой Каутского

в Германии, Жана Лонгэ во Франции, Макдональда в Англии, никак не программой Ленина, который звал к низвержению империалистического господства. Обороняясь от патриотической печати, «Правда» заходила еще далее: «Всякое «пораженчество», — писала она, — а вернее то, что неразборчивая печать под охраной царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах Петрограда показался первый революционный полк». Это было прямым отмежеванием от Ленина. «Пораженчество» вовсе не было изобретено враждебной печатью под охраной цензуры, оно было дано Лениным в формуле: «поражение России — меньшее зло». Появление первого революционнного полка и даже низвержение монархии не меняло империалистического характера войны. «День выхода первого номера преобразованной «Правды» — 15 марта, — рассказывает Шляпников, — был днем оборонческого ликования. Весь Таврический дворец, от дельцов Комитета Государственной Думы до самого сердца революционной демократии — Исполнительного комитета — был преисполнен одной новостью: победой умеренных, благоразумных большевиков над крайними. В самом Исполнительном комитете нас встретили ядовитыми улыбками... Когда этот номер «Правды» был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей партии и сочувствовавших нам и язвительное удовольствие у наших противников... Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что «Правда» была захвачена приехавшими из Сибири тремя бывшими руководителями «Правды», то потребовали исключения их из партии».

«Правде» пришлось вскоре напечатать резкий протест выборжцев: «Если она (газета) не хочет потерять веру в рабочих кварталах, (она) должна и будет нести свет революционного сознания, как бы он ни был резок для буржуазных сов». Протесты снизу побудили редакцию стать осторожнее в выражениях, но не изменить политику. Даже первая статья Ленина, успев-

шая прибыть из-за границы, прошла мимо сознания редакции. Курс шел направо по всей линии. «В нашей агитации, — рассказывает Дингельштедт, представитель левого крыла, — нам пришлось считаться с принципом двоевластия ... и доказывать неизбежность этого окольного пути той самой рабоче-солдатской массе, которая в течение полумесяца интенсивной политической жизни воспитывалась на совсем другом понимании своих задач».

Политика партии во всей стране естественно равнялась по «Правде». Во многих советах резолюции по основным вопросам принимались теперь единогласно: большевики по-просту склонялись перед советским большинством. На конференции советов Московской области большевики присоединились к резолюции социал-патриотов о войне. Наконец, на происходившем в Петрограде Всероссийском совещании представителей 82 советов, в конце марта и начале апреля, большевики голосовали за официальную резолюцию о власти, которую защищал Дан. Это чрезвычайное политическое приближение к меньшевикам лежало в основе широко развившихся объединительных тенденций. В провинции большевики и меньшевики входили в объединенные организации. Фракция Каменева-Сталина все больше превращалась в левый фланг так называемой революционной демократии и приобщалась к механике парламентарно-закулисного «давления» на буржуазию, дополняя его закулисным давлением на демократию.

* *
*

Заграничная часть ЦК и редакция центрального органа «Социалдемократ» составляли духовный центр партии. Ленин, с Зиновьевым в качестве помощника, нес всю руководящую работу. Крайне ответственные секретарские обязанности выполняла жена Ленина, Крупская. В практической работе этот маленький центр опирался на поддержку нескольких десятков

большевиков-эмигрантов. Оторванность от России становилась втечение войны тем невыносимее, чем теснее военная полиция Антанты стягивала свои кольца. Взрыв революции, которого долго и напряженно ждали, застиг врасплох. Англия категорически отказала эмигрантам-интернационалистам, списки которых она тщательно вела, в пропуске в Россию. Ленин неистовствовал в цюрихской клетке, изыскивая пути выхода. Среди сотни планов, сменявших один другой, был и план проехать по паспорту глухо-немого скандинава. В то же время Ленин не упускает ни одного случая подать свой голос из Швейцарии. Уже 6 марта он телеграфирует через Стокгольм в Петроград: «Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; немедленные выборы в петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями». Только упоминание о выборах в думу, вместо Совета, имело в этой первой директиве эпизодический характер и вскоре отпало; остальные пункты, выраженные с телеграфной категоричностью, намечают уже полностью общее направление политики. Одновременно Ленин начинает слать в «Правду» свои «Письма издалека», которые, опираясь на осколки иностранной информации, заключают в себе законченный анализ революционной обстановки. Известия заграничных газет позволяют ему вскоре заключить, что Временное правительство, при прямой помощи не только Керенского, но и Чхеидзе, не без успеха обманывает рабочих, выдавая империалистическую войну за оборонительную. 17 марта он пишет через посредство друзей в Стокгольме письмо, исполненное тревоги. «Наша партия опозорила себя бы навсегда, политически убила бы себя, если бы пошла на такой обман... Я предпочту даже немедленный раскол с кем бы то ни было из нашей партии, чем уступлю социал-патриотизму. . .» После этой, по виду, безличной угрозы, рассчитанной, однако, на определенных лиц, Ленин заклинает: «Каменев должен по-

нять, что на него ложится всемирно-историческая ответственность». Каменев назван потому, что речь идет о принципиальных вопросах политики. Еслиб Ленин имел в виду практическую боевую задачу, он вспомнил бы скорее о Сталине. Но как раз в те часы, когда Ленин стремился через дымящуюся Европу передать в Петроград напряжение своей воли, Каменев, при содействии Сталина, круто поворачивал в сторону социал-патриотизма.

Планы гримировки, париков, чужих или фальшивых паспортов отпадали один за другим, как неосуществимые. В то же время все конкретнее выступала идея проезда через Германию. План этот испугал большинство эмигрантов, и не только патриотов. Мартов и другие меньшевики не решились примкнуть к дерзкой инициативе Ленина и продолжали тщетно стучаться в двери Антанты. Нарекания на проезд через Германию шли впоследствии даже со стороны многих большевиков, в виду затруднений, какие «пломбированный вагон» создал в области агитации. Ленин не закрывал на эти будущие затруднения глаз с самого начала. Крупская писала незадолго до отъезда из Цюриха: «Конечно, вой в России патриоты поднимут, но к этому приходится быть готовым». Вопрос стоял так: либо оставаться в Швейцарии, либо ехать через Германию. Иных путей не открывалось вообще. Мог ли Ленин колебаться хотя бы одну лишнюю минуту? Ровно через месяц Мартову, Аксельроду и другим пришлось последовать по стопам Ленина.

В организации этой необычайной поездки через неприятельскую страну во время войны сказываются основные черты Ленина-политика: смелость замысла и тщательная предусмотрительность выполнения. В этом великом революционере жил педантический нотариус, который, однако, знал свое место и приступал к составлению своего акта в тот момент, когда это могло помочь делу ниспровержения всех нотариальных актов. Чрезвычайно тщательно разработанные условия проезда через Германию легли в основу своеобразного

международного договора между редакцией эмигрантской газеты и империей Гогенцоллерна. Ленин потребовал для транзита полной экстерриториальности: никакого контроля личного состава проезжающих, их паспортов и багажа, ни один человек не имеет права входить по пути в вагон (отсюда легенда о «пломбированном» вагоне). С своей стороны, эмигрантская группа обязывалась настаивать на освобождении из России соответственного числа гражданских пленных, немцев и австро-венгерцев.

Совместно с несколькими иностранными революционерами выработана была декларация. «Русские интернационалисты, которые ... отправляются теперь в Россию, чтобы служить там делу революции, помогут нам поднять пролетариев других стран, в особенности пролетариев Германии и Австрии, против их правительств». Так гласил протокол, подписанный Лорио и Гильбо — от Франции, Павлом Леви — от Германии, Платтеном — от Швейцарии, шведскими левыми депутатами и пр. На этих условиях и с этими предосторожностями выехало в конце марта из Швейцарии 30 русских эмигрантов, даже среди грузов войны — груз необычайной взрывчатой силы.

В прощальном Письме к швейцарским рабочим Ленин напоминал о заявлении Центрального органа большевиков осенью 1915 года: если революция приведет в России к власти республиканское правительство, которое захочет продолжать империалистскую войну, то большевики будут против защиты республиканского отечества. Ныне такое положение наступило. «Наш лозунг: никакой поддержки правительству Гучкова-Милюкова». С этими словами Ленин вступал теперь на территорию революции.

Члены Временного правительства не видели, однако, никакого основания тревожиться. Набоков рассказывает: «В одном из мартовских заседаний Временного правительства, в перерыве, во время продолжавшегося разговора на тему о все развивавшейся большевистской пропаганде, Керенский заявил, по обыкно-

вению истерически похохатывая: «А вот погодите, сам Ленин едет, вот когда начнется по настоящему»... Керенский был прав: настоящее только еще должно было начаться. Однако, министры, по словам Набокова, не видели оснований тревожиться: «Самый факт обращения к Германии в такой мере подорвет авторигет Ленина, что его не придется бояться». Как им вообще и полагается, министры были очень проницательны.

Друзья-ученики выехали встречать Ленина в Финляндию. «Едва войдя в купэ и усевшись на диван, — — рассказывает Раскольников, молодой морской офицер и большевик, — Владимир Ильич тотчас накидывается на Каменева: — Что у вас пишется в «Правде»? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали...» Такова встреча после нескольких лет разлуки. Но это не мешает ей быть сердечной.

Петроградский комитет при содействии военной организации мобилизовал несколько тысяч рабочих и солдат для торжественной встречи Ленина. Дружественный броневой дивизион отрядил на этот предмет все наличные броневики. Комитет решил итти к вокзалу вместе с броневиками: революция уже пробудила пристрастие к этим тупым чудовищам, которых на улицах города так выгодно иметь на своей стороне.

Описание официальной встречи, которая происходила в так называемой царской комнате Финляндского вокзала, составляет очень живую страницу в многотомных и довольно вялых записках Суханова. «В царскую комнату вошел, или, пожалуй, вбежал Ленин, в круглой шляпе, с иззябшим лицом и — роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую «приветственную» речь, хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравоучения: «Тов. Ленин, от имени петербургского Совета и всей революции мы приветствуем вас в России... Но мы полагаем, что главной задачей рево-

люционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и извне... Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели». Чхеидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности... Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось: осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок «царской» комнаты, поправляя свой букет (довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой), а потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исполнительного комитета, «ответил» так: «Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие. Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас, как передовой отряд всемирной пролетарской армии... Недалек час, когда, по призыву нашего товарища Карла Либкнехта, народы обратят оружие против своих эксплоататоров-капиталистов... Русская революция, совершенная вами, открыла новую эпоху. Да здравствует всемирная социалистическая революция!..»

Суханов прав, — букет плохо гармонировал с фигурой Ленина, несомненно мешал ему и стеснял его своей неуместностью на суровом фоне событий. Да и вообще Ленин любил цветы не в букете. Но гораздо больше должна была стеснять его эта официальная и лицемерно-нравоучительная встреча в парадной комнате вокзала. Чхеидзе был лучше своей приветственной речи. Ленина он слегка побаивался. Но ему несомненно внушили, что надо одернуть «сектанта» с самого начала. В довершение к речи Чхеидзе, демонстрировавшей плачевный уровень руководства, молодой командир флотского экипажа, говоривший от имени моряков, догадался выразить пожелание, чтоб Ленин стал членом Временного правительства. Так Февральская революция, рыхлая, многословная и еще глуповатая, встречала человека, который приехал с твердым намерением вправить ей мысль и волю. Уже

эти первые впечатления, удесятеряя привезенную с собой тревогу, вызывали трудно сдерживаемое чувство протеста. Скорее бы засучить рукава! Апеллируя от Чхеидзе к матросам и рабочим, от защиты отечества — к международной революции, от Временного правительства — к Либкнехту, Ленин лишь проделал на вокзале маленькую репетицию всей своей дальнейшей политики.

И все же эта неуклюжая революция сразу и крепко приняла вождя в лоно свое. Солдаты потребовали, чтоб Ленин поместился на одном из броневиков, и ему ничего не оставалось, как выполнить требование. Наступившая ночь придала шествию особую внушительность. При потушенных огнях остальных броневиков, тьма прорезывалась ярким светом прожектора машины, на которой ехал Ленин. Луч вырывал из уличного мрака возбужденные секторы рабочих, солдат, матросов, тех самых, которые совершили величайший переворот, но дали власти утечь между пальцев. Военный оркестр несколько раз умолкал по пути, чтоб дать Ленину возможность варьировать свою вокзальную речь пред новыми и новыми слушателями. «Триумф вышел блестящим, — говорит Суханов, — и даже довольно символическим».

Во дворце Кшесинской, большевистском штабе в атласном гнезде придворной балерины, — это сочетание должно было позабавить всегда бодрствующую иронию Ленина, — опять начались приветствия. Это было уже слишком. Ленин претерпевал потоки хвалебных речей, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффектированным, словом, заимствованным у мелкобуржуазной демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, не определившая еще своих задач и путей, уже создала свой утомительный этикет. Он улыбался добро-

душно-укоризненно, поглядывая на часы, а моментами, вероятно, непринужденно позевывал. Не успели отзвучать слова последнего приветствия, как необычный гость обрушился на эту аудиторию водопадом страстной мысли, которая слишком часто звучала, как бичевание. В тот период искусство стенографии еще не было открыто для большевизма. Никто не делал заметок, все были слишком захвачены происходящим. Речь не сохранилась, осталось только общее впечатление от нее в воспоминаниях слушателей, но и оно подверглось обработке времени: прибавлено было восторгу, убавлено испугу. А между тем основное впечатление речи, даже среди самых близких, было именно впечатление испуга. Все привычные формулы, успевшие приобрести за месяц незыблемую, казалось, прочность от бесчисленных повторений, взрывались одна за другой на глазах аудитории. Краткая ленинская реплика на вокзале, брошенная через голову оторопевшего Чхеидзе, была здесь развита в двух-часовую речь, обращенную непосредственно к петроградским кадрам большевизма.

Случайно, в качестве гостя, пропущенного по добродушию Каменева, — Ленин таких поблажек не терпел, — присутствовал на этом собрании непартийный Суханов. Благодаря этому мы имеем сделанное наблюдателем со стороны полувраждебное, полувосторженное описание первой встречи Ленина с петербургскими большевиками.

«Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских рассчетов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников».

Людские рассчеты и трудности для Суханова — это, главным образом, колебания редакционного круж-

ка «Новой Жизни», за чаем у Максима Горького. Рассчеты Ленина были поглубже. Не стихии носились по зале, а человеческая мысль, не оробевшая перед стихиями и стремившаяся понять их, чтоб овладеть ими. Но все равно: впечатление передано ярко.

«Когда я с товарищами ехал сюда, — говорил Ленин, в передаче Суханова, — я думал, что нас с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень далеки от этого. Но не будем терять надежды, что это еще нас не минует, что этого нам не избежать». В то время, как для других развитие революции было равносильно укреплению демократии, для Ленина ближайшая перспектива вела прямиком в Петропавловскую крепость. Это казалось зловещей шуткой. Но Ленин совсем не собирался шутить, и революция вместе с ним.

«Аграрную реформу в законодательном порядке, — жалуется Суханов, — он отшвырнул так же, как и всю прочую политику Совета. Он провозгласил организованный захват земли крестьянами, не ожидая... какой бы то ни было государственной власти».

«Не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии, не надо нам никакого правительства, кроме советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов!».

В то же время Ленин резко отгораживался от советского большинства, отбрасывая его во враждебный лагерь. «Одного этого в те времена было достаточно, чтобы у слушателя закружилась голова!».

Только циммервальдская левая стоит на страже пролетарских интересов и всемирной революции, — возмущенно передает Суханов ленинские мысли. — Остальные — те же оппортунисты, говорящие хорошие слова, а на деле ... продающие дело социализма и рабочих масс».

«Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие партийные группы и отдельные товарищи до его приезда», дополняет Суханова Раскольников. «Здесь были представлены на-

иболее ответственные работники партии. Но и для них речь Ильича явилась настоящим откровением. Она положила Рубикон между тактикой вчерашнего и сегодняшнего дня». Рубикон, как увидим, был положен не сразу.

Прений по докладу не было: все были слишком оглушены, и каждому хотелось хоть сколько-нибудь собраться с мыслями. «Я вышел на улицу, — заканчивает Суханов, — ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было только одно: нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге!» Еще бы!

На другой день Ленин предъявил партии краткое письменное изложение своих взглядов, которое стало одним из важнейших документов революции, под именем «тезисов 4 апреля». Тезисы выражали простые мысли в простых, всем доступных словах. Республика, которая вышла из февральского восстания, не есть наша республика, и война, которую она ведет, не есть наша война. Задача большевиков состоит в том, чтоб свергнуть империалистическое правительство. Но оно держится поддержкой эсеров и меньшевиков, которые держатся доверчивостью народных масс. Мы — в меньшинстве. При этих условиях не может быть и речи о насилии с нашей стороны. Надо научить массу не доверять соглашателям и оборонцам. «Надо терпеливо разъяснять». Успех такой политики, вытекающей из всей обстановки, обеспечен, и он приведет нас к диктатуре пролетариата, а следовательно выведет за пределы буржуазного режима. Мы полностью рвем с капиталом, публикуем его тайные договоры и призываем рабочих всего мира к разрыву с буржуазией и к ликвидации войны. Мы начинаем международную революцию. Только успех ее закрепит наш успех и обеспечит переход к социалистическому режиму.

Тезисы Ленина были опубликованы от его собственного, и только от его имени. Центральные учреждения партии встретили их с враждебностью, которая

смягчалась только недоумением. Никто — ни организация, ни группа, ни лицо — не присоединил к ним своей подписи. Даже Зиновьев, который вместе с Лениным прибыл из-за границы, где мысль его в течение десяти лет формировалась под непосредственным и повседневным влиянием Ленина, молча отошел в сторону. И этот отход не был неожиданным для учителя, который слишком хорошо знал своего ближайшего ученика. Если Каменев являлся пропагандистом-популяризатором, то Зиновьев был агитатором и даже, по выражению Ленина, только агитатором. Чтоб быть вождем, ему не хватало прежде всего чувства ответственности. Но не только этого. Лишенная внутренней дисциплины мысль его совершенно неспособна к теоретической работе и растворяется в бесформенной интуиции агитатора. Благодаря исключительно изощренному чутью, он налету схватывал всегда нужные ему формулировки, т. е. такие, которые облегчали наиболее эффективное воздействие на массы. И как журналист, и как оратор, он неизменно оставался агитатором, с той разницей, что в статьях выступают главным образом его слабые стороны, тогда как в устной речи перевешивают сильные. Гораздо более дерзкий и необузданный в агитации, чем кто-либо из большевиков, Зиновьев еще меньше, чем Каменев, способен на революционную инициативу. Он нерешителен, как все демагоги. Переступив с арены фракционных стычек на арену непосредственных массовых боев, Зиновьев почти непроизвольно отделился от своего учителя.

* * *

В последние годы не было недостатка в попытках доказать, что апрельский кризис партии был мимолетным и почти случайным замешательством. Они все

рассыпаются прахом при первом соприкосновении с фактами*).

Уже то, что мы знаем о деятельности партии в течение марта, вскрывает перед нами глубочайшее противоречие между Лениным и петербургским руководством. Как раз к моменту приезда Ленина противоречие достигло высшего напряжения. Одновременно со Всероссийским совещанием представителей 82 советов, где Каменев и Сталин голосовали за резолюцию о власти, внесенную эсерами и меньшевиками, происходило в Петрограде партийное совещание съехавшихся со всей России большевиков. Для характеристики настроений и взглядов партии, вернее, ее верхнего слоя, каким он вышел из войны, совещание, к самому концу которого прибыл Ленин, представляет исключительный интерес. Чтение протоколов, неизданных до сего дня, вызывает нередко недоумение: неужели партия, представленная этими делегатами, возьмет через семь месяцев власть железною рукой?

После переворота прошел уже месяц, — срок для революции, как и для войны, большой. Между тем, в партии не определились еще взгляды на самые основные вопросы революции. Крайние патриоты, вроде Войтинского, Элиава и др., участвовали в совещании наряду с теми, которые считали себя интернационалистами. Процент откровенных патриотов, несравненно меньший, чем у меньшевиков, был все же значителен. Совещание в целом не решило для себя вопроса: раскалываться ли с собственными патриотами или объединяться с патриотами меньшевизма. В промежутке между заседаниями большевистского совещания про-

---

*) В большом коллективном труде, выходящем под редакцией профессора Покровского, «Очерки по истории октябрьской революции» (т. II, Москва, 1927), апрельскому «замешательству» посвящена апологитическая работа некоего Баевского которую, по ее бесцеремонному обращению с фактами и документами, следовало бы назвать циничной, еслиб она не была так ребячески-беспомощна.

исходило объединенное заседание большевиков и меньшевиков, делегатов советского совещания, для обсуждения вопроса о войне. Наиболее неистовый меньшевик-патриот Либер заявил на этом совещании: «Прежнее деление на большевиков и меньшевиков следует устранить и только говорить о нашем отношении к войне». Большевик Войтинский не замедлил прокламировать свою готовность подписаться под каждым словом Либера. Все вместе, большевики и меньшевики, патриоты и интернационалисты, искали общей формулы своего отношения к войне.

Взгляды большевистского совещания нашли, несомненно, наиболее адэкватное выражение в докладе Сталина об отношении к Временному правительству. Необходимо привести здесь центральную мысль доклада, который до сих пор не опубликован, как и протоколы в целом. «Власть поделилась между двумя органами, из которых ни один не имеет всей полноты власти. Трения и борьба между ними есть и должны быть. Роли поделились. Совет фактически взял почин революционных преобразований; Совет — революционный вождь восставшего народа, орган контролирующий Временное правительство. Временное же правительство взяло фактически роль закрепителя завоеваний революционного народа. Совет мобилизует силы, контролирует. Временное же правительство, упираясь, путаясь, берет роль закрепителя тех завоеваний народа, которые фактически уже взяты им. Такое положение имеет отрицательные, но и положительные стороны: нам невыгодно сейчас форсировать события, ускоряя процесс отталкивания буржуазных слоев, которые неизбежно впоследствии должны будут отойти от нас».

Взаимоотношение между буржуазией и пролетариатом докладчик, поднявшийся над классами, изображает, как простое разделение труда. Рабочие и солдаты совершают революцию, Гучков и Милюков «закрепляют» ее. Мы узнаем здесь традиционную концепцию меньшевизма, неправильно скопированную с событий

1789 г. Именно вождям меньшевизма свойственен этот инспекторский подход к историческому процессу, раздача поручений разным классам и покровительственная критика их выполнения. Мысль о том, что невыгодно ускорять отход буржуазии от революции, всегда была высшим критерием всей политики меньшевиков. На деле это означало: притуплять и ослаблять движение масс, чтоб не отпугивать либеральных союзников. Наконец, вывод Сталина относительно Временного правительства целиком укладывается в двусмысленную формулу соглашателей: «Поскольку Временное правительство закрепляет шаги революции, постольку ему поддержка; поскольку же оно контр-революционно, — поддержка Временного правительства неприемлема».

Доклад Сталина сделан был 29 марта. На следующий день официальный докладчик советского совещания, внепартийный социал-демократ Стеклов, в защиту той же условной поддержки Временного правительства, нарисовал, в пылу увлеченья, такую картину деятельности «закрепителей» революции — сопротивление социальным реформам, тяга к монархии, покровительство контр-революционным силам, аннексионистские аппетиты, — что совещание большевиков в тревоге отшатнулось от формулы поддержки. Правый большевик Ногин заявил: «доклад Стеклова внес одну новую мысль: ясно, что не о поддержке, а о противодействии должна теперь итти речь». Скрыпник тоже пришел к выводу, что после доклада Стеклова «многое изменилось: о поддержке правительства говорить нельзя. Идет заговор Временного правительства против народа и революции». Сталин, за день до этого рисовавший идиллическую картину «разделения труда» между правительством и Советом, счел себя вынужденным исключить пункт о поддержке. Краткие и неглубокие прения вращались вокруг вопроса, поддерживать ли Временное правительство «постольку-поскольку» или лишь революционные действия Временного правительства. Саратовский де-

легат Васильев не без основания заявлял: «Отношение к Временному правительству у всех одинаковое». Крестинский формулировал положение еще ярче: «Разногласий в практических шагах между Сталиным и Войтинским нет». Несмотря на то, что Войтинский сейчас же после совещания перешел к меньшевикам, Крестинский был не так уж неправ: снимая открытое упоминание о поддержке, Сталин самой поддержки не снимал. Принципиально поставить вопрос пытался лишь Красиков, один из тех старых большевиков, которые отходили от партии на ряд лет, а теперь, отягощенные опытом жизни, пытались вернуться в ее ряды. Красиков не побоялся взять быка за рога: не собираетесь ли вы устанавливать диктатуру пролетариата? спрашивал он иронически. Но совещание прошло мимо иронии, а заодно и мимо вопроса, как не заслуживающего внимания. Резолюция совещания призывала революционную демократию побуждать Временное правительство «к самой энергичной борьбе за полную ликвидацию старого режима», т. е. отводила пролетарской партии роль гувернантки при буржуазии.

На следующий день обсуждалось предложение Церетелли об объединении большевиков и меньшевиков. Сталин отнесся к предложению вполне сочувственно: «Мы должны пойти. Необходимо определить наши предложения о линии объединения. Возможно объединение по линии Циммервальда-Кинталя». Молотов, отстраненный Каменевым и Сталиным от редактирования «Правды» за слишком радикальное направление газеты, выступил с возражениями: Церетелли желает объединить разношерстные элементы, сам он тоже называет себя циммервальдистом, объединение по этой линии неправильно. Но Сталин стоял на своем: «Забегать вперед, говорил он, и предупреждать разногласия не следует. Без разногласий нет партийной жизни. Внутри партии мы будем изживать мелкие разногласия». Вся борьба, которую Ленин провел за годы войны против социал-патриотизма и его пацифистской маскировки, как бы шла на смарку. В сентябре 1916 г.

Ленин с особой настойчивостью писал через Шляпникова в Петроград: «Примиренчество и объединенчество есть вреднейшая вещь для рабочей партии в России, не только идиотизм, но и гибель партии... Полагаться мы можем только на тех, кто понял весь обман идеи единства и всю необходимость раскола с этой братией (с Чхеидзе и К-о) в России». Это предупреждение не было понято. Разногласия с Церетелли, руководителем правящего советского блока, объявлялись Сталиным мелкими разногласиями, которые можно «изживать» внутри общей партии. Этот критерий дает лучшую оценку тогдашним взглядам самого Сталина.

4 апреля на партийном съезде появляется Ленин. Его речь, комментировавшая «тезисы», проходит над работами конференции точно влажная губка учителя, стирающая с доски то, что на ней было написано запутавшимся школьником.

— «Почему не взяли власть?» спрашивает Ленин. На советском совещании Стеклов незадолго до того путанно объяснял причины воздержания от власти: революция буржуазная, — первый этап, — война и пр. «Это — вздор, заявляет Ленин. — Дело в том, что пролетариат недостаточно сознателен и недостаточно организован. Это надо признать. Материальная сила — в руках пролетариата, а буржуазия оказалась сознательной и подготовленной. Это — чудовищный факт, но его необходимо откровенно и прямо признать и заявить народу, что не взяли власть потому, что неорганизованы и бессознательны».

Из плоскости фальшивого объективизма, за которым прятались политические капитулянты, Ленин передвинул весь вопрос в субъективную плоскость. Пролетариат не взял власть в феврале потому, что партия большевков не была на высоте объективных задач и не смогла помешать соглашателям политически экспроприировать народные массы в пользу буржуазии.

Накануне адвокат Красиков с вызовом говорил: «Если мы считаем, что сейчас наступило время осу-

ществления диктатуры пролетариата, то так и надо ставить вопрос. Физическая сила, в смысле захвата власти, несомненно у нас». Председатель лишил тогда Красикова слова на том основании, что дело идет о практических задачах, и вопрос о диктатуре не обсуждается. Но Ленин считал, что, в качестве единственной практической задачи, стоит именно вопрос о подготовке диктатуры пролетариата. «Своеобразие текущего момента в России — говорил он в тезисах — состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства».

Совещание, вслед за «Правдой», ограничивало задачи революции демократическими преобразованиями, осуществляемыми через Учредительное Собрание. В противовес этому Ленин заявил: «Жизнь и революция отводят Учредительное Собрание на задний план. Диктатура пролетариата есть, но не знают, что с ней делать».

Делегаты переглядывались. Говорили друг другу, что Ильич засиделся заграницей, не присмотрелся, не разобрался. Но доклад Сталина о мудром разделении труда между Правительством и Советом сразу и навсегда утонул в безвозвратном прошлом. Сам Сталин молчал. Отныне ему придется молчать долго. Обороняться будет один Каменев.

Еще из Женевы Ленин предупреждал в письмах, что готов рвать со всяким, кто идет на уступки в вопросах войны, шовинизма и соглашательства с буржуазией. Теперь, лицом к лицу с руководящим слоем партии, он открывает аттаку по всей линии. Но вначале он не называет по имени ни одного из большевиков. Если ему нужен живой образец фальши, половинчатости, он указывает пальцем на непартийных, Стеклова или Чхеидзе. Это обычный прием Ленина: никого преждевременно не пригвождать к его позиции, чтоб дать возможность осторожным своевременно

выйти из боя и таким путем сразу ослабить будущих открытых противников. Каменев и Сталин считали, что, участвуя в войне после февраля, солдат и рабочий защищают революцию. Ленин считает, что солдат и рабочий по прежнему участвуют в войне, как подневольные рабы капитала. «Даже наши большевики, — говорит он, сужая круги над противниками, — обнаруживают доверчивость к правительству. Объяснить это можно только угаром революции. Это — гибель социализма... Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве». Это не просто ораторская угроза. Это ясно и до конца продуманный путь.

Не называя ни Каменева, ни Сталина, Ленин вынужден, однако, назвать газету: «Правда» требует от правительства, чтобы оно отказалось от аннексий. Требовать от правительства капиталистов, чтоб оно отказалось от аннексий — чепуха, вопиющая издевка»... Сдерживаемое негодование прорывается здесь высокой нотой. Но оратор немедленно берет себя в руки: он хочет сказать не меньше того, что нужно, но ничего лишнего. Мимоходом, вскользь, Ленин дает несравненные правила революционной политики: «Когда массы заявляют, что не хотят завоеваний, я им верю. Когда Гучков и Львов говорят, что не хотят завоеваний, — они обманщики. Когда рабочий говорит, что хочет обороны страны, — в нем говорит инстинкт угнетенного человека». Этот критерий, если назвать его по имени, кажется прост, как сама жизнь. Но трудность в том и состоит, чтобы во-время назвать его по имени.

По поводу воззвания Совета «К народам всего мира», которое дало повод либеральной «Речи» заявить в свое время, что тема пацифизма развертывается у нас в идеологию, общую с нашими союзниками, Ленин выразился точнее и ярче: «Что своеобразно в России, это — гигантски быстрый переход от дикого насилия к самому тонкому обману».

«Воззвание это, — писал Сталин о Манифесте, — если оно дойдет до широких масс (Запада), без со-

мнения вернет сотни и тысячи рабочих к забытому лозунгу «пролетарии всех стран соединяйтесь!».

«Воззвание Совета, — возражает Ленин, — там нет ни слова, проникнутого классовым сознанием. Там — сплошная фраза». Документ, которым гордились доморощенные циммервальдцы, есть в глазах Ленина лишь одно из орудий «самого тонкого обмана».

До приезда Ленина «Правда» вообще не упоминала о циммервальдской левой. Говоря об Интернационале, не указывала, о каком. Это Ленин и называл «каутскианством» Правды. «В Циммервальде и Кинтале, — заявил он на партийном совещании, — получил преобладание центр... Мы заявляем, что образовали левую и порвали с центром... Течение левого Циммервальда существует во всех странах мира. Массы должны разбираться, что социализм раскололся во всем мире» . . .

Три дня перед тем Сталин провозглашал на этом самом совещании свою готовность изживать разногласия с Церетелли на основах Циммервальда-Кинталя, т. е. на основах каутскианства. «Я слышу, что в России идет объединительная тенденция, — говорил Ленин, — объединение с оборонцами — это предательство социализма. Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт. Один против 110!». Обвинение в предательстве социализма, пока еще безыменное, здесь не просто крепкое слово: оно полностью выражает отношение Ленина к тем большевикам, которые протягивают палец к социал-патриотам. В противовес Сталину, считающему возможным объединиться с меньшевиками, Ленин считает недопустимым носить дальше общее с ними имя социал-демократии. «Лично от себя — говорит он — предлагаю переменить название партии, назваться Коммунистической партией». «Лично от себя» — это значит, что никто, ни один из участников совещания, не соглашался на этот символический жест окончательного разрыва со Вторым Интернационалом.

«Вы боитесь изменить старым воспоминаниям?» го-

ворит оратор смущенным, недоумевающим, отчасти негодующим делегатам. Но настало время «переменить белье, — надо снять грязную рубашку и надеть чистую». И он снова настаивает: «Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило. Хотите строить новую партию ... и к вам придут все угнетенные».

Пред грандиозностью еще не початых задач, пред идейной смутой в собственных рядах острая мысль о драгоценном времени, бессмысленно расточаемом на встречи, приветствия, ритуальные резолюции, исторгает у оратора вопль: «Довольно приветствий, резолюций, — пора начать дело, надо перейти к деловой, трезвой работе!».

Через час Ленин вынужден был повторить свою речь на заранее назначенном общем собрании большевиков и меньшевиков, где она большинству слушателей показалась чем-то средним между издевательством и бредом. Более снисходительные пожимали плечами. Этот человек явно с луны свалился: едва сойдя, после десятилетнего отсутствия, со ступеней Финляндского вокзала, проповедует захват власти пролетариатом. Менее добродушные из патриотов упоминали о пломбированном вагоне. Станкевич свидетельствует, что выступление Ленина очень обрадовало его противников: «Человек, говорящий такие глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду... теперь он сам себя опровергает».

А между тем, при всей смелости революционного захвата, при непреклонной решимости рвать даже и с давними единомышленниками и соратниками, если они неспособны итти в ногу с революцией, речь Ленина, где все части уравновешены между собою, проникнута глубоким реализмом и безошибочным чувством массы. Но именно поэтому она должна была казаться фантастичной скользящим по поверхности демократам.

Большевики — маленькое меньшинство в советах, а Ленин замышляет захват власти. Разве это не

авантюризм? Ни тени авантюризма не было в ленинской постановке вопроса. Ни на минуту не закрывает он глаз на наличие «честного» оборонческого настроения в широких массах. Не растворяясь в них, он не собирается и действовать за их спиною. «Мы не шарлатаны, — бросает он навстречу будущим возражениям и обвинениям, — мы должны базироваться только на сознательности масс. Если даже придется остаться в меньшинстве, — пусть. Стоит отказаться на время от руководящего положения, не надо бояться остаться в меньшинстве». Не бояться остаться в меньшинстве, — даже одному, как Либкнехт против 110! — таков лейтмотив речи.

«Настоящее правительство — Совет Рабочих Депутатов... В Совете наша партия — в меньшинстве... Ничего не поделаешь! Нам остается лишь разъяснять, терпеливо, настойчиво, систематически, ошибочность их тактики. Пока мы в меньшинстве — мы ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана. Мы не хотим, чтобы массы нам верили на слово. Мы не шарлатаны. Мы хотим, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок». Не бояться оставаться в меньшинстве! Не на всегда, а на время. Час большевизма пробьет. «Наша линия окажется правильной... К нам придет всякий угнетенный, потому что его приведет к нам война. Иного выхда ему нет».

«На объединительном совещании — рассказывает Суханов — Ленин явился живым воплощением раскола... Помню Богданова (видный меньшевик), сидевшего в двух шагах от ораторской трибуны. Ведь это бред, — прерывал он Ленина, — это бред сумасшедшего!.. Стыдно аплодировать этой галиматье, — кричал он, обращаясь к аудитории, бледный от гнева и презрения, — вы позорите себя! Марксисты!».

Бывший член большевистского ЦК Гольденберг, стоявший в это время вне партии, оценил в прениях тезисы Ленина следующими уничтожающими словами: «Много лет место Бакунина в русской революции оставалось незанятым, теперь оно занято Лениным».

«Его программа тогда встречена была не столько с негодованием, — вспоминал позже эсер Зензинов, — сколько с насмешками, настолько нелепой и выдуманной казалась она всем».

Вечером того дня в беседе двух социалистов с Милюковым, в предверии контактной комиссии, разговор перешел на Ленина. Скобелев оценивал его, как «совершенно отпетого человека, стоящего вне движения». Суханов присоединился к скобелевской оценке и присовокупил, что Ленин «до такой степени ни для кого неприемлем, что сейчас он совершенно не опасен для моего собеседника Милюкова». Распределение ролей в этой беседе получилось, однако, совершенно по Ленину: социалисты охраняли спокойствие либерала от забот, которые мог ему причинить большевизм.

Даже до британского посла дошли слухи о том, что Ленин был признан плохим марксистом. «Среди вновь прибывших анархистов... — так записал Бьюкенен, — был Ленин, приехавший в запломбированном вагоне из Германии. Он появился публично первый раз на собрании социал-демократической партии и был плохо принят».

Снисходительней других отнесся к Ленину в те дни, пожалуй, Керенский, неожиданно заявивший в кругу членов Временного правительства, что хочет побывать у Ленина, и пояснивший, в ответ на недоуменные вопросы: «Ведь он живет в совершенно изолированной атмосфере, он ничего не знает, видит все через очки своего фанатизма, около него нет никого, кто бы сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что происходит». Таково свидетельство Набокова. Но Керенский так и не нашел свободного времени, чтоб ориентировать Ленина в том, что происходит.

Апрельские тезисы Ленина не только вызвали изумленное негодование врагов и противников. Они оттолкнули ряд старых большевиков в лагерь меньшевизма или в промежуточную группу, которая ютилась вокруг газеты Горького. Серьезного политического значения эта утечка не имела. Неизмеримо важнее

то впечатление, которое произвела позиция Ленина на весь руководящий слой партии. «В первые дни по приезде, — пишет Суханов, — его полная изоляция среди всех сознательных партийных товарищей не подлежит ни малейшему сомнению». «Даже его товарищи по партии, большевики, — подтверждает эсер Зензинов, — в смущении отвернулись тогда от него». Авторы этих отзывов встречались с руководящими большевиками ежедневно в Исполнительном комитете и имели сведения из первых рук.

Но нет недостатка в подобных же свидетельствах и из большевистских рядов. «Когда появились тезисы Ленина, — вспоминал позже Цихон, крайне смягчая краски, как и большинство старых большевиков, споткнувшихся на Февральской революции, — в нашей партии почувствовались некоторые колебания, многие из товарищей указывали, что Ленин имеет синдикалистический уклон, что он оторвался от России, не учитывает данного момента и т. д.». Один из видных большевистских деятелей в провинции, Лебедев, пишет: «По приезде Ленина в Россию, его агитация, первоначально не совсем понятная даже нам, большевикам, казавшаяся утопической, объяснявшаяся его долгой оторванностью от русской жизни, постепенно была воспринята нами и вошла, можно сказать, в плоть и кровь». Залежский, член Петроградского комитета и один из организаторов встречи, выражается прямее: «Тезисы Ленина произвели впечатление разорвавшейся бомбы». Залежский вполне подтверждает полную изолированность Ленина после столь горячей и внушительной встречи. «В тот день (4 апреля) тов. Ленин не нашел открытых сторонников даже в наших рядах».

Еще важнее, однако, показание «Правды». 8 апреля, через четыре дня после оглашения тезисов, когда можно было уже достаточно полно объясниться и понять друг друга, редакция «Правды» писала: «Что касается общей схемы т. Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от

признания буржуазно-демократической революции законченной и расчитывает на немедленное перерождение этой ревслюции в революцию социалистическую». Центральный орган партии заявлял, таким образом, открыто, пред лицом рабочего класса и его врагов, о расхождении с общепризнанным вождем партии по краеугольному вопросу революции, к которой большевистские кадры готовились в течение долгого ряда лет. Этого одного достаточно, чтоб оценить всю глубину апрельского кризиса партии, выросшего из столкновения двух непримиримых линий. Без преодоленя этого кризиса революция не могла продвинуться вперед.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПАРТИИ.

Чем же объясняется исключительная изолированность Ленина в начале апреля? Как могло вообще сложиться такое положение? И как достигнуто было перевооружение кадров большевизма?

С 1905 года большевистская партия вела борьбу против самодержавия под лозунгом «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Лозунг, как и его теоретическое обоснование, исходили от Ленина. В противовес меньшевикам, теоретик которых, Плеханов, непримиримо боролся против «ошибочной мысли о возможности совершить буржуазную революцию без буржуазии», Ленин считал, что русская буржуазия уже неспособна руководить своей собственной революцией. Довести демократическую революцию против монархии и помещиков до конца могли только пролетариат и крестьянство в тесном союзе. Победа этого союза должна была, по Ленину, установить демократическую диктатуру, которая не только не отождествлялась с диктатурой пролетариата, но, наоборот, противопоставлялась ей, ибо задачею ставилось не установление социалистического общества, даже не создание переходных форм к нему, а лишь беспощадная чистка авгиевых конюшен средневековья. Цель революционной борьбы вполне точно определялась тремя боевыми лозунгами, — демократическая республика, конфискация помещичьих земель, 8-часовой рабочий день, — которые в просторечии назывались тремя китами большевизма, по аналогии с теми китами, на которых, по старому народному поверью, держится земля.

Вопрос об осуществимости демократической диктатуры пролетариата и крестьянства разрешался в зави-

симости от вопроса о способности крестьянства совершить свою собственную революцию, т. е. выдвинуть новую власть, способную ликвидировать монархию и дворянское землевладение. Правда, лозунг демократической диктатуры предполагал участие в революционном правительстве также и рабочих представителей. Но участие это заранее ограничивалось ролью пролетариата, как левого союзника при разрешении задач крестьянской революции. Популярная и даже официально признанная идея гегемонии пролетариата в демократической революции не могла, следовательно, означать ничего, кроме того, что рабочая партия поможет крестьянам политическим оружием из своих арсеналов, подскажет им наилучшие способы и методы ликвидации феодального общества и покажет, как применять их на деле. Во всяком случае речи о руководящей роли пролетариата в буржуазной революции отнюдь не означали, что пролетариат использует крестьянское восстание для того, чтобы, опираясь на него, поставить в порядок дня свои собственные исторические задачи, т. е. прямой переход к социалистическому обществу. Гегемония пролетариата в демократической революции резко отличалась от диктатуры пролетариата и полемически противопоставлялась ей. На этих идеях большевистская партия воспитывалась с весны 1905 года.

Действительный ход февральского переворота нарушил привычную схему большевизма. Правда, революция была совершена союзом рабочих и крестьян. То, что крестьяне выступали главным образом в виде солдат, не меняло дела. Поведение крестьянской армии царизма имело бы решающее значение и в том случае, еслибы революция развернулась в мирное время. Тем более естественно, если, в условиях войны, многомиллионная армия на первых порах совершенно заслонила собою крестьянство. После победы восстания рабочие и солдаты оказались хозяевами положения. В этом смысле можно было бы, казалось, сказать, что установилась демократическая диктатура

рабочих и крестьян. Между тем, на самом деле февральский переворот привел к буржуазному правительству, причем власть имущих классов ограничивалась недоведенной до конца властью рабочих и солдатских советов. Все карты оказались смешаны. Вместо революционной диктатуры, т. е. самой концентрированной власти, установился расхлябанный режим двоевластия, где скудная энергия правящих кругов бесплодно расходовалась на преодоление внутренних трений. Этого режима никто не предвидел. Да и нельзя требовать от прогноза, чтоб он указывал не только основные тенденции развития, но и их эпизодические сочетания. «Кто когда-либо мог делать величайшую революцию, зная заранее, как ее делать до конца? — спрашивал Ленин позже. — Откуда можно взять такое знание? Оно не почерпывается из книг. Таких книг нет. Только из опыта масс могло родиться наше решение».

Но человеческое мышление консервативно, а мышление революционеров подчас — особенно. Большевистские кадры в России продолжали держаться за старую схему и восприняли Февральскую революцию, несмотря на то, что она явно заключала в себе два несовместимых режима, лишь как первый этап буржуазной революции. В конце марта Рыков посылал из Сибири в «Правду» от имени социал-демократов приветственную телеграмму по поводу победы «национальной революции», задача которой «завоевание политической свободы». Все руководящие большевики, без изъятия — мы не знаем ни одного, — считали, что демократическая диктатура еще впереди. После того, как Временное правительство буржуазии «исчерпает себя», установится демократическая диктатура рабочих и крестьян, как предверие буржуазно-парламентарного строя. Это была совершенно ошибочная перспектива. Режим, вышедший из февральского переворота, не только не подготовлял собой демократической диктатуры, но явился живым и исчерпывающим доказательством того, что она вообще невозможна.

Что соглашательская демократия не случайно, не по легкомыслию Керенского и ограниченности Чхеидзе, передала власть либералам, она доказала тем, что в течение восьми дальнейших месяцев изо всех сил боролась за сохранение буржуазного правительства, подавляла рабочих, крестьян, солдат и пала 25 октября на посту союзницы и защитницы буржуазии. Но и с самого начала было ясно, что, если демократия, имевшая перед собой гигантские задачи и неограниченную поддержку масс, добровольно отказалась от власти, то это вызывалось не политическими принципами или предрассудками, а безнадежностью положения мелкой буржуазии в капиталистическом обществе, особенно в период войны и революции, когда решаются основные вопросы существования стран, народов и классов. Вручая Милюкову скипетр, мелкая буржуазия говорила: нет, эти задачи мне не по плечу.

Крестьянство, поднявшее на себе соглашательскую демократию, заключает в себе в первичной форме все классы буржуазного общества. Вместе с городской мелкой буржуазией, которая в России никогда, однако, не играла серьезной роли, оно является той протоплазмой, из которой новые классы дифференцировались в прошлом и продолжают дифференцироваться в настоящем. У крестьянства всегда два лица: одно обращено к пролетариату, другое к буржуазии. Промежуточная, посредническая, соглашательская позиция «крестьянских» партий, вроде партии эсеров, может держаться только в условиях относительного политического застоя; в революционную эпоху неизбежно наступает момент, когда мелкой буржуазии приходится выбирать. Эсеры и меньшевики выбор свой сделали с первого часа. Они ликвидировали в зародыше «демократическую диктатуру», чтобы помешать ей стать мостом к диктатуре пролетариата. Но этим то они и открыли дорогу последней, только с другого конца: не через них, а против них.

Дальнейшее развитие революции могло исходить, очевидно, из новых фактов, а не из старых схем. Че-

рез свое представительство массы, наполовину против своей воли, наполовину помимо своего сознания, были втянуты в механику двоевластия. Они должны были отныне пройти через нее, чтобы убедиться на опыте, что она не может дать им ни мира, ни земли. Отшатнуться от режима двоевластия означает отныне для масс порвать с эсерами и меньшевиками. Но совершенно очевидно, что политический поворот рабочих и солдат в сторону большевиков, опрокидывая всю постройку двоевластия, не мог уже более означать ничего иного, как установление диктатуры пролетариата, опирающейся на союз рабочих и крестьян. В случае поражения народных масс, на развалинах большевистской партии могла установиться лишь военная диктатура капитала. «Демократическая диктатура» была в обоих случаях исключена. Направляя к ней взоры, большевики поворачивались фактически лицом к призраку прошлого. В таком виде их и застал Ленин, прибывший с непреклонным намерением вывести партию на новую дорогу.

Формулы демократической диктатуры сам Ленин, правда, не сменял на иную, даже условно, даже гипотетически, до самого начала Февральской революции. Правильно ли это было? Мы думаем, что нет. То, что происходило в партии после переворота, слишком грозно обнаруживало запоздалость перевооружения, которое, к тому же, при данных условиях, мог произвести один лишь Ленин. Он к этому готовился. Свою сталь он до бела нагревал и перековывал в огне войны. Изменилась в его глазах общая перспектива исторического процесса. Потрясения войны резко приближали возможные сроки социалистической революции на Западе. Оставаясь, для Ленина, все еще демократической, русская революция должна была дать толчок социалистическому перевороту в Европе, который затем должен был вовлечь и отсталую Россию в свой водоворот. Такова была общая концепция Ленина, когда он покидал Цюрих. Уже цитированное нами Письмо к швейцарским рабочим гласит: «Россия

— крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны, при громадном сохранившемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 г., может придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку к ней». В этом смысле Ленин впервые писал теперь, что русский пролетариат начнет социалистическую революцию.

Таково было соединительное звено между старой позицией большевизма, которая ограничивала революцию демократическими целями, и новой позицией, которую Ленин впервые представил партии в своих тезисах 4 апреля. Перспектива непосредственного перехода к диктатуре пролетариата казалась совершенно неожиданной, противоречащей традиции, наконец, попросту не укладывалась в голову. Здесь необходимо напомнить, что до самого взрыва Февральской революции и в первое время после него троцкизмом называли не мысль о том, что в национальных границах России нельзя построить социалистическое общество (мысль о такой «возможности» вообще никем не высказывалась до 1924 г. и вряд-ли кому-либо приходила в голову), — троцкизмом называлась мысль о том, что пролетариат России может оказаться у власти раньше, чем западный пролетариат, и что в этом случае он не сможет удержаться в рамках демократической диктатуры, а должен будет приступить к первым социалистическим мероприятиям. Немудрено, если апрельские тезисы Ленина осуждались, как троцкистские.

Возражения «старых большевиков» развертывались по нескольким линиям. Главный спор шел вокруг вопроса, закончилась ли буржуазно-демократическая революция. Так как аграрный переворот еще не совершился, то противники Ленина с полным правом утверждали, что демократическая революция не доведена

до конца, а значит, заключали они, нет и места для диктатуры пролетариата, даже еслибы социальные условия России вообще допускали ее в более или менее близком времени. Именно так ставила вопрос редакция «Правды» в приведенной уже нами цитате. Позже, на апрельской конференции, Каменев повторял: «Неправ Ленин, когда говорит, что буржуазно-демократическая революция закончилась... Классический остаток феодализма — помещичье землевладение — еще не ликвидирован... Государство не преобразовано в демократическое общество... Рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности».

«Демократическая диктатура — возражал Томский — вот наше основание... Мы должны организовать власть пролетариата и крестьянства и должны ее отделить от коммуны, так как там власть только пролетариата».

«Перед нами стоят громадные революционные задачи, — вторил им Рыков. — Но осуществление этих задач еще не выводит нас из рамок буржуазного строя».

Ленин видел, конечно, не хуже своих оппонентов, что демократическая революция не закончилась, вернее, что, едва начавшись, она уже стала откатываться назад. Но именно отсюда и вытекало, что довести ее до конца возможно лишь при господстве нового класса, а притти к этому нельзя иначе, как вырвав массы из-под влияния меньшевиков и эсеров, т. е. из-под косвенного влияния либеральной буржуазии. Связь этих партий с рабочими и особенно солдатами питалась идеей обороны — «обороны страны» или «обороны революции». Ленин требовал, поэтому, непримиримой политики по отношению ко всем оттенкам социал-патриотизма. Отколоть партию от отсталых масс, чтоб затем освободить эти массы от их отсталости. «Старый большевизм должен быть оставлен, — повторял он. — Необходимо разделение линии мелкой буржуазии и наемного пролетариата».

На поверхностный взгляд могло казаться, что исконные противники поменялись оружием. Меньшевики и эсеры представляли теперь большинство рабочих и солдат, как бы осуществляя на деле политический союз пролетариата и крестьянства, всегда проповедывавшийся большевиками против меньшевиков. Ленин же требовал, чтоб пролетарский авангард оторвался от этого союза. На самом деле каждая из сторон оставалась верна себе. Меньшевики, как и всегда, видели свою миссию в поддержке либеральной буржуазии. Союз их с эсерами был только средством для расширения и укрепления этой поддержки. Наоборот, разрыв пролетарского авангарда с мелко-буржуазным блоком означал подготовку союза рабочих и крестьян под руководством большевистской партии, т. е. диктатуры пролетариата.

Возражения другого порядка исходили из отсталости России. Власть рабочего класса неизбежно означает переход к социализму. Но экономика и культура России не созрели для этого. Мы должны довести до конца демократическую революцию. Только социалистическая революция на Западе может оправдать у нас диктатуру пролетариата. Таковы были возражения Рыкова на апрельской конференции. Что культурно-экономические условия России сами по себе недостаточны для построения социалистического общества, это было для Ленина азбукой. Но общество вовсе не устроено так рационально, что сроки для диктатуры пролетариата наступают как раз в тот момент, когда экономические и культурные условия созрели для социализма. Еслиб человечество развивалось так планомерно, не было бы надобности в диктатуре, как и в революциях вообще. Все дело в том, что живое историческое общество дисгармонично насквозь и тем более, чем запоздалее его развитие. Выражением этой дисгармонии и является тот факт, что в отсталой стране, как Россия, буржуазия успела загнить до полной победы буржуазного режима, и что заменить ее, в качестве руководителя нации, некому,

кроме пролетариата. Экономическая отсталость России не избавляет рабочий класс от обязанности выполнить выпавшую на него задачу, а лишь обставляет это выполнение чрезвычайными трудностями. Рыкову, повторявшему, что социализм должен притти из стран с более развитой промышленностью, Ленин давал простой, но достаточный ответ: «Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит».

* * *

В 1921 г., когда партия, еще далекая от бюрократического окостенения, с такой же свободой оценивала свое прошлое, как и подготовляла свое будущее, один из старейших большевиков, Ольминский, принимавший руководящее участие в партийной печати на всех этапах ее развития, задавался вопросом, чем объясняется тот факт, что партия оказалась в момент Февральской революции на оппортунистическом пути? И что позволило ей затем так круто свернуть на октябрьскую дорогу? Источник мартовских блужданий названный автор вполне правильно видит в том факте, что партия «передержала» курс на демократическую диктатуру. «Предстоящая революция может быть только революцией буржуазной... Это было — говорит Ольминский — обязательное для каждого члена партии суждение, официальное мнение партии, ее постоянный и неизменный лозунг, вплоть до Февральской революции 1917 г. и даже некоторое время после нее». Для иллюстрации Ольминский мог бы сослаться на то, что «Правда», еще до Сталина и Каменева, т. е. при «левой» редакции, включавшей самого Ольминского, писала (7 марта), как о чем-то само собою разумеющемся: «Конечно, у нас еще не идет вопрос о падении господства капитала, а только о падении господства самодержавия и феодализма»... Из слишком короткого прицела и вытекло мартовское пленение партии буржуазной демократией. «Откуда же взялась Ок-

тябрьская революция, — спрашивает далее тот-же автор, — каким образом произошло, что партия, от ее вождей до ее рядовых членов, так «внезапно» отказалась от того, что она считала непреложной истиной в течение почти двух десятков лет?»

Суханов, в качестве противника, ставит тот-же вопрос по иному. «Как и чем ухитрился Ленин одолеть своих большевиков?» Действительно, победа Ленина внутри партии была одержана не только полно, но и в очень короткий срок. Противники немало вообще иронизировали по этому поводу над личным режимом большевистской партии. На поставленный им вопрос сам Суханов дает ответ вполне в духе героического начала: «Гениальный Ленин был историческим авторитетом — это одна сторона дела. Другая та, что, кроме Ленина, в партии не было никого и ничего. Несколько крупных генералов, без Ленина, — ничто, как несколько необъятных планет без солнца (я сейчас оставляю Троцкого, бывшего тогда еще вне рядов ордена)». Эти курьезные строки пытаются объяснить влияние Ленина его влиятельностью, как способность опиума наводить сон объясняется его усыпляющей силой. Подобное объяснение, однако, не очень далеко подвигает нас вперед.

Действительное влияние Ленина в партии было, несомненно, очень велико, но отнюдь не было неограниченным. Оно не стало безапелляционным и позже, после Октября, когда авторитет Ленина чрезвычайно возрос, ибо партия измерила его силу метром мировых событий. Тем более недостаточны голые ссылки на личный авторитет Ленина по отношению к апрелю 1917 г., когда весь руководящий слой партии успел уже занять позицию, противоречащую ленинской.

Гораздо ближе подходит к решению вопроса Ольминский, когда доказывает, что, несмотря на свою формулу буржуазно-демократической революции, партия, всей своей политикой по отношению к буржуазии и демократии, с давних пор фактически подготовлялась возглавить пролетариат в непосредственной борьбе за

власть. «Мы (или многие из нас), — говорит Ольминский, — бессознательно держали курс на пролетарскую революцию, думая, что держим курс на революцию буржуазно-демократическую. Иначе говоря, мы готовили октябрьскую революцию, воображая, что готовим февральскую». В высшей степени ценное обобщение, которое есть в то-же время безупречное свидетельское показание!

В теоретическом воспитании революционной партии был элемент противоречия, который находил свое выражение в двусмысленной формуле «демократической диктатуры» пролетариата и крестьянства. Выступавшая по докладу Ленина на конференции делегатка выразила мысль Ольминского еще проще: «Прогноз, который ставили большевики, оказался ошибочным, но тактика была правильна».

В апрельских тезисах, казавшихся столь парадоксальными, Ленин опирался против старой формулы на живую традицию партии: ее непримиримость к господствующим классам и ее враждебность ко всякой половинчатости, тогда как «старые большевики» противопоставляли хоть и свежие, но уже архивные воспоминания конкретному развитию классовой борьбы. У Ленина была слишком прочная опора, подготовленная всей историей борьбы большевиков с меньшевиками. Здесь уместно напомнить, что официальная социал-демократическая программа еще оставалась в это время у большевиков и меньшевиков общей, и практические задачи демократической революции на бумаге выглядели у обоих партий одинаково. Но они совсем не были одинаковы на деле. Рабочие-большевики сейчас же после переворота взяли на себя инициативу борьбы за 8-часовой рабочий день; меньшевики объявляли это требование несвоевременным. Большевики руководили арестами царских чиновников, меньшевики противодействовали «эксцессам». Большевики энергично приступили к созданию рабочей милиции, меньшевики тормозили вооружение рабочих, не желая ссориться с буржуазией. Еще не переступая за черту

буржуазной демократии, большевики действовали или стремились действовать, как непримиримые революционеры, хоть и сбитые руководством с пути; меньшевики же на каждом шагу жертвовали демократической программой в интересах союза с либералами. При полном отсутствии демократических союзников Каменев и Сталин неизбежно повисали в воздухе.

Апрельское столкновение Ленина с генеральным штабом партии не было единственным. Во всей истории большевизма, за вычетом отдельных эпизодов, которые по существу лишь подтверждают правило, все лидеры партии во все важнейшие моменты развития оказывались в п р а в о от Ленина. Случайно ли? Нет! Ленин потому и стал бесспорным вождем наиболее революционной в мировой истории партии, что его мысль и воля действительно пришлись, наконец, по мерке грандиозным революционным возможностям страны и эпохи. У других не хватало то вершка, то двух, а часто и более.

Почти весь руководящий слой большевистской партии за месяцы и даже годы, предшествовавшие перевороту, оказался вне активной работы. Многие унесли с собой в тюрьмы и ссылку гнетущие впечатления первых месяцев войны и переживали крушение Интернационала в одиночку или небольшими группами. Если в рядах партии они обнаруживали достаточную восприимчивость к идеям революции, что и привязывало их к большевизму, то будучи изолированы, они оказывались не в силах противостоять давлению окружающей среды и самостоятельно давать марксистскую оценку событий. Огромные сдвиги, происшедшие в массах за $2^1/_2$ года войны, оставались почти вне их поля зрения. Между тем переворот не только вырвал их из изолированности, но и поставил, в силу авторитетности, на решающие посты в партии. По своим настроениям эти элементы оказывались нередко гораздо ближе к «циммервальдской» интеллигенции, чем к революционным рабочим на заводах.

«Старые большевики», напыщенно подчеркивавшие

в апреле 1917 г. это свое звание, были обречены на поражение, ибо защищали как раз тот элемент партийной традиции, который не выдержал исторической проверки. «Я принадлежу к старым большевикам-ленинистам, — говорил, например, Калинин на Петроградской конференции 14 апреля, — и считаю, что старый ленинизм вовсе не оказался непригодным для настоящего своеобразного момента, и удивляюсь заявлению т. Ленина о том, что старые большевики стали помехой в настоящий момент». Таких обиженных голосов Ленину пришлось наслушаться в те дни немало. Между тем, порывая с традиционной формулой партии, сам Ленин ничуть не переставал быть «ленинистом»: он отбрасывал изношенную скорлупу большевизма, чтоб призвать к новой жизни его ядро.

Против старых большевиков Ленин нашел опору в другом слое партии, уже закаленном, но более свежем и более связанном с массами. В февральском перевороте рабочие-большевики, как мы знаем, играли решающую роль. Они считали само собою разумеющимся, что власть должен взять тот класс, который одержал победу. Эти самые рабочие бурно протестовали против курса Каменева-Сталина, а Выборгский район грозил даже исключением «вождей» из партии. То же наблюдалось и в провинции. Почти везде были левые большевики, которых обвиняли в максимализме, даже в анархизме. У рабочих-революционеров не хватало лишь теоретических рессурсов, чтоб отстоять свои позиции. Но они готовы были откликнуться на первый ясный призыв.

На этот слой рабочих, окончательно вставших на ноги во время подъема 1912-14 годов, ориентировался Ленин. Еще в начале войны, когда правительство нанесло партии тяжкий удар разгромом большевистской фракции в Думе, Ленин, говоря о дальнейшей революционной работе, указывал на воспитанные партией «тысячи сознательных рабочих, из которых, вопреки всем трудностям, подберется снова коллектив руководителей». Отделенный от них двумя фронтами,

почти без связей, Ленин никогда, однако, не отрывался от них. «Пусть даже впятеро, вдесятеро, разобьет их война, тюрьма, Сибирь, каторга. Уничтожить этого слоя нельзя. Он жив. Он проникнут революционностью и антишовинизмом». Ленин мысленно переживал события вместе с этими рабочими-большевиками, делал вместе с ними необходимые выводы, только шире и смелее их. Для борьбы с нерешительностью штаба и широкого офицерского слоя партии Ленин уверенно оперся на унтер-офицерский слой ее, который больше отражал рядового рабочего большевика.

Временная сила социал-патриотов и прикрытая слабость оппортунистического крыла большевиков состояли в том, что первые опирались на сегодняшние предрассудки и иллюзии масс, а вторые приспособлялись к ним. Главная сила Ленина состояла в том, что он понимал внутреннюю логику движения и направлял по ней свою политику. Он не навязывал массам свой план. Он помогал массам осознать и осуществить их собственный план. Когда Ленин сводил все проблемы революции к одной—«терпеливо разъяснять»,—то это значило, что надо сознание масс привести в соответствие с той обстановкой, в которую загнал их исторический процесс. Рабочий или солдат, разочаровываясь в политике соглашателей, должен был перейти на позицию Ленина, не задерживаясь на промежуточном этапе Каменева-Сталина.

Когда ленинские формулы были даны, они по-новому осветили перед большевиками опыт истекшего месяца и опыт каждого нового дня. В широкой партийной массе пошла быстрая дифференциация, влево и влево, к тезисам Ленина. «Район за районом,—говорит Залежский — присоединялись к ним, и к собравшейся 24-го апреля Всероссийской партийной конференции, петербургская организаця в целом высказалась за тезисы».

Борьба за перевооружение большевистских кадров, начавшаяся вечером 3 апреля, к концу месяца была

уже в сущности закончена*). Конференция партии, заседавшая в Петрограде 24-29 апреля, подводила итоги марту, месяцу оппортунистических шатаний, и апрелю, месяцу острого кризиса. Партия к этому времени сильно выросла и количественно и политически. 149 делегатов представляли 79 тысяч членов партии, из коих 15 000 в Петрограде. Для вчера еще нелегальной, а сегодня антипатриотической партии это было внушительное число, и Ленин несколько раз повторял его с удовлетворением. Политическая физиономия конференции определилась уже при выборе пятичленного президиума: в него не были включены ни Каменев, ни Сталин, главные виновники мартовских злоключений.

Несмотря на то, что для партии в целом спорные вопросы были уже твердо решены, многие из руководителей, связанные вчерашним днем, оставались еще на этой конференции в оппозиции или полуоппозиции к Ленину. Сталин отмалчивался и пережидал. Дзержинский от имени «многих», которые «не согласны принципиально с тезисами докладчика», требовал выслушать содоклад от «товарищей, которые вместе с нами пережили революцию практически». Это был явственный намек на эмигрантский характер ленинских тезисов. Каменев,

*) В тот самый день, когда Ленин приехал в Петроград, по ту сторону Атлантического Океана, у Галифакса, британская морская полиция сняла с норвержского парохода «Христианиафиорд» пять эмигрантов, возвращавшихся из Нью-Иорка в Россию: Троцкого, Чудновского, Мельничанского, Мухина, Фишелева и Романченко. Эти лица получили возможность прибыть в Петроград лишь 5-го мая, когда политическое перевооружение большевистской партии было, по крайней мере, вчерне, закончено. Мы не считаем поэтому возможным вводить в текст нашего повествования изложение тех взглядов на революцию, которые развивались Троцким в ежедневной русской газете, выходившей в Нью-Иорке. Но так как, с другой стороны, знакомство с этими взглядами облегчит читателю понимание дальнейших группировок партии и особенно идейной борьбы накануне Октября, то мы считаем целесообразным выделить относящуюся сюда справку и поместить ее в конце книги, в виде приложения. Читатель, который не считает себя заинтересованным в более детальном изучении теоретической подготовки Октябрьского переворота, может спокойно пройти мимо этого приложения.

действительно, выступал на конференции с содокладом в защиту буржуазно-демократической диктатуры. Рыков, Томский, Калинин пытались удержаться в той или другой степени на своих мартовских позициях. Калинин продолжал стоять за объединение с меньшевиками, в интересах борьбы с либерализмом. Видный московский работник Смидович горячо жаловался в своей речи: «При каждом нашем выступлении на нас направляется определенное пугало, в виде тезисов тов. Ленина». Раньше, пока москвичи голосовали за резолюцию меньшевиков, жить было гораздо спокойнее.

В качестве ученика Розы Люксембург, Дзержинский выступал против права наций на самоопределение, обвиняя Ленина в покровительстве сепаратистским тенденциям, ослабляющим пролетариат России. На встречное обвинение в поддержке великорусского шовинизма, Дзержинский ответил: «Я могу упрекнуть его (Ленина) в том, что он стоит на точке зрения польских,украинских и других шовинистов». Этот диалог не лишен политической пикантности: великорос Ленин обвиняет поляка Дзержинского в великорусском шовинизме, направленном против поляков, и подвергается со стороны последнего обвинению в шовинизме польском. Политическая правота была и в этом споре целиком на стороне Ленина. Его национальная политика вошла важнейшим составным элементом в Октябрьскую революцию.

Оппозиция явно угасала. По спорным вопросам она не собирала более семи голосов. Было, однако, одно любопытное и яркое исключение, касавшееся интернациональных связей партии. Под самый конец работ, в вечернем заседании 29 апреля, Зиновьев внес от имени комиссии проект резолюции: «Принять участие в международной конференции циммервальдцев, назначенной на 18 мая» (в Стокгольме). Протокол гласит: «принята всеми голосами против одного». Этот один был Ленин. Он требовал разрыва с Циммервальдом, где большинство окончательно оказалось у немецких независимцев и нейтральных пацифистов, вроде швей-

царца Гримма. Но для русских кадров партии Циммервальд за время войны почти отождествился с большевизмом. Делегаты не соглашались еще ни отказываться от имени социал-демократии, ни рвать с Циммервальдом, который оставался, к тому же, в их глазах связью с массами Второго Интернационала. Ленин попытался ограничить, по крайней мере, участие в будущей конференции одними лишь информационными целями. Зиновьев выступил против него. Предложение Ленина не прошло. Тогда он голосовал против резолюции в целом. Его никто не поддержал. Это был последний всплеск «мартовских» настроений, цеплянье за вчерашние позиции, страх пред «изоляцией». Конференция, однако, вообще не состоялась, в силу тех самых внутренних болезней Циммервальда, которые и побуждали Ленина рвать с ним. Отвергнутая единогласно бойкотистская политика осуществилась, таким образом, на деле.

Крутой характер поворота, произведенного в политике партии, был очевиден для всех. Шмидт, рабочий-большевик, будущий нарком труда, говорил на апрельской конференции: «Ленин дал иное направление характеру работы». По выражению Раскольникова, писавшего, правда, несколькими годами позже, Ленин в апреле 1917 года «произвел Октябрьскую революцию в сознании руководителей партии... Тактика нашей партии не составляет одной прямой линии, после приезда Ленина делая крутой зигзаг влево». Непосредственнее и вместе точнее оценила происшедшую перемену старая большевичка Людмила Сталь: «Все товарищи до приезда Ленина бродили в темноте, — говорила она 14 апреля на городской конференции. — Были только одни формулы 1905 года. Видя самостоятельное творчество народа, мы не могли его учить... Наши товарищи смогли только ограничиться подготовкой к Учредительному Собранию парламентским способом и совершенно не учли возможности итти дальше. Приняв лозунги Ленина, мы сделаем то, что нам подсказывает сама жизнь. Не нужно бояться

коммуны, потому, что это, мол, уже рабочее правительство. Коммуна Парижа не была только рабочей, она была также и мелко-буржуазной». Можно согласиться с Сухановым, что перевооружение партии «было самой главной и основной победой Ленина, завершенной к первым числам мая». Правда, Суханов считал, что Ленин заменил при этой операции марксистское оружие анархическим.

Остается спросить, и это не маловажный вопрос, хотя поставить его легче, чем на него ответить: как пошло бы развитие революции, еслиб Ленин не доехал до России в апреле 1917 г.? Если наше изложение вообще что-либо показывает и доказывает, так это, надеемся, то, что Ленин не был демиургом революционного процесса, что он лишь включился в цепь объективных исторических сил. Но в этой цепи он был большим звеном. Диктатура пролетариата вытекала из всей обстановки. Но ее нужно было еще установить. Ее нельзя было установить без партии. Партия же могла выполнить свою миссию, лишь поняв ее. Для этого и нужен был Ленин. До его приезда ни один из большевистских вождей не сумел поставить диагноз революции. Руководство Каменева-Сталина отбрасывалось ходом вещей вправо, к социал-патриотам: между Лениным и меньшевизмом революция не оставляла места для промежуточных позиций. Внутренняя борьба в большевистской партии была совершенно неизбежна. Приезд Ленина лишь форсировал процесс. Личное влияние его сократило кризис. Можно ли, однако, сказать с уверенностью, что партия и без него нашла бы свою дорогу? Мы бы не решились это утверждать ни в каком случае. Фактор времени тут решает, а задним числом трудно взглянуть на часы истории. Диалектический материализм не имеет, во всяком случае, ничего общего с фатализмом. Кризис, который неизбежно должно было вызвать оппортунистическое руководство, принял бы, без Ленина, исключительно острый и затяжной характер. Между тем, условия войны и революции не оставляли партии боль-

шого срока для выполнения ее миссии. Совершенно не исключено таким образом, что дезориентированная и расколотая партия могла бы упустить революционную ситуацию на много лет. Роль личности выступает здесь перед нами поистине в гигантских масштабах. Нужно только правильно понять эту роль, беря личность, как звено исторической цепи.

«Внезапный» приезд Ленина из-за границы после долгого отсутствия, неистовый шум печати вокруг его имени, столкновение Ленина со всеми руководителями собственной партии и быстрая победа над ними, — словом, внешняя оболочка событий весьма способствовала в этом случае механическому противопоставлению лица, героя, гения — объективным условиям, массе, партии. На самом деле такое противопоставление совершенно односторонне. Ленин был не случайным элементом исторического развития, а продуктом всего прошлого русской истории. Он сидел в ней глубочайшими своими корнями. Вместе с передовыми рабочими он проделывал всю их борьбу в течение предшествующей четверти столетия. «Случайностью» являлось не его вмешательство в события, а скорее уж та соломинка, которою Ллойд-Джордж пытался преградить ему путь. Ленин не противостоял партии извне, а являлся наиболее ее законченным выражением. Воспитывая ее, он воспитывался в ней. Его расхождение с руководящим слоем большевиков означало борьбу завтрашнего дня партии с ее вчерашним днем. Еслиб Ленин не был искусственно оторван от партии условиями эмиграции и войны, внешняя механика кризиса не была бы так драматична и не заслоняла бы в такой мере внутреннюю преемственность партийного развития. Из того исключительного значения, которое получил приезд Ленина вытекает лишь, что вожди не создаются случайно, что они отбираются и воспитываются в течение десятилетий, что их нельзя заменить по произволу, что их механическое выключение из борьбы причиняет партии живую рану и, в некоторых случаях, может надолго парализовать ее.

«АПРЕЛЬСКИЕ ДНИ».

23 марта Соединенные Штаты вступили в войну. В этот день Петроград хоронил жертвы Февральской революции. Траурная, но по настроениям торжественно-жизнерадостная манифестация была могущественным заключительным аккордом симфонии пяти дней. На похороны пришли все: и те, кто сражался бок-о-бок с убитыми, и те, которые удерживали от борьбы, вероятно и те, которые их убили, а больше всего те, которые оставались в стороне от борьбы. Рядом с рабочими, солдатами, мелким городским людом тут были студенты, министры, послы, солидные буржуа, журналисты, ораторы, вожди всех партий. Красные гробы на руках рабочих и солдат поплыли из районов на Марсово поле. Когда гробы начали опускать в могилу, с Петропавловской крепости, потрясая неисчислимые массы народные, грянул первый траурный салют. Пушки звучали по новому: н а ш и пушки и н а ш салют. Выборгский район нес пятьдесят один красный гроб. Это была лишь часть жертв, которыми он гордился. В шествии выборжцев, самом компактном из всех, выделялись многочисленные большевистские знамена. Но они мирно колыхались рядом с другими. На самом Марсовом поле остались лишь члены правительства, Совета и — покойной, но упорно избегающей собственных похорон Государственной думы. Мимо могил продефилировали за день, со знаменами и оркестрами, не менее 800 000 человек. И хотя, по предварительным рассчетам самых высоких военных авторитетов, подобная человеческая масса ни в каком случае не могла пройти в намеченные сроки, без величайшего хаоса и гибельных водоворотов, — тем не менее манифестация прошла в полном порядке, знаме-

нательном для тех революционных шествий, где господствует удовлетворенное сознание совершенных впервые великих дел в сочетании с надеждой, что дальше все пойдет к лучшему. Только это настроение и поддерживало порядок, ибо организация была еще слаба, неопытна и неуверенна в себе.

Самый факт похорон был, казалось, достаточным опровержением легенды о бескровной революции. И тем не менее царившее на похоронах настроение воспроизводило отчасти ту атмосферу первых дней, из которой эта легенда родилась.

Через двадцать пять дней — за это время много прибавилось у советов опыта и уверенности в себе — происходило празднование Первого мая, по западному календарю (18 апреля по старому стилю). Все города страны были затоплены митингами и демонстрациями. Не только промышленные предприятия, но и государственные, городские и земские учреждения не работали. В Могилеве, где помещалась ставка, во главе манифестации шли георгиевские кавалеры. Колонна штаба, не сменившего царских генералов, выступала со своим первомайским плакатом. Праздник пролетарского антимилитаризма сливался с революционно-окрашенной манифестацией патриотизма. Разные слои населения вносили в праздник свое, но все вместе сливалось еще в какое-то целое, крайне расплывчатое, отчасти фальшивое, но в общем величественное.

В обеих столицах и в промышленных центрах в празднестве господствовали рабочие, и в их массе уже отчетливо выделялись — знаменами, плакатами, речами, возгласами — крепкие ядра большевизма. Через огромный фасад Мариинского дворца, убежища Временного правительства, тянулась дерзкая красная полоса с надписью: «Да здравствует Третий Интернационал!» Власти, еще не скинувшие с себя административной застенчивости, не решались сорвать этот неприятный и тревожный плакат. Праздновали, казалось, все. Праздновала, как могла, действующая армия. Получались известия о собраниях, речах, знаме-

нах и революционных песнях в окопах. Были отклики и с немецкой стороны.

Война еще не шла к концу, наоборот, она только расширяла свои круги. Целый континент недавно, как раз в день похорон жертв революции, вступил в войну, чтоб придать ей новый размах. Между тем во всех частях России вместе с солдатами в шествиях принимали участие и военнопленные, под общими знаменами, иногда и с общим гимном на разных языках. В этом необозримом торжестве, похожем на половодье, затоплявшее очертания классов, партий и идей, совместная демонстрация русских солдат и австро-германских пленных была ярким, обнадеживающим фактом, позволявшим думать, что революция, несмотря на все, несет в себе какой-то лучший мир.

Подобно мартовским похоронам первомайский праздник прошел в полном порядке, без столкновений и жертв, как «общенациональное» торжество. Однако, внимательное ухо могло уже без труда уловить в рядах рабочих и солдат нетерпеливые и даже угрожающие ноты. Жить становится все труднее. И действительно: цены угрожающе росли, рабочие требовали минимума заработной платы, предприниматели сопротивлялись, число конфликтов на заводах непрерывно наростало. Ухудшалось продовольственное положение, сокращался хлебный паек, введены были карточки и на крупу. Росло недовольство и в гарнизоне. Штаб округа, подготовляя обуздание солдат, выводил из Петрограда наиболее революционные части. На общегарнизонном собрании 17 апреля солдатами, догадывавшимися о враждебных замыслах, был поднят вопрос о прекращении выводов частей: это требование будет в дальнейшем подниматься во все более решительной форме при каждом новом кризисе революции. Но корень всех бед — война, которой не видно конца. Когда же революция принесет мир? Чего смотрят Керенский и Церетелли? Массы прислушивались все внимательнее к большевикам, поглядывая на них искоса, выжидательно, одни с полувраждебностью, другие

уже с доверием. Под торжественной дисциплиной праздника настроение было напряженным, в массах шло брожение.

Однако, никто, даже авторы плаката на Мариинском дворце, не предполагали, что уже ближайшие два-три дня беспощадно разорвут оболочку национального единства революции. Грозные события, неизбежность которых многие предвидели, но которых никто так скоро не ждал, внезапно надвинулись вплотную. Толчок им дала внешняя политика Временного правительства, т. е. проблема войны. Никто иной, как Милюков, поднес спичку к фитилю.

История спички и фитиля такова. В день вступления Америки в войну воспрянувший духом министр иностранных дел Временного правительства развил журналистам свою программу: захват Константинополя, захват Армении, раздел Австрии и Турции, захват северной Персии, а сверх этого, разумеется, право наций на самоопределение. «Во всех своих выступлениях, — так историк-Милюков поясняет Милюкова-министра, — он решительно подчеркивал пацифистские цели освободительной войны, но всегда приводил их в тесную связь с национальными задачами и интересами России». Интервью встревожило соглашателей. «Когда же иностранная политика Временного правительства очистится от фальши? — негодовала газета меньшевиков. — Почему Временное правительство не требует от союзных правительств открытого и решительного отказа от аннексий?» Фальшью эти люди считали откровенный язык хищника. В пацифистском прикрытии апетитов они готовы были видеть освобождение от фальши. Напуганный возбуждением демократии Керенский поспешил заявить через бюро печати: программа Милюкова составляет его личное мнение. Что автор личного мнения является министром иностранных дел, считалось, очевидно, чистой случайностью.

Церетелли, обладавший талантом сводить каждый вопрос к общему месту, стал настаивать на необходимости правительственного заявления о том, что вой-

на для России — исключительно оборонительная. Сопротивление Милюкова и отчасти Гучкова было сломлено, и 27 марта правительство разрешилось декларацией на тему о том, что «цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чужих территорий», — но «при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников». Так цари и пророки двоевластия возвещали о своем намерении войти в царствие небесное в союзе с отцеубийцами и прелюбодеями. Эти господа, помимо всего прочего, были лишены чувства смешного.

Заявление 27 марта приветствовалось не только всей соглашательской печатью, но даже «Правдой» Каменева-Сталина, которая писала в передовой статье, за четыре дня до приезда Ленина: «Ясно и определенно Временное правительство ... заявило всенародно, что цель свободной России — не господство над другими народами», и пр. Английская печать немедленно и с удовольствием истолковала отказ России от аннексий, как отказ ее от Константинополя, отнюдь, конечно, не собираясь распространять формулу воздержания и на себя. Русский посол в Лондоне забил тревогу и потребовал от Москвы разъяснений в том смысле, что принцип «мира без аннексий принимается Россией не безусловно, а поскольку не противоречит нашим жизненным интересам». Но ведь это как раз и была формула Милюкова: обещать не грабить того, что нам не нужно. Париж, в противовес Лондону, не только поддерживал Милюкова, но и подталкивал его, внушая ему через Палеолога необходимость более решительной политики по отношению к Совету.

Тогдашний премьер Рибо, выведенный из себя жалкой канителью в Петрограде, запросил Лондон и Рим, «не считают ли они необходимым призвать Временное правительство положить конец всякой двусмысленности (équivoque)». Лондон ответил, что более разумно « предоставить французским и английским

социалистам, посланным в Россию, прямо воздействовать на своих единомышленников».

Посылка в Россию союзных социалистов была произведена по инициативе русской ставки, т. е. старого царского генералитета. «Мы рассчитывали на него, — писал Рибо об Альбере Тома, — чтобы придать некоторую твердость решениям Временного правительства». Милюков жаловался, однако, что Тома слишком близко держится к вождям Совета. Рибо отвечал на это, что Тома «искренне стремится» поддерживать точку зрения Милюкова, но обещал все же побудить своего посла к еще более активной поддержке.

Пустая насквозь Декларация 27 марта беспокоила все же союзников, видевших в ней уступку Совету. Из Лондона угрожали потерей веры «в боевую мощность России». Палеолог жаловался на «робость и неопределенность Декларации» Милюкову этого только и нужно было. В надежде на помощь союзников, Милюков пустился в большую игру, далеко превышавшую его рессурсы. Основная его мысль была — направить войну против революции, ближайшая задача на этом пути — деморализовать демократию. Но соглашатели как раз в апреле начали проявлять все большую нервность и суетливость в вопросах внешней политики, ибо на них неотступно напирали низы. Правительству нужен был заем. Между тем массы, при всем своем оборончестве, готовы были поддержать заем мира, но не заем войны. Нужно было приоткрыть пред ними хоть видимость мирной перспективы.

Развивая спасительную политику общих мест, Церетелли предложил потребовать от Временного правительства передачи союзникам ноты, аналогичной внутреннему заявлению 27 марта. Взамен этого Исполнительный комитет обязывался провести через Совет голосование за «Заем свободы». Милюков согласился на обмен: заем за ноту, — но решил использовать сделку вдвойне. Под видом истолкования Заявления нота дезавуировала его. Она требовала, чтобы миролюбивые фразы новой власти не давали «ни малейше-

го повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, — всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось...» Нота выражала далее уверенность в том, что победители «найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем». Слова о «гарантиях» и «санкциях», вставленные по настоянию Тома, на воровском языке дипломатии, особенно французской, не означали ничего иного, кроме аннексий и контрибуций. В день первомайского праздника Милюков телеграфно передал ноту, написанную под диктовку союзных дипломатов, правительствам Антанты, и лишь после этого она была послана в Исполнительный комитет и одновременно — в газеты. Контактную комиссию правительство обошло, и лидеры Исполкома оказались на положении рядовых граждан. Если соглашатели и не нашли в ноте ничего такого, чего не слышали бы от Милюкова раньше, то все же они не могли не видеть в ней обдуманно враждебного акта. Нота обезоруживала их пред массами и требовала от них прямого выбора между большевизмом и империализмом. Не в этом ли и состояла цель Милюкова? Все заставляет думать, что не только в этом: замысел его шел дальше.

Еще с марта Милюков изо всех сил пытался возродить злополучный проект захвата Дарданелл русским дессантом и вел многократные переговоры с генералом Алексеевым, убеждая его энергично провести операцию, которая должна была, по его мнению, поставить протестующую против аннексий демократию перед совершившимся фактом. Нота Милюкова 18 апреля была параллельным дессантом на плохо защищенное побережье демократии. Две акции — военная и политическая — дополняли друг друга и, в случае удачи, оправдывали друг друга. Победителей вообще не судят. Но Милюкову не суждено было оказаться победителем. Для дессанта нужно было 200—300 ты-

сяч войска. Но дело сорвалось из-за мелочи: отказа солдат. Защищать революцию они согласны, но не наступать самим. Дарданельское покушение Милюкова потерпело неудачу. И это подорвало все его дальнейшие начинания. А надо признать, что они были рассчитаны не плохо... при условии победы.

17 апреля, в Петербурге состоялась кошмарная патриотическая манифестация инвалидов: огромное число раненых из столичных лазаретов, безногих, безруких, забинтованных, двигалось к Таврическому дворцу. Тех, кто не мог итти, везли на грузовых автомобилях. На знаменах значилось: «война до конца». Это была манифестация отчаяния человеческих обрубков империалистической войны, которые хотели, чтоб революция не признала принесенные ими жертвы бессмысленными. Но за манифестантами стояла кадетская партия, точнее Милюков, подготовлявший на завтра свой большой удар.

В экстренном заседании 19-го ночью Исполком обсуждал ноту, отправленную накануне союзным правительствам. «После первого прочтения, — рассказывает Станкевич, — всеми единодушно и без споров было признано, что это совсем не то, чего ожидал Комитет». Но за ноту отвечало правительство в целом, включая и Керенского. Надо было, следовательно, прежде всего, спасать правительство. Церетелли стал «расшифровывать» незашифрованную ноту и открывать в ней все больше и больше достоинств. Скобелев глубокомысленно доказывал, что нельзя вообще требовать «полного совпадения» стремлений демократии и правительства. Мудрецы угнетали себя до рассвета, но решения не нашли. Под утро разошлись с тем, чтобы через несколько часов собраться снова. Рассчитывали, очевидно, на способность времени исцелять всякие раны.

На утро нота появилась во всех газетах. «Речь» комментировала ее в духе зрело обдуманной провокации. Социалистическая печать высказывалась крайне возбужденно. Меньшевистская «Рабочая газета», не успевшая еще, вслед за Церетелли и Ско-

белевым, освободиться от паров ночного возмущения, писала, что Временное правительство опубликовало «акт, являющийся издевательством над стремлениями демократии», и требовала от Совета решительных мер, «чтобы предотвратить его ужасные последствия». Растущий нажим большевиков чувствовался в этих фразах очень явственно.

Исполком возобновил заседание, но только для того, чтоб снова убедиться в своей неспособности притти к какому бы то ни было решению. Постановили созвать экстренный пленум Совета «для информации», — на самом деле, чтоб прощупать степень недовольства низов и выгадать время для собственных колебаний. В промежутке намечались всякого рода контактные заседания, которые должны были свести вопрос на нет.

Но в эту ритуальную возню двоевластия неожиданно вмешалась третья сила. На улицы вышли массы с оружием в руках. Меж штыков солдат мелькали буквы плакатов: «Долой Милюкова!» На других плакатах красовался так же и Гучков. В негодующих колоннах трудно было узнать демонстрантов 1-го мая.

Историки называют это движение «стихийным» в том условном смысле, что ни одна партия не брала на себя инициативу выступления. Непосредственный призыв на улицу исходил от некоего Линде, который и вписал этим свое имя в историю революции. «Ученый, математик, философ», Линде стоял вне партий, всей душой был на стороне революции и горячо хотел, чтоб она выполняла то, что обещает. Нота Милюкова и комментарии «Речи» возмутили его. «Не посоветовавшись ни с кем... — рассказывает его биограф, — он сразу приступил к действиям ... направился в Финляндский полк, созвал комитет и предложил немедленно пойти всем полком к Мариинскому дворцу... Предложение Линде было принято, и в 3 часа дня по улицам Петрограда уже направлялась внушительная демонстрация финляндцев с вызывающими плакатами». Вслед за Финляндским полком выступили солдаты

180-го запасного, Московского, Павловского, Кексгольмского, матросы 2-го балтийского флотского экипажа, всего до 25-30 тысяч человек, все с оружием. В рабочих кварталах пошло волнение, прекращали работу и заводами выходили на улицу вслед за полками.

«Большинство солдат не знало, зачем они пришли», уверяет Милюков, точно он успел их опросить. «Кроме войск, в демонстрации участвовали рабочие-подростки, громко(!) заявлявшие, что им за это заплачено по 10—15 рублей». Источник оплаты ясен: «задача устранения обоих министров (Милюкова и Гучкова) прямо была поставлена из Германии». Милюков давал это глубокомысленное объяснение не в разгаре апрельской борьбы, а через три года после октябрьских событий, которые достаточно ясно показали, что ни у кого не было надобности оплачивать высокой поденной платой ненависть народных масс к Милюкову.

Внезапная острота апрельской демонстрации объясняется непосредственностью массовой реакции на обман сверху. «Пока правительство не добьется мира, надо обороняться». Это говорилось без энтузиазма, но убежденно. Предполагалось, что наверху делается все, чтоб приблизить мир. Правда, от большевиков шли утверждения, что правительство хочет продолжения войны ради грабежей. Но возможно ли это? А Керенский? — Мы советских вождей знаем с февраля, они первыми пришли к нам в казармы, они за мир. К тому же Ленин из Берлина приехал, а Церетелли на каторге был. Надо потерпеть... В то же время передовые заводы и полки все тверже выдвигали большевистские лозунги политики мира: опубликование тайных договоров и разрыв с завоевательными планами Антанты, открытое предложение немедленного мира всем воюющим странам. В эти сложные и колеблющиеся настроения упала нота 18 апреля. Как так? Наверху, значит, не за мир, а за старые цели войны? Значит мы напрасно ждем-терпим? Долой!.. Но кого долой? Неужели правы большевики? Не может быть. Но как же нота? Значит кто-то все-таки нашу

шкуру продает царским союзникам? Из простого сопоставления кадетской и соглашательской печати выходило, что Милюков, обманув общее доверие, собирается вести завоевательную политику совместно с Ллойд-Джорджем и Рибо. И Керенский заявил ведь, что покушение на Константинополь есть «личное мнение» Милюкова. Так вспыхнуло это движение.

Но оно не было однородным. Отдельные горячие элементы из среды революционеров тем более переоценивали объем и политическую зрелость движения, чем ярче и внезапнее оно прорвалось наружу. Большевики в частях и на заводах развернули энергичную работу. Требование «убрать Милюкова», которое было своего рода программой-минимум движения, они дополняли плакатами против Временного правительства в целом, причем разные элементы понимали это по разному: одни, как лозунг пропаганды, другие, как сегодняшнюю задачу. Вынесенный на улицу вооруженными солдатами и матросами лозунг «долой Временное правительство» неминуемо вносил в демонстрацию струю вооруженного восстания. Значительные группы рабочих и солдат не прочь были тут же тряхнуть Временным правительством. От них исходили попытки проникнуть в Мариинский дворец, занять его выходы, арестовать министров. Для их спасения был командирован Скобелев, который тем успешнее выполнил свою миссию, что Мариинский дворец оказался пуст.

Вследствие болезни Гучкова правительство заседало этот раз на его частной квартире. Но не эта случайность уберегла министров от ареста, который серьезно им вовсе и не грозил. Армия в 25—30 тысяч солдат, вышедшая на улицы для борьбы с затягивателями войны, была вполне достаточна, чтоб сбросить и более солидное правительство, чем то, во главе которого стоял князь Львов. Но демонстранты не ставили себе этой цели. Они хотели в сущности лишь погрозить в окно кулаком, чтоб высокие господа перестали точить зубы на Константинополь и занялись бы как

следует вопросом о мире. Этим солдаты рассчитывали помочь Керенскому и Церетелли против Милюкова.

На заседание правительства прибыл генерал Корнилов, сообщил о происходящих вооруженных демонстрациях и заявил, что, в качестве командующего войсками Петроградского военного округа, располагает достаточными силами, чтоб подавить возмущение вооруженной рукой: остановка только за приказом. Случайно присутствовавший на заседании правительства Колчак рассказывал впоследствии, на процессе, который предшествовал его расстрелу, что князь Львов и Керенский выступали против попытки военной расправы над демонстрантами. Милюков прямо не высказывался, но резюмировал положение в том смысле, что господа министры могут, конечно, рассуждать, как угодно, но это не помешает их переселению в тюрьму. Не могло быть никакого сомнения в том, что Корнилов действовал по соглашению с кадетским центром.

Соглашательским лидерам удалось без труда побудить солдат-демонстрантов уйти с площади перед Мариинским дворцом и даже направить их обратно по казармам. Возбуждение, поднятое в городе, однако, не входило в берега. Собирались толпы, шли митинги, на перекрестках спорили, в трамваях делились на сторонников и противников Милюкова. На Невском и в прилегающих улицах буржуазные ораторы вели агитацию против Ленина, присланного из Германии, чтоб свергнуть великого патриота Милюкова. На окраинах, в рабочих кварталах, большевики стремились негодование против ноты и ее автора распространить на правительство в целом.

В 7 часов вечера собрался пленум Совета. Вожди не знали, что сказать аудитории, трепетавшей от страстного напряжения. Чхеидзе пространно докладывал, что предстоит после заседания встреча с Временным правительством. Чернов пугал надвинувшейся гражданской войной. Федоров, рабочий-металлист, член ЦК большевиков, возражал, что гражданская война уже есть, и что советам остается опереться на

нее и взять власть в свои руки. «Это были новые и тогда очень страшные слова, — пишет Суханов. — Они попадали в центр настроений и находили на этот раз такой отклик, какого раньше, ни долго после не встречали в Совете большевики».

Гвоздем заседания стала, однако, неожиданно для всех речь наперсника Керенского, либерального социалиста Станкевича: «Зачем, товарищи, нам «выступать»? — спрашивал он. — Против кого применять силу? Ведь вся сила — это вы и те массы, которые стоят за вами... Вон, смотрите, сейчас без пяти минут семь (Станкевич протягивает руку к стенным часам, весь зал оборачивается туда же). Постановите, чтобы Временного правительства не было, чтобы оно ушло в отставку. Мы позвоним об этом по телефону, и через пять минут оно сложит полномочия. — Зачем тут насилия, выступления, гражданская война?» В зале — бурные рукоплескания, восторженные возгласы. Оратор хотел испугать Совет крайним выводом из создавшегося положения, но испугал себя самого эффектом своей речи. Нечаянная правда слов о мощи Совета приподняла собрание над жалкой возней руководителей, которые больше всего заботились о том, чтоб не дать Совету вынести какое-либо решение. «Кто заменит правительство?» возражал на аплодисменты один из ораторов. «Мы? Но у нас руки дрожат»... Это была несравненная характеристика соглашателей, высокопарных вождей с дрожащими руками.

Министр-председатель Львов, как бы дополняя Станкевича с другой стороны, сделал на следующий день такое заявление: «До сих пор Временное правительство встречало неизменную поддержку со стороны руководящего органа Совета. Последние две недели... правительство взято под подозрение. При таких условиях ... лучше всего Временному правительству уйти». Мы снова видим, какова была реальная конституция февральской России!

В Мариинском дворце состоялась встреча Исполнительного комитета с Временным правительством.

Князь Львов, во вступительной речи, жаловался на поход, предпринятый социалистическими кругами против правительства, и полуобиженно, полуугрожающе говорил об отставке. Министры по очереди рисовали трудности, накоплению которых они изо всех сил способствовали. Милюков, повернувшись к контактному словоговорению спиною, выступал с балкона перед кадетскими демонстрациями. «Видя эти плакаты с надписями: «долой Милюкова»... я не боялся за Милюкова. Я боялся за Россию!» Так передает историк Милюков скромные слова, которые Милюков-министр произносил перед собравшейся на площади толпой. Церетелли требовал от правительства новой ноты. Чернов нашел гениальный выход, предложив Милюкову перейти в министерство народного просвещения: Константинополь, в качестве объекта географии, был во всяком случае безопаснее, чем в качестве объекта дипломатии. Милюков, однако, наотрез отказался, как вернуться к наукам, так и писать новую ноту. Лидеры Совета не заставили себя долго просить и согласились на «разъяснение» старой ноты. Оставалось найти несколько фраз, лживость которых была бы достаточно демократически прилизана, — и положение можно было бы считать спасенным, а вместе с ним и портфель Милюкова.

Но беспокойный третий не хотел успокаиваться. День 21-го апреля принес новую волну движения, более могучую, чем вчерашняя. Сегодня уже на демонстрацию призывал Петроградский комитет большевиков. Несмотря на контр-агитацию моньшевиков и эсеров, огромные массы рабочих двинулись в центр с Выборгской стороны, а затем и из других районов. Исполнительный комитет послал навстречу демонстрации авторитетных успокоителей, во главе с Чхеидзе. Но рабочие твердо хотели сказать свое слово, и у них было, что сказать. Известный либеральный журналист описывал в «Речи» манифестацию рабочих на Невском: «Впереди около сотни вооруженных; за ними стройные ряды невооруженных мужчин и жен-

щин — тысячи человек. Живые цепи по обе стороны. Пение. Поразили меня их лица. У этих тысяч одно лицо, исступленное, монашеское лицо первых веков христианства, непримиримое, безжалостно готовое на убийства, инквизицию и смерть». Либеральный журналист заглянул рабочей революции в глаза и почувствовал на миг ее сосредоточенную решимость. Как мало эти рабочие похожи на милюковских подростков, нанятых Людендорфом за 15 рублей в сутки!

Сегодня, как и накануне, демонстранты не шли низвергать правительство, хотя большинство их, надо полагать, уже серьезно задумывалось над этой задачей; часть же готова была и сегодня увлечь демонстрацию далеко за пределы настроений большинства. Чхеидзе предложил манифестации повернуть обратно, в свои районы. Но руководители сурово ответили, что рабочие сами знают, что им делать. Это была новая нота, и Чхеидзе придется к ней в течение ближайших недель привыкать.

В то время, как соглашатели уговаривали и тушили, кадеты вызывали и разжигали. Несмотря на то, что Корнилов не получил вчера санкции на применение оружия, он не только не покидал своего плана, но, наоборот, именно сегодня с утра принимал меры к тому, чтоб противопоставить демонстрантам конницу и артиллерию. В твердом рассчете на лихость генерала кадеты особым листком вызвали своих сторонников на улицы, явно стремясь довести дело до решающего конфликта. Хоть и без успешного дессанта на Дарданельское побережье, Милюков продолжал развертывать свою оффензиву, с Корниловым, в качестве авангарда, с Антантой, в качестве тяжелого резерва. Нота, посланная за спиной Совета, и передовица «Речи» должны были играть роль эмской депеши либерального канцлера Февральской революции. «Все, кто стоит за Россию и ее свободу, должны сплотиться вокруг Временного правительства и поддержать его», — так гласило воззвание кадетского Центрального комитета,

приглашавшее всех добрых граждан на улицы для борьбы против сторонников немедленного мира.

Невский, главная артерия буржуазии, превратился в сплошной кадетский митинг. Значительная демонстрация, возглавлявшаяся членами кадетского Центрального комитета, двигалась к Мариинскому дворцу. Всюду видны были свежие, только что из мастерской, плакаты: «Полное доверие Временному правительству», «Да здравствует Милюков!» Министры выглядели именинниками: у них оказался свой «народ», тем более заметный, что эмиссары Совета выбивались из сил, распуская революционные митинги, направляя рабочие и солдатские демонстрации из центра на окраины и удерживая казармы и заводы от выступлений.

Под флагом защиты правительства происходила первая открытая и широкая мобилизация контр-революционных сил. В центре города появились грузовики с вооруженными офицерами, юнкерами, студентами. Выступали георгиевские кавалеры. Золотая молодежь организовала на Невском судилище, тут же на месте устанавливавшее ленинцев и «немецких шпионов». Были уже стычки и жертвы. Первое кровавое столкновение, как передавали, началось с попытки офицеров отобрать у рабочих знамя с лозунгом против Временного правительства. Столкновения становились все ожесточеннее, началась перестрелка, ставшая после полудня почти непрерывной. Никто не знал точно, кто и зачем стреляет. Но были уже жертвы этой беспорядочной, отчасти злоумышленной, отчасти панической стрельбы. Температура накалялась.

Нет, этот день ничем не походил на манифестацию национального единства. Два мира стояли лицом к лицу. Патриотические колонны, вызванные на улицы кадетской партией против рабочих и солдат, состояли исключительно из буржуазных слоев населения, офицерства, чиновничества, интеллигенции. Два человеческих потока, за Константинополь и за мир, выходили из разных частей города, разные по социальному составу, ни в чем друг на друга не похожие по внешнему

виду, с враждебными надписями на плакатах, и, сталкиваясь, они пускали в ход кулаки, палки, даже огнестрельное оружие.

До Исполнительного комитета дошла неожиданная весть, что Корнилов выкатывает на Дворцовую площадь пушки. Самостоятельная инициатива командующего округом? Нет, характер и дальнейшая карьера Корнилова свидетельствуют, что храброго генерала всегда кто-нибудь водил за нос, — функция, которую на этот раз выполняли кадетские лидеры. Только в рассчете на вмешательство Корнилова, и чтоб сделать это вмешательство необходимым, они и вызвали свои массы на улицу. Один из молодых историков правильно отмечает, что попытка Корнилова стянуть военные училища на Дворцовую площадь совпала не с моментом действительной или мнимой необходимости защищать Мариинский дворец от враждебной толпы, а с моментом наивысшего подъема кадетской манифестации.

План Милюкова-Корнилова, однако, сорвался, и весьма позорно. Как ни просты были вожди Исполнительного комитета, но они не могли не понять, что дело идет об их головах. Еще до первых известий о кровавых столкновениях на Невском Исполком разослал во все воинские части Питера и окрестностей телеграфное распоряжение: не отправлять, без предписания Совета, ни одной части на улицы столицы. Теперь, когда намерения Корнилова вышли наружу, Исполком, вопреки всем своим торжественным декларациям, наложил обе руки на руль, не только потребовав от командующего немедленно отозвать войска, но и поручив Скобелеву и Филипповскому вернуть вышедшие войска обратно именем Совета. «Без зова Исполнительного комитета в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Отныне всякий приказ о выводе войск, помимо обычных нарядов, должен быть отдан на официальном документе Совета и скреплен

подписью не менее, чем двух уполномоченных на то лиц. Казалось, Совет недвусмысленно истолковывал этим действия Корнилова, как попытку со стороны контр-революции вызвать гражданскую войну. Но сводя своим приказом на нет командование округом, Исполком и не подумал сменить самого Корнилова: можно ли посягать на прерогативы власти? «Руки дрожат». Молодой режим был обложен фикциями, как больной — подушками и компрессами. С точки зрения соотношения сил поучительнее всего, однако, тот факт, что не только воинские части, но и офицерские училища, еще до получения приказа Чхеидзе, отказались выступить без санкции Совета. Непредвиденные кадетами неприятности, сыпавшиеся одна за другой, были неизбежными последствиями того, что русская буржуазия ко времени национальной революции оказалась антинациональным классом, — это можно было на короткий срок замаскировать двоевластием, но исправить это было нельзя.

Апрельский кризис, по видимости, собирался разыграться в ничью. Исполнительному комитету удалось удержать массы на пороге двоевластия. С своей стороны, благодарное правительство разъяснило, что под «гарантиями» и «санкциями» надлежит понимать международные трибуналы, ограничение вооружений и т. п. превосходные вещи. Исполком поспешил ухватиться за эти терминологические уступки и 34 голосами против 19 признал вопрос исчерпанным. Для успокоения своих встревоженных рядов большинство провело еще такие постановления: усилить контроль над деятельностью Временного правительства; без предварительного осведомления Исполкома не должен издаваться ни один крупный политический акт; состав дипломатического представительства должен быть радикально изменен. Фактическое двоевластие было переведено на юридический язык конституции. Но ничто при этом не изменялось в природе вещей. Левое крыло не смогло добиться от соглашательского большинства даже отставки Милюкова. Все должно было

остаться по старому. Над Временным правительством возвышался гораздо более действительный контроль Антанты, на который Исполнительный комитет и не думал посягать.

Вечером 21-го Петроградский совет подводил итоги. Церетелли докладывал о новой победе мудрых руководителей, которая кладет конец всяким лжетолкованиям ноты 27 марта. Каменев, от имени большевиков, предлагал образование чисто советского правительства. Коллонтай, популярная революционерка, перешедшая во время войны от меньшевиков к большевикам, предлагала устроить народное голосование по районам Петрограда и окрестностей о желательности того или иного Временного правительства. Но эти предложения прошли почти мимо сознания Совета: вопрос казался улаженным. Огромным большинством, против 13 человек, была принята утешительная резолюция Исполкома. Правда, большинство депутатов-большевиков находились еще при своих заводах, на улицах, в демонстрациях. Но остается все же несомненным, что из основной толщи Совета не было никакого сдвига в сторону большевиков.

Совет предписал воздержаться на два дня от всяких уличных демонстраций. Постановление было принято единогласно. Ни у кого не было и тени сомнения в том, что все подчинятся решению. И действительно: рабочие, солдаты, буржуазная молодежь, Выборгская сторона и Невский проспект, никто не посмел ослушаться советского приказа. Успокоение было достигнуто без каких бы то ни было принудительных мер. Стоило Совету почувствовать себя хозяином положения, и он оказывался им на деле.

В редакции левых газет стекались тем временем многие десятки заводских и полковых резолюций с требованием немедленной отставки Милюкова, иногда и всего Временного правительства. Всколыхнулся не только Петроград. В Москве рабочие бросали станки. солдаты выходили из казарм, заполняя улицы бурными протестами. В Исполнительный комитет стекались

в ближайшие дни телеграммы от десятков местных советов, против политики Милюкова, с обещанием полной поддержки Совету. Такие же голоса шли и с фронта. Но все должно было оставаться по старому.

«В течение 21-го апреля, — утверждал впоследствии Милюков, — настроение, благоприятное правительству, возобладало на улицах». Он имеет, очевидно, в виду улицы, которые ему пришлось наблюдать с балкона, после того, как большинство рабочих и солдат вернулось к себе. На самом деле правительство оказалось совершенно обнаженным. Никакой серьезной силы за ним не было. Мы только что слышали об этом от Станкевича и самого князя Львова. Что же означали заверения Корнилова, будто у него достаточно сил, чтобы справиться с мятежниками? Ничего, кроме крайнего легкомыслия почтенного генерала. Оно достигнет расцвета в августе, когда заговорщик-Корнилов двинет против Петрограда несуществующие войска. Дело в том, что Корнилов все еще пытался судить о воинских частях по командному составу. Офицерство в большинстве своем было несомненно с ним, т. е. готово было, под видом защиты Временного правительства, переломать ребра Совету. Солдаты стояли за Совет, будучи по настроению неизмеримо левее Совета. Но так как сам Совет стоял за Временное правительство, то выходило, что Корнилов мог на защиту Временного правительства вывести советских солдат, возглавляемых реакционными офицерами. Благодаря режиму двоевластия, все играли друг с другом в жмурки. Однако, едва вожди Совета приказали войскам не покидать казарм, как Корнилов повис в воздухе вместе со всем Временным правительством.

И тем не менее правительство не свалилось. Массы, которые вели нападение, совершенно не были готовы довести его до конца. Соглашательские вожди могли, поэтому, еще попытаться вернуть февральский режим в исходное положение. Забыв, или желая заставить забыть других, что Исполком оказался вынужден открыто и против «законных» властей нало-

жить руку на армию, «Известия» Совета жаловались 22 апреля: «Советы не стремились к захвату власти в свои руки. Между тем на многих знаменах сторонников Совета были надписи, требовавшие свержения правительства и перехода всей власти к Совету»... Разве не возмутительно, в самом деле, что рабочие и солдаты хотели соблазнить соглашателей властью, т. е. всерьез считали этих господ способными сделать из власти революционное употребление?

Нет, власти эсеры и меньшевики не хотели. Большевистская резолюция о переходе власти к советам собрала в Петроградском совете, как мы видели, ничтожное число голосов. В Москве резолюция недоверия Временному правительству, внесенная большевиками 22 апреля, собрала из многих сотен 74 голоса. Правда, Гельсингфорский совет, несмотря на преобладание в нем эсеров и меньшевиков, вынес в этот самый день исключительно для того времени смелую резолюцию, предлагая Петроградскому совету свою вооруженную помощь для устранения «империалистского Временного правительства». Но эта резолюция, принятая под прямым давлением военных моряков, представляла исключение. В подавляющем своем большинстве советское представительство столь близких вчера к восстанию против Временного правительства масс, оставалось полностью на почве двоевластия. Что это значит?

Бьющее в глаза противоречие между решительностью массового наступления и половинчатостью его политического отражения не случайно. Угнетенные массы в революционную эпоху легче и скорее вовлекаются в прямое действие, чем научаются давать своим желаниям и требованиям оформленное выражение через собственное представительство. Чем абстрактнее система представительства, тем более последнее отстает от ритма событий, определяемого действиями масс. Советское представительство, наименее абстрактное из всех, имеет в условиях революции неизмеримые преимущества: достаточно напомнить, что де-

мократические думы, выбранные на основании внутренних правил 17 апреля, ничем и никем не стесненные, оказались совершенно бессильны конкурировать с советами. Но при всех преимуществах своей органической связи с заводами и полками, т. е. с действующими массами, советы все же являются представительством и, следовательно, не свободны от условностей и искажений парламентаризма. Противоречие представительства, даже советского, состоит в том, что оно, с одной стороны, необходимо для действия масс, а, с другой, легко становится для него консервативной помехой. Практический выход из противоречия состоит каждый раз в обновлении представительства. Но эта операция, отнюдь не столь простая, является, особенно в революции, выводом из прямого действия и потому отстает от него. Во всяком случае на другой день после апрельского полувосстания, вернее сказать четверть-восстания, — полувосстание произойдет в июле, — в Совете заседали еще те же депутаты, что и накануне и, попав снова в обычную обстановку, голосовали за предложения обычных руководителей.

Но это ни в каком случае не значит, что апрельская буря прошла бесследно для Совета, для всей февральской системы, а тем более — для самих масс. Грандиозное вмешательство рабочих и солдат в политические события, хоть и не доведенное до конца, изменяет политическую обстановку, дает толчок общему движению революции, ускоряет неизбежные перегруппировки и вынуждает комнатных и закулисных политиков забыть о своих вчерашних планах и приспособить свои действия к новой обстановке.

После того, как соглашатели ликвидировали вспышку гражданской войны, воображая, что все возвращается на старые позиции, правительственный кризис только открылся. Либералы не хотели больше править без прямого участия социалистов в правительстве. Социалисты, вынужденные логикой двоевластия пойти на встречу этому условию, потребовали, с своей стороны, демонстративной ликвидации дарда-

нельской программы, что неотвратимо привело к ликвидации Милюкова. 2-го мая Милюков оказался вынужден покинуть ряды правительства. Лозунг демонстрации 20 апреля осуществился, таким образом, с запозданием на 12 дней и против воли советских вождей.

Но проволочки и оттяжки лишь ярче подчеркнули бессилие правящих. Милюков, собиравшийся произвести, при помощи своего генерала, крутой перелом в соотношении сил, выскочил из правительства с шумом, как пробка. Генерал-рубака оказался вынужден просить отставку. Министры совсем не походили больше на именинников. Правительство умоляло Совет согласиться на коалицию. Все это потому, что массы нажали на длиный конец рычага.

Это не значит, однако, что соглашательские партии стали ближе к рабочим и солдатам. Наоборот, апрельские события, показавшие какие неожиданности таятся в массах, толкнули демократических вождей еще более вправо, в сторону более тесного сближения с буржуазией. С этого времени патриотическая линия берет окончательно верх. Большинство Исполнительного комитета становится сплоченнее. Бесформенные радикалы, вроде Суханова, Стеклова и пр., еще недавно вдохновлявшие советскую политику и пытавшиеся что-то отстоять из традиций социализма, отодвигаются в сторону. Церетелли устанавливает твердый консервативный и патриотический курс, представляющий приспособление милюковской политики к представительству трудящихся масс.

Поведение большевистской партии в апрельские дни не было целостным. События застигли партию врасплох. Внутренний кризис только завершался, шла деятельная подготовка к партийной конференции. Под впечатлением острого возбуждения в районах некоторые большевики высказывались за свержение Временного правительства. Петроградский комитет, который еще 5 марта выносил резолюцию условного доверия Временному правительству, колебался. Решено было

устроить 21-го демонстрацию, но цель ее не была достаточно ясно определена. Часть Петроградского комитета выводила рабочих и солдат на улицу с намерением, не очень, правда, отчетливым, попытаться мимоходом опрокинуть Временное правительство. В том же направлении действовали отдельные левые элементы, стоявшие вне партии. Вмешались, повидимому, и анархисты, не многочисленные, но суетливые. В воинские части обращались отдельные лица с требованиями бронированных автомобилей или подкреплений вообще, то для ареста Временного правительства, то для уличной борьбы с врагами. Близкий к большевикам броневой дивизион заявил, однако, что не предоставит машин ни в чье распоряжение иначе, как по приказанию Исполнительного комитета.

Кадеты всеми мерами старались обвинить в происшедших кровавых столкновениях большевиков. Но особой комиссией Совета было незыблемо установлено, что стрельбу начали не с улицы, а из ворот и окон. В газетах было опубликовано сообщение прокурора: «Стрельба производилась подонками общества с целью вызвать всегда выгодные хулиганам беспорядки и суматоху».

Враждебность к большевикам со стороны правящих советских партий еще далеко не достигла того напряжения, которое через два месяца, в июле, уже окончательно затмевало и разум и совесть. Судебное ведомство, хотя и в старом составе, подтянулось пред лицом революции и в апреле еще не позволяло себе применять против крайней левой методы царской охранки. Атака Милюкова была без труда отбита и по этой линии.

Центральный комитет одернул левое крыло большевиков и заявил 21 апреля, что воспрещение Советом демонстраций считает совершенно правильным и подлежащим безусловному выполнению. Лозунг «долой Временное правительство» потому не верен сейчас, — гласила резолюция Центрального комитета, — что без прочного (т. е. сознательного и организованного) боль-

шинства народа на стороне революционного пролетариата такой лозунг либо есть фраза, либо сводится к попыткам авантюристического характера». Задачами момента резолюция выдвигает критику, пропаганду и завоевание большинства в советах, как предпосылку завоевания власти. В этом заявлении противники усмотрели не то отступление перепуганных руководителей, не то хитрый маневр. Но мы уже знаем основную позицию Ленина в вопросе о власти; теперь он учил партию применять «апрельские тезисы» на опыте событий.

Три недели перед тем Каменев заявлял, что он «счастлив» голосовать с меньшевиками и эсерами за единую резолюцию о Временном правительстве, а Сталин развивал теорию разделения труда между кадетами и большевиками. Как далеко в прошлое отошли эти дни и эти теории! После урока апрельских дней Сталин впервые выступил, наконец, против теории благожелательного «контроля» над Временным правительством, осторожно отступая от собственного вчерашнего дня. Но этот маневр прошел незамеченным.

В чем состоял элемент авантюризма в политике некоторых частей партии? спрашивал Ленин на конференции, открывшейся сейчас же после грозных дней. В попытках действовать насилием там, где для революционного насилия нет еще или нет уже места. «Можно свергать того, кто известен народу, как насильник. Теперь же насильников никаких нет, пушки и ружья у солдат, а не у капиталистов; капиталисты не насилием сейчас берут, а обманом, и кричать сейчас о насилии нельзя: это бессмыслица... Мы дали лозунг мирных демонстраций. Мы желали произвести только мирную разведку сил неприятеля, но не давать сражения, а Петроградский комитет взял чуточку левее... Вместе с правильным лозунгом: «да здравствуют советы», был дан неправильный: «долой Временное правительство». В момент действия брать «чуточку полевее» было неуместно. Мы рассматриваем это, как величайшее преступление, как дезорганизацию».

Что лежит в основе драматических событий революции? Сдвиги в соотношении сил. Чем они вызываются? Главным образом колебаниями промежуточных классов, крестьянства, мелкой буржуазии, армии. Гигантская амплитуда колебаний — между кадетским империализмом и большевизмом. Эти колебания идут одновременно в двух противоположных направлениях. Политическое представительство мелкой буржуазии, ее верхи, соглашательские вожди, все больше тяготеют вправо, в сторону буржуазии. Угнетенные массы, наоборот, все резче и смелее будут откачиваться каждый раз влево. Выступая против авантюризма, проявленного руководителями петроградской организации, Ленин оговаривается: еслиб промежуточные массы колебнулись в нашу сторону серьезно, глубоко, устойчиво, — мы ни на минуту не задумались бы выселить правительство из Мариинского дворца. Но этого еще нет. Апрельский кризис, вышедший на улицы, это — «не первое и не последнее колебание мелкобуржуазной и полупролетарской массы». Наша задача пока еще: «терпеливо разъяснять», подготовлять следующий сдвиг масс в нашу сторону, более глубокий, более сознательный.

Что касается пролетариата, то поворот его в сторону большевиков принял в течение апреля ярко выраженный характер. Рабочие приходили в комитеты партии и спрашивали, как им переписаться из меньшевистской партии в большевистскую. На заводах стали настойчиво допрашивать своих депутатов насчет внешней политики, войны, двоевластия, продовольствия, и в результате таких экзаменов эсеровские или меньшевистские депутаты все чаще заменялись большевистскими. Резкий поворот начался с районных советов, как более близких к заводам. В советах Выборгской стороны, Васильевского острова, Нарвского района большевики как-то сразу и неожиданно оказались к концу апреля в большинстве. Это был факт величайшего значения, но вожди Исполкома, поглощенные высокой политикой, относились с высокомерием к воз-

не большевиков в рабочих кварталах. Однако, районы начинали все явственнее нажимать на центр. По заводам, помимо Петроградского комитета, открылась энергичная и успешная кампания за переизбрание представителей в общегородской Совет рабочих депутатов. Суханов считает, что к началу мая за большевиками шла треть петроградского пролетариата. Во всяком случае — не меньше, и притом — наиболее активная треть. Мартовская бесформенность исчезала, политические линии оформлялись, «фантастические» тезисы Ленина облекались плотью в районах Петрограда.

Каждый шаг революции вперед вызывается или вынуждается прямым вмешательством масс, совершенно неожиданным, в большинстве случаев, для советских партий. После февральского переворота, когда рабочие и солдаты опрокинули монархию, никого не спросясь, вожди Исполнительного комитета сочли роль масс выполненной. Но они роковым образом ошиблись. Массы совсем не собирались сходить со сцены. Уже в начале марта, во время кампании за 8-часовой рабочий день, рабочие вырвали уступку у капитала, несмотря на то, что на плечах их висели меньшевики и эсеры. Совету пришлось зарегистрировать победу, одержанную без него и против него. Апрельская демонстрация явилась второй поправкой того же типа. Каждое из массовых выступлений, независимо от его непосредственной цели, является предостережением по адресу руководства. Предостережение имеет сперва мягкий характер, но затем становится все более решительным. В июле оно превращается в угрозу. В октябре наступает развязка.

Во все критические моменты массы вмешиваются «стихийно», другими словами, повинуясь своим собственным выводам из политического опыта и своим еще не признанным официально вождям. Ассимилируя те или другие элементы агитации, массы самочинно переводят ее выводы на язык действия. Большевики, как партия, еще не руководили кампанией за

8-часовой рабочий день. Большевики не звали массы и на апрельскую манифестацию. Большевики не позовут вооруженные массы на улицы и в начале июля. Только к октябрю партия успеет окончательно выравнять свой шаг, и во главе массы выступит уже не для демонстрации, а для переворота.

ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ.

Вопреки всем официальным теориям, декларациям и вывескам, власть числилась за Временным правительством только на бумаге. Революция, не взирая на противодействие так называемой демократии, шла вперед, поднимала новые массы, укрепляла советы, вооружала, хоть и в ограниченном объеме, рабочих. Местные комиссары правительства и состоявшие при них «Общественные комитеты», в которых обычно преобладали представители буржуазных организаций, естественно и без усилий оттеснялись советами. В тех случаях, когда агенты центральной власти пытались упорствовать, вырастали острые конфликты. Комиссары обвиняли местные советы в непризнании центральной власти. Буржуазная печать начинала вопить, что Кронштадт, Шлиссельбург или Царицын отложились от России и превратились в самостоятельные республики. Местные советы протестовали против этой бессмыслицы. Министры волновались. Правительственные социалисты ездили на места, уговаривали, грозили, оправдывались перед буржуазией. Но все это не меняло соотношения сил. Неотвратимость процессов, подрывавших двоевластие, выражалась уже в том, что они, хоть и неодинаковым темпом, развертывались во всей стране. Из органов контроля советы превращались в отделы управления. Они не мирились ни с какой теорией разделения властей и вмешивались в управление армией, экономические конфликты, вопросы продовольствия и транспорта, даже в судебные дела. Советы декретировали под давлением рабочих 8-часовой рабочий день, снимали слишком реакционных администраторов, отставляли наиболее невыносимых комиссаров Временного правительства, произво-

дили аресты и обыски, закрывали враждебные газеты. Под влиянием все обострявшихся продовольственных затруднений и товарного голода, провинциальные советы становились на путь таксаций, запрещений вывоза из пределов губернии и реквизиции запасов. Между тем во главе советов повсеместно стояли эсеры и меньшевики, с негодованием отвергавшие большевистский лозунг «власть советам».

Чрезвычайно поучительна в этом отношении деятельность Совета в Тифлисе, в самом сердце меньшевистской Жиронды, давшей Февральской революции таких вождей, как Церетелли и Чхеидзе, и затем приютившей их, когда они безнадежно израсходовали себя в Петрограде. Тифлисский совет, руководимый Жорданиа, будущим главой независимой Грузии, на каждом шагу оказывался вынужден попирать принципы господствовавшей в нем партии меньшевиков и действовать, как власть. Совет конфисковал для своих нужд частную типографию, производил аресты, сосредоточил в своих руках расследование и суд по политическим делам, нормировал хлебный паек, таксировал продукты питания и предметы первой необходимости. Расхождение между официальной доктриной и жизнью, установившееся с первых дней, в течение марта и апреля только возрастало.

В Петрограде соблюдался, по крайней мере, декорум, хотя, как мы видели, далеко не всегда. Апрельские дни, однако, слишком недвусмысленно приподняли завесу над бессилием Временного правительства, у которого и в столице не оказалось серьезной опоры. В последнюю декаду апреля правительство томилось и угасало. «Керенский с тоской говорил, что правительства уже нет, что оно не работает, а только обсуждает свое положение» (Станкевич). Об этом правительстве можно вообще сказать, что до самых дней Октября оно в трудные моменты переживало кризисы, а в промежутках между кризисами... существовало. Непрерывно «обсуждая свое положение», оно так и не нашло времени заняться делами.

Из кризиса, созданного апрельской репетицией будущих боев, теоретически мыслимы были три выхода. Либо власть должна была перейти полностью к буржуазии: это можно было осуществить не иначе, как путем гражданской войны; Милюков попробовал, но сорвался. Либо нужно было передать всю власть в руки советов: этого можно было достигнуть без какой бы то ни было гражданской войны, одним поднятием рук, — стоило захотеть. Но соглашатели не хотели захотеть, а массы еще сохраняли в соглашателей веру, хотя уже с трещиной. Таким образом оба основных выхода — по буржуазной, как и по пролетарской линии — оказались закрыты. Оставалась третья возможность: путанный, половинчатый, трусливый полувыход компромисса. Имя его — коалиция.

На исходе апрельских дней социалисты не имели и в мыслях коалиции: эти люди вообще никогда ничего не предвидели. Резолюцией 21 апреля Исполнительный комитет официально превратил двоевластие из факта в конституционный принцип. Но сова мудрости и на этот раз совершила свой полет слишком поздно: юридическое освящение мартовской формы двоевластия — цари и пророки — произошло в тот момент, когда эта форма оказалась взорвана выступлением масс. Социалисты пытались закрыть на это глаза. Милюков рассказывает, что когда со стороны правительства поставлен был вопрос о коалиции, Церетелли заявил: «Какая вам польза от того, что мы войдем в ваш состав? Ведь мы ... в случае вашей неуступчивости, вынуждены будем с шумом выйти из министерства». Церетелли пытался испугать либералов своим будущим «шумом». Как и всегда, в обоснование своей политики меньшевики апеллировали к интересам самой буржуазии. Но вода подошла к горлу. Керенский запугивал Исполнительный комитет: «Правительство сейчас находится в невозможно тяжелом положении; слухи об уходе не представляют собой никакой политической игры». Одновременно шло давление со стороны буржуазных кругов. Московская городская

дума вынесла резолюцию в пользу коалиции. 26 апреля, когда почва была достаточно подготовлена, Временное правительство заявило в особом воззвании о необходимости привлечения к государственной работе «тех активных творческих сил страны, которые не участвовали в ней». Вопрос был поставлен ребром.

Настроения против коалиции были все же достаточно сильны. В конце апреля против вхождения социалистов в правительство высказались: Московский совет, Тифлисский, Одесский, Екатеринбургский, Нижегородский, Тверской и другие. Их мотивы были очень ярко выражены одним из меньшевистских вождей в Москве: если социалисты войдут в правительство, некому будет вводить движение масс «в определенное русло». Но это соображение трудно было внушить рабочим и солдатам, против которых оно было направлено. Массы, поскольку они еще не шли за большевиками, сплошь стояли за вхождение социалистов в правительство. Если хорошо, что Керенский — министр, то шесть Керенских еще лучше. Массы не знали, что это называется коалицией с буржуазией, и что буржуазия хочет прикрыться социалистами против народа. Из казармы коалиция выглядела иначе, чем из Мариинского дворца. Массы хотели социалистами вытеснить буржуазию из правительства. Так два нажима, шедших в противоположных направлениях, сочетались на мгновение воедино.

В Петрограде ряд воинских частей, в том числе и дружественный большевикам броневой дивизион, высказались за коалиционное правительство. За коалицию голосовала в подавляющем большинстве провинция. Коалиционные настроения преобладали у эсеров; они опасались только итти в правительство без меньшевиков. За коалицию была, наконец, армия. Один из ее делегатов не плохо выразил позже, на июньском Съезде советов, отношение фронта к вопросу о власти: «Мы думали, что тот стон, который испустила армия, когда узнала, что социалисты не хотят войти в министерство, совместно работать с людьми, которым не

верят, в то время, когда вся армия принуждена продолжать умирать с людьми, которым она не верит, — этот стон донесся до Петрограда».

Решающее значение в этом вопросе, как и в других, имела война. Социалисты сперва собирались отсидеться от войны, как и от власти, переждать. Но война не ждала. Не ждали союзники. Не хотел больше ждать фронт. Как раз во время правительственного кризиса приезжали в Исполком делегаты фронта и ставили своим вождям вопрос: воюем мы или не воюем? Это означало: берете ли вы на себя ответственность за войну или нет? Отмалчиваться было нельзя. Тот же вопрос ставила и Антанта на языке полуугроз.

Апрельское наступление на Западно-европейском фронте обошлось союзникам очень дорого и не дало результатов. Во французской армии начинались шатания, под влиянием русской революции и неудачи самого наступления, на которое возлагалось столько надежд. Армия, по словам маршала Петена, «изгибалась в руках». Чтоб задержать этот угрожающий процесс, французскому правительству необходимо было русское наступление, а до того — хотя бы твердое обещание наступления. Помимо материального облегчения, которое должно было быть таким путем достигнуто, нужно было как можно скорее сорвать ореол мира с русской революции, вытравить надежду из сердец французских солдат, скомпрометировать революцию соучастием в преступлениях Антанты, втоптать знамя восстания русских рабочих и солдат в кровь и грязь империалистической бойни.

Для достижения этой высокой цели приведены были в движение все рычаги. Не последнее место среди них занимали патриотические социалисты Антанты. В революционную Россию командированы были наиболее испытанные из них. Они прибыли во всеоружии покладистой совести и языка без костей. «Иностранные социал-патриоты... — пишет Суханов, — принимались с распростертыми объятиями в Мариинском дворце. Брантинг, Кашен, О'Греди, Деброкер и проч. — чув-

ствовали себя там в родной сфере и составляли с нашими министрами единый фронт против Совета». Надо признать, что даже соглашательскому Совету бывало часто не по себе от этих господ.

Союзные социалисты объезжали фронты. «Генерал Алексеев, — писал Вандервельде, — делал все, чтобы наши усилия были приложены к тем, которые были предприняты несколько ранее делегациями моряков Черного моря, Керенским, Альбертом Тома, для того, чтобы довершить то, что он называл моральной подготовкой наступления». Председатель Второго Интернационала и бывший начальник штаба Второго Николая нашли таким образом общий язык в борьбе за светлые идеалы демократии. Ренодель, один из вождей французского социализма, мог с облегчением воскликнуть: «Теперь мы можем не краснея говорить о войне за право». С опозданием на три года, человечество узнало, что у этих людей были кое-какие основания краснеть.

Первого мая Исполнительный комитет, пройдя все существующие в природе стадии колебаний, большинством 41 голоса против 18 при 3 воздержавшихся, постановил, наконец, принять участие в коалиционном правительстве. Против этого голосовали только большевики и группа меньшевиков-интернационалистов.

Не лишено интереса, что жертвой более тесного сближения демократии с буржуазией пал признанный вождь буржуазии Милюков. «Не я ушел, меня ушли», говорил он впоследствии. Гучков устранился еще 30 апреля, отказавшись подписать «Декларацию прав солдата». Как мрачно было уже в те дни у либералов на душе, видно из того, что Центральный комитет кадетской партии, для спасения коалиции, решил не настаивать на сохранении Милюкова в старом правительства. «Партия предала своего вождя», пишет правый кадет Изгоев. Выбор у нее был, впрочем, не велик. Тот же Изгоев говорит вполне основательно: «В конце апреля кадетская партия была разбита на-голову. Мо-

рально она получила удар, от которого уже никогда не могла оправиться».

Но и в вопросе о Милюкове последнее слово принадлежало Антанте. Англия была вполне согласна на замену дарданельского патриота более выдержанным «демократом». Хендерсон, который прибыл в Петроград с полномочиями заменить, в случае надобности Бьюкенена на посту посла, ознакомившись с положением дел, признал такую замену излишней. Действительно, Бьюкенен был как раз на месте, ибо он оказался решительным противником аннексий, поскольку они не совпадали с апетитами Великобритании: «Раз России не нужен Константинополь, — нежно нашептывал он Терещенко, — то, чем скорее она об этом заявит, тем будет лучше». Франция сперва поддерживала Милюкова. Но тут сыграл свою роль Тома, который, вслед за Бьюкененом и советскими вождями, высказался против Милюкова. Так ненавистный массам политик был покинут союзниками, демократами и, наконец, собственной партией.

Милюков не заслужил, в сущности, такой жестокой казни, по крайней мере, из этих рук. Но коалиция требовала очистительной жертвы. Милюкова изобразили перед массами, в качестве злого духа, омрачавшего всеобщее торжественное шествие к демократическому миру. Отсекши Милюкова, коалиция одним ударом очищалась от грехов империализма.

Состав коалиционного правительства и его программа были утверждены Петроградским советом 5 мая. Большевики собрали против коалиции всего 100 голосов. «Собрание горячо приветствовало ораторов-министров... — иронически повествует об этом заседании Милюков. — Теми же бурными аплодисментами был принят, однако, только что накануне приехавший из Америки Троцкий, «старый вождь первой революции», который резко осуждал вступление социалистов в министерство, утверждая, что теперь «двоевластие» не уничтожится, а «лишь перенесется в министерство», и что настоящее единовластие, которое «спасет» Рос-

сию, наступит только тогда, когда будет сделан «следующий шаг — передача власти в руки рабочих и солдатских депутатов». Тогда наступит «новая эпоха, — эпоха крови и железа, но уже в борьбе не наций против наций, а класса страдающего, угнетенного против классов господствующих». Таково изображение Милюкова. В заключение своей речи Троцкий формулировал три правила политики масс — «три революционных заповеди: не доверять буржуазии; контролировать вождей; полагаться только на собственные силы». По поводу этого выступления Суханов отмечает: «на сочувствие своей речи он заведемо не рассчитывал». И действительно: проводили оратора гораздо более холодно, чем встретили. Суханов, весьма чуткий к интеллигентским кулуарам, присовокупляет: «Про него, не примкнувшего к большевистской партии, уже ходили слухи, что будто бы он «хуже Ленина».

Социалисты взяли себе шесть портфелей из пятнадцати. Они хотели быть в меньшинстве. Даже решившись открыто приобщиться к власти, они продолжали игру в поддавки. Князь Львов оставался премьером. Керенский стал военным и морским министром. Чернов — министром земледелия. Милюкова на посту министра иностранных дел заменил знаток балета Терещенко, ставший одновременно доверенным лицом Керенского и Бьюкенена. Все трое сходились на том, что Россия может отлично обойтись без Константинополя. Во главе юстиции стал ничтожный адвокат Переверзев, приобревший впоследствии кратковременную славу в связи с июльским делом большевиков. Церетелли ограничился портфелем почты и телеграфа, чтоб сохранить свое время для Исполнительного комитета. Скобелев, ставший министром труда, пообещал сгоряча ограничить прибыль капиталистов на все 100% — эта фраза скоро стала крылатой. Для симметрии министром торговли и промышленности был назначен крупнейший московский предприниматель Коновалов. Он привел с собой несколько фигур московской биржи, которым вручены были важнейшие государственные

посты. Коновалов уже через две недели, впрочем, вышел в отставку, протестуя таким путем против «анархии» в хозяйстве, а Скобелев еще ранее того отказался от покушений на прибыль и занялся борьбой с анархией: тушил стачки, призывая рабочих к самоограничению.

Декларация правительства состояла, как полагается коалиции, из общих мест. Она упоминали о деятельной внешней политике в пользу мира, о разрешении продовольственного и о подготовке земельного вопросов. Все это были надутые фразы. Единственный серьезный, по крайней мере, по намерениям, пункт гласил о подготовке армии «к оборонительным и наступательным действиям для предотвращения возможного поражения России и ее союзниц». В этой задаче, в сущности, и резюмировался высший смысл коалиции, которая создавалась, как последняя ставка Антанты в России.

«Коалиционное правительство — писал Бьюкенен представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте». Так за платформами, речами, соглашениями и голосованиями либеральных и демократических вождей Февральской революции стоял империалистский режиссер, в лице Антанты. Оказавшись вынуждены столь поспешно вступить в состав правительства во имя интересов враждебного революции фронта Антанты, социалисты взяли на себя около трети власти и всю войну.

Новому министру иностранных дел пришлось на две недели задержать опубликование ответов союзных правительств на декларацию 27 марта, чтоб выхлопотать такие стилистические изменения, которые маскировали бы полемику против декларации коалиционного кабинета. «Деятельная внешняя политика в пользу мира» выражалась отныне в том, что Терещенко усердно редактировал текст дипломатических телеграмм, составлявшихся для него старыми канцеляриями и, перечеркивая «притязания», писал «требования

справедливости», а вместо «обеспечения интересов» надписывал «благо народов». Милюков с легким зубовным скрежетом говорит о своем преемнике: «союзные дипломаты знали, что «демократическая» терминология его депеш является невольной уступкой требованиям момента,—и относились к ней снисходительно».

Тома и недавно прибывший Вандервельде не сидели сложа руки: они усердно истолковывали «благо народов» в соответствии с потребностями Антанты и не без успеха обрабатывали простаков из Исполнительного комитета. «Скобелев и Чернов, — доносил Вандервельде, — энергично протестуют против всякой идеи о преждевременном (prematurée) мире». Не мудрено, если Рибо, опираясь на таких помощников, уже 9 мая мог заявить французскому правительству, что собирается дать удовлетворительный ответ Терещенко, «ни от чего не отказываясь».

Да, подлинные хозяева положения совсем не собирались отказываться от того, что плохо лежит. Как раз в эти дни Италия провозгласила независимость Албании и — тут же поставила ее под свой протекторат. Это был не дурной предметный урок. Временное правительство собиралось протестовать, не столько во имя демократии, сколько из-за нарушенного «равновесия» на Балканах, но бессилие заставило его вовремя прикусить язык.

Новым во внешней политике коалиции явилось только торопливое сближение с Америкой. Эта свежая дружба представляла три немаловажных удобства: Соединенные Штаты не были так скомпрометированы военными гнусностями, как Франция и Англия; заатлантическая республика открывала перед Россией широкие перспективы в деле займов и военного снабжения; наконец, дипломатия Вильсона — сочетание демократического ханжества с плутовством — как нельзя лучше совпадала со стилистическими потребностями Временного правительства. Направив в Россию миссию сенатора Рута, Вильсон обратился к Временному правительству с одним из своих пасторских посланий, в

котором заявлял: «ни один народ не должен быть насильственно подчинен владычеству, под коим он не желает жить». Цель войны определялась американским президентом не совсем определенно, но заманчиво: «обеспечить будущий мир мира и будущее благосостояние и счастье народов». Что могло быть лучше? Терещенко и Церетелли только этого и нужно было: свежие кредиты и общие места пацифизма. При помощи первых и под прикрытием вторых можно было заняться подготовкой наступления, которого требовал Шейлок на Сене, неистово потрясая всеми своими векселями.

Уже 11 мая Керенский выехал на фронт, открывая агитационную кампанию в пользу наступления. «Волна энтузиазма в армии растет и ширится», доносил Временному правительству новый военный министр, захлебывавшийся в энтузиазме собственных речей. 14 мая Керенский издает приказ по армии: «вы пойдете туда, куда поведут вас вожди», и чтоб скрасить эту хорошо знакомую и мало привлекательную для солдат перспективу, он прибавлял: «вы понесете на концах штыков ваших мир». 22 мая уволен был осторожный генерал Алексеев, достаточно, впрочем, бездарный, и заменен, в качестве верховного главнокомандующего, более гибким и предприимчивым генералом Брусиловым. Демократы изо всех сил подготовляли наступление, т. е. великую катастрофу Февральской революции.

* * *

Совет был органом рабочих и солдат, т. е. крестьян. Временное правительство было органом буржуазии. Контактная комиссия была органом соглашения. Коалиция упростила механику, превратив само Временное правительство в контактную комиссию. Но двоевластие этим нимало не устранялось. Был ли Церетелли членом контактной комиссии или министром почты, не этот вопрос решал. В стране существовали две несовместимые государственные организации: иерархия

назначенных сверху старых и новых чиновников, увенчивавшаяся Временным правительством, и система выборных советов, спускавшаяся до самой отдаленной роты на фронте. Эти две государственные системы опирались на разные классы, которые только еще собирались свести свои исторические счеты. Идя на коалицию, соглашатели рассчитывали на мирное и постепенное упразднение советской системы. Им казалось, что сила советов, концентрированная в их особах, перельется отныне в официальное правительство. Керенский категорически заверял Бьюкенена, что «советы умрут естественной смертью». Эта надежда стала вскоре официальной доктриной соглашательских вождей. По их мысли, центр тяжести местной жизни должен был из советов передвинуться в новые демократические органы самоуправления. Место Центрального исполнительного комитета должно было занять Учредительное собрание. Коалиционное правительство собиралось, таким образом, стать мостом к режиму буржуазной парламентской республики.

Но все дело в том, что революция не хотела и не могла итти этим путем. Судьба новых городских дум являлась в этом смысле недвусмысленным предвещанием. Думы выбраны были на основе самого широкого избирательного права. Солдаты голосовали наравне с гражданским населением, женщины наравне с мужчинами. В борьбе участвовали четыре партии. «Новое Время», старый официоз царского правительства, одна из самых бесчестных в мире газет, — а это кое-что значит! — призывало правых, националистов, октябристов голосовать за кадетов. Но когда политическое бессилие имущих классов вскрылось полностью, большинство буржуазных газет выдвинуло лозунг: «голосуйте за кого хотите, только не за большевиков!». Во всех думах и земствах кадеты оказались правым крылом, большевики — усиливающимся левым меньшинством. Большинство, обычно подавляющее, принадлежало эсерами и меньшевикам.

Казалось бы, новые думы, которые отличались от

советов большей полнотой представительства, должны были пользоваться большим авторитетом. К тому же, как общественно-правовые учреждения, думы имели огромное преимущество официальной государственной поддержки. Милиция, продовольствие, городской транспорт, народное образование официально находилось в ведении дум. У советов, как «частных» учреждений, не было ни бюджета, ни прав. И тем не менее власть оставалась в руках советов. Думы представляли по существу муниципальные комиссии при советах. Соревнование советской системы с формальной демократией было по своим результатам тем более поразительным, что оно совершалось под руководством одних и тех же партий, эсеров и меньшевиков, которые господствуя в думах, как и в советах, были глубоко убеждены, что советы должны очистить свое место перед думами, и сами пытались сделать в этом направлении все, что могли.

Разгадка этого замечательного явления, над которым сравнительно мало задумывались в водовороте событий, проста: муниципалитеты, как и всякие вообще учреждения демократии, могут действовать лишь на основе устойчивых общественных отношений, т. е. определенной системы собственности. Суть революции состоит, однако в том, что она эту основу основ ставит под знак вопроса, ответ на который может дать только открытая революционная проверка соотношения классовых сил. Советы, вопреки политике их руководства, были боевой организацией угнетенных классов, которые сознательно и полусознательно сплачивались для изменения основ общественного строя. Муниципалитеты же давали равномерное представительство всем классам населения, сведенным к абстракции граждан, и были, в условиях революции, очень похожи на дипломатическую конференцию, которая объясняется условным и лицемерным языком, в то время, как представляемые ею враждебные лагери лихорадочно готовятся к бою. В будни революции муниципалитеты влачили еще полуфиктивное существование. В поворотные же

моменты, когда вмешательство масс определяло дальнейшее направление событий, муниципалитеты взрывались на воздух, их составные элементы оказывались по разные стороны барикады. Достаточно было сопоставить параллельные роли советов и муниципалитетов втечение мая-октября, чтобы предвидеть заранее судьбу Учредительного собрания.

С созывом этого последнего коалиционное правительство не торопилось. Либералы, бывшие в правительстве, наперекор демократической арифметике, в большинстве, совсем не спешили оказаться в Учредительном собрании бессильным правым крылом, каким они были в новых думах. Особое совещание по созыву Учредительного собрания начало работать лишь в конце мая, через три месяца после переворота. Либеральные юристы делили каждый волос на шестнадцать частей, взбалтывали в колбах все демократические отстои, препирались без конца об избирательных правах армии и о том, нужно или не нужно давать право голоса дезертирам, насчитывавшимися миллионами, и членам бывшей царской фамилии, насчитывавшимися десятками. О сроке созыва по возможности ничего не говорилось. Поднимать этот вопрос в Совещании вообще считалось бестактностью, на которую способны только большевики.

Недели шли, но вопреки надеждам и предсказаниям соглашателей, советы не отмирали. Временами и они, усыпленные и сбитые с толку своими вождями, впадали, правда, в полупрострацию, но первый же сигнал опасности ставил их на ноги и обнаруживал неоспоримо для всех, что советы являются хозяевами положения. Пытаясь саботировать советы, эсеры и меньшевики оказывались вынуждены во всех важных случаях признавать их приоритет. Это выражалось, между прочим, и в том, что лучшие силы обоих партий были сосредоточены в советах. Для муниципалитетов и земств отводились люди второго ряда, техники, администраторы. То же наблюдалось и у большевиков. Только кадеты, не имевшие в советы до-

ступа, сосредоточивали лучшие свои силы в органах самоуправления. Но безнадежное буржуазное меньшинство не могло превратить их в свою опору.

Таким образом никто не считал муниципалитеты своими органами. Обострявшиеся антагонизмы между рабочими и заводчиками, солдатами и офицерами, крестьянами и помещикам, нельзя было открыто поставить на обсуждение в муниципалитете или земстве, как это делалось в своем кругу, в Совете, с одной стороны, на «частных» собраниях Государственной думы и на всяких вообще совещаниях цензовых политиков, с другой. Можно сговариваться с противником о мелочах, но нельзя с ним сговариваться о жизни и смерти.

Если взять марксову формулу, гласящую, что правительство есть комитет господствующего класса, то придется сказать, что подлинные «комитеты» боровшихся за власть классов находились вне коалиционного правительства. В отношении Совета, представленного в правительстве, как меньшинство, это было совершенно очевидно. Но это было не менее верно и в отношении буржуазного большинства. Либералы не имели никакой возможности серьезно и деловым образом сговариваться, в присутствии социалистов, о наиболее затрагивающих буржуазию вопросах. Вытеснение Милюкова, заведомого и неоспоримого вождя буржуазии, вокруг которого сплачивался штаб собственников, имело символический характер, обнаруживая до конца, что правительство во всех смыслах эксцентрично. Жизнь вращалась вокруг двух фокусов, из которых один был влево, а другой вправо от Мариинского дворца.

Не смея говорить в составе правительства, что думают, министры жили в атмосфере условности, которую они же создавали. Двоевластие, прикрытое коалицией, стало школой двоемыслия, двоедушия и всякой вообще двойственности. Коалиционное правительство переживало втечение шести дальнейших месяцев ряд кризисов, перестроек и перетасовок, но основные его черты бессилия и фальши оно сохранило до дня своей смерти.

НАСТУПЛЕНИЕ.

В армии, как и в стране, шла непрерывная политическая перегруппировка сил: низы передвигались влево, верхи — вправо. Одновременно с тем, как Исполнительный комитет становился орудием Антанты для укрощения революции, войсковые комитеты, возникшие, как представительство солдат против командного состава, превращались в помощников командного состава против солдат.

Состав комитетов был пестрым. Не мало было патриотических элементов, которые искренне отождествляли войну с революцией, мужественно шли в навязанное сверху наступление и слагали свои головы за чужое дело. Рядом с ними стояли герои фразы, дивизионные и полковые Керенские. Наконец, не мало было мелких ловкачей и проныр, которые в комитетах отсиживались от окопов, добиваясь привиллегий. Всякое массовое движение, особенно в первой своей стадии, неизбежно поднимает на своем гребне все эти человеческие разновидности. Только соглашательский период был особенно богат болтунами и хамелеонами. Если люди формируют программу, то и программа формирует людей. Школа контакта становится в революции школой происков и интриг.

Режим двоевластия исключал возможность создания военной силы. Кадеты пользовались ненавистью народных масс, и в армии вынуждены были переименовываться в эсеров. Демократия же не могла возродить армию по той же причине, по которой она не могла взять в свои руки власть: одно неотделимо от другого. Как курьез, который, однако, очень ярко освещает положение, Суханов отмечает, что Временное

правительство не устроило в Петрограде ни одного парада войскам: либералы и генералы не хотели участия в параде Совета, но хорошо понимали, что без Совета парад неосуществим.

Высшее офицерство все теснее примыкало к кадетам — в ожидании, когда смогут поднять голову более реакционные партии. Мелкобуржуазные интеллигенты могли дать армии значительное количество низшего офицерского состава, как они его давали при царизме. Но они не способны были создать командный состав по образу своему, ибо у них не было собственного образа. Как показал весь дальнейший ход революции, командный корпус можно было либо взять готовым у дворянства и буржуазии, как делали белые, либо выдвинуть и воспитать его на основе пролетарского отбора, как делали большевики. Мелкобуржуазным демократам не было доступно ни то, ни другое. Они должны были всех уговаривать, упрашивать, обманывать, а когда у них ничего не выходило, они с отчаяния передавали власть реакционному офицерству для внушения народу правильных революционных идей.

Одна за другой вскрывались язвы старого общества, разрушая организм армии. Национальный вопрос, во всех своих видах, — а Россия была ими богата, — все глубже захватывал солдатскую толщу, которая больше, чем на половину состояла не из великороссов. Национальные антагонизмы по разным линиям сплетались и пересекались с классовыми. Политика правительства в национальной области, как и во всех остальных, была колеблющейся, путанной и потому казалась вдвойне вероломной. Отдельные генералы заигрывали с национальными формированиями, вроде «мусульманского корпуса с французской дисциплиной» на румынском фронте. Новые национальные части действительно оказывались обычно устойчивее частей старой армии, ибо были сформированы вокруг новой идеи, под новым знаменем. Этой национальной спайки хватало, однако, не на долго: ее разрывало в дальнейшем развитие классовой борьбы. Но уже са-

мый процесс национальных формирований, грозивший охватить половину армии, переводил ее в текучее состояние, разлагая старые части, прежде чем успели сложиться новые. Так беды шли со всех сторон.

Милюков в своей Истории пишет, что армию губил «конфликт между идеями «революционной» и нормальной военной дисциплины, между «демократизацией» армии и сохранением ее боеспособности», причем под «нормальной» дисциплиной надлежит понимать ту, которая была при царизме. Историк должен был бы знать, казалось, что всякая большая революция несла гибель старой армии, в результате столкновения не абстрактных принципов дисциплины, а живых классов. Революция не только допускает суровую дисциплину в армии, но и создает ее. Однако, эту дисциплину не могут устанавливать представители класса, свергнутого революцией.

«Ведь очевидный же факт, — писал 26 сентября 1851 г. один умный немец другому, — что дезорганизованная армия и полное разложение дисциплины являлись как условием, так и результатом всякой победоносной революции». Вся история человечества установила этот простой и неоспоримый закон. Но вслед за либералами и русские социалисты, имевшие за своей спиной 1905 год, не поняли этого, хотя не раз называли своими учителями двух немцев, из которых один был Фридрих Энгельс, а другой — Карл Маркс. Меньшевики в серьез верили, что армия, произведшая переворот, будет под старым командованием продолжать старую войну. Большевиков эти люди называли утопистами.

Генерал Брусилов очень отчетливо охарактеризовал в начале мая, на совещании в ставке, состояние командного состава: 15-20% приспособились к новым порядкам по убеждению; часть офицеров начала заигрывать с солдатами и возбуждать их против командного состава; большинство же, около 75%, не умело приспособиться, обиделось, спряталось в свою скорлупу и не знает, что делать. Подавляющая масса офи-

церства была к тому же никуда не годна с чисто военной точки зрения.

На совещании с генералами Керенский и Скобелев изо всех сил извинялись за революцию, которая, увы, «продолжается» и с которой приходится считаться. На это черносотенный генерал Гурко возразил министрам нравоучительно: «Вы говорите — «революция продолжается». Послушайте нас... Приостановите революцию и дайте нам, военным, выполнить до конца свой долг». Керенский изо всех сил рвался генералам на встречу, — пока один из них, доблестный Корнилов, чуть не задушил его в своих объятиях.

Соглашательство во время революции есть политика лихорадочных метаний между классами. Керенский был воплощенным метанием. Поставленный во главе армии, которая вообще немыслима без ясного и отчетливого режима, Керенский стал непосредственным орудием ее разложения. Деникин приводит любопытный список смещений лиц высшего командного состава, не попавших в точку, хотя никто, собственно, не знал, и меньше всего сам Керенский, где эта точка находится. Алексеев уволил главнокомандующего фронтом Рузского и командующего армией Радко-Дмитриева за слабость и попустительство комитетам. Брусилов по таким же мотивам удалил перетрусившего Юденича. Керенский уволил самого Алексеева и главнокомандующих фронтами Гурко и Драгомирова за сопротивление демократизации армии. По такой же причине Брусилов устранил генерала Каледина, а впоследствии сам был уволен за чрезмерное потакательство комитетам. Корнилов ушел с командования петроградским округом из-за неспособности ужиться с демократией. Это не помешало его назначению на командование фронтом, а затем и на верховное командование. Деникин был снят с поста начальника штаба Алексеева за явно крепостническое направление, но вскоре же был назначен главнокомандующим Западным фронтом. Эта чехарда, свидетельствовавшая, что наверху не знают,

чего хотят, спускалась по ступеням вниз, до роты, и ускоряла распад армии.

Требуя от солдат повиновения офицерам, комиссары сами не доверяли им. В самый разгар наступления, на заседании Совета в Могилеве, в резиденции ставки, в присутствии Керенского и Брусилова, один из членов Совета заявил: «88% офицеров ставки своими действиями создают опасность контр-революционных проявлений». Для солдат это не было тайной. Они имели достаточно времени узнать своих офицеров до переворота.

В течение всего мая донесения командного состава, снизу доверху, варьируют одну и ту же мысль: «Отношение к наступлению в общем отрицательное, особенно в пехоте». Иногда прибавляли: «несколько лучше в кавалерии и довольно бодрое в артиллерии».

В конце мая, когда войска уже развертывались для наступления, комиссар при 7-й армии телеграфировал Керенскому: «в 12-й дивизии 48-й полк выступил в полном составе, 45-й и 46-й полки в половинном составе строевых рот; 47-й отказывается выступать. Из полков 13-й дивизии выступил почти в полном составе 50-й полк. Обещает выступить завтра 51-й полк; 49-й не выступил по расписанию, а 52-й отказался выступить и арестовал всех своих офицеров». Такая картина наблюдалась почти повсюду. На донесение комиссара последовал ответ правительства: «45-й, 46-й, 47-й и 52-й полки расформировать, подстрекавших к неповиновению офицеров и солдат предать суду». Это звучало грозно, но не пугало. Солдаты, не желавшие воевать, не страшились ни расформирования ни суда. При развертывании приходилось не редко пускать одни части против других. Орудием репрессий служили чаще всего казаки, как и при царе, но теперь ими руководили социалисты: дело ведь шло об обороне революции.

4 июня, менее, чем за две недели до начала наступления, начальник штаба ставки доносил: «Северный

фронт еще находится в состоянии брожения, братание продолжается, отношение к наступлению в пехоте отрицательное... На Западном фронте положение неопределенное. На Юго-Западном отмечается некоторое улучшение настроения... На Румынском особого улучшения не наблюдается, пехота наступать не желает»...

11 июня 1917 года командир 61 полка пишет: «Мне и офицерам остается только спасаться, так как приехал из Петрограда солдат 5-й роты, ленинец... Много лучших солдат и офицеров уже бежало». Появления одного ленинца в полку оказалось достаточно, чтоб офицерство начало разбегаться. Ясно, что приезжий солдат играл роль первого кристалла в насыщенном растворе. Не надо, впрочем, думать, что речь идет непременно о большевике. В это время командный состав называл ленинцем всякого солдата, который смелее других поднимал голос против наступления. Многие из этих «ленинцев» еще искренне верили, что Ленин прислан Вильгельмом. Командир 61-го полка пытался испугать своих солдат карами со стороны правительства. Один из солдат возразил: «Свергли прежнее правительство, сковырнем и Керенского». Это были новые речи. Они питались агитацией большевиков, далеко опережая ее.

Из Черноморского флота, который находился под руководством эсеров и считался, в противоположность кронштадцам, оплотом патриотизма, отправлена была еще в конце апреля по стране особая делегация в 300 человек, во главе с бойким студентом Баткиным, который наряжался матросом. В этой делегации многое отдавало маскарадом; но было и искреннее увлечение. Делегация развозила по стране идею войны до победы, но с каждой неделей слушатели становились враждебнее. В то время, как черноморцы все более снижали тон своей проповеди наступления, в Севастополь прибыла балтийская делегация, чтоб проповедывать мир. Северяне имели больший успех на юге, чем южане на севере. Под влиянием кронштадцев севастопольские матросы приступили 8 июня к разоружению команд-

ного состава и к арестам наиболее ненавистных офицеров.

На заседании Съезда советов 9 июня Троцкий спрашивал, каким образом могло случиться, что «в этом образцовом Черноморском флоте, который разослал по всей стране патриотические депутации, в этом гнезде организованного патриотизма, могла проявиться в столь критический момент такого рода вспышка? Что это показывает?» Ответа он не получил.

Безначалье и безголовье в армии истерзали всех, солдат, командиров и комитетчиков. Всем нестерпимо нужен был какой-нибудь выход. Верхам казалось, что наступление преодолеет бестолковщину и внесет определенность. В известном смысле это было верно. Если Церетелли и Чернов высказывались в Петрограде за наступление, соблюдая все модуляции демократической риторики, то на фронте комитетчики должны были рука об руку с офицерством открыть борьбу против нового режима в армии, без которго немыслима была революция, но который был несовместим с войной. Результаты поворота сказались очень скоро. «С каждым днем члены комитета заметно правели, — рассказывает один из морских офицеров, — но в то же время было очевидно падение их авторитета среди матросов и солдат». Однако же, для войны нужны были именно солдаты и матросы.

Брусилов, с одобрения Керенского, встал на путь формирования ударных батальонов из добровольцев, открыто признавая тем небоеспособность армии. К этому делу немедленно же примкнули самые разнообразные, чаще всего авантюристские элементы, вроде капитана Муравьева, который впоследствии, после октябрьского переворота, переметнулся к левым эсерам, чтоб затем, после бурных и в своем роде блестящих действий, изменить советской власти и пасть от пули, не то большевистской, не то собственной. Незачем говорить, что контр-революционное офицерство с жадностью ухватилось за ударные батальоны, как

за легальную форму для собирания своих сил. Идея не встретила, однако, почти никакого отклика в солдатских массах. Искательницы приключений создавали женские батальоны «черных гусар смерти». Один из таких батальонов явился в октябре последней вооруженной силой Керенского при защите Зимнего дворца. Но все это мало могло помочь делу сокрушения германского милитаризма. Между тем задача была поставлена именно так.

Наступление, обещанное ставкой союзникам на раннюю весну, откладывалось с недели на неделю. Но теперь Антанта решительно не соглашалась на дальнейшие отсрочки. Вымогая немедленное наступление, союзники не стеснялись в средствах. Наряду с патетическими заклинаниями Вандервельде применялись угрозы приостановить поставку боевых припасов. Итальянский генеральный консул в Москве заявил печати, не итальянской, а русской, что в случае сепаратного мира со стороны России союзники предоставят Японии свободу действий в Сибири. Либеральные газеты, не римские, а московские, с патриотическим восторгом печатали наглые угрозы, передвигая их с сепаратного мира на оттяжку наступления. Союзники не церемонились и в других отношениях: присылали, например, заведомо бракованную артиллерию: 35 % орудий, полученных из-за границы, не выдержали двухнедельной умеренной стрельбы. Англия зажимала кредиты. Зато Америка, новая покровительница, без ведома Англии, предоставила Временному правительству под будущее наступление кредит в 75 миллионов долларов.

Поддерживая вымогательства союзников и ведя бешеную агитацию за наступление, русская буржуазия сама отказывала этому наступлению в доверии, не подписываясь на заем свободы. Низвергнутая монархия тем временем воспользовалась случаем, чтоб напомнить о себе: в заявлении на имя Временного правительства Романовы выразили пожелание подписаться на заем, но прибавили, что «размер подписки будет стоять в зависимости от того, будет ли казна давать день-

ги на содержание членам царской семьи». Все это читала армия, которая знала, что большинство Временного правительства, как и большинство высшего офицерства, попрежнему надеется на восстановление монархии.

Справедливость требует отметить, что в лагере союзников не все соглашались с Вандервельде, Тома и Кашеном, толкавшими русскую армию в пропасть. Были и предостерегающие голоса. «Русская армия — лишь фасад — говорил генерал Петен, — она разрушится, если тронется с места». В таком же смысле высказывалась, например, американская миссия. Но победили другие соображения. Надо было выбить душу из революции. «Германо-русское братание, — объяснял позже Пенлеве, — производило такие опустошения (faisait de tels ravages), что оставить русскую армию неподвижной, значило рисковать, что она быстро разложится».

Подготовка наступления по политической линии велась Керенским и Церетелли, сперва втайне даже от ближайших единомышленников. В то время, как полупосвященные лидеры продолжали еще разглагольствовать об обороне революции, Церетелли все решительнее настаивал на необходимости для армии быть готовой к активным действиям. Дольше других сопротивлялся, т. е. кокетничал Чернов. В заседании Временного правительства 17 мая «селянского министра», как он себя именовал, допрашивали с пристрастием, верно ли, что он на митинге без необходимого сочуствия выразился о наступлении. Оказалось, что Чернов выразился так: «наступление его, политика, не касается, это дело стратегов на фронте». Эти люди играли в прятки с войной, как и с революцией. Но только до поры до времени.

Подготовка наступления сопровождалась, разумеется, усилением борьбы с большевиками. Их все чаще обвиняли в стремлении к сепаратному миру. Возможность того, что сепаратный мир окажется единственным выходом, лежала в самой обстановке, т. е. в слабости и истощенности России по сравнению с другими

воюющими странами. Но никто еще не измерил силы нового фактора: революции. Большевики считали, что избегнуть перспективы сепаратного мира можно лишь в том случае, если смело и до конца противопоставить силу и авторитет революции войне. Для этого нужно было прежде всего разорвать союз с собственной буржуазией. 9 июня Ленин заявил на Съезде советов: «Когда говорят, что мы стремимся к сепаратному миру, то это неправда. Мы говорим: никакого сепаратного мира, ни с какими капиталистами, прежде всего с русскими. А у Временного правительства есть сепаратный мир с русскими капиталистами. Долой этот сепаратный мир!». «Аплодисменты» отмечает протокол. Это были аплодисменты небольшого меньшинства съезда, и именно поэтому особенно горячие.

В Исполнительном комитете у одних не хватало еще решимости, другие хотели прикрыться наиболее авторитетным органом. В последний момент постановлено было довести до сведения Керенского о нежелательности отдавать приказ о наступлении до решения вопроса Съездом советов. Заявление, внесенное на первом же заседании Съезда фракцией большевиков, говорило, что «наступление может лишь окончательно дезорганизовать армию, противопоставляя одни ее части другим», и что «Съезд должен дать немедленный отпор контр-революционному натиску, или взять на себя ответственность за эту политику целиком и открыто».

Решение Съезда советов в пользу наступления было только демократической формальностью. Все было уже готово. Артиллеристы давно держали на прицеле неприятельские позиции. 16 июня, в приказе по армии и флоту, Керенский, со ссылкою на верховного главнокомандующего, «обвеянного победами вождя», доказывал необходимость «немедленного и решительного удара» и заканчивал словами: «Приказываю вам — вперед!»

В статье, написанной накануне наступления и комментировавшей заявление большевистской фракции на

Съезде советов, Троцкий писал: «Политика правительства в корне подрывает возможность успешных военных действий... Материальные предпосылки наступления крайне неблагоприятны. Организация продовольствия армии отражает собою общую хозяйственную разруху, против которой правительство нынешнего состава не может предпринять ни одной радикальной меры. Духовные предпосылки наступления неблагоприятны в еще более высокой степени. Правительство... вскрыло перед армией... свою неспособность определять политику России независимо от воли империалистических союзников. Результатом не могло не явиться прогрессирующее разложение армии... Массовое дезертирство... перестает, в настоящих условиях быть простым результатом порочной индивидуальной воли, а становится выражением полной неспособности правительства спаять революционную армию внутренним единством целей»... Указав далее, что правительство не решается «на немедленное упразднение помещичьего землевладения, т. е. на единственную меру, которая убедила бы самого отсталого крестьянина, что эта революция есть его революция», статья заключала: «в таких материальных и духовных условиях наступление должно неизбежно получить характер авантюры».

Командный состав почти сплошь считал, что наступление, безнадежное в военном отношении, вызывается исключительно политическим рассчетом. Деникин после объезда своего фронта, доложил Брусилову: «Ни в какой успех наступления не верю». Дополнительный элемент безнадежности вносился негодностью самого командного состава. Станкевич, офицер и патриот, свидетельствует, что техническая постановка дела исключила победу, независимо от морального состояния войск: «наступление было организовано ниже всякой критики». К вождям кадетской партии явилась делегация офицеров, с председателем офицерского союза кадетом Новосильцевым во главе, и предупреждала, что наступление обречено на неудачу и приведет лишь к истреблению лучших частей. От предостережений

высшие власти отделывались общими фразами: «Теплилась надежда, — говорит начальник штаба Ставки, реакционный генерал Лукомский, — что, может быть, начало успешных боев изменит психологию массы, и возможно будет начальникам вновь подобрать вырванные из их рук возжи». В этом и была основная цель: подобрать возжи.

Главный удар предполагалось, согласно давно выработанному плану, нанести силами Юго-западного фронта в направлении на Львов; на Северный и Западный фронты ложились задачи вспомогательного характера. Наступление должно было начаться одновременно на всех фронтах. Скоро выяснилось, что этот план командованию совершенно не под силу. Решили поднимать фронты один за другим, начиная со второстепенных. Но и это оказалось неосуществимым. «Тогда верховное командование, говорит Деникин, решило отказаться от всякой стратегической планомерности, и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности». Все было предоставлено на волю провидения. Не хватало только икон царицы. Их пытались заменить иконами демократии. Керенский разъезжал, взывал, благославлял. Наступление началось: 16 июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 — на Северном; 9 июля — на Румынском. Выступление последних трех фронтов, в сущности фиктивное, совпало уже с началом крушения основного, т. е. Юго-Западного фронта.

Керенский доносил Временному правительству: «Сегодня великое торжество революции. 18 июня русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление». «Совершилось долгожданное событие, — писала кадетская «Речь», — которое сразу вернуло русскую революцию к ее лучшим дням». 19 июня старик Плеханов декламировал перед патриотической манифестацией: «Граждане! Если я вас спрошу, какой сегодня день, вы скажете, что понедельник. Но это ошибка: сегодня воскресенье, воскресенье для нашей страны и для демократии всего

мира. Россия, сбросившая иго царизма, решила сбросить иго неприятеля». Церетелли говорил в тот же день на Съезде советов: «Открывается новая страница в истории великой русской революции... Успехи нашей революционной армии должны приветствоваться не только русской демократией, но и... всеми теми, кто действительно стремится бороться с империализмом». Патриотическая демократия открыла все свои краны.

Газеты несли тем временем радостную весть: «Парижская биржа приветствует русское наступление повышением всех русских ценностей». Социалисты пытались прочность революции определить по курсовому бюллетеню. Но история учит, что биржа себя чувствует тем лучше, чем хуже приходится революции.

Рабочие и гарнизон столицы ни на минуту не были захвачены волной искусственно разогретого патриотизма. Ареной его оставался Невский проспект. «Мы вышли на Невский, — рассказывает в своих воспоминаниях солдат Чиненов, и пробовали вести агитацию против наступления. Тут буржуи нападали на нас с зонтиками... Мы ловили буржуев, тащили их в казармы... и говорили, что они завтра же будут отправлены на фронт». Это были уже симптомы надвигающегося взрыва гражданской войны: близились июльские дни.

21 июня пулеметный полк в Петрограде на общем собрании постановил: «в дальнейшем мы будем посылать команды на фронт только тогда, когда война будет носить революционный характер»... В ответ на угрозу расформированием, полк ответил, что не остановится перед раскассированием «Временного правительства и других организаций, его поддерживающих». Мы снова слышим ноты угрозы, далеко опережающие агитацию большевиков.

Хроника событий отмечает под 23 июня: «Части II-й армии захватили первую и вторую линию окопов противника»... И тут же рядом: «На заводе Барановского (6 тысяч рабочих) произведены перевыборы в

Петроградский совет. Вместо 3 эсеров выбрано 3 большевика».

К концу месяца физиономия Петроградского совета успела уже значительно измениться. Правда, 20 июня Совет принял резолюцию с приветом наступающей армии. Но каким большинством? 472 голосов против 271 при 39 воздержавшихся. Это совершенно новое соотношение сил, которого мы раньше не встречали. Большевики вместе с левыми группками меньшевиков и эсеров составляют уже две пятых Совета. Это значит, что на заводах и в казармах противники наступления составляют неоспоримое большинство.

Выборгский районный Совет принял 24 июня резолюцию, каждое слово которой вбито тяжелым молотом: «Мы... протестуем против авантюры Временного правительства, которое ведет наступление за старые грабительские договоры... и всю ответственность за эту политику наступления возлагаем на Временное правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и эсеров». Отодвинутый после февральского переворота на задворки, Выборгский район уверенно выдвигался теперь на первое место. В Выборгском совете уже полностью господствовали большевики.

Теперь все зависело от судьбы наступления, значит от окопных солдат. Какие изменения вносило наступление в сознание тех, которые должны были совершить его? Они непреодолимо тянулись к миру. Но именно эту тягу правящим удалось до некоторой степени, по крайней мере, у части солдат, и совсем ненадолго, превратить в готовность к наступлению.

После переворота солдаты ждали от новой власти скорого заключения мира, а до того готовы были держать фронт. Но мир не приходил. Солдаты перешли к попыткам братания с немцами и австрийцами, отчасти под влиянием агитации большевиков, а главным образом в поисках своих собственных путей к миру. Но против братания открыто было гонение со всех сторон. К тому же обнаружилось, что немецкие солдаты еще далеко не вышли из повиновения своим офицерам.

Братание, не приведшее к миру, стало сильно сокращаться.

На фронте царило тем временем фактическое перемирие. Немцы пользовались им для огромных перебросок на Западный фронт. Русские солдаты наблюдали, как опустошались неприятельские окопы, снимались пулеметы, увозились пушки. На этом и был построен план моральной подготовки наступления. Солдатам стали систематически внушать, что враг совершенно ослабел, что ему не хватает сил, что с Запада на него напирает Америка, и что стоит с нашей стороны дать небольшой толчок, как неприятельский фронт рассыпется, и мы получим мир. Правящие не верили в это ни на один час. Но они рассчитывали на то, что всунув руку в машину войны, армия уже не сможет больше выдернуть ее.

Не придя к цели ни через дипломатию Временного правительства, ни через братание, часть солдат несомненно стала склоняться к третьему пути: дать толчок, от которого должна рассыпаться прахом война. Один из фронтовых делегатов на Съезде советов, так именно и передавал настроение солдат: «сейчас перед нами разреженный немецкий фронт, сейчас перед нами нет пушек, и если мы пойдем и опрокинем врага, то приблизимся к желанному миру».

Неприятель сперва действительно оказался крайне слаб и отходил, не принимая боя, которого, впрочем, наступающие и не могли бы дать. Но неприятель не рассыпался, а перегруппировывался и сосредоточивался. Продвинувшись на два-три десятка километров вглубь, русские солдаты открывали картину, достаточно знакомую им по опыту предшествующих лет: неприятель ждал их на новых, укрепленных позициях. Тут-то и обнаруживалось, что если солдаты еще соглашались дать толчок в пользу мира, то они вовсе не хотели войны. Втянутые в нее сочетанием насилия, морального давления и, главное, обманом, они с тем большим возмущением повернули назад.

«После невиданной со стороны русских, по своей

мощности и силе, артиллерийской подготовки, — говорит русский историк мировой войны генерал Зайончковский, — войска заняли почти без потерь неприятельскую позицию и не захотели итти дальше. Началось сложное дезертирство и уход с позиций целых частей».

Украинский деятель Дорошенко, бывший комиссаром Временного правительства в Галиции, рассказывает, что после захвата городов Галича и Калуша, «в Калуше немедленно был произведен ужасающий погром местного населения, исключительно украинцев и евреев, — поляков не трогали. Погромом руководила чья-то опытная рука, указывавшая специально местные украинские культурно-просветительные учреждения». В погроме участвовали «лучшие, наименее развращенные революцией» части, тщательно отобранные для наступления. Но еще ярче обнаружили свое лицо в этом деле руководители наступления, старые царские командиры, испытанные организаторы погромов.

9-го июля комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали правительству: «Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие... В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу, — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом».

Главнокомандующим Юго-западным фронтом, с согласия комиссаров и комитетов, издан приказ о стрельбе по бегущим.

12 июля главнокомандующий Западным фронтом Деникин возвращался в свой штаб «с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на... чудо».

Солдаты не хотели сражаться. Тыловые войска, к которым обратились за сменой ослабевшие части

после занятия неприятельских окопов, ответили: «Чего наступали? Кто вам велел? Кончать надо войну, а не наступать». Командир 1-го сибирского корпуса, считавшегося одним из лучших, доносил, как с наступлением ночи солдаты стали толпами и целыми ротами уходить с неатакованной первой линии. «Я понял, что мы, начальники, бессильны изменить стихийную психологию солдатской массы, — и горько, горько и долго рыдал».

Одна из рот отказалась даже подбросить противнику листок о взятии Галича, покуда не найдут солдата, который бы мог перевести немецкий текст на русский язык. В этом факте выражается вся сила недоверия солдатской массы к руководящему составу, и старому и новому, февральскому. Столетия издевательств и насилий вулканически извергались наружу. Солдаты чувствовали себя снова обманутыми. Наступление вело не к миру, а к войне. Солдаты не хотели войны. И они были правы. Прятавшиеся в тылу патриоты травили и клеймили солдат, как шкурников. Но солдаты были правы. Ими руководил правильный национальный инстинкт, преломленный через сознание угнетенных людей, обманутых, истерзанных, поднятых революционной надеждой и снова низринутых в кровавое месиво. Солдаты были правы. Продолжение войны не могло дать русскому народу ничего, кроме новых жертв, унижений, бедствий, ничего, кроме усиления внутренней и внешней кабалы.

Патриотическая пресса 1917 года, не только кадетская, но и социалистическая, была неутомима в противопоставлении русских солдат, дезертиров и трусов, героическим батальонам великой французской революции. Эти противопоставления свидетельствуют не только о непонимании диалектики революционного процесса, но и о круглом историческом невежестве.

Замечательные полководцы французской революции и империи начинали, сплошь да рядом, как нарушители дисциплины, как дезорганизаторы; Милюков сказал бы, как большевики. Будущий маршал Даву,

в качестве поручика Д'Аву, в течение долгих месяцев 1789—90 года разлагал «нормальную» дисциплину в гарнизоне Эсдена, изгоняя командный состав. По всей Франции шел до середины 1790 г. процесс полного распада старой армии. Солдаты Венсенского полка принуждали своих офицеров есть вместе с ними. Флот изгонял своих офицеров. 20 полков подвергали свой командный состав разным видам насилия. В Нанси три полка ввергли высших офицеров в тюрьму. Начиная с 1790 г., вожди французской революции не устают повторять по поводу военных эксцессов: «Виновна исполнительная власть, которая не смещает офицеров, враждебных революции». Замечательно, что за роспуск старого офицерского корпуса выступали как Мирабо, так и Робеспьер. Первый стремился поскорее установить твердую дисциплину. Второй хотел разоружить контр-революцию. Но оба понимали, что старой армии не жить.

Правда, русская революция, в отличие от французской, произошла во время войны. Но отсюда вовсе не вытекает изъятия из отмеченного Энгельсом исторического закона. Наоборот, условия затяжной и несчастной войны могли только ускорить и обострить процесс революционного распада армии. Несчастное и преступное наступление демократии сделало остальное. Теперь солдаты говорили уже поголовно: «Довольно проливать кровь! Зачем свобода и земля, если нас не будет?» Когда просвещенные пацифисты пытаются рационалистическими доводами упразднить войну, то они просто смешны. Когда же сами вооруженные массы приводят в движение против войны доводы разума, то это значит, что войне приходит конец.

КРЕСТЬЯНСТВО.

Подпочву революции составлял аграрный вопрос. В архаических земельных порядках, непосредственно вышедших из крепостного права, в традиционной власти помещика, в тесных связях между помещиком, местной администрацией и сословным земством коренились наиболее варварские явления русской жизни, увенчавшиеся распутинской монархией. Мужик, служивший опорой вековой азиатчине, являлся вместе с тем и первой из ее жертв.

В первые недели после февральского переворота деревня оставалась почти недвижной. Наиболее активные возрасты находились на фронте. Старшие поколения, оставшиеся дома, слишком хорошо помнили, как революция кончается карательными экспедициями. Деревня молчала, поэтому и город молчал о деревне. Но призрак крестьянской войны уже с дней марта висел над помещичьими гнездами. Из наиболее дворянских, т. е. отсталых и реакционных губерний крик о помощи раздался еще прежде, чем обнаружилась действительная опасность. Либералы чутко отражали страхи помещиков. Соглашатели отражали настроения либералов. «Форсировать аграрную проблему в ближайшие недели, — резонерствовал после переворота «левый» Суханов, — вредно, и в этом нет ни малейшей нужды». Точно также, как мы знаем, Суханов считал, что вредно форсировать вопрос о мире и о 8-часовом рабочем дне. Прятаться от трудностей — проще. К тому же помещики пугали, что потрясение земельных отношений вредно отразится на засеве полей и продовольствии городов. Исполнительный комитет посылал на места телеграммы, ре-

комендовавшие «не увлекаться аграрными делами в ущерб продовольствию городов».

Во многих местах помещики, напуганные революцией, воздерживались от весеннего сева. При тяжелом продовольственном положении страны пустующие земли, казалось, сами призывали нового хозяина. Крестьянство глухо ворочалось. Не надеясь на новую власть, помещики приступили к спешной ликвидации своих имений. Кулаки стали усиленно скупать помещичьи земли, рассчитывая, что принудительная экспроприация на них, как на крестьян, не распространится. Многие земельные сделки имели заведомо фиктивный характер. Предполагалось, что частные владения ниже известной нормы будут пощажены; в виду этого помещики искусственно делили свои владения на мелкие участки, создавая подставных собственников. Нередко земли переводились на иностранцев из числа граждан союзных или нейтральных стран. Кулацкая спекуляция и помещичьи плутни угрожали не оставить ничего от земельного фонда к моменту созыва Учредительного собрания.

Деревня видела эти маневры. Отсюда требование: приостановить декретом всякие земельные сделки. Крестьянские ходоки потянулись в города, к новому начальству, искать земли и правды. Министрам не раз случалось, после возвышенных прений или оваций, наталкиваться у выхода на серые фигуры крестьянских депутатов. Суханов рассказывает, как один из ходоков со слезами умолял граждан министров издать закон, охраняющий земельный фонд от распродажи. «Его нетерпеливо перебил возбужденный и бледный Керенский: я сказал, что будет сделано, значит так и будет... И нечего смотреть на меня подозрительными глазами». Суханов, присутствовавший при этой сцене, присовокупляет: «Я передаю буквально, — и Керенский был прав: подозрительными глазами смотрели мужички на знаменитого народного министра и вождя». В этом коротком диалоге между крестьянином, который еще просит, но уже не доверяет, и

между радикальным министром, который отмахивается от крестьянского недоверия, заложена неизбежность крушения февральского режима.

Положение о земельных комитетах, как органах подготовки аграрной реформы, издано было первым министром земледелия, кадетом Шингаревым. Главный земельный комитет, во главе с либерально-бюрократическим профессором Постниковым, состоял главным образом из народников, которые больше всего боялись оказаться менее умеренными, чем их председатель. Местные земельные комитеты были учреждены в губерниях, уездах и волостях. Если советы, довольно туго прививавшиеся в деревне, считались частными органами, то земельные комитеты имели правительственный характер. Чем неопределеннее были, по положению, их функции, тем труднее им оказывалось противостоять натиску крестьянства. Чем ниже был комитет в общей иерархии, чем ближе к земле, тем скорее он становился орудием крестьянского движения.

К концу марта начинают притекать в столицу первые тревожные сведения о выступлении на сцену крестьян. Новгородский комиссар телеграфирует о беспорядках, производимых неким прапорщиком Панасюком, о «безосновательных арестах помещиков» и пр. В Тамбовской губернии толпой крестьян, во главе с несколькими отпускными солдатами, разграблена помещичья усадьба. Первые сообщения несомненно преувеличены, помещики в своих жалобах явно раздувают столкновения и забегают вперед. Но что не подлежит сомнению, так это руководящее участие в крестьянском движении солдат, которые приносят с фронта и из городских гарнизонов дух инициативы.

Один из волостных комитетов Харьковской губернии постановил 5-го апреля произвести у землевладельцев обыски для отобрания оружия. Это уж явное предчувствие гражданской войны. Возникновение волнений в Скопинском уезде Рязанской губернии комиссар объясняет постановлением Исполнительного ко-

митета соседнего уезда о принудительной аренде крестьянами помещичьих земель. «Агитация студентов за успокоение до Учредительного собрания успеха не имеет». Так мы узнаем, что «студенты», призывавшие крестьян в эпоху первой революции к аграрному террору, — такова была в то время тактика эсеров, — в 17-м году, наоборот, проповедуют законность и спокойствие, правда, безуспешно.

Комиссар Симбирской губернии рисует картину более развернутого крестьянского движения: волостные и сельские комитеты — о них еще будет сказано впереди — арестовывают помещиков, высылают их из губернии, снимают рабочих с помещичьих полей, захватывают землю, устанавливают произвольно арендную плату. «Посылаемые Исполнительным комитетом делегаты становятся на сторону крестьян». Одновременно начинается движение общинников против отрубников, т. е. крепких крестьян, выделившихся на самостоятельные участки, на основании столыпинского закона 9 ноября 1906 г. «Положение губернии угрожает засеву полей». Симбирский губернский комиссар уже в апреле не видит другого выхода, как немедленное объявление земли национальной собственностью, с тем, чтоб способы землепользования были впоследствии определены Учредительным собранием.

Из Каширского уезда, совсем близко под Москвой, идут жалобы на то, что Исполнительный комитет возбуждает население к безвозмездному захвату церковных, монастырских и помещичьих земель. В Курской губернии крестьяне снимают с работы в имениях военнопленных и даже заключают их в местную тюрьму. После крестьянских съездов крестьяне в Пензенской губернии, склонные к буквальному пониманию эсеровских резолюций о земле и воле, стали нарушать недавно заключенные договоры с землевладельцами. Одновременно они повели наступление на новые органы власти. «При образовании волостных и уездных исполнительных комитетов, в марте месяце, в состав их вошла в большинстве интеллигенция; но затем — до-

носит пензенский комиссар, — стали раздаваться голоса против нее, и уже в середине апреля повсеместно в комитетах состав был исключительно из крестьян, тенденция которых относительно земли явно незакономерна».

Группа землевладельцев соседней Казанской губернии жаловалась Временному правительству на невозможность вести хозяйство, так как крестьяне сводят рабочих, отбирают семена, во многих местах уносят все имущество из усадеб, не позволяют помещику рубить дрова в своем лесу, угрожают насилием и смертью. «Суда нет, все делают, что хотят, благоразумная часть терроризована». Казанские помещики уже знают, кто повинен в анархии: «распоряжения Временного правительства в деревнях неизвестны, но зато листки большевиков очень распространены».

Между тем в распоряжениях Временного правительства недостатка не было. Телеграммой 20 марта князь Львов предложил комиссарам создавать волостные комитеты, как органы местной власти, причем к работе этих комитетов рекомендовал «привлекать местных землевладельцев и все интеллигентные силы деревни». Весь государственный строй предполагалось организовать по типу системы примирительных камер. Комиссарам, однако, вскоре уже пришлось плакаться на вытеснение «интеллигентных сил»: мужик явно не доверял уездным и волостным Керенским.

3-го апреля заместитель князя Львова, князь Урусов, — министерство внутренних дел, как видим, было высоко титулованным, — предписывает не допускать никакого своеволия и в особенности ограждать «свободу каждого владельца распоряжаться своей землей», т. е. самую сладкую из всех свобод. Через десять дней считает нужным потревожить себя сам князь Львов, предписывая комиссарам, «всей силой закона прекращать проявления всякого насилия и грабежа». Еще через два дня князь Урусов предписывает губернскому комиссару «принять меры к ограждению конских заводов от самоуправных действий, разъясняя

крестьянам»... и т. д. 18-го апреля князь Урусов беспокоится по поводу того, что военнопленные на работе у помещиков начинают предъявлять непомерные требования, и предписывает комиссарам подвергать дерзновенных взысканиям на основании прав, предоставленных ранее царским губернаторам. Циркуляры, предписания, телеграфные распоряжения текут сверху вниз непрерывным дождем. 12-го мая князь Львов перечисляет в новой телеграмме неправомерные действия, которые «не прекращаются во всей стране»: самовольные аресты, обыски, устранение от должностей, от заведывания имуществами, от управления фабриками и заводами; разгромы имуществ, грабежи, бесчинства; насилия над должностными лицами; обложение населения налогами; возбуждение одной части населения против другой и пр. и пр. «Все подобного рода действия должны почитаться явно неправомерными, в некоторых случаях даже анархическими»... Квалификация не очень ясна, но ясен вывод: «принять самые решительные меры». Губернские комиссары решительно спускали циркуляр в уезды, уездные нажимали на волостные комитеты, и все вместе обнаруживали свое бессилие перед мужиком.

Почти повсеместно в дело вмешиваются ближайшие воинские части. Чаще всего им принадлежит почин. Движение принимает крайне разнообразные формы, в зависимости от местных условий и от степени обострения борьбы. В Сибири, где помещиков нет, крестьяне прибирают к рукам церковные и монастырские земли. Впрочем, духовенству приходится туго и в других частях страны. В благочестивой Смоленской губернии попы и монахи, под влиянием прибывших с фронта солдат, подвергаются арестам. Местные органы оказываются часто вынуждены итти дальше, чем хотели бы — только бы предупредить принятие крестьянами несравненно более радикальных мер. Уездный Исполнительный комитет Самарской губернии назначил в начале мая общественную опеку над имением графа Орлова-Давыдова, ограждая его,

таким образом, от крестьян. Так как обещанный Керенским декрет о запрещении земельных сделок так и не появлялся, то крестьяне начали своими средствами препятствовать распродаже имений, не допуская производить обмер земельных площадей. Отнятие у помещиков оружия, даже охотничьего, распространяется все шире. Крестьяне Минской губернии, — жалуется комиссар, — «принимают резолюции крестьянского съезда, как закон». Да и как понимать их иначе? Ведь эти съезды являются единственной реальной властью на местах. Так раскрывается великое недоразумение между эсеровской интеллигенцией, захлебывающейся в словах, и крестьянством, которое требует дел.

К концу мая заколыхалась далекая азиатская степь. Киргизы, у которых цари отнимали лучшие земли в пользу своих слуг, поднимаются теперь против помещиков, предлагая им скорее ликвидировать свои воровские владения. «Подобный взгляд крепнет в степи», доносит Акмолинский комиссар.

На противоположном краю страны, в Лифляндской губернии, уездный Исполнительный комитет послал комиссию для расследования дела о разгроме имения барона Шталь-фон-Гольштейна. Комиссия признала беспорядки незначительными, пребывание барона в уезде вредным для спокойствия и постановила: препроводить его вместе с баронессой в распоряжение Временного правительства. Так возник один из бесчисленных конфликтов местной власти с центральной, эсеров внизу с эсерами наверху.

Донесение 27 мая из Павлоградского уезда Екатеринославской губернии рисует почти идиллические порядки: члены Земельного комитета разъясняют населению все недоразумения и таким образом «предупреждают всякого рода эксцессы». Увы, эта идиллия продлится лишь короткое число недель.

Настоятель одного из Костромских монастырей горько жалуется в конце мая на реквизицию крестьянами трети рогатого монастырского скота. Почтен-

ному монаху следовало бы быть скромнее: скоро ему придется проститься и с остальными двумя третями.

В Курской губернии начались преследования отрубников, отказывавшихся вернуться в общину. Перед великим земельным переворотом, перед черным переделом, крестьянство хочет выступать, как одно целое. Внутренние перегородки могут стать помехой. Мир должен выступать, как один человек. Борьба за помещичью землю сопровождается поэтому насилиями над хуторами, т. е. земельными индивидуалистами.

В последний день мая арестовали в Пермской губернии солдата Самойлова, который призывал к неплатежу податей. Скоро солдат Самойлов будет арестовывать других. На крестном ходе в одной из деревень Харьковской губернии, крестьянин Гриценко топором изрубил на глазах всей деревни чтимую икону св. Николая. Так поднимаются все виды протеста и превращаются в действия.

Морской офицер и помещик дает в анонимных «Записках белогвардейца» интересную картину эволюции деревни в первые месяцы после переворота. На все посты «выбирались почти везде люди из буржуазных слоев. Все стремились лишь к одному — удержать порядок». Крестьяне, правда, выдвигали требование на землю, но в первые два-три месяца без насилий. Наоборот, можно было постоянно услышать фразы, что «мы грабить не хотим, а желаем получить по согласию» и т. д. В этих успокоительных заверениях уху лейтенанта, однако, слышалась «скрытая угроза». И действительно, если крестьянство в первый период и не прибегало еще к насилиям, то по отношению к так называемым интеллигентным силам «оно сразу стало проявлять свое неуважение». Полувыжидательное настроение продолжалось, по словам белогвардейца, до мая-июня, «после чего стал заметен резкий поворот, появилась тенденция спорить с губернскими установлениями, вершить дела по своему усмотрению»... Другими словами, крестьянство пре-

доставило Февральской революции приблизительно трехмесячную отсрочку по эсеровским векселям, после чего начало прибегать к самостоятельным взысканиям.

Примкнувший к большевикам солдат Чиненов дважды ездил из Москвы к себе в Орловскую губернию после переворота. В мае в волости господствовали эсеры. Мужики во многих местах еще платили помещикам арендную плату. Чиненов организовал большевистскую ячейку из солдат, батраков и малоземельных. Ячейка проповедывала прекращение уплаты аренды и наделение землей безземельных. Немедленно же взяли на учет помещичьи луга, поделили между деревнями и скосили. «Эсеры, сидевшие в волостном комитете, кричали о незаконности наших действий, но от своей доли сена не отказывались». Так как сельские представители из страха ответственности слагали с себя обязанности, то крестьяне выбирали новых, более решительных. Это далеко не всегда были большевики. Своим непосредственным напором крестьяне вносили расчленение в эсеровскую партию, отделяя революционно-настроенные элементы от чиновников и карьеристов. Скосив барское сено, мужики взялись за пар и стали делить землю под озимое. Большевистская ячейка решила осмотреть помещичьи амбары и отправить хлебные запасы в голодающий центр. Постановления ячейки выполнялись, потому что совпадали с настроениями крестьян. Чиненов привозил с собой на родину большевистскую литературу, о которой там до него не имели представления. «Местная интеллигенция и эсеры распространяли слух, что я привожу с собою очень много германского золота и подкупаю крестьян». Одни и те же процессы развертываются в разных масштабах. В волости были свои Милюковы, свои Керенские и — свои Ленины.

В Смоленской губернии влияние эсеров стало крепнуть после губернского съезда крестьянских депутатов, высказавшегося, как полагается, за переход земли в руки народа. Крестьяне это решение приняли целиком, но в отличие от руководителей, всерьез. От-

ныне число эсеров в деревнях растет непрерывно. «Кто побывал хоть на каком-либо съезде во фракции эсеров, — рассказывает один из местных работников, — тот считал себя или эсером, или чем-то вроде этого»... В уездном городе стояло два полка, которые тоже находились под влиянием эсеров. Волостные земельные комитеты начинали запахивать помещичьи земли, косить луга. Губернский комиссар, эсер Ефимов, слал грозные приказы. Деревня недоумевала: ведь тот же самый комиссар говорил на губернском съезде, что крестьяне теперь сами власть, и что пользоваться землей может лишь тот, кто обрабатывает ее. Но приходилось считаться с фактами. Распоряжением эсеровского комиссара Ефимова в одном лишь Ельнинском уезде шестнадцать волостных земельных комитетов из семнадцати были в течение ближайших месяцев отданы под суд за захват помещичьих земель. Так своеобразно близился к развязке роман народнической интеллигенции с народом. Большевиков на весь уезд было три-четыре человека, не больше. Влияние их, однако, быстро росло, оттесняя или раскалывая эсеров.

В начале мая созван был в Петрограде всероссийский съезд. Представительство имело верхушечный и часто случайный характер. Если рабочие и солдатские съезды неизменно отставали от хода событий и от политической эволюции масс, то незачем и говорить, как далеко представительство распыленного крестьянства отстояло от действительных настроений русских деревень. В качестве делегатов выступали, с одной стороны, народнические интеллигенты самого правого крыла, люди, связанные с крестьянством, главным образом, через торговую кооперацию или через воспоминания молодости. Подлинный «народ» был представлен наиболее зажиточными верхами деревни, кулаками, лавочниками, крестьянами-кооператорами. Эсеры господствовали на этом съезде безраздельно, притом в лице своего крайнего правого крыла. Временами, однако, и они останавливались в

испуге перед разившим от иных депутатов сочетанием земельной жадности и политического черносотенства. Пред лицом помещичьего землевладения у этого съезда сложилась общая позиция, крайне радикальная: «переход всех земель в общее народное достояние, для уравнительного трудового пользования, без всякого выкупа». Конечно, кулаки понимали уравнительность только в смысле своего равенства с помещиками, но никак не в смысле своего равенства с батраками. Однако, этому маленькому недоразумению между фиктивным народническим социализмом и аграрным мужицким демократизмом предстояло еще только вскрыться в дальнейшем.

Министр земледелия Чернов, горевший желанием преподнести пасхальное яичко крестьянскому съезду, тщетно носился с проектом декрета о запрещении земельных сделок. Министр юстиции Переверзев, тоже числившийся чем-то вроде социалиста-революционера, как раз в дни съезда распорядился, чтобы на местах не чинили земельным сделкам никаких препятствий. Крестьянские депутаты по этому поводу пошумели. Но дело не сдвинулось ни на шаг. Временное правительство князя Львова не соглашалось налагать руку на помещичьи земли. Социалисты не хотели налагать руку на Временное правительство. А состав съезда меньше всего был способен найти выход из противоречия между своим апетитом к земле и своей реакционностью.

20 мая на крестьянском съезде выступал Ленин. «Казалось бы, — говорит Суханов, — Ленин попал в стан крокодилов. Однако, мужички слушали внимательно и, вероятно, не без сочувствия. только не смели обнаружить». То же повторилось и в солдатской секции, крайне враждебной к большевикам. Вслед за эсерами и меньшевиками Суханов пытается ленинской тактике в земельном вопросе придать анархическую окраску. Это не так уж далеко от князя Львова, который покушения на помещичьи права склонен был считать анархическими действиями. По этой логике

революция в целом равносильна анархии. На самом деле ленинская постановка вопроса была много глубже, чем предоставлялось его критикам. Органами земельной революции, в первую голову, ликвидации помещичьего землевладения, должны были стать советы крестьянских депутатов с подчинением им земельных комитетов. В глазах Ленина советы являлись органами завтрашней государственной власти, притом самой концентрированной, именно революционной диктатуры. Это, во всяком случае, далеко от анархизма, т. е. от теории и практики безвластия. «Мы высказываемся, — говорил Ленин 28 апреля, — за немедленный переход земли к крестьянам с максимальной организованностью. Мы абсолютно против анархических захватов». Почему мы не согласны ждать до Учредительного собрания? «Для нас важен революционный почин, — а закон должен быть его результатом. Если вы будете ждать, пока закон напишется, а сами не разовьете революционной энергии, то у вас не будет ни закона, ни земли». Разве эти простые слова не являются голосом всех революций?

После месяца заседаний крестьянский съезд выбрал, в качестве постоянного учреждения, Исполнительный комитет в составе двух сотен кряжистых сельских мелких буржуа и народников профессорского или торгашеского типа, прикрыв эту компанию сверху декоративными фигурами Брешковской, Чайковского, Веры Фигнер и Керенского. Председателем выбран был эсер Авксентьев, созданный для губернских банкетов, но не для крестьянской войны.

Отныне наиболее важные вопросы рассматривались на объединенных заседаниях двух Исполнительных комитетов: рабоче-солдатского и крестьянского. Это сочетание означало чрезвычайное укрепление правого крыла, непосредственно смыкавшегося с кадетами. Во всех случаях, где нужно было нажать на рабочих, обрушиться на большевиков, пригрозить «независимой кронштадской республике» бичами и скорпионами, двести рук или, вернее, двести кулаков крестьянского

Исполкома поднимались, как стена. Эти люди вполне согласны были с Милюковым насчет того, что с большевиками надо «покончить». Но насчет помещичьей земли у них были мужицкие, а не либеральные взгляды, и это противопоставляло их буржуазии и Временному правительству.

Не успел крестьянский съезд разъехаться, как посыпались жалобы на то, что его резолюции на местах принимаются всерьез и приводят к отобранию у помещиков земли и инвентаря. Решительно невозможно было вколотить в упрямые мужицкие черепа различие между словом и делом.

Эсеры испуганно ударили отбой. В начале июня на съезде своем в Москве они торжественно осудили всякие самочинные захваты земли: надо ждать Учредительного Собрания. Но эта резолюция оказалась бессильной не только приостановить, но и ослабить аграрное движение. Дело чрезвычайно осложнялось еще тем, что в самой эсеровской партии было немалое количество элементов, действительно готовых итти с мужиками против помещиков до конца, причем эти левые эсеры, не решавшиеся еще открыто порвать с партией, помогали мужикам обходить законы или по своему истолковывать их.

В Казанской губернии, где крестьянское движение приняло особенно бурный размах, левые эсеры самоопределились раньше, чем в других местах. Во главе их стоял Калегаев, будущий нарком земледелия в советском правительстве в период блока большевиков с левыми эсерами. С середины мая начинается в Казанской губернии систематическая передача земель в распоряжение волостных комитетов. Смелее всего эта мера проводится в Спасском уезде, где во главе крестьянских организаций стоял большевик. Губернские власти жалуются в центр на аграрную агитацию, которую ведут большевики, прибывшие из Кронштадта, причем благочестивая монахиня Тамара арестована ими будто-бы «за возражения».

Из Воронежской губернии комиссар докладывает

2 июня: «Случаи различных правонарушений и незакономерных действий в губернии с каждым днем учащаются, особенно на аграрной почве». Захваты земли в Пензенской губернии становятся настойчивее. Один из волостных земельных комитетов Калужской губернии отобрал у монастыря половину покоса; по жалобе настоятеля уездный земельный комитет постановил: отобрать покос целиком. Это не частый случай, когда высшая инстанция оказывается радикальнее низшей. Игуменья Мария из Пензенской губернии плачется на захват монастырских владений. «Местные власти бессильны». В Вятской губернии крестьяне наложили запрет на имение Скоропадских, семьи будущего украинского гетмана, и «до разрешения вопроса о земельной собственности» постановили: к лесу не прикасаться, а доходы по имению сдавать в казну. В ряде других мест земельные комитеты не только снизили арендную плату в пять-шесть раз, но и постановили вносить ее не помещикам, а в распоряжение комитетов, впредь до разрешения вопроса Учредительным Собранием. Это была не адвокатская, а мужицкая, т. е. серьезная постановка вопроса о непредрешении земельной реформы до Учредительного Собрания. В Саратовской губернии крестьяне, вчера еще только запрещавшие помещикам рубить лес, сегодня стали рубить его сами. Все чаще крестьяне захватывают церковные и монастырские земли, особенно там, где мало помещичьих. В Лифляндии батраки-латыши вместе с солдатами латышского батальона приступили к планомерному захвату баронских имений.

Из Витебской губернии лесопромышленники вопят о том, что мероприятия земельных комитетов разрушают лесопромышленность и препятствуют обслуживать нужды фронта. Не менее бескорыстные патриоты, помещики Полтавской губернии, скорбят о том, что аграрные беспорядки лишают их возможности доставлять продовольствие для армии. Наконец, съезд коннозаводчиков в Москве предупреждает, что крестьянские захваты грозят великими бедствиями отечествен-

ной коннице. Тем временем обер-прокурор Синода, тот самый, который называл членов святейшего учреждения «идиотами и мерзавцами», жаловался правительству на то, что в Казанской губернии крестьяне отбирают у монахов не только земли и скот, но и муку, необходимую для просфор. В Петроградской губернии, в двух шагах от столицы, крестьяне изгнали из имения арендатора и начали хозяйничать сами. Недремлющий князь Урусов 2 июня снова телеграфирует во все концы: «несмотря на ряд моих требований... и пр. и пр. Вновь прошу вас принять самые решительные меры». Князь забывал лишь указать, какие именно.

В то время, как по всей стране развертывалась гигантская работа корчевания наиболее глубоких корней средневековья и крепостничества, министр земледелия Чернов собирал в своих канцеляриях материалы для Учредительного Собрания. Он намеревался проводить реформу не иначе, как на основании точнейших данных земельной и всякой иной статистики и потому сладчайшим голосом убеждал крестьян подождать конца его упражнений. Это не помешало, впрочем, помещикам сбросить селянского министра с поста задолго до того, как он заполнил свои сакраментальные таблицы.

* * *

На основании архивов Временного правительства молодые исследователи подсчитали, что в марте аграрное движение проявилось с большой или меньшей силой только в 34 уездах, в апреле им захвачены уже 174 уезда, в мае — 236, в июне — 280, в июле — 325. Эти цифры, однако, не дают полного представления о действительном росте движения, так как в каждом уезде борьба принимает из месяца в месяц более широкий массовый и упорный характер.

В этот первый период, с марта по июль, крестьяне, в подавляющем большинстве своем, воздерживаются еще от прямых насилий над помещиками и от откры-

тых захватов земли. Яковлев, руководивший упомянутыми исследованиями, ныне народный комиссар земледелия Советского Союза, объясняет сравнительно мирную тактику крестьян их доверчивостью к буржуазии. Это объяснение надо признать несостоятельным. Правительство князя Львова никак не могло располагать крестьян к доверию, не говоря уже о постоянной подозрительности мужика по отношению к городу, власти, образованному обществу. Если крестьяне в первый период почти не прибегают еще к мерам открытого насилия, а стараются придать своим действиям форму легального или почти-легального нажима, то это объясняется как раз их недоверием к правительству при недостаточной уверенности в собственных силах. Крестьяне только раскачиваются, щупают почву, измеряют сопротивление врага и, нажимая на помещика по всем линиям, приговаривают: «мы грабить не хотим, мы хотим все сделать по хорошему». Они не присваивают себе собственность на луга, но косят на них сено. Они принудительно арендуют землю, устанавливая сами арендную плату, или столь же принудительно «покупают» землю по ими же назначенным ценам. Все эти легальные прикрытия, мало убедительные для помещика, как и либерального юриста, продиктованы на самом деле затаенным, но глубоким недоверием к правительству: добром не возьмешь, говорит про себя мужик, силой — опасно, нужно попробовать хитростью. Он предпочел бы экспроприировать помещика с его собственного согласия.

«Во все эти месяцы, — настаивает Яковлев, — преобладают совершенно своеобразные, в истории невиданные, способы «мирной» борьбы с помещиками, вытекающими из крестьянского доверия к буржуазии и к правительству буржуазии». Те способы, которые объявлены здесь невиданными в истории, являются на самом деле типичными, неизбежными, исторически общеобязательными для начальной стадии крестьянской войны под всеми меридианами. Стремление прикрыть свои первые мятежные шаги законностью, цер-

ковной или светской, искони характеризовало борьбу всякого революционного класса, прежде чем он набирался достаточно силы и самоуверенности, чтоб оборвать пуповину, связывавшую его со старым обществом. К крестьянству это относится в большой степени, чем ко всякому другому классу, ибо даже в лучшие свои периоды оно продвигается вперед в полупотьмах и глядит на городских друзей недоверчивыми глазами. У него для этого есть основания. Друзьями аграрного движения, при первых его шагах, являются агенты либеральной и радикальной буржуазии. Покровительствуя части крестьянских домогательств, эти друзья тревожатся, однако, за судьбу буржуазной собственности, и потому изо всех сил стремятся ввести крестьянское восстание в русло буржуазной легальности.

В том же направлении, задолго до революции, действуют и другие факторы. Из среды самого дворянства поднимаются проповедники примирения. Лев Толстой заглядывал в душу мужика глубже, чем кто бы то ни было. Его философия непротивления злу насилием была обобщением первых этапов мужицкой революции. Толстой мечтал о том, чтоб все произошло «без грабежа, по взаимному согласию». Под эту тактику он подводил религиозный фундамент, в виде очищенного христианства. Махатма Ганди выполняет ныне в Индии ту же миссию, только в более практической форме. Если от современности отойдем далеко назад, то без труда найдем те же якобы «невиданные в истории» явления в самых различных религиозных, национальных, философских и политических оболочках, начиная с библейских времен и ранее того.

Своеобразие крестьянского восстания 1917 года выражалось разве лишь в том, что, в качестве агентов буржуазной законности, выступали люди, именовавшие себя социалистами, да еще революционерами. Но не они определяли характер крестьянского движения и его ритм. Крестьяне шли за эсерами постольку, поскольку брали у них готовые формулы для расправы

с помещиками. В то же время эсеры служили для них юридическим прикрытием. Это ведь была партия Керенского, министра юстиции, потом военного министра, и Чернова, министра земледелия. Замедление в издании необходимых декретов уездные и волостные эсеры объясняли сопротивлением помещиков и либералов, и заверяли крестьян, что «наши» в правительстве стараются во-всю. Против этого мужик, конечно, ничего не мог возразить. Но, отнюдь не страдая блаженной доверчивостью, он считал нужным помочь «нашим» снизу, и делал это так основательно, что у «наших» наверху скоро начали потрескивать все суставы.

Слабость большевиков в отношении крестьянства была временной и вызывалась тем, что большевики не разделяли крестьянских иллюзий. Притти к большевизму деревня могла лишь через опыт и разочарования. Сила большевиков состояла в том, что в аграрном вопросе, как и в других, они были свободны от расхождения между словом и делом.

Общие социологические соображения не могли позволить априорно решить, способно ли еще крестьянство, как целое, подняться против помещиков. Усиление капиталистических тенденций в сельском хозяйстве в период между двумя революциями; выделение из первобытной общины крепкого слоя фермеров; чрезвычайный рост сельской кооперации, руководимой зажиточными и богатыми крестьянами, — все это не позволяло сказать заранее с уверенностью, какая из двух тенденций перевесит в революции: сословно-земельный антагонизм между крестьянством и дворянством, или же классовый антагонизм внутри самого крестьянства.

Ленин по приезде занял очень осторожную позицию в этом вопросе. «Аграрное движение, — говорил он 14 апреля, — только предвиденье, но не факт... Надо быть готовым, что крестьянство может соединиться с буржуазией». Это не была случайно оброненная мысль. Наоборот, Ленин настойчиво повторяет ее по разным поводам. На партийной конференции

он говорит 24 апреля, выступая против «старых большевиков», обвинявших его в недооценке крестьянства: «Непозволительно пролетарской партии возлагать теперь надежды на общность интересов с крестьянством. Мы боремся за то, чтобы крестьянство перешло на нашу сторону, но оно стоит, до известной степени сознательно, на стороне капиталистов». Это показывает, между прочим, как далек был Ленин от приписанной ему позже эпигонами теории вечной гармонии интересов пролетариата и крестьянства. Допуская возможность того, что крестьянство, как сословие, выступит еще в качестве революционного фактора, Ленин готовился, однако, в апреле к худшему варьянту, именно к устойчивому блоку помещиков, буржуазии и широких слоев крестьянства. «Привлекать мужика сейчас, — говорил он, — значит сдаться на милость Милюкова». Отсюда вывод: «перенести центр тяжести на советы батрацких депутатов».

Но осуществился лучший варьянт. Аграрное движение из предвиденья становилось фактом, обнаруживая, на короткий момент, но зато с чрезвычайной силой, перевес сословно-крестьянских связей над капиталистическими антагонизмами. Советы батрацких депутатов приобрели значение лишь в немногих местах, главным образом, в Прибалтике. Зато земельные комитеты становились органами всего крестьянства, которое своим тяжеловесным напором превращало их из примирительных камер в орудия аграрной революции.

Тот факт, что крестьянство в целом получило возможность еще раз, последний в своей истории, выступить в качестве революционного фактора, свидетельствует одновременно, как о слабости капиталистических отношений в деревне, так и об их силе. Буржуазная экономика далеко не успела еще рассосать средневековоо-кабальные земельные отношения. В то же время капиталистическое развитие зашло так далеко, что сделало старые формы земельной собственности одинаково невыносимыми для всех слоев деревни. Переплет помещичьих владений и крестьян-

ских, нередко сознательно подстроенный так, чтоб превратить помещичьи права в капкан для всей общины; ужасающая деревенская чрезполосица; наконец, новейший антагонизм между земельной общиной и индивидуалистами-хуторянами, — все это в совокупности создавало невыносимую путаницу земельных отношений, из которой нельзя было вырваться путем частичных законодательных мер. И крестьяне это чувствовали лучше всяких аграрных теоретиков. Опыт жизни, изменяясь в ряде поколений, приводил их все к тому же выводу: надо похерить унаследованные и приобретенные права на землю, опрокинуть все межевые знаки, и эту очищенную от исторических наслоений землю передать тем, кто ее обрабатывает. Таков был смысл мужицких афоризмов: земля ничья, земля божья, — и в этом же духе крестьянство истолковывало эсеровскую программу социализации земли. Вопреки народническим теория, здесь не было и грана социализма. Самая смелая аграрная революция не выходила еще, сама по себе, за пределы буржуазного режима. Социализация, которая должна была будто бы обеспечить каждому трудящемуся «право на землю», представляла собою, при сохранении неограниченных рыночных отношений, явную утопию. Меньшевизм критиковал эту утопию под либерально-буржуазным углом зрения. Большевизм, наоборот, вскрывал ту прогрессивную демократическую тенденцию, которая в теории эсеров находила свое утопическое выражение. Вскрытие подлинного исторического смысла русской аграрной проблемы составило одну из величайших заслуг Ленина.

Милюков писал, что для него, как «социолога и исследователя русской исторической эволюции», т. е человека, обозревающего с больших высот, «Ленин и Троцкий возглавляют движение гораздо более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотникову, — 18-му и 17-му векам нашей истории, — чем к последним словам европейского анархо-синдикализма». Та доля истины, которая заключается в этом утверждении ли-

берального социолога, — если оставить в стороне неизвестно зачем притянутый «анархо-синдикализм», — направляется не против большевиков, а скорее уж против русской буржуазии, ее запоздалости и ее политического ничтожества. Не большевики виноваты в том, что грандиозные крестьянские движения прошлых веков не привели к демократизации общественных отношений России, — без руководства городов это было неосуществимо! — как не большевики виноваты и в том, что так называемое освобождение крестьян в 1861 году произведено было путем обворовывания общинных земель, закабаления крестьян государству и полного сохранения сословного строя. Верно одно: большевикам пришлось в первой четверти XX-го века доделывать то, что не было доделано или вовсе не было сделано в XVII, XVIII и XIX веках. Прежде, чем приступить к своей собственной большой задаче, большевики оказались вынуждены очищать почву от исторического навоза старых господствующих классов и старых веков, причем эту привходящую задачу большевики во всяком случае выполнили очень добросовестно. Это вряд ли и Милюков решится теперь отрицать.

СДВИГИ В МАССАХ

На четвертом месяце существования февральский режим уже задыхался в собственных противоречиях. Июнь начался всероссийским съездом советов, который имел своей задачей создать политическое прикрытие для наступления на фронте. Начало наступления совпало в Петрограде с грандиозной демонстрацией рабочих и солдат, которую организовали соглашатели против большевиков, но которая превратилась в большевистскую демонстрацию против соглашателей. Растущее возмущение масс привело через две недели к новой демонстрации, которая разразилась без призывов сверху, привела к кровавым столкновениям и вошла в историю под именем «июльских дней». Проходя как раз посредине между Февральской революцией и Октябрьской, июльское полувосстание замыкает первую и является как бы генеральной репетицией второй. У порога «июльских дней» мы закончим эту книгу. Но прежде, чем перейти к событиям, ареной которых в июне был Петроград, необходимо присмотреться к тем процессам, которые происходили в массах.

Одному либералу, который утверждал в начале мая, что чем больше левеет правительство, тем больше правеет страна, — Ленин возразил: ««страна» рабочих и беднейших крестьян, уверяю вас, гражданин, раз в 1 000 левее Черновых и Церетелли и раз в 100 левее нас. Поживете — увидите». Ленин считал, что рабочие и крестьяне «раз в сто» левее большевиков. Это могло казаться по меньшей мере необоснованным: ведь рабочие и солдаты еще поддерживали соглашателей и в большинстве своем остерегались большевиков. Но Ленин копал глубже. Социальные интересы масс, их ненависть и их надежды только еще искали своего

выражения. Соглашательство было для них первым этапом. Массы были неизмеримо левее Черновых и Церетелли, но еще сами не сознавали своего радикализма. Ленин был прав и в том, что массы левее большевиков, ибо партия, в подавляющем большинстве своем, еще не отдавала себе отчета в могуществе революционных страстей, которые клокотали в недрах пробудившегося народа. Возмущение масс питалось затягиванием войны, хозяйственной разрухой и злостной бездеятельностью правительства.

Необъятная европейско-азиатская равнина стала страной только благодаря железным дорогам. Война тяжелее всего била по ним. Транспорт все более расстраивался. Число больных паровозов доходило на некоторых дорогах до 50%. В Ставке читались учеными инженерами доклады о том, что не позже, как через полгода железнодорожный транспорт окажется в состоянии полного паралича. В этих рассчетах было не мало сознательного сеяния паники. Но развал транспорта принял действительно грозные размеры, создавал по дорогам заторы, усиливал расстройство товарообмена и питал дороговизну.

Продовольственное положение городов становилось все более тяжким. Аграрное движение успело создать свои очаги в 43-х губерниях. Поток хлеба в армию и города угрожающе сокращался. В наиболее плодородных районах страны имелись еще, правда, десятки и сотни миллионов пудов избыточного хлеба. Но закупочные операции по твердым ценам давали крайне недостаточные результаты; да и заготовленный хлеб трудно было доставить в центры из-за расстройства транспорта. С осени 1916 г. на фронт доставлялось в среднем около половины положенных продовольственных грузов. На долю Петрограда, Москвы и других промышленных центров приходилось не более 10% того, что было необходимо. Запасов почти не было. Жизненный уровень городских масс колебался между недоеданием и голодом. Пришествие коалиционного правительства ознаменовалось демократическим запре-

щением выпекать белый хлеб. Отныне пройдет несколько лет, прежде чем «французская булка» снова появится в столице. Не хватало масла. В июне потребление сахара было ограничено определенными нормами для всей страны.

Механизм рынка, сломленный войной, не был заменен тем государственным регулированием, к которому оказались вынуждены прибегнуть передовые капиталистичские государства, и которое только и позволило Германии продержаться в течение четырех лет войны.

Грозные симптомы экономического развала обнаруживались на каждом шагу. Упадок производительности заводов вызывался, помимо расстройства транспорта, изношенностью оборудованья, недостатком сырья и вспомогательных материалов, текучестью людского состава, неправильным финансированием, наконец, всеобщей неуверенностью. Главнейшие предприятия по прежнему работали на войну. Заказы были распределены на два-три года вперед. Между тем рабочие не хотели верить, что война будет продолжаться. Газеты сообщали умопомрачающие цифры военных прибылей. Жизнь дорожала. Рабочие ждали перемен. Технический и административный персонал заводов объединился в союзы и выдвигал свои требования. В этой среде господствовали меньшевики и эсеры. Режим заводов разлаживался. Все скрепы ослабевали. Перспективы войны и хозяйства становились туманными, права собственности ненадежными, прибыли снижались, опасности возрастали, хозяева теряли вкус к производству в условиях революции. Буржуазия в целом становилась на путь экономического поражечества. Временные потери и убытки от хозяйственного паралича были в ее глазах накладными расходами борьбы с революцией, угрожавшей основам «культуры». В то же время благомыслящая пресса изо дня в день обвиняла рабочих в том, что они злонамеренно саботируют промышленность, расхищают

материалы, бессмысленно жгут топливо, чтобы вызвать простои. Лживость обвинений переходила всякие границы. А так как это была печать партии, которая фактически стояла во главе коалиционной власти, то возмущение рабочих естественно переносилось на Временное правительство.

Промышленники не забыли опыта революции 1905 года, когда правильно организованный локаут, при активной поддержке правительства, не только сорвал борьбу рабочих за 8-часовой рабочий день, но и оказал монархии неоценимую услугу в деле разгрома революции. Вопрос о локауте был и на этот раз поставлен на обсуждение в Совете съездов промышленности и торговли, — так невинно именовался боевой орган трестированного и синдицированного капитала. Один из руководителей промышленности, инженер Ауэрбах, объяснил позже в своих мемуарах, почему идея локаута была отвергнута: «Это имело бы вид удара в тыл армии... Последствия такого шага, при отсутствии поддержки правительства, большинству рисовались весьма мрачными». Вся беда была в отсутствии «настоящей» власти. Временное правительство было парализовано советами; разумные вожди советов были парализованы массами; рабочие на заводах были вооружены; кроме того, почти у каждого завода был по соседству дружественный полк или батальон. При этих условиях локаут показался господам промышленникам «одиозным в национальном отношении». Но они вовсе не отказались от наступления, а лишь приспособили его к обстоятельствам, придав ему не единовременный, а ползучий характер. По дипломатическому выражению Ауэрбаха, промышленники «в конце концов пришли к выводу, что предметный урок будет дан самой жизнью: путем неизбежного, постепенного закрытия фабрик, так сказать, поодиночке, — что вскоре действительно и стало наблюдаться». Другими словами, отвергнув демонстративный локаут, как связанный «с огромной ответственностью», Совет объединенной промышленности поре-

комендовал своим членам закрывать предприятия поодиночке, подыскивая благовидные предлоги.

План ползучего локаута проводился с замечательной систематичностью. Вожди капитала, как кадет Кутлер, бывший министр в кабинете Витте, читали внушительные доклады о разрушении промышленности, причем вину возлагали не на три года войны, а на три месяца революции. «Пройдет две-три недели, — предрекала нетерпеливая «Речь», — и фабрики и заводы начнут закрываться один за другим». В форму предсказанья здесь облечена угроза. Инженеры, профессора, журналисты, открыли в специальной и общей печати кампанию, в которой обуздание рабочих выставлялось, как основное условие спасенья. Министр-промышленник Коновалов заявил 17 мая, накануне своего демонстративного выхода из правительства: «Если в ближайшее время не произойдет отрезвления отуманенных голов... то мы будем свидетелями приостановки десятков и сотен предприятий».

В середине июня съезд торговли и промышленности требует от Временного правительства «радикального разрыва с системой развития революции». Мы уже слышали это требование со стороны генералов: «приостановите революцию». Но промышленники уточняют вопрос: «Источник зла не только в большевиках, но и в социалистических партиях. Спасти Россию может только твердая, железная рука».

Подготовив политическую обстановку, промышленники от слов перешли к делу. В течение марта и апреля закрыто было 129 мелких предприятий с 9000 рабочих; в течение мая — 108 предприятий с таким же числом рабочих; в июне закрывается уже 125 предприятий с 38 000 рабочих; в июле 206 предприятий выбрасывают на улицы 48 000 рабочих. Локаут развертывается в геометрической прогрессии. Но это только начало. Текстильная Москва тронулась за Петроградом, провинция — за Москвой Предприниматели ссылались на отсутствие топлива, сырья, вспомогательных материалов, кредитов. Заводские коми-

теты вмешивались в дело и во многих случаях с совершенной неоспоримостью устанавливали злонамеренное расстройство производства, с целью нажима на рабочих или вымогательства субсидий у государства. Особенно нагло вели себя иностранные капиталисты, действовавшие через посредство своих посольств. В некоторых случаях саботаж был так очевиден, что, в результате разоблачений заводских комитетов, промышленники оказывались вынужденными вновь открывать заводы. Так, обнажая одно социальное противоречие за другим, революция скоро добралась до главнейшего из них: между общественным характером производства и частной собственностью на его орудия и средства. В интересах победы над рабочими предприниматель закрывает завод, как еслиб дело шло об его табакерке, а не о предприятии, необходимом для жизни всей нации.

Банки, успешно бойкотировавшие заем свободы, заняли боевую позицию против фискальных покушений на крупный капитал. В письме на имя министра финансов банкиры «предсказывали» отлив капиталов заграницу и перемещение бумаг в сейфы в случае радикальных финансовых реформ. Другими словами, банковские патриоты угрожали финансовым локаутом, в дополнение к промышленному. Правительство поспешило спасовать: ведь организаторы саботажа были солидные люди, которым приходилось из-за войны и революции рисковать капиталами, а не какие-нибудь кронштадтские матросы, которые не рисковали ничем, кроме собственной головы.

Исполнительный комитет не мог не понимать, что ответственность за экономические судьбы страны, особенно после открытого приобщения социалистов к власти, ляжет в глазах масс на правящее советское большинство. Экономический отдел Исполнительного комитета разработал широкую программу государственного регулированья хозяйственной жизни. Под давлением угрожающей обстановки предложения очень умеренных экономистов оказались гораздо радикаль-

нее их авторов. «Для многих отраслей промышленности — гласила программа — назрело время для торговой государственной монополии (хлеб, мясо, соль, кожа); для других — условия созрели для образования регулируемых государством трестов (уголь, нефть, металл, сахар, бумага) и, наконец, почти для всех отраслей промышленности современные условия требуют регулирующего участия государства в распределении сырья и вырабатывании продуктов, а также фиксации цен... Одновременно с этим следует поставить под контроль... все кредитные учреждения».

16 мая Исполнительный комитет, при растерянности политических вождей, принял предложения своих экономистов почти без прений и скрепил их своеобразным предупреждением по адресу правительства: оно должно взять на себя «задачу планомерной организации народного хозяйства и труда», памятуя, что вследствие невыполнения этой задачи «пал старый режим и должно было преобразоваться Временное правительство». Чтоб набраться храбрости, соглашатели пугали самих себя.

«Программа великолепна, — писал Ленин, — и контроль, и огосударствление трестов, и борьба со спекуляцией, и трудовая повинность... Программу «ужасного» большевизма приходится признать, ибо иной программы и выхода из действительно грозящего ужасного краха быть не может...» Весь вопрос, однако, в том, кто будет выполнять эту великолепную програму? Неужели коалиция? Ответ был дан немедленно. Через день после принятия Исполнительным комитетом экономической программы вышел в отставку, хлопнув дверью, министр торговли и промышленности Коновалов. Его временно замещал инженер Пальчинский, не менее верный, но более энергичный представитель крупного капитала. Министры-социалисты не смели даже серьезно предложить программу Исполнительного комитета своим либеральным коллегам. Ведь Чернов тщетно пытался провести через правительство запрещение земельных сделок!

В ответ на растущие затруднения правительство выдвинуло, с своей стороны, программу разгрузки Петрограда, т. е. перевода заводов и фабрик в глубину страны. Программа мотивировалась, как военными соображениями — опасностью захвата столицы немцами, — так и экономическими: Петроград слишком далек от источников топлива и сырья. Разгрузка означала бы ликвидацию петроградской промышленности на ряд месяцев и лет. Политическая цель состояла в том, чтоб разметать по всей стране авангард рабочего класса. Параллельно с этим военные власти выдвигали один предлог за другим для вывода из Петрограда революционных воинских частей.

Пальчинский изо всех сил старался убедить рабочую секцию Совета в преимуществах разгрузки Против рабочих осуществить эту задачу было невозможно, а рабочие не соглашались. Разгрузка также мало подвигалась вперед, как и регулирование промышленности. Разруха углублялась, цены росли, тихий локаут ширился, и вместе с ним безработица. Правительство топталось на месте. Милюков писал позже: «Министерство просто плыло по течению, а течение вело в большевистское русло». Да, течение вело в большевистское русло.

* * *

Пролетариат был главной движущей силой революции. В то же время революция формировала пролетариат. А он в этом очень нуждался.

Пред нами прошла решающая роль петроградских рабочих в февральские дни. Наиболее боевые позиции занимали большевики. После переворота они, однако, сразу отодвигаются куда-то на задний план. Политическую авансцену занимают соглашательские партии. Они передают власть либеральной буржуазии. Знаменем блока является патриотизм. Его натиск так силен, что руководство большевистской партии, по

крайней мере, на половину, капитулирует перед ним. С приездом Ленина курс партии круто меняется, и вместе с тем влияние ее быстро растет. В вооруженной апрельской демонстрации передовые отряды рабочих и солдат уже пытаются разорвать цепи соглашательства. Но после первого усилия отступают назад. Соглашатели остаются у руля.

Позже, после октябрьского переворота, не мало было написано на ту тему, что большевики обязаны своей победой крестьянской армии, уставшей от войны. Это очень поверхностное объяснение. Противоположное утверждение будет ближе к истине: если соглашатели получили в Февральской революции господствующее положение, то прежде всего благодаря исключительному месту, какое крестьянская армия занимала в жизни страны. Еслиб революция развернулась в мирное время, руководящая роль пролетариата получила бы с самого начала гораздо более ярко выраженный характер. Без войны революционная победа пришла бы позже и, если не считать жертв войны, была бы оплачена более дорогой ценой. Но она не оставила бы места для разлива соглашательских и патриотических настроений. Во всяком случае русские марксисты, предрекавшие, задолго до событий, завоевание власти пролетариатом в ходе буржуазной революции, исходили не из временных настроений крестьянской армии, а из классовой структуры русского общества. Это предвиденье подтвердилось целиком. Но основное соотношение классов преломилось через войну и временно сдвинулось под давлением армии, т. е. организации деклассированных и вооруженных крестьян. Именно эта искусственная социальная формация чрезвычайно укрепила позиции мелко-буржуазного соглашательства и создала для него возможность восьмимесячных экспериментов, ослаблявших страну и революцию.

Однако, вопрос о корнях соглашательства не исчерпывается крестьянской армией. В самом пролетариате, в его составе, в его политическом уровне надо

искать дополнительных причин временного засилия меньшевиков и эсеров. Война внесла огромные изменения в состав и в настроения рабочего класса. Если предшествовавшие годы были временем нарастания революционного прибоя, то война сразу оборвала этот процесс. Мобилизация была задумана и проведена не только под военным, но, прежде всего, под полицейским углом зрения. Правительство поспешило очистить промышленные районы от наиболее активного и беспокойного слоя рабочих. Можно считать установленным, что мобилизация первых месяцев войны вырвала из промышленности до 40% рабочих, главным образом, квалифицированных. Их отсутствие, очень болезненно обнаруживавшееся на ходе производства, вызывало тем более горячие протесты промышленников, чем более высокие прибыли приносила военная промышленность. Дальнейшее разрушение рабочих кадров было приостановлено. Нужные промышленности рабочие оставались в качестве военнообязанных. Бреши, пробитые мобилизацией, заполнялись выходцами из деревни, мелким городским людом, малоквалифицированными рабочими, женщинами, подростками. Процент женщин в промышленности повысился с 32 до 40.

Процесс обновления и разжижения пролетариата получил исключительные размеры именно в столице. За годы войны, с 1914 по 1917, число рабочих крупных предприятий, занимающих свыше 500 рабочих, возросло в Петроградской губернии почти вдвое. Вследствие ликвидации заводов и фабрик в Польше и особенно в Прибалтике, главным же образом вследствие общего роста военной промышленности, в Петрограде к 1917 году сосредоточилось около 400 000 рабочих на фабриках и заводах. Из них 335 000 приходилось на 140 заводов-гигантов. Наиболее боевые элементы петроградского пролетариата сыграли на фронте не малую роль в оформлении революционных настроений армии. Но заменившие их вчерашние выходцы из деревни, нередко зажиточные крестьяне и

лавочники, укрывавшиеся на заводах от фронта, женщины и подростки, были гораздо покорнее, чем кадровые рабочие. К этому надо прибавить, что квалифицированные рабочие, попав на положение военнообязанных, — а таких насчитывалось сотни тысяч, — соблюдали чрезвычайную осторожность из опасения быть выброшенными на фронт. Такова социальная база патриотических настроений, захватывавших часть рабочих еще при царе.

Но в этом патриотизме не было устойчивости. Нещадный военно-полицейский зажим, удвоенная эксплоатация, поражения на фронте и хозяйственная разруха, толкали рабочих на борьбу. Стачки во время войны имели, однако, преимущественно экономический характер и отличались гораздо более умеренным характером, чем до войны. Ослабление класса усугублялось ослаблением его партии. После ареста и ссылки депутатов-большевиков, произведен был, при помощи заранее подготовленной иерархии провокаторов, генеральный разгром большевистских организаций, от которого партия не могла оправиться до февральского переворота. В течение 1915 и 16-го годов разжиженному рабочему классу пришлось проходить элементарную школу борьбы, прежде чем в феврале 17 года частичные экономические стачки и демонстрации голодающих женщин могли слиться во всеобщую стачку и вовлечь армию в восстание.

В Февральскую революцию петроградский пролетариат вошел, таким образом, не только с крайне разнородным, еще не успевшим амальгамироваться составом, но и с пониженным политическим уровнем даже наиболее передовых своих слоев. В провинции дело обстояло еще хуже. Только этот вызванный войной рецидив политической неграмотности и полуграмотности пролетариата создал второе условие для временного господства соглашательских партий.

Революция учит, и притом быстро. В этом ее сила. Каждая неделя приносила массам нечто новое. Каждые два месяца создавали эпоху. В конце февраля

— восстание. К концу апреля — выступление вооруженных рабочих и солдат в Петрограде. В начале июля новое выступление, в гораздо более широком масштабе и под более решительными лозунгами. В конце августа — корниловская попытка переворота, отбитая массами. В конце октября — завоевывание власти большевиками. Под этим поражающим своей правильностью ритмом событий происходили глубокие молекулярные процессы, сплачивавшие разнородные части рабочего класса в одно политическое целое. Решающую роль при этом играла опять-таки стачка.

Напуганные громом революции, ударившим среди вакханалии военных барышей, промышленники в первые недели шли на уступки рабочим. Петроградские заводчики согласились даже, с оговорками и урезками, на 8-часовой рабочий день. Но это не вносило успокоения, так как уровень жизни непрерывно снижался. В мае Исполнительный комитет принужден был констатировать, что, при растущей дороговизне, положение рабочих «граничит для многих категорий с хроническим голоданием». Настроение в рабочих кварталах становилось все более нервным и напряженным. Больше всего угнетало отсутствие перспективы. Массы способны выносить тягчайшие лишения, когда понимают, во имя чего. Но новый режим все более раскрывался перед ними, как маскировка старых отношений, против которых они восстали в феврале. Этого они терпеть не хотели.

Стачки принимают особенно бурный характер среди наиболее отсталых и эксплоатируемых рабочих слоев. Прачки, красильщики, бондари, торгово-промышленные служащие, строительные рабочие, бронзовщики, маляры, чернорабочие, сапожники, картонажники, колбасники, мебельщики бастуют, слой за слоем, в течение всего июня. Металлисты же начинают, наоборот, играть сдерживающую роль. Передовым рабочим становилось все яснее, что частные экономические стачки в условиях войны, разрухи и инфляции не могут внести серьезного улучшения, что нужны какие-то изменения

самых основ. Локаут не только делал рабочих восприимчивыми к требованию контроля над промышленностью, но и наталкивал их на мысль о необходимости взятия заводов в руки государства. Этот вывод представлялся тем более естественным, что большинство частных заводов работало на войну, и что рядом с ними имелись государственные предприятия того же типа. Уже летом 1917 года начинают появляться в столице из разных концов России делегации от рабочих и служащих с ходатайствами о взятии заводов в казну, так как акционеры прекратили отпуск денег. Но правительство и слышать об этом не хотело. Надо было, следовательно, сменить правительство. Соглашатели противодействовали этому. Рабочие поворачивали фронт против соглашателей.

Путиловский завод, со своими 40 000 рабочих, казался в первые месяцы революции крепостью эсеров. Но гарнизон ее не долго защищался от большевиков. Во главе наступающих чаще всего можно было видеть Володарского. В прошлом портной, еврей, проведший ряд лет в Америке и хорошо овладевший английским языком, Володарский был прекрасным массовым оратором, логичным, находчивым и дерзким. Американские интонации придавали своеобразную выразительность его звонкому голосу, отчетливо звучащему на многотысячных собраниях. «С момента его появления в Нарвском районе, — рассказывает рабочий Миничев, — на Путиловском заводе почва под ногами господ эсеров начала колебаться, и в течение каких-нибудь двух месяцев путиловские рабочие пошли за большевиками».

Рост стачек и вообще классовой борьбы почти автоматически повышал влияние большевиков. Во всех случаях, где дело шло о жизненных интересах, рабочие убеждались, что у большевиков нет задних мыслей, что они ничего не скрывают, и что на них можно положиться. В часы конфликтов к большевикам тянулись все рабочие, беспартийные, эсеры, меньшевики. Этим объясняется тот факт, что фабрично-заводские

комитеты, ведшие борьбу за жизнь своих заводов с саботажем администрации и владельцев, перешли на сторону большевиков гораздо раньше, чем Совет. На конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда и его окрестностей, в начале июня, 335 голосов из 421 высказались за большевистскую резолюцию. Этот факт прошел совершенно незамеченным большой печатью. Между тем он означал, что в основных вопросах экономической жизни петроградский пролетариат, еще не успев порвать с соглашателями, фактически перешел на сторону большевиков.

На июньской конференции профессиональных союзов выяснилось, что в Петрограде свыше 50 союзов, обнимающих не менее 250 000 членов. Союз металлистов насчитывал около 100 000 рабочих. В течение одного месяца мая число его членов возросло вдвое. Влияние большевиков в союзах росло еще быстрее.

Все частичные перевыборы в советы приносили победу большевикам. К 1 июня в Московском совете было уже 206 большевиков против 172 меньшевиков и 110 эсеров. Те же сдвиги происходили и в провинции, только медленнее. Число членов партии непрерывно росло. В конце апреля петроградская организация насчитывала около 15 000 членов, к концу июня — свыше 32 000.

Рабочая секция Петроградского совета имела в это время уже большевистское большинство. Но на объединенных заседаниях обеих секций большевиков подавляли солдатские делегаты. «Правда» все настойчивее требовала общих перевыборов: «500 000 петроградских рабочих имеют в Совете раза четыре меньше делегатов, чем 150 000 петроградского гарнизона».

На июньском съезде советов Ленин требовал серьезных мер борьбы с локаутами, хищениями и организованным расстройством хозяйственной жизни со стороны промышленников и банкиров. «Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. Достаточно продержать их несколько недель, хотя бы на таких же льготных

условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть нити, обманные проделки, грязь, корысть, которые и при новом правительстве миллионов стоят нашей стране». Советским вождям предложение Ленина казалось чудовищным. «Разве можно при помощи насилия над отдельными капиталистами изменять законы экономической жизни?» То обстоятельство, что промышленники диктовали свои законы путем заговора против нации, почиталось в порядке вещей. Керенский, обрушившийся на Ленина громами негодования, не остановился через месяц перед тем, чтоб арестовать многие тысячи рабочих, которые расходились с промышленниками в понимании «законов экономической жизни».

Связь между экономикой и политикой обнажалась. Государство, привыкшее выступать в качестве мистического начала, орудовало теперь все чаще в своей примитивнейшей форме, т. е. в виде отрядов вооруженных людей. Рабочие в разных местах страны подвергали то насильственному приводу в Совет, то домашнему аресту своего предпринимателя, отказывавшегося итти на уступки или даже вступать в переговоры. Немудрено, если рабочая милиция стала предметом особой ненависти имущих классов.

Первоначальное решение Исполнительного комитета о вооружении 10% рабочих не выполнялось. Но рабочим все же удавалось частично вооружаться, причем в ряды милиции попадали наиболее активные элементы. Руководство рабочей милицией сосредоточивалось в руках завкомов, а руководство завкомами переходило все больше в руки большевиков. Рабочий московского завода «Поставщик» рассказывает: «1-го июня, как только был избран новый завком в большинстве из большевиков... был сформирован отряд до 80 человек, который, за неимением оружия, обучался палками под руководством старого солдата товарища Левакова».

Печать обвиняла милицию в насилиях, в реквизициях и в незаконных арестах. Несомненно, что ми-

лиция применяла насилие: именно для этого она и создавалась. Преступление ее состояло, однако, в том, что она прибегала к насилию по отношению к представителям того класса, который не привык быть объектом насилия и не хотел привыкать.

На Путиловском заводе, который играл ведущую роль в борьбе за повышение заработной платы, собралось 23 июня совещание с участием представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов, Центрального бюро профсоюзов и 73 заводов. Под влиянием большевиков, совещание признало, что стачка завода при данных условиях может повести за собой «неорганизованную политическую борьбу петроградских рабочих», а потому предложило путиловским рабочим «сдержать свое законное негодование» и готовить силы для общего выступления.

Накануне этого важного совещания фракция большевиков предупреждала Исполнительный комитет: «Сорокатысячная масса... может каждый день забастовать и выступить на улицу. Она уже выступила бы, еслиб ее не сдерживала наша партия, причем нет гарантии, что и впредь удастся ее удержать. А выступление путиловцев — в этом не может быть сомнения — неизбежно повлечет за собой выступление большинства рабочих и солдат».

Вожди Исполнительного комитета расценивали такие предупреждения, как демагогию, или попросту пропускали их мимо ушей, охраняя свое спокойствие. Сами они почти совсем перестали посещать заводы и казармы, так как успели стать одиозными фигурами в глазах рабочих и солдат. Одни большевики пользовались тем авторитетом, который позволял им удерживать рабочих и солдат от разрозненных действий. Но нетерпение масс направлялось иногда уже и против большевиков.

На заводах и во флоте появились анархисты. Как всегда пред лицом больших событий и больших масс, они обнаруживали свою органическую несостоятельность. Они тем легче отрицали государственную

власть, что совершенно не понимали значения советов, как органов нового государства. Впрочем, оглушенные революцией, они чаще всего просто отмалчивались по вопросу о государстве. Свою самостоятельность они проявляли, главным образом, в области мелкого вспышкопускательства. Экономический тупик и растущее ожесточение петроградских рабочих создавали для анархистов некоторые опорные позиции. Неспособные серьезно оценивать соотношение сил в общегосударственном объеме, готовые каждый толчок снизу рассматривать, как последний спасительный удар, они иногда обвиняли большевиков в нерешительности и даже соглашательстве. Но дальше ворчанья обыкновенно не шли. Отклик масс на выступления анархистов служил иногда для большевиков измерителем силы давления революционных паров.

* * *

Матросы, встречавшие Ленина на Финляндском вокзале, заявляли спустя две недели, под патриотическим натиском со всех сторон: «Если бы мы знали... какими путями он попал к нам, то вместо восторженных криков «ура», раздались бы наши негодующие возгласы: «долой, назад в ту страну, через которую ты к нам приехал»... Солдатские советы в Крыму, один за другим, угрожали вооруженной рукой воспрепятствовать проникновению Ленина на патриотический полуостров, куда он вовсе не собирался. Волынский полк, корифей 27 февраля, постановил даже сгоряча арестовать Ленина, так что Исполнительный комитет счел себя вынужденным принимать против этого свои меры. Такого рода настроения не рассеялись окончательно до июньского наступления, а рецидивы их ярко вспыхнули после июльских дней. В то же время в самых глухих гарнизонах и на отдаленных участках фронта солдаты все смелее говорили языком большевизма, чаще всего не догадываясь об этом. Большеви-

ки в полках насчитывались единицами, но большевистские лозунги проникали все глубже. Они как бы самопроизвольно зарождались во всех частях страны. Либеральные наблюдатели не видели во всем этом ничего, кроме невежества и хаоса. «Речь» писала: «Наша родина превращается положительно в какой-то сумасшедший дом, где действуют и командуют бесноватые, а люди, не потерявшие еще разума, испуганно отходят в сторону и жмутся к стенам». Точь в точь такими же словами изливали свою душу «умеренные» во всех революциях. Соглашательская печать утешала себя тем, что солдаты, несмотря на все недоразумения, знать не хотят никаких большевиков. Между тем, бессознательный большевизм массы, отражавший логику развития, составлял несокрушимую силу ленинской партии.

Солдат Пирейко рассказывает, что на фронтовых выборах на съезд советов прошли, после трехдневных прений, одни эсеры, но тут же, не взирая на протесты вождей, солдатские депутаты приняли резолюцию о необходимости отбирать землю у помещиков, не ожидая Учредительного собрания. «Вообще в вопросах, понятных для солдат, они настроены были левее самых крайних из крайних большевиков». Вот это и имел в виду Ленин, когда говорил, что массы «раз в сто левее нас».

Писарь мотоциклетной мастерской, где то в Таврической губернии, рассказывает, что нередко, после чтения буржуазной газеты, солдаты ругают каких-то неизвестных большевиков и тут же переходят к рассуждениям о необходимости прекращения войны, отнятия земли у помещиков и пр. Это те самые патриоты, которые клялись не пропустить Ленина в Крым.

Солдаты огромных тыловых гарнизонов томились. Большое скопление праздных людей, нетерпеливо ждущих перемены своей судьбы, создавало нервозность, которая выражалась и в постоянной готовности вынести на улицу свое недовольство, и в повальной езде в трамваях, и в эпидемическом грызении семячек. Сол-

дат с шинелью в накидку, с подсолнечной скорлупой на губах, стал самым ненавистным образом буржуазной печати. Тот, кому за время войны грубо льстили, называя не иначе, как героем, — что не мешало на фронте пороть героя розгами; тот, кого после февральского переворота возвеличили, как освободителя, стал внезапно шкурником, изменником, насильником и немецким наемником. Поистине не было той гнусности, которой патриотическая печать не приписала бы русским солдатам и матросам.

Исполнительный комитет только и делал, что оправдывался, боролся с анархией, тушил эксцессы, рассылал перепуганные запросы и нравоучения. Председатель Совета в Царицыне — этот город считался гнездом «анархобольшевизма», — на запрос центра о положении дел ответил лапидарной фразой: «чем больше левеет гарнизон, тем больше правеет обыватель». Царицынскую формулу можно распространить на всю страну. Солдат левеет, буржуа правеет.

Каждого солдата, который смелее других выражал то, что чувствовали все, так упорно бранили сверху большевиком, что он оказывался в конце концов вынужден этому поверить. От мира и земли солдатская мысль переходила к вопросу о власти. Отклики на разрозненные лозунги большевизма превращались в сознательную симпатию к большевистской партии. В Волынском полку, который в апреле собирался арестовать Ленина, настроение за два месяца успело переломиться в пользу большевиков. Точно также в Егерском и Литовском полках. Латышские стрелки были призваны к жизни самодержавием, чтобы использовать для войны ненависть парцельных крестьян и батраков против лифляндских баронов. Полки дрались прекрасно. Но дух классовой вражды, на который хотела опереться монархия, проложил себе свою собственную дорогу. Латышские стрелки одни из первых порвали с монархией, затем, — с соглашателями. Уже 17 мая представители 8 латышских полков почти единогласно присоединились к большевистскому лозунгу

«вся власть советам». В дальнейшем ходе революции им пришлось сыграть крупную роль.

Неизвестный солдат пишет с фронта: «Сегодня, 13 июня, у нас в команде было маленькое собрание и говорили про Ленина и Керенского, солдаты большей частью за Ленина, а офицеры говорят, что Ленин самый буржуй». После катастрофы наступления имя Керенского в армии стало совершенно ненавистным.

21 июня юнкера в Петергофе проходили по улицам со знаменами и плакатами «долой шпионов», «да здравствуют Керенский и Брусилов». Сами юнкера, конечно, стояли за Брусилова. Солдаты 4-го батальона напали на юнкеров и помяли их, рассеяв демонстрацию. Наибольшую ненависть вызвал плакат в честь Керенского.

Июньское наступление чрезвычайно ускорило политическую эволюцию армии. Популярность большевиков, единственной партии, заранее поднявшей голос против наступления, стала чрезвычайно быстро расти. Правда, большевистские газеты с трудом находили себе доступ в армию. Их тираж был крайне мал, по сравнению с тиражем либеральной и вообще патриотической печати. «...Даже нигде и одной газеты вашей не видать, — пишет корявая солдатская рука в Москву, — а только пользуемся слухом вашей газеты. Нас здесь засыпают бесплатными буржуазными газетами, носят их по фронту целыми пачками». Но именно патриотическая печать создавала большевикам ни с чем несравнимую популярность. Каждый случай протеста угнетенных, земельного захвата, расправы над ненавистным офицером газеты приписывали большевикам. Солдаты заключали, что большевики — справедливый народ.

Комиссар 12-й армии докладывал Керенскому в начале июля о настроении солдат: «Все в конечном итоге сваливается на буржуев-министров и Совет, продавшийся буржуям. А в общем, в огромной массе — непроглядная тьма; к сожалению, должен констатировать, что даже газеты в последнее время читаются

слабо, полное недоверие к печатному слову, «сладко пишут», «зубы заговаривают»... В первые месяцы доклады патриотических комиссаров представляли обычно гимн революционной армии, ее сознательности и дисциплине. Когда же, после четырех месяцев непрерывных разочарований, армия потеряла доверие к правительственным ораторам и газетчикам, те же комиссары открыли в ней непроглядную тьму.

Чем больше левеет гарнизон, тем больше правеет обыватель. Под толчком наступления контр-революционные союзы возникали в Петрограде, как грибы после дождя. Они избирали имена одно звучнее другого: Союз чести родины, Союз воинского долга, Баталион свободы, Организация духа и пр. Этими великолепными вывесками прикрывались амбиции и посягательства дворянства, офицерства, бюрократии, буржуазии. Некоторые из организаций, как Военная лига, Союз георгиевских кавалеров или Добровольческая дивизия, являлись готовыми ячейками военного заговора. Выступая в качестве пламенных патриотов, рыцари «чести» и «духа» не только легко открывали двери союзных миссий, но и получали подчас правительственную субсидию, в которой было в свое время отказано Совету, как «частной организации».

Один из отпрысков семьи газетного магната Суворина приступил тем временем к изданию «Маленькой Газеты», которая, в качестве органа «независимого социализма», проповедывала железную диктатуру, выдвигая кандидатом адмирала Колчака. Более солидная пресса, не ставя еще всех точек над i, всячески создавала Колчаку популярность. Дальнейшая судьба адмирала свидетельствует, что уже ранним летом 1917 года дело шло о широком плане, связанном с его именем, и что за спиной Суворина стояли влиятельные круги.

Повинуясь простому тактическому рассчету, реакция, если не считать отдельных срывов, делала вид, что направляет свои удары только против ленинцев. Слово «большевик» стало синонимом адского начала.

Как до революции царские командиры возлагали ответственость за все бедствия, в том числе и за собственную глупость, на немецких шпионов, особенно на «жидов», так теперь, после краха июньского наступления вина за неудачи и поражения неизменно возлагалась на большевиков. В этой области демократы, вроде Керенского и Церетелли, почти ничем не отличались не только от либералов, вроде Милюкова, но и от откровенных крепостников, вроде генерала Деникина.

Как всегда бывает, когда противоречия напряжены до предела, но момент взрыва еще не наступил, группировка политических сил обнаружилась откровеннее и ярче не на основных вопросах, а на случайных и побочных. В качестве одного из громоотводов для политических страстей служил в те недели Кронштадт. Старая крепость, которая должна была быть верным часовым у морских ворот императорской столицы, не раз поднимала в прошлм знамя восстания. Несмотря на беспощадные расправы, мятежное пламя никогда не потухало в Кронштадте. Оно грозно вспыхнуло после переворота. Имя морской крепости скоро стало на страницах патриотической печати синонимом худших сторон революции, т. е. большевизма. В действительности Кронштадтский совет еще не был большевистским: в него входило в мае 107 большевиков, 112 эсеров, 30 меньшевиков и 97 беспартийных. Но это были кронштадтские эсеры и кронштадтские беспартийные, жившие под высоким давлением: большинство их в важных вопросах шло за большевиками.

В области политики кронштадтские матросы не склонны были ни к маневрам, ни к дипломатии. У них было свое правило: сказано — сделано. Не мудрено, если в отношении к призрачному правительству они склонны были к крайне упрощенным методам действия. 13 мая Совет постановил: «единственной властью в Кронштадте является Совет рабочих и солдатских депутатов». Устранение правительственного комиссара, кадета Пепеляева, игравшего роль пятого колеса в телеге, прошло в крепости совершенно неза-

меченным. Сохранялся образцовый порядок. В городе была запрещена карточная игра, закрыты и выселены все притоны. Под угрозою «конфискации имущества и отсылки на фронт» Совет запретил появляться на улицах в пьяном виде. Угроза не раз приводилась в исполнение.

Закаленные в страшном режиме царского флота и морской крепости, привыкшие к суровой работе, к жертвам, но и к неистовствам, матросы теперь, когда перед ними приоткрылась завеса новой жизни, в которой они почувствовали себя будущими хозяевами, напрягли все свои сухожилия, чтоб показать себя достойными революции. Они жадно набрасывались в Петрограде на друзей и на противников и почти насильно влекли их в Кронштадт, чтоб показать, каковы революционные моряки на деле. Такое нравственное напряжение не могло, разумеется, длиться вечно, но его хватило на долго. Кронштадтские моряки стали чем-то вроде воинствующего ордена революции. Но какой? Не той, во всяком случае, какая воплощалась в министре Церетелли, с его комиссаром Пепеляевым. Кронштадт стоял, как провозвестник надвигающейся второй революции. Поэтому его так ненавидели все те, для кого было слишком достаточно и первой.

Мирное и незаметное низложение Пепеляева было в прессе порядка изображено почти, как вооруженное восстание против государственного единства. Правительство пожаловалось Совету. Совет сейчас же выделил делегацию для воздействия. Машина двоевластия со скрипом пришла в движение. 24 мая Кронштадтский совет, с участием Церетелли и Скобелева, согласился, по настоянию большевиков, признать, что, продолжая борьбу за власть советов, он практически обязан подчиняться Временному правительству, покуда власть советов не установлена во всей стране. Однако, уже через день, под давлением возмущенных этой уступчивостью матросов, Совет заявил, что министры получили лишь «разъяснение» точки зрения Кронштадта, которая остается неизменной. Это было явной

тактической ошибкой, за которой, однако, ничего не скрывалось, кроме революционной амбиции.

На верхах решено было воспользоваться счастливым случаем и дать кронштадтцам урок, заставив их заодно расплатиться и за прежние грехи. Прокурором выступал, конечно, Церетелли. С патетическими ссылками на свои собственные тюрьмы, он особенно громил кронштадтцев за то, что они держат в крепостных казематах 80 офицеров. Вся благомыслящая печать ему вторила. Однако, даже соглашательские, т. е. министерские газеты должны были признать, что дело идет о «форменных казнокрадах» и о «людях, до ужаса доводивших кулачную расправу»... Матросы-свидетели — по словам «Известий», официоза самого Церетелли — «показывают о подавлении (арестованными офицерами) восстания 1906 года, о массовых расстрелах, о баржах, переполненных трупами казненных и потопленных в море, и о других ужасах ... рассказывают совершенно просто, как обычные вещи».

Кронштадтцы упорно отказывались выдать арестованных правительству, которому палачи и казнокрады из благородного сословия были неизмеримо ближе, чем замученные матросы 1906 и других годов. Не случайно же министр юстиции Переверзев, которого Суханов мягко называет «одной из подозрительных фигур в коалиционном правительстве», систематически освобождал из Петропавловской крепости наиболее гнусных деятелей царской жандармерии. Демократические выскочки больше всего стремились к тому, чтоб реакционная бюрократия признала их благородство.

На обвинения Церетелли кронштадтцы отвечали в своем воззвании: «Арестованные нами в дни революции офицеры, жандармы и полицейские сами заявили представителям правительства, что они ни в чем не могут пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет. И если мы со-

держим в этих тюрьмах врагов народа, то не из мести, а из соображений революционного самосохранения».

27-го мая кронштадтцев судил Петроградский совет. Выступая в их защиту, Троцкий предупреждал Церетелли, что в случае контр-революционной опасности, «когда контр-революционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кадеты будут намыливать веревку, а кронштадтские матросы явятся, чтобы бороться и умирать вместе с нами». Это предупреждение осуществилось через три месяца с неожиданной буквальностью: когда генерал Корнилов поднял восстание и повел войска на столицу, Керенский, Церетелли и Скобелев вызвали кронштадтских матросов для охраны Зимнего дворца. Но что из того? В июне господа демократы защищали порядок от анархии, и, никакие доводы и предсказания не имели над ними силы. Большинством 580 голосов, против 162, при 74 воздержавшихся, Церетелли провел в Петроградском совете резолюцию, объявлявшую об отпадении «анархического» Кронштадта от революционной демократии. Как только нетерпеливо дожидавшийся Мариинский дворец был извещен, что булла отречения принята, правительство немедленно прервало телефонное сообщение между столицей и крепостью для частных лиц, чтоб не дать большевистскому центру возможности воздействовать на кронштадтцев, приказало сейчас же вывести из вод Кронштадта все учебные суда и потребовало от Совета «беспрекословного повиновения». Заседавший в те дни съезд крестьянских депутатов пригрозил «отказать кронштадтцам в продуктах потребления». Стоявшая за спиной соглашателей реакция искала решительной и, по возможности, кровавой развязки.

«Опрометчивый шаг Кронштадтского совета — пишет один из молодых историков Югов, — мог вызвать нежелательные последствия. Нужно было найти подходящий путь для выхода из создавшегося положения. Именно с этой целью в Кронштадт и поехал Троцкий, где выступил в Совете и написал декларацию, которая

и была принята Советом и затем — единогласно — проведена Троцким на митинге на Якорной площади». Сохранив свою принципиальную позицию, кронштадтцы уступили в практических вопросах.

Мирное улажение конфликта вывело буржуазную прессу окончательно из себя: в крепости анархия, кронштадтцы печатают собственные деньги, — фантастические образцы их воспроизводились в газетах, — казенное имущество расхищается, женщины обобществлены, идут грабежи и пьяные оргии. Моряки, гордившиеся своим суровым порядком, сжимали мозолистые кулаки при чтении газет, которые в миллионах экземпляров распространяли клевету об них по всей России.

Получив в свое распоряжение кронштадтских офицеров, судебные органы Переверзева освобождали их одного за другим. Было бы крайне поучительно установить, кто из освобожденных принимал в дальнейшем участие в гражданской войне, и сколько матросов, солдат, рабочих и крестьян было ими растреляно и повешено. К сожалению, мы не имеем возможности произвести здесь эти поучительные подсчеты.

Авторитет власти был спасен. Но и матросы получили скоро удовлетворение за понесенные обиды. Со всех концов страны стали прибывать резолюции приветствия красному Кронштадту: от отдельных наиболее левых советов, от заводов, полков, митингов. Первый пулеметный полк в полном составе демонстрировал на улицах Петрограда свое уважение к кронштадтцам «за их стойкую позицию недоверия Временному правительству».

Кронштадт готовился, однако, взять и более значительный реванш. Травля буржуазной прессы сделала его фактором общегосударственного значения. «Укрепившись в Кронштадте, — пишет Милюков, — большевизм широко разбросал по России сеть пропаганды при помощи надлежащим образом обученных агитаторов. Кронштадтские эмиссары посылались и на фронт, где подкапывали дисциплину, и в тыл, в деревни, где

вызывали погромы имений. Кронштадтский совет выдавал эмиссарам особые свидетельства: «Н. Н. послан в свою губернию для присутствия, с правом решающего голоса, в уездных, волостных и сельских комитетах, а также выступать на митингах и созывать митинги, по своему усмотрению в любом месте», с «правом ношения оружия, свободного и бесплатного проезда по всем железным дорогам и пароходам». При этом «неприкосновенность личности означенного агитатора гарантируется Советом города Кронштадта».

Обличая подрывную работу балтийских моряков, Милюков забывает только объяснить, как и почему, несмотря на наличность премудрых властей, учреждений и газет, одинокие матросы, вооруженные странным мандатом Кронштадтского совета, без препятствий разъезжали по всей стране, везде находили и стол и дом, допускались на все народные собрания, всюду внимательно выслушивались и налагали отпечаток матросской руки на исторические события. Обслуживающий либеральную политику историк даже не ставит перед собою этого простого вопроса. Между тем кронштадтское чудо было мыслимо лишь потому, что матросы гораздо глубже выражали потребности исторического развития, чем очень умные профессора. Малограмотный мандат оказался, если говорить языком Гегеля, действителен, потому что он был разумен. Между тем субъективно-умнейшие планы оказались призрачны, ибо разум истории даже не ночевал в них.

* * *

Советы отставали от заводских комитетов. Заводские комитеты отставали от масс. Солдаты отставали от рабочих. Еще в большей мере провинция отставала от столицы. Такова неизбежная динамика революционного процесса, порождающая тысячи противоречий, чтобы затем, как бы случайно, мимоходом, играя, преодолеть их и тут же породить новые. Отставала от революционной динамики и партия, т. е. та

организация, которая меньше всего имеет право отставать, особенно во время революции. В таких рабочих центрах, как Екатеринбург, Пермь, Тула, Нижний Новгород, Сормово, Коломна, Юзовка, большевики отделились от меньшевиков только в конце мая. В Одессе, Николаеве, Елисаветграде, Полтаве и в других пунктах Украины большевики еще в середине июня не имели самостоятельных организаций. В Баку, Златоусте, Бежецке, Костроме большевики окончательно отделились от меньшевиков только к концу июня. Эти факты не могут не казаться поразительными, если принять во внимание, что уже через четыре месяца большевикам предстояло взять власть. Как сильно отстала партия за время войны от молекулярного процесса в массах, и как далеко отстояло мартовское руководство Каменева-Сталина от великих исторических задач! Самую революционную партию, какую вообще знала до сих пор человеческая история, события революции все же застигли врасплох. Она перестраивалась в огне и выравнивала свои ряды под натиском событий. Массы оказались на повороте «раз в сто» левее крайней левой партии.

Рост влияния большевиков, происходивший с мощью естественно-исторического процесса, при ближайшем рассмотрении обнаруживает свои противоречия и зигзаги, приливы и отливы. Массы неоднородны и, к тому же, научаются управлять огнем революции не иначе, как обжигая об него руки и отшатываясь назад. Большевики могли только ускорить процесс выучки масс. Они терпеливо разъясняли. Впрочем, история на этот раз не злоупотребляла их терпением.

В то время, как большевики неудержимо овладевали заводами, фабриками и полками, выборы в демократические думы давали огромный и как бы растущий перевес соглашателям. Таково было одно из наиболее острых и загадочных противоречий революции. Правда, дума Выборгского района, чисто пролетарского, гордилась своим большевистским большинством. Но это было исключение. На городских

выборах в Москве, в июне, эсеры собрали больше 60% голосов. Эта цифра поразила их самих: они не могли не чувствовать, что влияние их быстро идет к уклону. Для понимания взаимоотношения между реальным развитием революции и его отражениями в зеркалах демократии московские выборы представляют чрезвычайный интерес. Передовые слои рабочих и солдат уже спешно отряхали от себя соглашательские иллюзии. Между тем широчайшие слои мелкого городского люда только начинали шевелиться. Для этих распыленных масс демократические выборы открывали едва ли не первую и, во всяком случае, одну из редких возможностей политически проявить себя. В то время, как рабочий, вчерашний меньшевик или эсер, подавал голос за партию большевиков, увлекая за собою солдата, извозчик, разносчик, дворник, торговка, лавочник, его приказчик, учитель, посредством такого героического акта, как подача голоса за эсеров, впервые выходили из политического небытия. Мелкобуржуазные слои с запозданием голосовали за Керенского, потому что он воплощал в их глазах Февральскую революцию, которая только сегодня докатилась до них. Со своими 60% эсеровского большинства московская дума блистала последним светом угасающего светила. То же было и со всеми другими органами демократического самоуправления. Едва возникши, они уже оказывались поражены бессилием запоздалости. Это значило, что ход революции зависит от рабочих и солдат, а не от человеческой пыли, которую вздымали и кружили вихри революции.

Такова глубокая и вместе простая диалектика революционного пробуждения угнетенных классов. Наиболее опасная из аберраций революции состоит в том, что механический счетчик демократии суммирует воедино вчерашний, сегодняшний и завтрашний день и этим толкает формальных демократов искать голову революции там, где на самом деле находится ее тяжеловесный хвост. Ленин учил свою партию отличать голову от хвоста.

СОВЕТСКИЙ СЪЕЗД И ИЮНЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ.

Первый съезд советов, давший Керенскому санкцию на наступление, собрался 3 июня в Петрограде в здании кадетского корпуса. Всего на съезде было 820 делегатов с решающим голосом и 268 с совещательным. Они представляли 305 местных советов, 53 районных и областных, организации фронта, тыловые учреждения армии и некоторые крестьянские организации. Правом на решающий голос пользовались советы, объединяющие не меньше 25 тысяч человек. Советы, объединяющие от 10 до 25 тысяч, пользовались совещательным голосом. На основании этих норм, которые, вряд ли, впрочем, строго соблюдались, можно предположить, что за съездом стояло свыше 20 миллионов человек. Из 777 делегатов, давших сведения о своей партийной принадлежности, эсеров было 285, меньшевиков — 248, большевиков — 105; далее следовали менее значительные группы. Левое крыло, т. е. большевики вместе с примыкающими к ним интернационалистами, составляло менее $^1/_5$ делегатов. Съезд состоял в большинстве своем из людей, которые в марте записались в социалисты, а к июню успели устать от революции. Петроград должен был казаться им городом бесноватых.

Съезд начал с одобрения высылки Гримма, плачевного швейцарского социалиста, пытавшегося спасти русскую революцию и германскую социалдемократию путем закулисных переговоров с дипломатией Гогенцоллерна. Требование левого крыла немедленно обсудить вопрос о готовящемся наступлении было отвергнуто подавляющим большинством. Большевики выглядели маленькой кучкой. Но в этот самый день

и, быть может, час конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда приняла, тоже подавляющим большинством, резолюцию о том, что спасти страну может только власть советов.

Соглашатели, как ни были они близоруки, не могли не видеть того, что повседневно совершалось вокруг. Ненавистник большевиков Либер, очевидно, под влиянием провинциалов, обличал в заседании 4-го июня негодных правительственных комиссаров, которым на местах не хотят давать власти. «Целый ряд функций правительственных органов, в силу таких обстоятельств, переходил в руки советов, даже тогда, когда они этого не желали». Эти люди жаловались кому-то на самих себя.

Один из делегатов, педагог, рассказал на съезде, что за четыре месяца революции в области народного просвещения не произошло ни малейших изменений. Все старые учителя, инспектора, директора, попечители округов, нередко бывшие члены черносотенных организаций, все прежние школьные планы, реакционные учебники, даже старые товарищи министра, безмятежно остаются на своих местах. Только царские портреты вынесены на чердак, но в любой момент могут быть водружены на место.

Съезд не решался поднять руку на Государственную думу и на Государственный совет. Свою застенчивость перед реакцией меньшевистский оратор Богданов прикрывал тем, что Дума и Совет «это все равно мертвые, не существующие учреждения». Мартов, со свойственным ему полемическим остроумием, ответил: «Богданов предлагает признать Думу несуществующей, но не посягать на ее существование».

Съезд, несмотря на столь прочное правительственное большинство, проходил в атмосфере тревоги и неуверенности. Патриотизм отсырел и давал лишь ленивые вспышки. Было ясно, что массы недовольны, и что большевики в стране, особенно в столице, неизмеримо сильнее, чем на съезде. Сведенный к своей первооснове спор между большевиками и соглашателя-

ми неизменно вращался вокруг вопроса: с кем идти демократии, с империалистами или с рабочими? Тень Антанты стояла над съездом. Вопрос о наступлении был предрешен, демократам оставалось только склониться.

«В этот критический момент, — поучал Церетелли, — ни одна общественная сила не должна сбрасываться с весов до тех пор, пока ее можно использовать для народного дела». Таково было обоснование коалиции с буржуазией. Так как пролетариат, армия и крестьянство на каждом шагу нарушали планы демократов, то приходилось открывать войну против народа под видом войны против большевиков. Так Церетелли предавал отлучению кронштадтских матросов, чтоб не сбрасывать со своих весов кадета Пепеляева. Коалиция была одобрена большинством 543 голосов против 126 при 52 воздержавшихся.

Работы огромного и рыхлого собрания в Кадетском корпусе отличались размашистостью в области деклараций и консервативной скаредностью в отношении практических задач. Это налагало на все решения печать безнадежности и лицемерия. Съезд признал за всеми нациями России право на самоопределение, но ключ от этого проблематического права вручил не самим угнетенным нациям, а будущему Учредительному собранию, в котором соглашатели надеялись быть в большинстве и собирались также капитулировать перед империалистами, как они это делали в правительстве.

Съезд отказался провести декрет о 8-часовом рабочем дне. Церетелли объяснял топтанье коалиции на месте трудностью согласования интересов различных слоев населения. Как будто хоть одно великое дело в истории совершалось путем «согласования интересов», а не путем победы прогрессивных интересов над реакционными!

Громан, советский экономист, внес под конец свою неизбежную резолюцию: о надвинувшейся экономической катастрофе и о необходимости государственного

регулирования. Съезд принял эту ритуальную резолюцию, но только для того, чтоб все осталось по старому.

«Гримма выслали, — писал Троцкий 7 июня, — съезд перешел к порядку дня. Но капиталистическая прибыль по-прежнему неприкосновенна для Скобелева и его коллег. Продовольственный кризис обостряется с каждым часом. В дипломатической области правительство получает удар за ударом. Наконец, столь истерически провозглашавшееся наступление готовится, повидимому, вскоре обрушиться на народ чудовищной авантюрой».

«Мы терпеливы и готовы были бы еще спокойно наблюдать просвещенную деятельность министерства Львова-Терещенко-Церетелли в течение ряда месяцев. Нам нужно время — для нашей подготовки. Но подземный крот роет слишком быстро. И при содействии «социалистических» министров проблема власти может обрушиться на участников этого съезда гораздо скорее, чем мы все это предполагаем».

Стараясь прикрыться от масс более высоким авторитетом, вожди вовлекали съезд во все текущие конфликты, безжалостно компрометируя его в глазах петроградских рабочих и солдат. Наиболее громким эпизодом такого рода была история с дачей Дурново, старого царского сановника, который, в качестве министра внутренних дел, прославился разгромом революции 1905 года. Пустующая дача ненавистного бюрократа, к тому же нечистого на руку, была захвачена рабочими организациями Выборгской стороны, главным образом из-за огромного сада, который стал излюбленным местом гулянья детей. Буржуазная печать изображала дачу, как приют погромщиков и налетчиков, как Кронштадт Выборгской стороны. Никто не дал себе труда проверить, как обстоит дело в действительности. Правительство, тщательно обходившее все большие вопросы, со свежей страстью принялось за спасение дачи. От Исполнительного комитета потребовали санкции героических мероприятий, и Цере-

телли, разумеется, не отказал. Прокурор отдал приказ выселить с дачи группу анархистов в 24 часа. Узнав о подготовляющихся военных действиях, рабочие забили тревогу. Анархисты, с своей стороны, угрожали вооруженным отпором. 28 заводов объявили стачку протеста. Исполком выпустил воззвание, обличавшее выборгских рабочих, как помощников контр-революции. После такой подготовки представители юстиции и милиции проникли в львиную пещеру. Выяснилось, однако, что на даче, давшей приют ряду просветительных рабочих организаций, царит полный порядок. Пришлось отступить, и не без сраму. История эта имела, однако, дальнейшее развитие.

9 июня на съезде взорвалась бомба: в утренней «Правде» был напечатан призыв к демонстрации на завтрашний день. Чхеидзе, который умел пугаться и склонен был, поэтому, пугать других, заявил гробовым голосом: «если съездом не будут приняты меры, завтрашний день будет роковым». Делегаты в тревоге подняли головы.

Мысль о том, чтоб свести петроградских рабочих и солдат на очную ставку со съездом, навязывалась всей обстановкой. Массы напирали на большевиков. Особенно бурлил гарнизон, опасавшийся, что, в связи с наступлением, его раздергают по частям и расшвыряют по фронтам. К этому присоединилось острое недовольство «Декларацией прав солдата», которая делала большой шаг назад по сравнению с приказом № 1 и с фактически установившимся режимом в армии. Инициатива демонстрации исходила от Военной организации большевиков. Руководители ее утверждали, и вполне основательно, как показали события, что, если партия не возьмет на себя руководства, то солдаты сами выйдут на улицу. Крутой перелом массовых настроений не поддавался, однако, учету на ходу, и это порождало известные колебания в среде самих большевиков. Володарский не был уверен, выйдут ли на улицу рабочие. Были опасения и насчет характера, какой примет демонстрация. Представители Военной

организации утверждали, что солдаты, опасаясь нападения и расправы, без оружия не выступят. «Во что выльется эта демонстрация?» — спрашивал осторожный Томский и требовал дополнительного обсуждения. Сталин считал, что «брожение среди солдат — факт; среди рабочих такого определенного настроения нет», но находил все же, что необходимо дать правительству отпор. Калинин, всегда более склонный уклониться от боя, чем принять его, высказался решительно против демонстрации, ссылаясь на отсутствие яркого повода, особенно у рабочих: «демонстрация будет только надуманная». 8 июня, на совещании с представителями районов, после ряда предварительных голосований, 131 рука поднялась в конце концов за демонстрацию, против 6 при 22 воздержавшихся. Демонстрация была назначена на воскресенье, 10 июня.

Подготовительная работа велась до последнего момента втайне, чтоб не дать эсерам и меньшевикам возможности начать контр-агитацию. Эта законная мера предосторожности была позже истолкована, как доказательство военного заговора. К решению организовать демонстрацию присоединился Центральный совет фабрично-заводских комитетов. «Под давлением Троцкого против возражавшего Луначарского, — пишет Югов, — комитет межрайонцев решил присоединиться к демонстрации». Подготовка велась с кипучей энергией.

Манифестация должна была поднять знамя власти советов. Боевой лозунг гласил: «Долой десять министров-капиталистов». Это было наиболее простое выражение требования разрыва коалиции с буржуазией. Шествие должно было направляться к кадетскому корпусу, где помещался съезд. Этим подчеркивалось, что дело идет не о низвержении правительства, а о давлении на советских вождей.

Правда, на предварительных совещаниях большевиков раздавались и другие голоса. Так, Смилга, молодой тогда член Центрального комитета, предлагал «не отказываться от захвата почты, телеграфа и ар-

сенала, если события развернутся до столкновения». Другой из участников совещания, член петроградского комитета Лацис, записал в своем дневнике по поводу отклонения предложения Смилги: «Я с этим примириться не могу... сговорюсь с товарищем Семашко и Рахия, чтобы в случае необходимости быть во всеоружии и захватить вокзалы, арсеналы, банки, почту и телеграф, опираясь на пулеметный полк». Семашко — офицер пулеметного полка, Рахия — рабочий, один из боевых большевиков.

Наличность таких настроений понятна сама собой. Весь курс партии шел на завоевание власти, и вопрос был лишь в оценке обстановки. В Петрограде происходил явный перелом в пользу большевиков; но в провинции тот же процесс шел медленнее; наконец, фронт еще нуждался в уроке наступления, чтобы стряхнуть с себя недоверие к большевикам. Ленин стоял, поэтому, на апрельской позиции: «терпеливо разъяснять».

Суханов в своих записках изображает план демонстрации 10-го июня, как прямой замысел Ленина захватить власть «при благоприятной обстановке». На самом деле так пробовали ставить вопрос лишь отдельные большевики, забиравшие, по насмешливому выражению Ленина, «чуточку левее», чем полагалось. Странным образом Суханов даже не пытается сопоставить свои произвольные догадки с политической линией Ленина, выраженной в многочисленных речах и статьях. *)

Бюро Исполнительного комитета немедленно предъявило большевикам требование: отменить демонстрацию. На каком основании? Формально запретить демонстрацию могла, очевидно, лишь государственная власть. Но она и думать об этом не смела. Каким же образом Совет, являвшийся «частной организацией», руководимой блоком двух политических партий, мог запретить демонстрацию третьей партии? Цен-

*) Подробнее об этом вопросе в Приложении № 3.

тральный комитет большевиков отказался выполнить требование, но решил еще резче подчеркнуть мирный характер демонстрации. В рабочих кварталах 9 июня была расклеена прокламация большевиков. «Мы — свободные граждане, мы имеем право протестовать, и мы должны воспользоваться этим своим правом, пока не поздно. Право мирной демонстрации остается за нами».

Вопрос был перенесен соглашателями на съезд. В этот момент Чхеидзе и произнес свои слова о роковом исходе и о том, что придется заседать всю ночь. Член президиума, Гегечкори, тоже один из сынов Жиронды, закончил свою речь грубым выкриком по адресу большевиков: «прочь ваши грязные руки от великого дела!». Большевикам, несмотря на их требование, не дали времени обсудить вопрос во фракционном порядке. Съезд вынес постановление, запрещающее на три дня всякие демонстрации. Акт насилия по отношению к большевикам, это был в то же время акт узурпации по отношению к правительству: советы продолжали воровать власть у себя из-под подушки.

Милюков выступал в эти часы на казачьем съезде и называл большевиков «главными врагами русской революции». Главным другом ее стал, логикой вещей, сам Милюков, который накануне февраля соглашался скорее принять поражение от немцев, чем революцию от русского народа. На вопрос казаков об отношении к ленинцам Милюков ответил: «Пора с этими господами покончить». Вождь буржуазии слишком торопился. Впрочем, ему действительно нельзя было терять времени.

Тем временем по заводам и полкам шли митинги, постановлявшие выступить завтра на улицы под лозунгом «вся власть советам». Под шум советского и казацкого съездов прошел незамеченным тот факт, что в Выборгскую районную думу выбрано от большевиков 37 гласных, от блока эсеров и меньшевиков — 22, от кадетов — 4.

Поставленные перед категорическим постановле-

нием съезда, притом с таинственной ссылкой на угрожающий удар справа, большевики решили пересмотреть вопрос. Они хотели мирной демонстрации, а не восстания, и у них не могло быть оснований превращать в полувосстание запрещенную демонстрацию. Президиум съезда решил, с своей стороны, принять меры. Несколько сот делегатов были сгруппированы десятками и направлены в рабочие кварталы и в казармы для предотвращения демонстрации, с тем, чтоб к утру явиться в Таврический дворец для подведения итогов. Исполнительный комитет крестьянских депутатов присоединился к этой экспедиции, выделив для нее, с своей стороны, 70 человек.

Хоть и неожиданными путями, но большевики достигли все же своего: делегаты съезда оказались вынуждены свести знакомство с рабочими и солдатами столицы. Горе не дали придвинуться к пророкам, зато пророкам пришлось приблизиться к горе. Встреча вышла в высшей степени поучительной. В «Известиях» московского Совета корреспондент-меньшевик рисует такую картину: «Целую ночь напролет большинство съезда, свыше 500 членов его, не смыкали глаз, разбившись на десятки, расходились по фабрикам и заводам и воинским частям Петрограда, призывая к воздержанию от демонстрации... Съезд в значительной части фабрик и заводов, а также некоторой части гарнизона авторитетом не пользуется... Членов съезда встречали очень часто далеко не дружественно, порой враждебно, и нередко провожали злобно». Официальный советский орган отнюдь не преувеличивает; наоборот, он дает крайне смягченную картину ночной встречи двух миров.

Петроградские массы, во всяком случае, не оставили у делегатов никаких сомнений насчет того, кто может отныне назначить демонстрацию и отменить ее. Рабочие Путиловского завода согласились расклеить воззвание съезда против демонстрации лишь после того, как убедились из «Правды», что оно не противоречит постановлению большевиков. Первый пулемет-

ный полк, игравший в гарнизоне первую скрипку, как и Путиловский завод — в рабочей среде, вынес, после докладов Чхеидзе и Авксентьева, председателей двух исполнительных комитетов, следующую резолюцию: «В согласии с ЦК большевиков и Военной организацией, полк откладывает свое выступление. . .»

Бригады усмирителей прибывали после бессонной ночи в Таврический дворец в состоянии полной деморализации. Они рассчитывали на то, что авторитет съезда непререкаем, но наткнулись на стену недоверия и враждебности. «В массах засилье большевиков». «К меньшевикам и эсерам отношение враждебное». «Верят только «Правде». Кое-где кричат: «мы вам не товарищи». Один за другим делегаты докладывали, как, несмотря на отмену боя, они потерпели тягчайшее поражение.

Массы подчинились решению большевиков. Но подчинение происходило отнюдь не без протестов и даже возмущения. На некоторых предприятиях выносились резолюции порицания Центральному комитету. Наиболее горячие члены партии в районах рвали свои партийные билеты. Это было серьезное предупреждение.

Запрещение демонстрации на три дня соглашатели мотивировали ссылкой на монархический заговор, который хочет уцепиться за выступление большевиков; упоминали о причастности к этому части казачьего съезда и о приближении к Петрограду контр-революционных частей. Немудрено, если после отмены демонстрации, большевики потребовали разъяснений относительно заговора. Вместо ответа вожди съезда обвинили в заговоре самих большевиков. Так счастливо был найден выход из положения.

Нужно признать, что в ночь на 10 июня соглашатели действительно открыли заговор, который сильно потряс их: заговор масс с большевиками против соглашателей. Однако, подчинение большевиков постановлению съезда ободрило соглашателей и позволило их панике превратиться в бешенство. Меньшевики и

эсеры решили проявить железную энергию. 10 июня газета меньшевиков писала: «Пора заклеймить ленинцев изменниками и предателями революции». Председатель Исполнительного комитета выступал на казачьем съезде и просил казаков поддержать Совет против большевиков. Ему отвечал председатель, Уральский атаман Дутов: «Мы, казаки, с Советом никогда врозь не пойдем». Против большевиков реакционеры готовы были итти даже и с Советом, чтобы затем тем вернее задушить его.

11 июня собирается грозное судилище: Исполнительный комитет, члены президиума съезда, руководители фракций, всего около 100 человек. Прокурором выступает, как всегда, Церетелли. Задыхаясь от бешенства, он требует суровой расправы и презрительно отмахивается от Дана, который всегда готов травить большевиков, но еще не решается громить их. «То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор... Пусть же извинят нас большевики. Теперь мы перейдем к другим методам борьбы... Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, которые они до сих пор имели. Нельзя оставить в их руках пулеметы и оружие. Заговоров мы не допустим». Это новые ноты. Что собственно значит разоружить большевиков? Суханов по этому поводу пишет: «Ведь никаких особых складов оружия у большевиков нет. Ведь все оружие — у солдат и рабочих, которые в огромной массе идут за большевиками. Разоружение большевиков может означать только разоружение пролетариата. Мало того — это разоружение войск».

Надвинулся, другими словами, классический момент революции, когда буржуазная демократия, по требованию реакции, хочет разоружить рабочих, обеспечивших победу переворота. Господа демократы, среди которых есть начитанные люди, неизменно отдавали свои симпатии разоружаемым, а не разоружителям, — поскольку дело шло о старых книгах. Но

когда тот же вопрос предстал пред ними в действительности, они не узнали его. Одно то обстоятельство, что разоружить рабочих брался Церетелли, революционер, годы проведший на каторге, вчерашний циммервальдец, не так просто укладывалось в головах. Зал застыл в оцепенении. Провинциальные делегаты почувствовали все же, повидимому, что их толкают в пропасть. Один из офицеров забился в истерике.

Не менее бледный, чем Церетелли, Каменев поднимается с места и восклицает с достоинством, силу которого чувствует аудитория: «Господин министр, если вы не бросаете слова на ветер, вы не имеете права ограничиваться речью. Арестуйте меня и судите за заговор против революции». Большевики с протестом покидают заседание, отказываясь участвовать в издевательстве над собственной партией. Напряжение в зале становится невыносимым.

На помощь Церетелли спешит Либер. Сдерживаемое бешенство сменяется на трибуне истерическим неистовством. Либер требует беспощадных мер. «Если вы хотите получить массу, которая идет к большевикам, то рвите с большевизмом». Но его слушают без сочувствия, даже полувраждебно.

Впечатлительный, как всегда, Луначарский немедленно же пытается найти общий язык с большинством: хотя большевики уверяли его, что они имели в виду только мирную демонстрацию, тем не менее его собственный опыт убедил его в том, что «ошибочно было устраивать демонстрацию». Однако, не надо обострять конфликтов. Не успокаивая противников, Луначарский раздражает друзей.

«Мы не боремся с левым течением, — иезуитствует Дан, наиболее опытный, но и наиболее бесплодный из вождей болота, — мы боремся с контр-революцией. Не наша вина, если за вашими плечами стоят прихвостни Германии». Ссылка на немцев по просту заменяла аргументацию. Никаких прихвостней Германии эти господа, разумеется, указать не могли.

Церетелли хотел нанести удар. Дан предлагал

ограничиться занесением руки. В своей беспомощности Исполнительный комитет примкнул к Дану. Резолюция, предложенная на другой день съезду, имела характер исключительного закона против большевиков, но без непосредственных практических выводов.

«Для вас, после посещения вашими делегатами заводов и полков, — гласило письменное заявление большевиков съезду, — не может быть сомнения в том, что, если демонстрация не состоялась, то не вследствие вашего запрета, а вследствие отмены ее нашей партией... Фикция военного заговора выдвинута членом Временного правительства для того, чтобы провести обезоружение петроградского пролетариата и раскассирование петроградского гарнизона... Если бы даже государственная власть целиком перешла в руки Совета, — а мы на этом стоим, — и Совет попытался бы наложить оковы на нашу агитацию, это могло бы заставить нас не пассивно подчиниться, а пойти навстречу тюремным и иным карам во имя идей интернационального социализма, которые нас отделяют от вас».

Советское большинство и советское меньшинство сошлись в эти дни грудь с грудью, как бы для решающего боя. Но обе стороны в последний момент сделали шаг назад. Большевики отказались от демонстрации. Соглашатели отказались от разоружения рабочих.

Церетелли остался среди своих в меньшинстве. А между тем он был по своему прав. Политика союза с буржуазией подошла к тому пункту, когда стало необходимым обессилить массы, не мирившиеся с коалицией. Довести соглашательскую политику до благополучного конца, т. е. до установления парламентского господства буржуазии, можно было не иначе, как разоружением рабочих и солдат. Но Церетелли был не только прав. Он был сверх того еще и бессилен. Ни рабочие, ни солдаты не сдали бы добровольно оружия. Значит нужно было применить против них силу. Но силы у Церетелли уже не было. Он

мог ее получить, если вообще мог, только из рук реакции, которая, в случае успешного разгрома большевиков, приступила бы немедленно к разгрому соглашательских советов и не преминула бы напомнить Церетелли, что он лишь бывший каторжник, и ничто более. Однако, дальнейший ход вещей покажет, что таких сил не было и у реакции.

Необходимость борьбы против большевиков Церетелли политически обосновывал тем, что они отрывают пролетариат от крестьянства. Мартов возразил ему: «не из недр крестьянства» черпает Церетелли свои руководящие идеи. «Группа правых кадетов, группа капиталистов, группа помещиков, группа империалистов, буржуа Запада» — вот кто требует разоружения рабочих и солдат. Мартов был прав: имущие классы не раз в истории прятали свои притязания за спиной крестьянства.

С момента опубликования апрельских тезисов Ленина ссылка на опасность изоляции пролетариата от крестьянства стала главным аргументом всех тех, которые тянули революцию назад. Не случайно Ленин сближал Церетелли со «старыми большевиками».

В одной из работ 1917 года Троцкий писал по этому поводу: «Изоляция нашей партии от эсеров и меньшевиков, даже самая крайняя, даже путем одиночных камер, еще ни в коем случае не означает изоляции пролетариата от угнетенных крестьянских и городских масс. Наоборот, резкое противопоставление политики революционного пролетариата вероломному отступничеству нынешних советских вождей только и может внести спасительную политическую дифференциацию в крестьянские миллионы, вырвать деревенскую бедноту из-под предательского руководства крепких эсеровских мужичков и превратить социалистический пролетариат в подлинного вождя народной, плебейской революции».

Но фальшивый насквозь довод Церетелли оказался живуч. Накануне октябрьского переворота он возродился с удвоенной силой, как довод многих «старых

большевиков» против переворота. Через несколько лет, когда началась идейная реакция против Октября, формула Церетелли стала главным теоретическим оружием школы эпигонов.

* * *

На том же заседании съезда, которое судило большевиков в их отсутствии, представитель меньшевиков неожиданно предложил назначить на ближайшее воскресенье, 18 июня, в Петрограде и в важнейших городах манифестацию рабочих и солдат, чтоб показать врагам единство и силу демократии. Предложение было принято, хотя и не без недоумения. Месяц с лишним спустя Милюков довольно основательно объяснял неожиданный поворот соглашателей: «Произнеся кадетские речи на съезде советов, расстроивши вооруженную демонстрацию 10 июня..., министры-социалисты почувствовали, что они зашли слишком далеко в приближении к нам, что почва у них уходит из-под ног. Они испугались и круто повернули в сторону большевиков». Решение о демонстрации 18 июня было, разумеется, не поворотом в сторону большевиков, а попыткой поворота в сторону масс против большевиков. Ночная очная ставка с рабочими и солдатами вообще произвела некоторую встряску на советской верхушке: так, в разрез с тем, что предполагалось в начале съезда, спешно издано было, от имени правительства, постановление об упразднении Государственной думы и о созыве Учредительного собрания на 30 сентября. Лозунги демонстрации выбраны были с таким рассчетом, чтоб не вызывать раздражения масс: «Всеобщий мир», «Скорейший созыв Учредительного собрания», «Демократическая республика». О наступлении, как и о коалиции — ни слова. Ленин спрашивал в «Правде»: «А куда же девалось полное доверие Временному правительству, господа?.. почему прилипает у вас язык к гортани?» Эта ирония била

в цель: соглашатели не посмели потребовать от масс доверия тому правительству, в состав которого они входили.

Советские делегаты, вторично объезжавшие рабочие кварталы и казармы, делали накануне демонстрации вполне обнадеживающие доклады в Исполнительном комитете. Церетелли, которому эти сообщения вернули равновесие и склонность к самодовольным поучениям, обратился к большевикам: «Вот теперь перед нами открытый и честный смотр революционных сил... Теперь мы все увидим, за кем идет большинство: за вами или за нами». Большевики приняли вызов еще прежде, чем он был так неосторожно формулирован. «Мы пойдем на демонстрацию 18 числа, — писала «Правда», — для того, чтобы бороться за те цели, которые мы хотели демонстрировать 10 числа».

Очевидно, по воспоминаниям о мартовской похоронной процессии, которая, по крайней мере, по внешности, являлась величайшей манифестацией единства демократии, маршрут и на этот раз вел на Марсово поле, к могилам Февральских жертв. Но, кроме маршрута, ничто более не напоминало далекие дни марта. В шествии участвовало около 400 тысяч человек, т. е. значительно меньше, чем на похоронах: на этой советской демонстрации отсутствовала не только буржуазия, с которой советы состояли в коалиции, но и радикальная интеллигенция, занимавшая такое видное место в прежних парадах демократии. Шли почти только заводы и казармы.

Делегаты съезда, собравшиеся на Марсовом поле, читали и считали плакаты. Первые большевистские лозунги были встречены полушутливо. Ведь Церетелли накануне так уверенно бросал свой вызов. Но те же лозунги повторялись снова и снова. «Долой 10 министров-капиталистов», «Долой наступление», «Вся власть советам». Улыбка иронии застывала на лицах и затем медленно сползала с них. Большевистские знамена плыли без конца. Делегаты бросили неблагодарные подсчеты. Победа большевиков была

слишком очевидна. «Кое-где, — пишет Суханов, — цепь большевистских знамен и колонн прорывалась специфическими эсеровскими и официальными советскими лозунгами. Но они тонули в массе». Советский официоз рассказывал на другой день о том, с какой «злостью рвали то там, то здесь знамена с лозунгами доверия Временному правительству». В этих словах явный элемент преувеличения. Плакаты в честь Временного правительства вынесли лишь три небольшие группы: кружок Плеханова, казачья часть и кучка еврейской интеллигенции, примыкавшей к Бунду. Эта тройственная комбинация, производившая своим составом впечатление политического курьеза, как бы задалась целью выставить на показ бессилие режима. Плехановцам и Бунду пришлось, под враждебные крики толпы, свернуть плакаты. У казаков же, проявивших упорство, знамя было действительно вырвано демонстрантами и уничтожено.

«Катившийся до сих пор поток — описывают «Известия» — превратился в полноводную широкую реку, которая вот-вот выльется из берегов». Это Выборгский район, весь под большевистскими знаменами. «Долой десять министров-капиталистов». Один из заводов вынес плакат: «Право на жизнь выше права частной собственности». Этот лозунг не был подсказан партией.

Пришибленные провинциалы искали глазами вождей. Те прятали глаза или просто скрывались. Большевики нажимали на провинциалов. Разве это похоже на кучку заговорщиков? Делегаты соглашались, что не похоже. «В Петрограде вы — сила, — признавали они совсем иным тоном, чем на официальном заседании, — но не то в провинции и на фронте. Петроград не может итти против всей страны». — Погодите, отвечали им большевики, скоро придет и ваша очередь, поднимут и у вас те же плакаты.

«Во время этой демонстрации, — писал старик Плеханов, — я стоял на Марсовом поле, рядом с Чхе-

идзе. По его лицу я видел, что он нисколько не обманывал себя насчет того, какое значение имело поразительное обилие плакатов, требовавших низвержения капиталистических министров. Значение это, как нарочно подчеркнуто было поистине начальническими приказаниями, с которыми обращались к нему некоторые представители ленинцев, проходивших мимо нас настоящими именинниками».

У большевиков во всяком случае были основания для такого самочувствия. «Судя по плакатам и лозунгам манифестантов, — писала газета Горького, — воскресная демонстрация обнаружила полное торжество большевизма в среде петербургского пролетариата». Это была большая победа, притом одержанная на той арене и тем оружием, какие выбрал противник. Одобрив наступление, признав коалицию и осудив большевиков, советский съезд по собственной инициативе вызвал на улицу массы. Они заявили ему: не хотим ни наступления, ни коалиции, мы — за большевиков. Таков был политический итог демонстрации. Мудрено ли, если газета меньшевиков, инициаторов демонстрации, меланхолически спрашивала на другой день: кому пришла в голову эта злосчастная мысль?

Конечно, не все рабочие и солдаты столицы участвовали в демонстрации, и не все демонстранты были большевиками. Но никто из них уже не хотел коалиции. Те рабочие, которые оставались еще враждебны большевизму, не знали, что противопоставить ему. Этим самым их враждебность превращалась в выжидательный нейтралитет. Под большевистскими лозунгами шло немало меньшевиков и эсеров, которые еще не порвали со своими партиями, но уже потеряли веру в их лозунги.

Демонстрация 18 июня произвела огромное впечатление на самих ее участников. Массы увидели, что большевизм стал силой, и колеблющиеся потянулись к нему. В Москве, Киеве, Харькове, Екатеринославе и во многих других провинциальных городах демонстра-

ции обнаружили огромный рост влияния большевиков. Везде выдвигались одни и те же лозунги, и они били в самое сердце февральского режима. Надо было делать выводы. Казалось, что соглашателям некуда податься. Но в последний момент помогло наступление.

19 июня происходили на Невском патриотические манифестации, под руководством кадетов и с портретами Керенского. По словам Милюкова, «это так было не похоже на все то, что происходило на тех же улицах накануне, что к чувству торжества невольно примешивалось чувство недоверия». Законное чувство! Но соглашатели вздохнули с облегчением. Их мысль немедленно же поднялась над обеими демонстрациями, в качестве демократического синтеза. Чашу иллюзий и унижений этим людям суждено было допить до дна.

В апрельские дни две демонстрации, революционная и патриотическая, вышли навстречу друг другу, и их столкновение тут же повлекло за собой жертвы. Враждебные демонстрации 18 и 19 июня прошли одна вслед за другой. До непосредственного столкновения на этот раз не дошло. Но избежать его уже нельзя было. Оно оказалось лишь на две недели отодвинуто.

Анархисты, не знавшие, как проявить свою самостоятельность, воспользовались демонстрацией 18 июня для нападения на Выборгскую тюрьму. Арестованные, в большинстве своем уголовные, были без боя и жертв освобождены, притом не из одной, а сразу из нескольких тюрем. Повидимому, нападение не застигло администрацию врасплох, и она охотно пошла навстречу действительным и мнимым анархистам. Весь этот загадочный эпизод не имел никакого отношения к демонстрации. Но патриотическая печать связала их воедино. Большевики предложили на съезде советов строго расследовать, каким образом 460 уголовных оказались выпущены из разных тюрем. Однако, соглашатели не могли позволить себе такой роскоши, ибо опасались наткнуться на представителей высшей администрации и союзников по блоку. Кроме того у них не было ни-

какого желания защищать ими же устроенную демонстрацию от злостных клевет.

Министр юстиции Переверзев, осрамившийся несколько дней перед тем с дачей Дурново, решил взять реванш и, под предлогом розыска беглых арестантов, произвел на дачу новый налет. Анархисты сопротивлялись, в перестрелке один из них был убит, дача подверглась разгрому. Рабочие Выборгской стороны, считавшие дачу своей, подняли тревогу. Некоторые заводы приостановили работы. Тревога перекинулась на другие районы, также и на казармы.

Последние дни июня проходят в непрерывном кипении. Пулеметный полк готов к немедленному выступлению против Временного правительства. Рабочие забастовавших заводов обходят полки с призывом на улицу. Бородатые крестьяне в солдатских шинелях, многие с проседью, тянутся протестующими процессиями по мостовым: это сорокалетние требуют, чтоб их отпустили на полевые работы. Большевики ведут агитацию против выступления: демонстрация 18 июня сказала все, что можно было сказать; чтоб добиться перемен, демонстрации мало, а час переворота еще не пробил. 22 июня большевики печатно обращаются к гарнизону: «Не верьте никаким призывам к выступлению на улицу от имени Военной организации». С фронта прибывают делегаты с жалобами на насилия и кары. Угрозы расформировать непокорные части подливают масла в огонь. «Во многих полках солдаты спят с оружием в руках», говорится в заявлении большевиков Исполнительному комитету. Патриотические манифестации, часто вооруженные, приводят к уличным столкновениям. Это мелкие разряды скопившегося электричества. Ни одна из сторон прямо не собирается наступать: реакция слишком слаба; революция еще не вполне уверена в своих силах. Но улицы города кажутся вымощены взрывчатыми веществами. Столкновение висит в воздухе. Большевистская печать разъясняет и сдерживает. Патриотическая печать выдает свою тревогу необузданной травлей большевиков.

25 июня Ленин пишет: «Всеобщий дикий вой злобы и бешенства против большевиков есть общая жалоба кадетов, эсеров и меньшевиков на свою собственную расхлябанность. Они в большинстве. Они у власти. Они все в блоке друг с другом. И они видят, что — у них ничего не выходит! Как же не злобствовать на большевиков».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

На первых страницах этого труда мы пытались показать, как глубоко Октябрьская революция была заложена в социальных отношениях России. Наш анализ, отнюдь не приспособленный задним числом к совершившимся событиям, был дан, наоборот, еще до революции, даже до ее пролога в 1905 году.

На дальнейших страницах мы старались проследить, как социальные силы России проявили себя в событиях революции. Мы регистрировали деятельность политических партий в их взаимоотношении с классами. Симпатии и антипатии автора можно оставить в стороне. Историческое изложение имеет право претендовать на признание за ним объективности, если, опираясь на точно установленные факты, оно воссоздает их внутреннюю связь на основе реального развития социальных отношений. Вскрывающаяся при этом внутренняя закономерность процесса является сама по себе лучшей проверкой объективности изложения.

Прошедшие перед читателями события Февральской революции подтвердили теоретический прогноз, пока, по крайней мере, на половину, методом последовательных исключений: еще прежде, чем пролетариат пришел к власти, все другие варьянты политического развития подвергались жизнью проверке и отбрасывались, как непригодные.

Правительство либеральной буржуазии с демократическим заложником Керенским оказалось сплошным провалом. «Апрельские дни» были первым открытым предупреждением со стороны Октябрьской революции по адресу Февральской. Буржуазное Временное правительство сменяется после этого коалицией, бесплодность которой разоблачается каждым днем ее суще-

ствования. В июньской демонстрации, назначенной Исполнительным комитетом, по собственной инициативе, хотя, правда, и не вполне добровольно, Февральская революция попыталась померяться силами с Октябрьской и потерпела жесточайшее поражение. Оно было тем более фатальным, что произошло на арене Петрограда и было нанесено теми самыми рабочими и солдатами, которые совершили февральский переворот, принятый затем из их рук всей остальной страной. Июньская демонстрация показала, что рабочие и солдаты Петрограда идут ко второй революции, цели которой были написаны на их знаменах. Безошибочные признаки свидетельствовали, что вся остальная страна — хоть и с неизбежным запозданием — равняется по Петрограду. Таким образом к исходу четвертого месяца Февральская революция уже политически исчерпала себя. Соглашатели потеряли доверие рабочих и солдат. Столкновение между руководящими советскими партиями и советскими массами становится отныне неизбежным. После шествия 18 июня, которое было мирной проверкой соотношения сил двух революций, противоречие между ними должно было неизбежно принять открытый и насильственный характер.

Так выросли «июльские дни». Через две недели после демонстрации, организованной сверху, те же рабочие и солдаты вышли на улицы уже по собственной инициативе и потребовали от Центрального исполнительного комитета, чтоб он взял власть. Соглашатели наотрез отказались. Июльские дни привели к уличным столкновениям и жертвам и закончились разгромом большевиков, которые были объявлены ответственными за несостоятельность февральского режима. То предложение, которое Церетелли внес 11 июня и которое тогда было отвергнуто, — объявить большевиков вне закона и разоружить их, — оказалось полностью осуществлено в начале июля. Большевистские газеты были закрыты. Большевистские воинские части расформировывались. У рабочих отбиралось оружие. Вожди партии были объявлены наемниками германско-

го штаба. Одни из них скрывались, другие сидели в тюрьмах.

Но именно в июльской «победе» соглашателей над большевиками бессилие демократии обнаружилось до конца. Против рабочих и солдат демократам пришлось бросать заведомо контр-революционные части, враждебные не только большевикам, но и советам: собственных войск у Исполнительного комитета уже не было.

Либералы из этого сделали правильный вывод, который Милюков формулировал в виде альтернативы: Корнилов или Ленин? Революция действительно не оставляла больше места царству золотой середины. Контр-революция сказала себе: теперь или никогда. Верховный главнокомандующий Корнилов поднял мятеж против революции под видом похода против большевиков. Как все виды легальной оппозиции до переворота прикрывались патриотизмом, т. е. потребностями борьбы против немцев, так все виды легальной контр-революции после переворота прикрывались потребностями борьбы против большевиков. Корнилов пользовался поддержкой имущих классов и их партии, т. е. кадетов. Это не помешало тому, наоборот, помогло, что войска, направленные Корниловым против Петрограда, были побеждены без боя, капитулировали без столкновения, испарились, как капля, брошенная на горячую плиту. Таким образом и опыт переворота справа был проделан, притом лицом, стоявшим во главе армии; соотношение сил имущих классов и народа было проверено действием, и в альтернативе: Корнилов или Ленин, Корнилов отпал, как гнилой плод, хотя Ленин еще вынужден был в это время скрываться в глубоком подполье.

Какой еще варьянт остался после этого неиспользованным, неиспытанным, непроверенным? Варьянт большевизма. Действительно, после корниловской попытки и ее бесславного крушения, массы бурно и окончательно поворачивают к большевикам. Октябрьская революция приближается с физической необходи-

мостью. В отличие от февральского переворота, который называли бескровным, хотя он стоил в Петрограде значительных жертв, Октябрьский переворот совершается в столице действительно бескровно. Не в праве ли мы спросить: какие же еще можно дать доказательства глубокой закономерности Октябрьской революции? И не ясно ли, что она может казаться плодом авантюры или демагогии лишь тем, кого она ударила по наиболее чувствительному месту: по карману. Кровавая борьба возникает уже после завоевания власти большевистскими советами, когда низвергнутые классы, при материальной поддержке правительств Антанты, делают отчаянные усилия, чтоб вернуть утерянное. Открываются годы гражданской войны. Строится Красная армия. Голодная страна переводится на режим военного коммунизма и превращается в спартанский лагерь. Октябрьская революция шаг за шагом прокладывает себе дорогу, отбивает всех врагов, переходит к разрешению всех хозяйственных задач, залечивает наиболеее тяжкие раны империалистской и гражданской войны и достигает крупнейших успехов в области развития промышленности. Пред нею выдвигаются, однако, новые затруднения, вытекающие из ее изолированного положения в окружении могущественных капиталистических стран. Запоздалость развития, которая привела русский пролетариат к власти, поставила перед этой властью задачи, которые по самому существу своему не могут быть полностью разрешены в рамках изолированного государства. Судьба этого последнего целиком связана, таким образом, с дальнейшим ходом мировой истории.

Этот первый том, посвященный Февральской революции, показывает, как и почему она должна была сойти на нет. Второй том покажет, как победила Октябрьская революция.

Приложение I.

К главе «Особенности развития России»

Вопрос об особенностях исторического развития России и, в связи с этим, об ее будущих судьбах лежал в основе всех споров и группировок русской интеллигенции в течение всего почти XIX столетия. Славянофильство и западничество разрешали этот вопрос в противоположных направлениях, но одинаково категорически. На смену им пришли народничество и марксизм. Прежде, чем народничество окончательно слиняло под влиянием буржуазного либерализма, оно долго и упорно отстаивало совершенно своеобразный путь развития России, в обход капитализма. В этом смысле народничество продолжало славянофильскую традицию, очистив ее, однако, от монархически-церковно-панславистских элементов и придав ей революционно-демократический характер.

По существу дела славянофильская концепция, при всей своей реакционной фантастичности, как и народническая, при всей своей демократической иллюзорности, вовсе не были голыми спекуляциями, а опирались на несомненные и притом глубокие особенности развития России, только односторонне понятые и неправильно оцененные. В борьбе с народничеством русский марксизм, доказывавший тождественность законов развития для всех стран, впадал нередко в догматическое шаблонизирование, проявляя склонность выплескивать из ванны младенца вместе с мыльной водой. Особенно ярко эта склонность выражена во многих работах известного профессора Покровского.

В 1922 году Покровский обрушился на историческую концепцию автора, лежащую в основе теории перманентной революции. Мы считаем полезным, по крайней мере, для читателей, интересующихся не толь-

ко драматическим ходом событий, но и доктриной революции, привести здесь наиболее существенные извлечения из нашего ответа профессору Покровскому, опубликованного в двух номерах центрального органа партии «Правда», от 1 и 2 июля 1922 года.

Об особенностях исторического развития России.

Покровский напечатал посвященную моей книге «1905» статью, которая является свидетельством — увы, отрицательным! — того, каким сложным делом является применение методов исторического материализма к живой человеческой истории и к каким шаблонам сводят нередко историю даже такие глубоко осведомленные люди, как Покровский.

Вызвана она (книга, подвергшаяся критике со стороны Покровского) была непосредственно стремлением исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный, как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства... Этот ход мыслей вызвал величайшее теоретическое возмущение со стороны немалого числа марксистов, вернее сказать, подавляющего большинства. Выразителями этого возмущения явились не только меньшевики, но и Каменев и Рожков (историк-большевик). Их точка зрения в общем и целом была такова: политическое господство буржуазии должно предшествовать политическому господству пролетариата; буржуазная демократическая республика должна явиться длительной исторической школой для пролетариата; попытка перепрыгнуть через эту ступень есть авантюризм; если рабочий класс на Западе не завоевал власти, то как же русский пролетариат может ставить себе эту задачу и проч. и проч. С точки зрения того мнимого марксизма, который ограничивается историческими шаблонами, формальными аналогиями, превращает исторические эпохи в логическое чередование несгибаемых социальных категорий

(феодализм, капитализм, социализм; самодержавие, буржуазная республика, диктатура пролетариата), — с этой точки зрения лозунг завоевания власти рабочим классом в России должен был казаться чудовищным отказом от марксизма. Между тем, уже серьезная эмпирическая оценка социальных сил, как они проявили себя в 1903—05 г. г., властно подсказывала всю жизненность борьбы за завоевание власти рабочим классом. Особенность это или не особенность? Предполагает ли она глубокие особенности всего исторического развития или не предполагает? Каким образом такая задача встала перед пролетариатом России, т. е. наиболее отсталой (с позволением Покровского) страны Европы? И в чем же состоит отсталость России? В том ли, что Россия только с запозданием повторяет историю стран Западной Европы? Но тогда можно ли было говорить о завоевании власти русским пролетариатом? А ведь власть эту (позволяем себе напомнить) он завоевал. В чем же суть? А в том, что несомненная и неоспоримая запоздалость развития России, под влиянием и давлением более высокой культуры Запада, дает в результате не простое повторение западно-европейского исторического процесса, а порождает глубокие особенности, подлежащие самостоятельному изучению.

Глубокое своеобразие нашей политической обстановки, приведшее к победоносной Октябрьской революции до начала революции в Европе, было заложено в особенностях соотношения сил между разными классами и государственной властью. Когда Покровский и Рожков спорили с народниками или либералами, доказывая, что организация и политика царизма определялись хозяйственным развитием и интересами имущих классов, они были в основе правы. Но, когда Покровский пытается повторить это против меня, он просто попадает не в то место.

Результатом нашего запоздалого исторического развития в условиях империалистического окружения явилось то, что наша буржуазия не успела

спихнуть царизм до того, как пролетариат превратился в самостоятельную революционную силу.

Но для Покровского не существует самого вопроса, который составляет для нас центральную тему исследования . . .

Покровский пишет: «Изобразить московскую Русь XVI века на фоне общеевропейских отношений того времени — чрезвычайно заманчивая задача. Ничем лучше нельзя опровергнуть господствующего доселе, даже в марксистских кругах, предрассудка о «примитивности», якобы, той экономической основы, на которой возникло русское самодержавие». И далее: «Показать это самодержавие в его настоящей исторической связи, как один из аспектов торгово-капиталистической Европы . . . — это задача не только чрезвычайно интересная для историка, но и педагогически чрезвычайно важная для читающей публики: нет более радикального средства покончить с легендой о «своеобразии» русского исторического процесса». Покровский, как видим, начисто отрицает примитивность и отсталость нашего хозяйственного развития и заодно с этим относит своеобразие русского исторического процесса к числу легенд. А все дело в том, что Покровский совершенно загипнотизирован подмеченным им, как и Рожковым, сравнительно широким развитием торговли в России XVI века. Трудно понять, как Покровский мог впасть в такую ошибку. Можно, в самом деле, подумать, будто торговля является основой хозяйственной жизни и ее безошибочным масштабом. Немецкий экономист Карл Бюхер, лет 20 тому назад, попытался в торговле (путь между производителем и потребителем) найти критерий всего хозяйственного развития. Струве, конечно, поспешил перенести это «открытие» в русскую экономическую «науку». Со стороны марксистов теория Бюхера встретила тогда же совершенно естественный отпор. Мы ищем критериев экономического развития в производстве — в технике и в общественной организации труда, — а путь, проходимый продуктом от производителя к по-

требителю, рассматриваем, как явление вторичного порядка, корни которого нужно искать в том же производстве.

Большой, по крайней мере в пространственном отношении, размах русской торговли в XVI столетии, — как это ни парадоксально с точки зрения бюхеровско-струвианского критерия, — объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства. Западно-европейский город был ремесленно-цеховым и торгово-гильдейским. Наши же города были в первую голову административно-военными, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Ремесленно-цеховой быт Запада сложился на относительно высоком уровне хозяйственного развития, когда все основные процессы обрабатывающей промышленности отделились от земледелия, превратились в самостоятельные ремесла, создали свои организации, свое средоточие, город, на первых порах ограниченный (областной, районный), но устойчивый рынок. В основе средневекового европейского города лежала, таким образом, относительно высокая диференциация хозяйства, породившая правильные взаимоотношения между центром-городом и его сельско-хозяйственной периферией. Наша же хозяйственная отсталость находила свое выражение, прежде всего, в том, что ремесло, не отделяясь от земледелия, сохранило форму кустарничества. Тут мы ближе к Индии, чем к Европе, как и средневековые города наши ближе к азиатским, чем к европейским, как и самодержавие наше, стоя между европейским абсолютизмом и азиатской деспотией, многими чертами приближалось к последней.

При безграничности наших пространств и редкости населения (кажись, тоже достаточно объективный признак отсталости), обмен продуктами предполагал посредническую роль торгового капитала самого широкого размаха. Такой размах был возможен именно потому, что Запад стоял на гораздо более высоком уровне развития, имел свои многосложные потребности,

посылал своих купцов и свои товары и тем толкал вперед торговый оборот у нас, на нашей примитивнейшей, в значительной мере варварской хозяйственной основе. Не видеть этой величайшей особенности нашего исторического развития — значит не видеть всей нашей истории.

Мой сибирский патрон (я у него заносил в течение двух месяцев в конторскую книгу пуды и аршины), Яков Андреевич Черных — дело это было не в XVI столетии, а в самом начале XX — почти неограниченно господствовал в пределах Киренского уезда силой своих торговых операций. Яков Андреевич скупал у тунгусов пушнину, у попов дальних волостей — ругу и привозил с Ирбитской и Нижегородской (ярмарок) ситец, а главное — поставлял водку (в Иркутской губернии в ту эпоху монополия еще не была введена). Яков Андреевич грамоты не знал, но был миллионщик (по тогдашнему весу «нулей», а не по нынешнему). «Диктатура» его, как представителя торгового капитала, была неоспоримой. Он даже говорил не иначе, как мои «тунгусишки». Город Киренск, как и Верхоленск, как и Нижне-Илимск, были резиденцией исправников и приставов, кулаков в иерархической зависимости друг от друга, всяких чинушей, да кое-каких жалких ремесленников. Организованного ремесла, как основы городской хозяйственной жизни, я там не находил,—ни цехов, ни цеховых праздников, ни гильдий, хотя и числился Яков Андреевич «2-й гильдии». Право же, этот живой кусок сибирской действительности гораздо глубже вводит нас в понимание исторических особенностей развития России, чем то, что говорит по этому поводу Покровский. В самом деле. Торговые операции Якова Андреевича простирались от среднего течения Лены и ее восточных притоков до Нижнего Новгорода и даже Москвы. Немногие торговые фирмы континентальной Европы, могут отметить такие дистанции на своей торговой карте. Однако же, этот торговый диктатор, на языке чалданов — «король крестей», являлся наболее законченным и убедитель-

ным воплощением нашей хозяйственной отсталости, варварства, примитивности, редкости населения, разбросанности крестьянских сел и деревень, непроезжих проселочных дорог, которые в весеннюю и осеннюю распутицу создают вокруг уездов, волостей и деревень двухмесячную болотную блокаду, всеобщей безграмотности и проч. и проч. А поднялся Черных до своего торгового значения на основе сибирского (средне-ленского) варварства потому, что давил Запад — «Рассея», «Москва» — и тянул Сибирь на буксире, порождая сочетание хозяйственно-кочевой первобытности с варшавским будильником.

Цеховое ремесло составляло фундамент средневековой городской культуры, которая излучалась и на деревню. Средневековая наука, схоластика, религиозная реформация выросли из ремесленно-цеховой почвы. У нас этого не было. Конечно, зачатки, симптомы, признаки, можно найти, но, ведь, на Западе это было не признаками, а могущественной хозяйственно-культурной формацией с ремесленно-цеховым фундаментом. На этом стоял средневековой европейский город, и на этом он рос и вступал в борьбу с церковью и феодалами, и протянул против феодалов руку монархии. Этот же город создал технические предпосылки для постоянных армий в виде огнестрельного оружия.

Где же были наши ремесленно-цеховые города, хотя в отдаленной мере похожие на города Западной Европы? Где их борьба с феодалами? И разве основу для развития русского самодержавия создала борьба промышленно-торгового города с феодалами? Такой борьбы у нас и не было по самому характеру наших городов, как не было у нас и реформации. Особенность это или не особенность?

Ремесло наше осталось в стадии кустарничества, т. е. не отслоилось от крестьянского земледелия. Реформация осталась в стадии крестьянских сект, так как не нашла руководства со стороны городов. Примитивность и отсталость вопиют здесь к небесам...

Царизм поднялся, как самостоятельная (опять таки относительно, в пределах борьбы живых исторических сил на хозяйственной основе) государственная организация не благодаря борьбе могущественных городов с могущественными феодалами, а, несмотря на полнейшее промышленное худосочие наших городов, благодаря худосочию наших феодалов.

Польша по своей социальной структуре стояла между Россией и Западом, как Россия — между Азией и Европой. Польские города уже гораздо больше знали цеховое ремесло, чем наши. Но им не удалось подняться настолько, чтобы помочь королевской власти сломить феодалов. Государственная власть оставалась непосредственно в руках дворянства. Результат: полное бессилие государства и его распад.

То, что сказано о царизме, относится и к капиталу и к пролетариату: непонятно, почему Покровский свой гнев направляет только на первую главу, говорящую о царизме. Русский капитализм не развивался от ремесла через мануфактуру к фабрике, потому, что европейский капитал, сперва в форме торгового, а затем в форме финансового и промышленного, навалился на нас в тот период, когда русское ремесло еще не отделилось в массе своей от земледелия. Отсюда — появление у нас новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной первобытности: бельгийский или американский завод, а вокруг — поселки, соломеннные и деревянные деревни, ежегодно выгорающие и проч. Самые примитивные начала и последние европейские концы. Отсюда — огромная роль западно-европейского капитала в русском хозяйстве. Отсюда — политическая слабость русской буржуазии. Отсюда — легкость, с какой мы справились с русской буржуазией. Отсюда — дальнейшие затруднения, когда в дело вмешалась европейская буржуазия...

А пролетариат наш? Прошел ли он через школу средневековых братств подмастерьев? Есть ли у него вековые традиции цехов? Ничего подобного. Его бросили в фабричный котел, оторвав непосредственно от

сохи... Отсюда — отсутствие консервативных традиций, отсутствие каст в самом пролетариате, революционная свежесть, отсюда, наряду с другими причинами, Октябрь, первое в мире рабочее правительство. Но отсюда же — неграмотность, отсталость, отсутствие организационных навыков, системы в работе, культурного и технического воспитания. Все эти минусы мы в нашем хозяйственно-культурном строительстве чувствуем на каждом шагу.

Русское государство сталкивалось с военными организациями западных наций, стоявших на более высокой экономической, политической и культурной основе. Так, русский капитал на первых своих шагах столкнулся с гораздо более развитым и могущественным капиталом Запада и подпал под его руководство. Так и русский рабочий класс на первых же своих шагах нашел готовые орудия, выработанные опытом западноевропейского пролетариата: марксистскую теорию, профсоюзы, политическую партию. Кто природу и политику самодержавия объясняет только интересами русских имущих классов, тот забывает, что кроме более отсталых, более бедных, более невежественных эксплоататоров России, были более богатые, более могущественные эксплоататоры Европы. Имущим классам России приходилось сталкиваться с имущими классами Европы, враждебными или полувраждебными. Эти столкновения совершались через посредство государственной организации. Такой организацией было самодержавие. Вся структура и вся история самодержавия были бы иные, если бы не было европейских городов, европейского пороха (ибо не мы его выдумали), если бы не было европейской биржи.

В последнюю эпоху своего существования самодержавие было не только органом имущих классов России, но и организацией европейской биржи для эксплоатации России. Эта двойная роль опять-таки придавала ему очень значительную самостоятельность. Ярким выражением ее явился тот факт, что французская

биржа для поддержания самодержавия дала ему в 1905 г. заем против воли партий русской буржуазии.

Царизм оказался разбитым в империалистской войне. Почему? Потому, что под ним оказались слишком низкие производственные основы («примитивность»)! В военно-техническом отношении царизм старался равняться по наиболее совершенным образцам. Ему в этом всемерно помогали более богатые и просвещенные союзники. Благодаря этому, в распоряжении царизма имелись самые совершенные орудия войны. Но у него не было и не могло быть возможности воспроизводить эти орудия и перевозить их (а также и людские массы) по железным и водным дорогам с достаточной быстротой. Другими словами, царизм отстаивал интересы имущих классов России в международной борьбе, опираясь на более примитивную, чем его враги и союзники, хозяйственную основу.

Эту основу царизм эксплоатировал за время войны нещадно, т. е. поглощал гораздо больший процент национального достояния и национального дохода, чем могущественные враги и союзники. Этот факт нашел свое подтверждение, с одной стороны, в системе военных долгов, с другой стороны — в полном разорении России...

Все эти обстоятельства, непосредственно предопределившие Октябрьскую революцию, победу пролетариата и его дальнейшие затруднения, совершенно не объясняются общими местами Покровского.

Приложение II.

К главе «Перевооружение партии».

В нью-иоркской ежедневной газете «Новый Мир», предназначенной для русских рабочих в Америке, автор этой книги пытался давать анализ и прогноз развития революции на основании скудной информации американской печати. «Внутренняя история развертывающихся событий — писал автор 6 марта (старого стиля) — нам знакома только по осколкам и намекам, проскальзывающим в официальных телеграммах». Серия статей, посвященных революции, начинается 27 февраля и обрывается 14 марта, в виду отъезда автора из Нью-Иорка. Мы приводим ниже из этой серии в хронологическом порядке выдержки, могущие дать представление о тех взглядах на революцию, с какими автор прибыл 4 мая в Россию.

27 февраля:

> «Дезорганизованное, скомпрометированное, разрозненное правительство, наверху, расшатанная вконец армия, недовольство, неуверенность и страх в среде имущих классов, глубокое ожесточение в народных низах, численно возросший пролетариат, закаленный в огне событий, — все это дает нам право сказать, что мы являемся свидетелями начала Второй российской революции. Будем надеяться, что многие из нас явятся ее участниками».

3 марта:

> «Рано Родзянки и Милюковы заговорили о порядке, и не завтра еще наступит спокойствие на всколыхнувшейся Руси. Пласт за пластом будет теперь подниматься страна — все угнетенные, обездоленные, обобранные царизмом и правящими классами — на всем необъятном пространстве

всероссийской тюрьмы народов. Петроградские события — только начало. Во главе народных масс России революционный пролетариат выполнит свою историческую работу: он изгонит монархическую и дворянскую реакцию из всех ее убежищ и протянет свою руку пролетариату Германии и всей Европы. Ибо нужно ликвидировать не только царизм, но и войну».

«Уже вторая волна революции перекатится через головы Родзянок и Милюковых, озабоченных восстановлением порядка и соглашением с монархией. Из собственных своих недр революция выдвинет свою власть — революционный орган народа, идущего к победе. И главные битвы и главные жертвы еще впереди. И только за ними последует полная и подлинная победа».

4 марта:

«Долго сдерживаемое недовольство масс вырвалось наружу так поздно, на тридцать втором месяце войны, не потому, что перед массами стояла полицейская плотина, весьма расшатавшаяся за время войны, а потому, что все либеральные учреждения и органы, кончая своими социал-патриотическими прихвостнями, оказывали огромное политическое давление на наименее сознательные рабочие слои, внушая им необходимость «патриотической дисциплины и порядка».

«Тут только (после победы восстания) наступила очередь Думы. Царь попытался в последнюю минуту разогнать ее. И она бы покорно разошлась «по примеру прошлых лет», если бы у нее была возможность разойтись. Но в столицах уже господствовал революционный народ, тот самый, что против воли либеральной буржуазии вышел на улицу для борьбы. С народом была армия. И если б буржуазия не сделала попытки организовать свою власть, революционное правительство вышло бы из среды восставших рабочих

масс. Третье-июньская Дума никогда не решилась бы вырвать власть из рук царизма. Но она не могла не использовать создавшееся междуцарствие: монархия временно исчезла с лица земли, а революционная власть еще не сложилась».

6 марта:

«Открытый конфликт между силами революции, во главе которой стоит городской пролетариат, и антиреволюционной либеральной буржуазией, временно вставшей у власти, совершенно неизбежен. Можно, конечно, — и этим усердно займутся либеральные буржуа и обывательского типа горе-социалисты, — подобрать много жалких слов на тему о великом преимуществе общенационального единства над классовым расколом. Но никогда еще и никому не удавалось такими заклинаниями устранить социальные противоречия и приостановить естественное развитие революционной борьбы».

«Уже сейчас, немедленно, революционный пролетариат должен будет противопоставить свои революционные органы, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, исполнительным органам Временного правительства. В этой борьбе пролетариат, объединяя вокруг себя поднимающиеся народные массы, должен ставить своей прямой целью завоевание власти. Только революционное рабочее правительство будет обладать волей и способностью уже во время подготовки Учредительного собрания произвести радикальную демократическую чистку в стране, перестроить сверху донизу армию, превратить ее в революционную милицию и на деле доказать крестьянским низам, что их спасение только в поддержке революционного рабочего режима».

7 марта:

«Пока у власти стояла клика Николая II, перевес во внешней политике имели династические и реакционно-дворянские интересы. Именно по-

этому в Берлине и Вене все время надеялись на заключение сепаратного мира с Россией. Теперь же на правительственном знамени написаны интересы чистого империализма. «Царского правительства больше нет, — говорят народу Гучковы и Милюковы, — теперь вы должны проливать кровь за общенациональные интересы». А под национальными интересами русские империалисты понимают возвращение Польши, завоевание Галиции, Константинополя, Армении, Персии. Другими словами, Россия сейчас становится в общий империалистический ряд с другими европейскими государствами и, прежде всего, со своими союзниками: Англией и Францией».

«Переход от династически-дворянского империализма к чисто-буржуазному никак не может примирить с войною пролетариат России. Интернациональная борьба с мировой бойней и империализмом является сейчас нашей задачей больше, чем когда бы то ни было».

«Империалистическая похвальба Милюкова — сокрушить Германию, Австро-Венгрию и Турцию —сейчас как нельзя более на-руку Гогенцоллерну и Габсбургу. Милюков теперь будет играть роль огородного пугала в их руках. Прежде еще, чем новое либерально-империалистическое правительство приступило к реформам в армии, оно помогает Гогенцоллерну поднять патриотический дух и восстановить трещащее по всем швам «национальное единство» немецкого народа. Если бы немецкий пролетариат получил право думать, что за новым буржуазным правительством России стоит весь народ и в том числе главная сила революции, русский пролетариат, — это явилось бы страшным ударом для наших единомышленников, революционных социалистов Германии».

«Прямая обязанность революционного пролетариата России показать, что за злой империалистической волей либеральной буржуазии нет

силы, ибо нет поддержки рабочих масс. Русская революция должна обнаружить перед всем миром свое подлинное лицо, т. е. свою непримиримую враждебность не только династически-дворянской реакции, но и либеральному империализму».

8 марта:

«Под знаменем «спасения страны» либеральные буржуа пытаются удержать в своих руках руководство над революционным народом и с этой целью тянут за собой на буксире не только патриотического трудовика Керенского, но, повидимому, и Чхеидзе, представителя оппортунистических элементов социал-демократии».

«Аграрный вопрос вгонит глубокий клин в нынешний дворянско-буржуазно-социалпатриотический блок. Керенским придеся выбирать между «либеральными» третьеиюньцами*), которые хотят всю революцию обокрасть для капиталистических целей, и революционным пролетариатом, который развернет во всю ширь программу аграрной революции, т. е. конфискации в пользу народа царских, помещичьих, удельных, монастырских и церковных земель. Каков будет личный выбор Керенского, значения не имеет... Другое дело — крестьянские массы, деревенские низы. Привлечение их на сторону пролетариата есть самая неотложная, самая насущная задача».

«Было бы преступлением пытаться разрешить эту задачу (привлечения крстьянства) путем приспособления нашей политики к национально-патриотической ограниченности деревни: русский рабочий совершил бы самоубийство, оплачивая свою связь с крестьянином ценою разрыва своей связи с европейским пролетариатом. Но в этом и нет никакой политической надобности. У нас в руках более сильное орудие: в то время, как ны-

*) т. е. членами Думы, вышедшей из государственного переворота 3 июня 1907 г.

нешнее Временное правительство и министерство Львова - Гучкова - Милюкова - Керенского*) вынуждены — во имя сохранения своего единства — обходить аграрный вопрос, мы можем и должны поставить его во весь рост перед крестьянскими массами России.

— Раз невозможна аграрная реформа, тогда мы за империалистическую войну! — сказала русская буржуазия после опыта 1905—1907 годов.

— Повернитесь спиною к империалистской войне, противопоставив ей аграрную революцию! — скажем мы крестьянским массам, ссылаясь на опыт 1914—1917 годов.

Этот же вопрос, земельный, будет играть огромную роль в деле объединения пролетарских кадров армии с ее крестьянской толщей. «Помещичья земля, а не Константинополь!» скажет солдат-пролетарий солдату-крестьянину, объясняя ему, кому и для чего служит империалистическая война. И от успеха нашей агитации и борьбы против войны — прежде всего, в рабочих, а во вторую линию, в крестьянских и солдатских массах — будет зависеть, как скоро либерально-империалистическое правительство сможет быть замещено Революционным рабочим правительством, опирающимся непосредственно на пролетариат и примыкающие к нему деревенские низы».

«Родзянки, Гучковы, Милюковы приложат все усилия к тому, чтобы создать Учредительное собрание по образу и подобию своему. Самым сильным козырем в их руках явится лозунг общенациональной войны против внешнего врага. Теперь они будут говорить, конечно, о необходимости отстоять «завоевания революции» от раз-

*) Под Временным правительством американская печать понимала Временный комитет Думы.

грома со стороны Гогенцоллерна. И социал-патриоты будут подпевать им».

«Было бы что отстаивать! — скажем мы. Первым делом нужно обеспечить революцию от внутреннего врага. Нужно, не дожидаясь Учредительного собрания, выметать монархический и крепостнический хлам из всех углов. Нужно научить русского крестьянина не доверять посулам Родзянки и патриотической лжи Милюкова. Нужно сплотить крестьянские миллионы против либеральных империалистов под знаменем аграрной революции и республики. Выполнить эту работу в полном объеме сможет только опирающееся на пролетариат революционное правительство, которое отстранит Гучковых и Милюковых от власти. Это Рабочее правительство пустит в ход все средства государственной власти, чтобы поднять на ноги, просветить, сплотить самые отсталые и темные низы трудящихся масс города и деревни».

«— А если немецкий пролетариат не поднимется? Что мы будем делать тогда?

— То-есть, вы предполагаете, что русская революция может пройти бесследно для Германии — даже в том случае, если у нас революция поставит у власти рабочее правительство? Но ведь это совершенно невероятно.

— Ну, а если все же?..

— ...Если бы случилось невероятное, если бы консервативная социал-патриотическая организация помешала немецкому рабочему классу в ближайшую эпоху подняться против своих правящих классов, — тогда, разумеется, русский рабочий класс защищал бы революцию с оружием в руках. Революционное рабочее правительство вело бы войну против Гогенцоллерна, призывая братский немецкий пролетариат подняться против общего врага. Точно так же, как и германский пролетариат, еслибы он оказался в ближай-

шую эпоху у власти, не только имел бы «право», но и был бы обязан вести войну против Гучкова-Милюкова, чтобы помочь русским рабочим справиться со своим империалистским врагом. В обоих этих случаях руководимая пролетарским правительством война была бы только вооруженной революцией. Дело шло бы не о «защите отечества», а о защите революции и перенесении ее на другие страны».

Вряд ли есть надобность доказывать, что в приведенных выше обширных выписках из предназначенных для рабочих популярных статей развивается тот же взгляд на развитие революции, который нашел свое выражение в тезисах Ленина 4-го апреля.

* * *

В связи с тем кризисом, который переживала большевистская партия в первые два месяца Февральской революции, нелишне привести здесь цитату из статьи, написанной автором этой книги в 1909 году для польского журнала Розы Люксембург:

«Если меньшевики, исходя из абстракции: «наша революция буржуазна», приходят к идее приспособления всей тактики пролетариата к поведению либеральной буржуазии вплоть до завоевания ею государственной власти, то большевики, исходя из такой же голой абстракции: «демократическая, а не социалистическая диктатура», приходят к идее буржуазно-демократического самоограничения пролетариата, в руках которого находится государственная власть. Правда, разница между ними в этом вопросе весьма значительна: в то время, как анти-революционные стороны меньшевизма сказываются во всей силе уже теперь, антиреволюционные черты большевизма грозят огромной опасностью только в случае революционной победы».

Эти слова были после 1923 года широко использованы эпигонами в борьбе против «троцкизма». Между тем они дают — за 8 лет до событий — совершенно точную характеристику поведения нынешних эпигонов «в случае революционной победы».

Партия вышла из апрельского кризиса с честью, справившись с «анти-революционными чертами» своего правящего слоя. Именно поэтому автор снабдил в 1922 году приведенное выше место следующим примечанием:

> «Этого, как известно, не случилось, так как, под руководством Ленина, большевизм совершил (не без внутренней борьбы) свое идейное перевооружение в этом важнейшем вопросе весною 1917 г., то-есть до завоевания власти».

Ленин, в борьбе с оппортунистическими тенденциями руководящего слоя большевиков, писал в апреле 1917 г.:

> «Большевистские лозунги и идеи в общем вполне подтверждены, но конкретно дела сложились иначе, чем мог (и кто бы то ни был) ожидать, оригинальнее, своеобразнее, пестрее. Игнорировать, забывать этот факт значило бы уподобляться тем «старым большевикам», которые не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу, вместо изучения своеобразия новой, живой действительности. Кто говорит теперь только о «революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства», тот отстал от жизни, тот в силу этого перешел на деле к мелкой буржуазии против пролетарской классовой борьбы, того надо сдать в архив «большевистских» дореволюционных редкостей (можно назвать: архив «старых большевиков»)».

Приложение III.

К главе «Советский съезд и июньская демонстрация».

ПИСЬМО ПРОФЕССОРУ А. КАУН. КАЛИФОРНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ.

Вы интересуетесь, насколько правильно Суханов излагает мою встречу в мае 1917 г. с редакцией «Новой Жизни», формально возглавлявшейся Максимом Горьким. Чтобы было понятно дальнейшее, я должен сказать несколько слов об общем характере 7-томных «Записок о революции» Суханова. При всех недостатках этого труда (многословность, импрессионизм, политическая близорукость) делающих моментами чтение его невыносимым, нельзя не признать добросовестности автора, что и делает «Записки» ценным источником для истории. Юристы знают, однако, что добросовестность свидетеля вовсе еще не обеспечивает достоверность его показаний: нужно еще принять во внимание уровень развития свидетеля, силу его зрения, слуха, памяти, его настроение в момент события и пр. Суханов — импрессионист интеллигентского типа и, как большинство таких людей, лишен способности понимать политическую психологию людей другого склада. Несмотря на то, что сам он стоял в 1917 году на левом краю соглашательского лагеря, следовательно, в близком соседстве с большевиками, по гамлетическому складу своему, он был и оставался антиподом большевика. В нем всегда живет чувство враждебного отталкивания от людей цельных, твердо знающих, чего хотят и куда идут. Все это приводит к тому, что Суханов в своих «Записках» вполне добросовестно громоздит ошибку на ошибку, как только пытается понять мотивы действия большевиков или вскрыть их заку-

лисные побуждения. Иногда кажется, что он сознательно запутывает простые и ясные вопросы. На самом деле он органически неспособен, по крайней мере, в политике, открыть кратчайшее расстояние между двумя точками.

Суханов тратит немало усилий на то, чтоб противопоставить мою линию ленинской. Очень чувствительный к кулуарным настроениям и слухам интеллигентских кругов, — в этом, к слову сказать, одно из достоинств «Записок», дающих много материала для характеристики психологии либеральных, радикальных и социалистических верхов, — Суханов естественно питался надеждами на возникновение разногласий между Лениным и Троцким, тем более, что это должно было хоть отчасти облегчить незавидную участь «Новой Жизни», между социалпатриотами и большевиками. В своих «Записках» Суханов все еще живет в атмосфере этих неосуществившихся надежд, под видом политических воспоминаний и догадок задним числом. Особенности личности, темперамента, стиля он пытается истолковать, как особый политический курс.

В связи с несостоявшейся большевистской манифестацией 10 июня, и особенно с вооруженными демонстрациями июльских дней, Суханов на протяжении многих страниц пытается доказать, что Ленин непосредственно стремился в те дни к захвату власти, путем заговора и восстания, Троцкий же, в противовес этому, добивался действительной власти советов, в лице господствовавших тогда партий, т. е. эсеров и меньшевиков. Все это не имеет под собою и тени основания.

На первом съезде советов, 4-го июня, Церетелли в своей речи сказал мимоходом: «В России в настоящий момент нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть». В это время с места раздался возглас: «есть!». Ленин не любил прерывать ораторов и не любил, когда прерывали его. Только серьезные соображения могли побудить его отказаться на этот раз от своей обычной сдержанности. По логике Церетелли выходило, что когда народ попадает в

переплет величайших трудностей, надо прежде всего попытаться подкинуть власть другим. В этом в сущности и состояла мудрость русского соглашательства, которое после февральского восстания подкинуло власть либералам. Малопривлекательному страху перед ответственностью Церетелли придавал окраску политического бескорыстия и чрезвычайной дальнозоркости. Для революционера, который верит в миссию своей партии, такое трусливое чванство совершенно невыносимо. Революционная партия, которая способна в трудных условиях уклоняться от власти, заслуживает только презрения.

В речи на том же заседании Ленин разъяснил свой возглас: «Гражданин министр почт и телеграфов (Церетелли) ... говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю — есть; ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком (Аплодисменты и смех). Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин-министр поставит нас перед этим вопросом ... то он получит надлежащий ответ». Казалось бы, мысль Ленина прозрачна насквозь?

На том же съезде советов, говоря после министра земледелия Пешехонова, я выразился так: «Я не принадлежу к одной с ним (Пешехоновым) партии, но если бы мне сказали, что министерство будет составлено из 12 Пешехоновых, я бы сказал, что это огромный шаг вперед...».

Не думаю, чтоб тогда же, в дни событий, мои слова о министерстве из Пешехоновых могли быть поняты, как антитеза ленинской готовности взять власть. В качестве теоретика этой мнимой антитезы выступает задним числом Суханов. Истолковывая подготовку большевиками демонстрации 10 июня в пользу власти советов, как подготовку захвата власти, Суханов пишет: «Ленин, за два-три дня до «манифестации», говорил публично, что он готов взять в свои руки власть.

А Троцкий говорил тогда же, что он желал бы видеть у власти двенадцать Пешехоновых. Это разница. Но все же я полагаю, что Троцкий был привлечен к делу 10 июня... Ленин и тогда не склонен был итти в решительную схватку без сомнительного «междурайонца»*). Ибо Троцкий был ему подобным монументальным партнером в монументальной игре, а в своей собственной партии после самого Ленина не было ничего долго, долго, долго».

Все это место полно противоречий. По Суханову, Ленин на деле замышлял будто бы то, в чем его обвинял Церетелли: «немедленный захват власти пролетарским меньшинством». Доказательство такого бланкизма Суханов, как это ни невероятно, видит в словах Ленина о готовности большевиков взять власть, несмотря на все трудности. Но если б Ленин действительно собирался 10 июня путем заговора захватить власть, то вряд ли бы он 4-го июня на пленарном заседании Совета предупреждал об этом врагов. Надо ли напоминать, что с первого дня приезда в Петроград Ленин внушал партии, что ставить перед собой задачу низвержения Временного правительства большевики смогут только после завоевания большинства в советах. В апрельские дни Ленин решительно выступил против тех большевиков, которые выдвинули лозунг «долой Временное правительство», как задачу дня. Ленинская реплика 4 июня имела только один смысл: мы, большевики, готовы взять власть хотя бы и сегодня, если рабочие и солдаты дадут нам свое доверие; этим мы отличаемся от соглашателей, которые, располагая доверием рабочих и солдат, власти брать не смеют.

Суханов противопоставляет Троцкого Ленину, как

---

*) Суханов называет меня «сомнительным междурайонцем» (членом междурайонной организации), желая этим, очевидно, сказать, что на самом деле я был большевиком. Последнее во всяком случае правильно. В междурайонной организации я оставался только для того, чтоб привести ее в большевистскую партию, что и было осуществлено в августе

реалиста бланкисту. «Не приемля Ленина, можно было вполне присоединиться к постановке вопроса Троцким». В то же время Суханов заявляет, что «Троцкий был привлечен к делу 10 июня», т. е. к заговору для захвата власти. Открывая две линии там, где их не было, Суханов не может отказать себе в удовольствии соединить затем эти две линии в одну, чтоб иметь возможность и меня обвинить в авантюризме. Это своеобразный и несколько платонический реванш за обманутые надежды левой интеллигенции на раскол Ленина и Троцкого.

На плакатах, которые заготовлены были большевиками для отмененной демонстрации 10 июня и высились затем над демонстрантами 18 июня, центральное место занимал лозунг «долой 10 министров-капиталистов». Суханов, в качестве эстета, любуется простой выразительностью этого лозунга, но, в качестве политика, обнаруживает непонимание его смысла. В правительстве, кроме десяти «министров-капиталистов» заседало еще шесть министров-соглашателей. На них большевистские плакаты не покушались. Наоборот, министров-капиталистов должны были, по смыслу лозунга, заменить министры-социалисты, представители советского большинства. Эту именно мысль большевистских плакатов я и высказал пред лицом советского съезда: порвите блок с либералами, устраните буржуазных министров и замените их своими Пешехоновыми. Предлагая советскому большинству взять власть, большевики, разумеется, нисколько не связывали себе рук по отношению к Пешехоновым; наоборот, они не скрывали, что будут в рамках советской демократии вести с ними непримиримую борьбу — за большинство в советах и за власть. Все это в конце концов азбучно. Только указанные выше черты Суханова, не столько лица, сколько типа, объясняют, каким образом этот участник и наблюдатель событий мог так безнадежно напутать в столь серьезном и в то же время столь простом вопросе.

В свете разобранного политического эпизода лег-

че понять то ложное освещение, которое дает Суханов интересующей вас встрече моей с редакцией «Новой Жизни». Мораль моего столкновения с кружком Максима Горького выражена Сухановым в заключительной фразе, которую он вкладывает в мои уста: «Теперь я вижу, что мне ничего больше не остается, как основать газету вместе с Лениным». Выходит, что только невозможность договориться с Горьким и Сухановым, т. е. с лицами, которых я никогда не считал ни политиками; ни революционерами, заставила меня найти дорогу к Ленину. Достаточно ясно формулировать эту мысль, чтоб показать ее несостоятельность.

Как характерна, замечу мимоходом, для Суханова фраза: «основать газету вместе с Лениным», — как если бы задачи революционной политики сводились к газете. Для человека с минимумом творческого воображения должно быть ясно, что я не мог так мыслить и так определять свои задачи.

Чтобы объяснить мое посещение газетного кружка Горького, надо вспомнить, что я прибыл в Петроград в начале мая, через два с лишним месяца после переворота, через месяц после приезда Ленина. За это время многое уже успело сложиться и определиться. Мне необходима была непосредственная, так сказать эмпирическая ориентировка не только в основных силах революции, в настроениях рабочих и солдат, но и во всех группировках и политических оттенках «образованного» общества. Посещение редакции «Новой Жизни» было для меня маленькой политической разведкой с целью выяснить силы притяжения и отталкивания в этой «левой» группе, шансы откола тех или других элементов и проч. Короткая беседа убедила меня в полной безнадежности кружка мудрствующих литераторов, для которых революция сводилась к передовой статье. А так как они обвинили, к тому же, большевиков в «самоизоляции», возлагая вину за это на Ленина и его апрельские тезисы, то я несомненно не мог не сказать им, что всеми своими речами они лишний раз доказали мне, что Ленин совершенно прав, изо-

лируя от них партию или, вернее, изолируя их от партии. Этот вывод, который я должен был особенно энергично подчеркнуть для воздействия на участников беседы, Рязанова и Луначарского, противников объединения с Лениным, и дал, очевидно, повод для сухановской версии.

* * *

Вы, разумеется, совершенно правы, высказывая предположение, что я ни в каком случае не согласился бы осенью 1917 г. говорить о юбилее Горького с трибуны Петроградского совета. Суханов хорошо поступил на этот раз, отказавшись от одной из своих причудливых мыслей: вовлечь меня накануне октябрьского восстания в чествование Горького, который стоял по другую сторону баррикады.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

Предисловие к русскому изданию 5
Предисловие 11
I. Особенности развития России 19
II. Царская Россия в войне 34
III. Пролетариат и крестьянство 53
IV. Царь и царица 73
V. Идея дворцового переворота 86
VI. Агония монархии 101
VII. Пять дней (23-27 февраля 1917) 126
VIII. Кто руководил февральским восстанием? . . . 163
IX. Парадокс февральской революции 181
X. Новая власть 209
XI. Двоевластие 236
XII. Исполнительный комитет 246
XIII. Армия и война 279
XIV. Правящие и война 302
XV. Большевики и Ленин 318
XVI. Перевооружение партии 349
XVII. Апрельские дни 368
XVIII. Первая коалиция 396
XIX. Наступление 411
XX. Крестьянство 429
XXI. Сдвиги в массах 450
XXII. Советский съезд и июньская демонстрация . . 479
Заключение 500

Приложение I. К главе «Особенности развития России» 505
Приложение II. К главе «Перевооружение партии» . 515
Приложение III. К главе «Советский съезд и июньская демонстрация» 525

4

Printed in Germany

25p